

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА



НЕ СПРОСТА И НЕ СПУСТА
СЛОВО МОЛВИТСЯ
И ДО ВЕКУ НЕ СЛОМИТСЯ



ПО ТОЛКОВАНИЮ
С. МАКСИМОВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
МОСКВА 1955

17 283325

Сборник „Крылатые слова“ С. В. Максимова
со вступительной статьей автора печатается
по изданию: „Крылатые слова по толкованию
С. Максимова, издание второе, СПб, 1899“,
переработанному автором.

Книга сопровождается послесловием и при-
мечаниями

Н. С. АШУКИНА

ПРЕДИСЛОВИЕ

В одном из суворинских календарей помещен был объяснительный список тех изречений и слов, взятых из иностранных языков, которые часто употребляются в различных газетных и журнальных статьях. Эти чужие замечательные мысли, в немногих словах высказанные по большей части латинскими классиками, конечно потребовали не только перевода, но и указаний на первоначальные источники, как корень и причину их происхождения. Для незнакомых с иностранными языками, для громадного большинства газетных читателей, вовсе не знающих латинского языка, тот календарь, по истечении года, не был забыт и брошен, как вчерашняя театральная афиша, а сделался настольною справочною книгою. В ней газетный читатель мог находить объяснение мимолетных выражений из мертвых языков от изъезженных «*suum cuique*»¹, «*sapienti sat*»², «*dixi*»³ и т. п. до внушительного возгласа покойного железного германского канцлера «*beati possidentes*»⁴.

Я задался подобною же задачею, но сделал опыт в противоположном направлении, остановившись для

¹ Всякому свое (лат.).

² Для умного достаточно (лат.).

³ Я сказал (лат.).

⁴ Счастливы владеющие (лат.).

объяснений не над учеными и книжными апофегами, а над теми мимолетными разговорными, так сказать летучими и крылатыми словами и ходячими выражениями, которые исключительно принадлежат отечественной речи, имеют корень в русском разнообразном мире и даже получили значение народных пословиц и поговорок. С наибольшим вниманием необходимо было (само собою разумеется) остановиться на толковании тех из них, которые в переносном смысле, с утратою первоначального, оказались либо темною бессмыслицею, либо даже совершенной чепухой. Иные из этих изречений, принятых по наслуху и на веру, но непонятных, не только бессознательно и безотчетно срываются с языка в обиходной разговорной речи, но также ежедневно проникают в журнальную и газетную печать уже как бы по привычке узаконенными и, повидимому, для всех и каждого обязательными к разумению.

Конечно, по самому смыслу основной задачи не привелось рыться в классических сочинениях, а необходимо было обращаться прямо к живому источнику текущей народной жизни, к народным преданиям, верованиям и сказаниям, — и всего чаще к отечественной старине, когда родилась и сама пословица и придумались всякие поговорки, то есть во времена первобытной простоты речи.

Объяснения одних выражений и слов следовало искать в юридическом быте древней Руси, в приемах розыскного процесса с отвратительным полосованием человеческих спин (слова «подлинный» «подноготный», «московские правды» и т. п.). Толкование других выражений и пословиц можно было найти в мирно налаженной и спокойно текущей струе сельской жизни, свободной в ее бытовых проявлениях: земледельческих, промышленных, ремесленных и т. д. (таковы выражения: «баклуши бить», «попасть впросак», «лясы точить», «нужда заставит калачи есть», «ни кола, ни двора», «канитель тянуть»). Смысл третьих подсказывается и восстанавливается доселе сохранившимися (и лишь отчасти исчезнувшими, но памятными) народными обычаями и верованиями (слова: «чересчур», «чур меня»; выражения: «семь пятниц на неделе», «горох при дороге», «на улице

праздник» и проч.). Многие из бытовых пословиц оправдываются бывальными событиями, успевшими облечься в форму притчей и в некоторых случаях анекдотов («собаку съел», «на воре шапка горит» «вора выдала речь», «огонь и попа жжет», «семипудовый пшик», «хоть тресни» и друг.). Этим последним способом с полною откровенностью народ поспешил объяснить и оправдать свои недостатки и характерные свойства: «задний ум», «русский дух», «русские сваи», что вообще значит — делать и поступать по-русски, «привечать», «угостить» и т. д. Среди всех подобных выражений (вообще сравнительно небольшого количества), в замечательно редких случаях, доводится искать толкований в языках соседящих с нами инородцев (вроде: «кавардак», «алала», «ни бельмеса»), а поиски за словами, вкравшимися в русский язык из европейских языков, составляют уже особенный самостоятельный труд. Теперь же представляю кстати лишь несколько образчиков («галиматья», «камень в воду» и проч.).

Углубляясь в дремучий и роскошный лес родного языка, богатого, сильного и свежего, краткого и ясного, на этот раз, конечно, довелось пробраться лишь по опушке. Здесь легче было осмотреться, пересчитать все, что было наглазным, произвести исследования и дать описание всему многочисленному разнообразию родов, видов и пород до валежника включительно.

При объяснении темных слов и непонятных выражений пришлось остановиться на тех из них, которые подсказаны были личною памятью, либо подхвачены на лету при случайных беседах, либо указаны запросами лиц, обративших внимание на эту работу. В значительной доле сослужил делу драгоценный памятник отечественного языка: «Толковый словарь живого великорусского языка В. И. Даля», и, конечно, не раз случалось прислушиваться к тем объяснениям, которые даны были раньше, с целию их проверки и оценки. Те и другие необходимо было принять, по старой памяти и школьной привычке, как классный урок по предмету русского языка: стараться разгадать эти своеобразные темы, как загадки, по мере сил и разумения, и явить скрытую тайну в полном освещении с надлежащею

обстановкою и обязательными подробностями. Если по св. писанию: «Когождо дело явлено будет — день бо явит», то по народной пословице: «Загадка — разгадка, а в ней семь верст правды». Quod potui — feci ¹, — скажу древнейшим и авторитетным крылатым выражением из совершенно чужого языка (хотя бы оно и достаточно уже попорхало по белому свету), — faciant meliora potentes! ²

¹ Что мог, я сделал (лат.).

² Пусть, кто может, сделает лучше (лат.).

КРЫЛАТЫЕ СЛОВА

Долетают до слуха отрывочные выражения из разговора двух встречных на улице про третьего:

— Сам виноват: век свой бил баклуши — вот теперь поделом и попался впросак.

— Грех да беда на кого не живет, — огонь и попа жжет. Погоди: будет и на его улице праздник.

Эти жесткие выражения упрека и мягкие слова утешения, принятые с чужих слов на веру, до такой степени общеизвестны, что во всякое время охотно пускаешь их на ветер, не вдумываясь в смысл и значение. Равным образом и сам их выговоришь не одну сотню раз в год, в уверенности, что поймут другие: можно смело пройти мимо. Мало ли вращается в обыденных разговорах разных метафор, гипербол, пословичных выражений и поговорок! За всеми не угоняешься.

Впрочем, мы на этот раз общему примеру не последуем, хотя бы и по тому поводу, что в иной поговорке слышится совсем уж бессмыслица: будто бы огню дано особое преимущество и попа жечь, а стало быть, может найтись и такой, пред которым бессилен горящий и палящий огонь. Да, наконец, что это за баклуши и какой такой просак? И где эта улица, на которой, кроме места для прохода и проездов, полагается еще и праздничное время?

Любознательные пусть не скучают тем, что им придется, по примеру русского мужика, который для тех поговорок до Москвы ходил пешком и при этом износил трое лаптей, углубиться в давно прошедшие времена и побывать в местах весьма глухих и отдаленных.

ОГОНЬ ПОПА ЖЖЕТ

В Смутное время Московского государства или в народную *разруху* не только потрясена была русская жизнь в корень, но и сдвинута со своих основ.

Когда, с призванием дома Романовых, все понемногу начало успокаиваться и все стали осматриваться и принялись чинить разбитое и разрушенное, появилось первое стремление к новшествам. А так как русский человек издревле жил преимущественно верою, то в этой области и обнаружались первые попытки исправления. Вскоре по восшествии на престол новоизбранный царь Михаил озаботился восстановлением печатного дела: отстроил Печатный дом, сожженный поляками, собрал разбежавшихся по иным городам мастеров и приступил к исправлению текста церковных книг.

В 1616 г., по царской грамоте, Троицко-Сергиева монастыря архимандриту Дионисию (успевшему прославиться патриотическими подвигами в Смутное время) указано было исправление Потребника — книги, содержащей в себе чин совершения всех церковных треб, в особенности пострадавшей от различных искажений и невежественных вставок переписчиков и печатников.

Справщики первым делом натолкнулись на лишнее прибавочное слово в молитве на освящение воды: «Сам и ныне владыко, прииди и освяти воду сию духом твоим святым и огнем». Справщики, глубоко убежденные в правильности своего открытия, что слово «и огнем» — позднейшая вставка невежественных переписчиков, порешили слово это уничтожить. Если бы дело исправы происходило в Москве, на глазах у царя, и обсуждалось церковным советом, оно обошлось бы мирно, но в Троицко-Сергиевом монастыре из-за краткого слова загорелся

сыр-бор и началась долговременная борьба, имевшая печальные трагикомические последствия. На кроткого архимандрита поднялись два «мужика-горлана»: головщик Логин и уставщик Филарет. Первый считал себя знатоком дела, так как при Шуйском печатал «уставы» и наполнял их ошибками, а второй едва знал азбуку, а «священная философия и в руках не бывала». Сговорившись с прочими, оба они отправили донос исправлявшему патриархии обязанности крутицкому митрополиту Ионе — человеку, также мало сведущему в подобных делах. В доносе было сказано, что архимандрит-справщик «святого духа не исповедует, яко огонь есть». Иона потребовал обвиняемых к допросу к себе на Крутицы, с бесчестьем и позором, как еретиков, а потом допрашивали в Вознесенском монастыре в кельях матери царя Марфы Ивановны. Позорили архимандрита тем, что водили на допрос нарочно в праздничные и базарные дни пешком и в рубище или верхом на кляче и без седла, в цепях. Мало того: подучали уличных бродяг бросать в страдальца песком, калом и грязью за то, что он-де хочет вывести огонь со света. Дионисий все это кротко терпел, с веселым видом, а товарищи его на соборе при допросах «слюнами глаза запрыскивали тем, которые с ними спорили». Несмотря на все эти споры и перенесенные поругания, праведного Дионисия заключили в курной и угарной избе Новоспасского монастыря, кормили впроголодь и, когда вздумается, сажали на цепь, заставляли каждодневно класть по тысяче поклонов. В конце порешили обвиненного в ереси навечно заточить в Кирилло-Белозерском монастыре и только за бездорожьем приостановились исполнением указа. В это время вернулся из польского плена царский родитель Филарет патриархом, взял сторону Дионисия и оправдал его тем, что навел справку у всех вселенских патриархов в их требниках. Местная и мелкая церковная смута затихла. Исправление книг продолжалось без помехи, а роковое слово приказано уничтожить и не говорить. Чтоб старый поп не натыкался, а бойкий и грамотный не набегал на это слово, указано его замазать (пишущему эти строки доводилось в архангельских церквях видеть это слово в книгах дониконовской печати заклеенным бумажкой).

Указ исполнили. Описывали между прочими нижегородские десятины Костромского уезда, города Кинешмы и Кинешемского уезда поповские старосты (то есть благочинные): «Привез воскресенский поп Стефан Дементьев с посаду и из уезду десять служебников печатных, да служебник письменной, да потребник печатной. Что приложено в них было прилог «огня» в водосвящение богоявленския воды в молитве: сам и ныне владыко, освятив воду сию духом твоим святым, а прилог *огня в том в одном месте в них замазали*». И такие операции произвели в двенадцати случаях (см. «Русская историческая библиотека», изд. археологическою комиссиею, т. 2, Слб. 1875 г., под № 221).

Успокоились, таким образом, на том, что замазали чем-то слово в книгах; но что могли предпринять против языка поповского, который, как и у всех простецов, оказался без костей и молол по навыку? Легкое ли дело с таким легким словом бороться, когда натвердело оно в памяти и закреплялось на языке не один только раз в году, именно за вечерней под богоявление, а срывалось с перебитого языка и пред иорданью на другой день, и во многие дни, когда приводилось освящать воду в домах по заказу, и на полях по народному призыву, и на преполовение, и на первого спаса по уставу, и в храмовые и придельные церковные праздники для благолепия и торжества перед литургиями.

Стали спотыкаться на этом лишнем и запретном роковом слове чаще всех, конечно, старики-священники, у которых, по выражению царской грамоты, «обычай застарел и бесчиния вкоренились». Как его не вымолвить, когда сроднился с ним язык? Старый священник, хотя по пословице, воробей старый, которого на мякине не обманешь, да и слово — тоже воробей: вылетит — не поймашь. Стало быть, тут спор о том, кто сильнее. Догадливый и памятный стережется не попасть впросак. Идет у него все по-хорошему, начинает истово и ведет по уставу *косно, со сладкопением, не борзяся*, а попало слово на глаза, то и пришло на мысль, что приказано: говорить его или вовсе не говорить? А легкое слово тем временем село на самом кончике языка: и сторожит, и дожидается, когда ему спрыгнуть придет черед и время,

и вылетит, что воробей: лови его. Да изымется язык мой от гортани моея! В книге-то слово запретили, а в памяти тем самым закрепили еще больше. А тут вон и свидетели беды такой обступили со всех сторон; другие даже нарочно и уши насторожили, словно облаву сделали, как на какого-нибудь зверя.

В самом деле, как на тот раз и свидетелям быть спокойными и безучастными: скажет поп это слово—и точно горячий блин схватил или проглотил ложку щей, с пылу горячих. Потянул с силой воздух, тряхнул головой; иной и ногой с досады пристукнул и плечами покрутил. Обидчивый и нетерпеливый с досады, надумал поправляться и опять налетал на беду. И дивное-то дело: смотрит поп в книгу, пред ним слова стоят, а он про огонь вспоминает и про него говорит.

Так, и сложилась в то время (и до нас дошла) насмешливая поговорка: *в книгу глядит (или на воду глядит), а огонь говорит*. С тех самых пор начал огонь жечь попа в особину, в исключение пред другими. Стала ходить вековая, несокрушимая в правде пословица о неизбежности для всякого человека беды и греха с новым привеском, вызванным полузабытым неважным историческим случаем.

Впрочем, только эту злобивою насмешкою народ и покончил с церковным словом, смущавшим священников, но сам нисколько не убедился в том, чтобы легкой помаркой можно было покончить с великим смыслом и глубоким значением самого слова и объясняемого им предмета. С огнем не велит другая пословица ни шутить, ни дружить, а знать и понимать, что он силен. Силен живой огонь, вытертый из дерева, тем, что помогает от многих приток и порчей с ветру и с глазу, а между прочим, пригоден при скотском падеже, если провести сквозь него еще не зачумленную животину. Божий огонь, то есть происшедший от молнии, народ боится тушить, и если разыграется он в неудержимую силу великого пожара, заливает его не иначе, как парным коровьим молоком. Огонь очищает от всякия скверны плоти и духа, и на Ивана Купалу прыгает через него вся русская деревенщина, не исключая и петербургских и заграничных немцев. Святость огня, горевшего на свече

во время *стояний*, на чтении 12-ти евангелий в великий четверг признается и почитается даже в строгом Петербурге, и непотушенные свечи из церквей уносятся бережно на квартиры. В местах первобытных и темных, где, как в Белоруссии, языческие предания уберегаются целнее, почитание огня обставляется таким множеством обрядов, которые прямо свидетельствуют о том, что в огне и пламени не забыли еще старого бога Перуна. На сретеньев день (2 февраля) в тех местах в честь огня установлен даже особый праздник, который зовется *громницей*.

В юридических обычаях еще с тех времен, когда люди находились в первобытном состоянии, огонь служил символом приобретения собственности. Вожди народных общин, вступая на новые земли, несли горящие головни, и вся земля, которую они могли занять в течение дня с помощью огня, считалась собственностью племени. Так как огнем же добыты от лесов пашни и у нас по всей Руси, то поэтому в древних актах населенные при помощи таких способов места постоянно называются *огнищами* и *печищами*. Около очага, около одного огня группировались потом семьи, из них вырастали целые села. Появилось в древней Руси прозвание пахарей *огнищанами*, справедливое в обоих значениях: от очага и дыма и от расчистки срубленного и спиленного леса.

ВПРОСАК ПОПАСТЬ

Попасть впросак немудрено каждому, и всякому удастся это не одну тысячу раз в жизни и притом так, что иногда всю жизнь те случаи вспоминаются. Между прочим попал впросак тот иностранец, который в нынешнем столетии приезжал изучать Россию и, увидев в деревнях наших столбы для качелей, скороспело принял их за виселицы и простодушно умозаклучил о жестоких, варварских нравах страны, о суровых и диких ее законах, худших, чем в классической Спарте. Что бы сказал и написал он, если бы побывал в городе Ржеве? Побывши в сотне городов наших, я сам чуть-чуть не

попался в просак, и на этот раз разом в два: и в отвлеченный, иносказательный, и в самый настоящий. Расскажу по порядку, как было.

Шатаясь по святой Руси, захотелось мне побывать еще там, где не был, и на этот раз — на Верхней Волге. С особенной охотой и с большой радостью добрался я до почтенного города Ржева, почтенного, главным образом, по своей древности и по разнообразной промышленной и торговой живучести. Город этот, старинная «Ржева Володимирова», вдобавок к тому, стоя на двух красивых берегах Волги, разделяется на две части, которые до сих пор сохраняют также древнерусские названия: Князь-Дмитриевской и Князь-Федоровской, — трижды княжеский город. Когда все старинные города лесной новгородской Руси захудали и живут уже полузабытыми преданиями, Ржев все еще продолжает заявляться и сказываться живым и деятельным. Не так давно перестал он хвалиться баканом и кармином — своего домашнего изготовления красками (химические краски их вытеснили), но не перестает еще напоминать о себе яблочной и ягодной пастилой (хотя и у нее нашлась, однако, соперница в Москве и Коломне) и под большим секретом — погребальными колодами, то есть гробами, выдолбленными из цельного отрубка древесного с особенным изголовьем (в отличие от колоды вяземской), за которые истые староверы платят большие деньги. Не увядает слава Ржева и гремит, главнейшим образом, и в приморских портах ржевского прядева судовая снасть, парусная бечевка и корабельные канаты: тросты, ван-тросты, кабельты, ванты и ходовые канаты для тяги судов лошадьми. Эта слава Ржева не скоро померкнет. Не в очень далеких соседях разлеглась пеньковая смоленщина, которая давно проторила сюда дорогу и по рекам и по сухопутью, и с сырцовой пенькой, и с трепаной, а пожалуй, и с отчесанной.

Обмотанными той или другой густо кругом всего стана от низа живота почти по самую шею, то и дело попадают на улицах молодцы-прядильщики (встречных в ином виде и в другой форме можно считать даже за редкость). Промысел городской, таким образом, прямо на глазах и при первой встрече. Поллюбовались мы

одним, другим молодцом, обмотанным по чреслам, пока он проходил на свободе: сейчас он прицепится, и мы его в лицо не увидим.

В конце длинного, широкого и вообще просторного двора установлено маховое колесо, которое вертит слепая лошадь. С колеса, по обычаю, сведена на поставленную поодаль деревянную стойку с доской струна, которая захватывает и вертит желобчатые, торопливые в поворотах, шкивы. По шкивной бородке ходит колесная снасть и вертит железный крюк, вбитый в самую шкиву. Если подойдет к этому крюку прядильщик, то и прицепится, то есть припустит с груди прядку пенькового прядева и перехватит руками и станет отпускать и пятиться. Пред глазами его начинает закручиваться веревка. Крутится она скоро и сильно, сверкая в глазах, и, чтобы не обожгла белого тела и кожи, на руках надеты у всех рабочих кожаные рукавицы или голицы. Прихватит ими мастер свежую бечевку и все пятится, как рак, и зорко перед собою поглядывает, чтобы не оборвалось в его рукавицах прядево на бечевке. Он уже не обращает внимания на то, что не выбитая кострика либо завертывается вместе с пенькой в самую веревку, либо сыплется, как песок, на землю. Пропятился мастер на один конец, сколько указано, скинул бечевку на попутные, торчком стоящие рогульки с семью и больше зубцами и опять начинает снова. Время от времени, когда при невнимании или при худой пеньке разорвется его пуповина и разъединится он и со слепой лошадейю и с колесом, — он тпрукнет и наладится. Впрочем, иные колеса (и, конечно, на бедных и малых прядильнях) вертит удосужившаяся баба, а по большей части — небольшие ребята.

Так нехитро налажен основной механизм прядильной фабрики первобытного вида. К тому же, по старинному закону, и это маленькое заведение кочует: оно переносное. У хозяина невелик свой двор и притом короток, а на вольном воздухе свободней работать, если время не дождливое и не осеннее. Вот он и выстроил свой завод прямо на общественном месте, вдоль по улице — вдоль по широкой. Кто хочет тут проехать — объезжай около; там оставлено узенькое место: лошадь пройдет и телегу

проедет. Остальную и большую половину улицы всю занял заводчик: выдвинул колесо. Отступая от него аршина на два, он вбил доску со шкивами и дальше вдоль, один за другим, по прямой линии, стойки или многозубцы на кольях. Коля эти вбил он прямо в размокшую и мягкую землю просохшей городской водосточной канавы, как вздумалось. И по кольям-стойкам знать, что они порядочно покочевали: били их по головам до того, что измочалили. Вертит колесо в шестнадцать спиц, длиною в два с четвертью аршина, баба в ситцах, а на другом конце валяются обгрызанные поленья, «сани», с прикрепленною бечевкою от колеса и припрыгивают, словно бумажка на нитке, которой любят играть молодые котята. По мере того как колесо крутит веревку, эти полешки, или «сани» — тяжелые, грубого устройства полозья, — пошевеливаясь, пьются ближе к машине.

Во Ржеве вообще нет никакого уважения к улицам, или по крайней мере об них господствует своеобразное понятие: они далеко не все служат для проезда.

Действительно, во Ржеве по такой улице не проедешь, потому что там и сям выстроены столбы с перекладиной, до которой самый высокий мужик не достанет рукой. В полное подобие виселиц на всех перекладинах ввинчены рогульками крепкие железные крючья. Это — большие заводы, у больших хозяев, у которых со дворов выходят на простор преширокие ворота. У одного такого заводчика оказалось двадцать колес: по двенадцать человек на каждом — это прядильщики. Затем двадцать восемь человек колесников да пятьдесят шесть выюшников. Эти последние на каждую выюх наматывают девять пудов пеньки, то есть двадцать семь концов по четыре нитки, и работают по три перемены.

Я зашел в одну из таких диковинных непроезжих улиц и прямо широких ворот на задах большого дома едва не был сбит с ног и не подмят под сапоги с крепкими гвоздями. Выступила задом из ворот и пятилась до самой середины улицы целая ватага рабочих, человек в двадцать, а тотчас следом за нею другая такая же. Все спины широкие, гладкие, крепкие, серые, белые, синие: такие можно загадать только в воображении на богатырей.

Ржевские богатыри, выдвинувшись из ворот, покрутились на середине улицы перед виселицей. Здесь весело и громко они переговаривались, пересмеиваясь и насмехаясь, и опять, с гулом и быстро, потянулись вперед, куда потребовали их вóроты с колесами, установленные в конце двора под навесом. Эти веселые молодцы считаются первыми бойцами на кулачных боях, которые известны во Ржеве никак невозможно. Тут все налицо, что надо: ребятки, что вертят колеса, — застрельщики, рабочие одного большого хозяина — враги и супротивники соседнего заводчика. Да и самый город с незапамятной старины разбит Волгой на две особые половины, под особыми, как сказано выше, прозваниями: правая сторона за князя Дмитрия Ивановича (Князь-Дмитриевская), левая — за Федора Борисовича (Князь-Федоровская), а место, в котором выходить может стенка на стенку, — где хочешь, если уже удалось отбить от начальства почти все улицы. Если же начальство несогласно, то Волга делает в окрестностях города такие причудливые, как бы по заказу, изгибы и колена, что за любым так ухоришься, что никто не заметит и не помешает побиться на кулачки.

Я заглянул на тот двор, куда ушла шумливая и веселая ватага бойцов, и увидел на нем целое плетенье из веревок, словно основу на ткацком стану. Кажется, в этом веревочном лабиринте и не разберешься, хотя и видишь, что к каждой привязано по живому человеку, а концы других повисли на крючках виселиц. Сколько людей, столько новых нитей, да столько же и старых, чет в чет понавешено с боков и над головами. Действительно, разобраться здесь трудно, но запутаться даже на одной веревочке — избави бог всякого лиходея, потому что это-то и есть настоящий бедовый «просак», то есть вся эта прядильня или веревочный стан, — все пространство от прядильного колеса до саней, где спускается вервь, снуется, сучится и крутится бечевка.

Все, что видит наш глаз на дворе, — и протянутое на воздухе, закрепленное на крючьях, и выпрядаемое с грудей и животов, — вся прядильная канатная снасть и веревочный стан носит старинное и столь прославленное имя «просак». Здесь, если угодит один волос попасть

в «сучево» или «просучево» на любой веревке, то заберет и все кудри русые и бороду бобровую так, что кое-что потеряешь, а на побитом месте только рубец останется на память. Кто попадет полой кафтана или рубахи, у того весь нижний стан одежды отрывает прочь, пока не остановят глупую лошадь и услужливое колесо. Ходи — не зевай! Смеясь, поталкивай плечом соседа, ради веселья и шутки, да с большой оглядкой, а то скрутит беда — не выдерешься, просидишь в просаках — не поздоровится.

НА УЛИЦЕ ПРАЗДНИК

Не забывая ржевских улиц, вспомним, к слову и кстати, про всякие на Руси улицы. Смотреть же, где настоящие баклуши бьют, пойдем потом в другую и дальнюю сторону.

Не только та полоса или дорога, которая оставляется свободною для прохода и проезда у лица домов, между двумя рядами жилых строений, называется улицей, но и весь простор вне жильев, насколько хватает глаз, все вольное поднебесье означается этим именем во всей северной лесной Руси. Старинный народ, любя селиться на просторе и прорубаясь в темных дремучих лесах, хлопотал именно о том, чтобы открыть глазам побольше видов. Для этого он беспощадно рубил деревья, как лютых и непримиримых врагов, в вековечной борьбе с которыми надорвал свои силы. Затем уже он поспешил встать деревней так, чтобы кругом было светлое место. Не оставлялось на корню ни одного деревца подле жильев. Оттого там, в лесных русских селениях, всякий человек, пришедший с воли, незнаемый, а тем более нежеланный и даже недобрый, называется человеком «с улицы», «с ветру». Там, если приглашают приятеля «пойти на улицу», то это вовсе не значит посидеть на завалинке или пошататься между рядами домов, а значит погулять на вольном воздухе, в поле и в лесу. Собственно тех улиц, которые мы понимаем и чувствуем под этим строгим именем и образцы которых, с европейского примера, указал нам Петр Великий, — в прямую стрелу проспектов,

коренные русские люди пробивать и проламывать не умеют. Они настолько о том не заботятся, что выводят их, как бы намеренно и совсем противно петровскому вкусу и указам, и вкривь, и вкось, и тупиками, и такими узкими, что двум встречным не разъехаться. В тупиках или глухих улицах нет вовсе сквозных проездов, в узких же — с трудом прилаживаются обочины или тротуары для пешеходов, а в настоящих и коренных городах и во всех деревнях без исключения уличных полос вдоль дороги даже вовсе не полагается. Уважая и любя соседа, пристраиваются к боку и сторонкой, так, чтобы его не потеснить и потом жить с ним в миру и согласии: не всегда в линии, как в хороводе, а отчего же и не в россыпь? Должно строиться так, как велят подъемы и спуски земли, берега рек и озер, лишь бы только всем миром или целой общиной. Без мирского строя, без общинных законов, как известно, нигде и никогда русские люди и не останавливались на жительство, потому что воевать с могучей и суровой природой и с докучливым инородцем одиночной семье было не под силу. Не только земледельцы, но и отшельники в монастырях жили артелями. Только в тех случаях, когда их кругом облагали беды и нужды и приходилось ютиться друг к другу как можно теснее и ближе, зародилось что-то похожее на нынешние улицы с проулками и закоулками. Так стало в больших городах, спрятавшихся за двумя-тремя стенами. Здесь, когда развилась, обеспечилась и развернулась жизнь и стали разбираться люди по заслугам, по ремеслам и занятиям, отобрались бояре в одно место и устраивались. Духовные, торговые, ремесленные и черные люди выбирали свои особые места и строили избы друг против друга и рядом, чтобы опять-таки не разделяться, а жить общинами и всем быть вместе и заодно. Старинная городская улица, как сельская волость, естественно сделалась политической и административной единицей, устроила свое управление. Она выбирала себе старост и выходила на торжище или площадь, когда собирались другие общины-улицы судить и думать, толковать не только о делах своего города, но и всей земли, тянувшей к нему податями и сносившей в него разнообразные поборы.

Во Пскове и Новгороде несколько улиц, будучи каждая в отношении к другим до известной степени самобытным телом, все вместе образовывали «конец», а все вместе концы составляли целый город, как Новый Торг (или нынешний Торжок) с семнадцатью концами или улицами, как и «государь Великий Новгород» с пятью, «господин Великий Псков» с шестью концами. По этим действительно великим центрам и сильным примерам взяло образцы все множество больших городов в северной России вплоть до Камчатки, так как вся Русь по хвойным лесам устраивалась исключительно новгородским людом и по новгородским сбразцам. Уладились в них улицы — стали они общинами; жители назвались «уличанами» и еще охотнее и вернее «суседями». Сближаясь интересами, делали и судили дела за «единый дух», в полное согласие: своего не давали в обиду. Как на Прусскую улицу в Новгороде, населенную боярами, хаживали с боем другие улицы и на Торговую подымался Людин конец, где жила рабочая и трудовая чернь, так и в остальных старых лесных городах ходили кулачным боем, стенка на стенку, на Проломную или Пробойную (срединную) Ильинская (нагорная) и Власьевская (окрайная). По русскому древнему обычаю, где ссорились и дрались, тут же вскоре и мирились, как в те времена, когда бои затевались из-за политических несогласий, так и потом до наших дней, когда большие вопросы измельчались до домашних дразг, до простого желания порасправить свои могутные плечи, ради удовольствия и досужества или из уважения к обычаям родной старины. Задорнее других были улицы: Плотницкие и Гончарные, сильнее всех — Мясницкие, или, по-старинному, «кожемяки», — вольный слободский народ из окольных слобод.

Захотят свести счеты — и пустячный повод разожгут из конца в конец города: станет каждому досадно и всем невтерпёж. А лишь вышла стена на улицу, и мальчишки вперед бегут задирать, — другая стенка смекает и, как вода с гор сливается, выступает навстречу первой, не медля. Бежит каждый в кучу в чем слух застал, и, засучив рукава выше локтей, каждый приготовился к бою. Когда направят ребятишек, тогда разгорятся и сами погонят малых назад. Большие и сильные начнут

выступать, могучие силачи — «кирибеевичи» издали смотрят и ухмыляются, пока не придет их час и не позовет своя ватага на дело, в помощь. Были на улицах свои старосты, бывали и свои молодцы-силачи, по двадцать пять пудов поднимали и клали на сторону лихих супротивников, как снопы, по десятку. Были на улицах свои силачи (теперь их смирили и повывели), были и свои красавицы; нарождались свои обиды и придумывались насмешливые прозвища и укоры за недостатки и прегрешения, жили свои свахи и знахарки. И непременно для всякой избы, в каждой улице, обязательны были свои праздники, с пирами и пирогами, с гулянками, брагой и орехами. На кулачных боях подерутся, изместят накипаемые за долгое время обиды на сердце, а на уличных праздниках — «братчинах» — помирятся, размоют руки и нагуляются. Оттого-то мудреный смысл русской улицы опять на народном языке извратился: «улицей» стали называть всякую гулянку с хороводными песнями, соберется ли она у деревенской часовни или на лужайке за овинами. Улица этого рода и звания не лежит неподвижно в пыли и грязи, а капризно кочует с облюбованного места на хорошее новое, — в последние времена в московских ситцах и суконных пиджаках, веселыми ногами и с улыбающимися празднично лицами.

«Петровские соседи, — пишет старая летопись, — разбивши костер старый (то есть башню, как называли их во Пскове) у св. Петра и Павла, и в том камени создаша церковь святыи Борис и Глеб». Вот и указание на время праздников и повод к ним, если только они падают непременно на летнее время и, по возможности, на безработное. Богатые города, впрочем, последнего не соображали; им до этого дела не было: на город всегда работала деревня и за него она хлопотала. На улице в городе тогда и праздник, когда подойдет он в главном или придельном храме той церкви, которую действительно всегда строила на своей грязной улице своим трудом и коштом вкупе и складе вся жилецкая улица. Если попадет тот церковный праздник на теплое время, придумается такой, когда чествуют икону какой-либо явленной или чудотворной иконы богоматери. Впрочем, большая часть и таких богородских празднеств как раз уста-

новлена на летнее время: и казанская, и тихвинская, и смоленская — всероссийские и другие многие местные, «местночтимые».

Не без причины приходится подольше останавливаться на этом объяснении обиходной и столь распространенной поговорки. Как тот же огонь, который исключительно жег старинных попов — «на улице праздник», представляемый в лицах, становится уже таким же преданием и с таким же правом на полное забвение. Мы переживаем теперь именно это самое время. Однако около сорока пяти лет тому назад я еще был очевидцем и свидетелем такого уличного праздника в далеком, заброшенном и полузабытом костромском городе Галиче, который некогда гремел на всю Русь своим беспокойным и жестоким князем Дмитрием Шемякой и до сих пор славится плотниками и каменщиками ¹.

В моей детской памяти ярко напечатлелось необычайное повсюдное безлюдье в городе, не исключая всегда шумливой рыночной площади, и припоминаются теперь огромные толпы народа, сгрудившиеся на одной улице, главной и трактовой, называемой Пробойною. Почтовый ящик не решился по ней ехать и свернул в сторону, зная, что Пробойная на этот день принадлежит празднику. Большие неприятности и очень тяжелые последствия ожидали бы того смельчака, который рискнул бы расстроить налаженные хороводы и другие игры. Вся Пробойная превратилась в веселый и оживленный бал, развернувшийся во всю ширину и длину ее: «улица не двор — всем простор». Несколько хороводов кружилось в разных местах чопорно и степенно по-городскому, с опущенными глазами, с подобранными сердечком губами, выступая в середине густой стены из добрых молодцев, еще в длинных на тот раз сибирках, теперь, ради куцевого пальто и жилетки, совершенно покинутых.

Все девушки вертелись в кругу с лицами, закрытыми белыми фатами, в бабушкиных, шитых позументами и униженных камнями, головных повязках и надглазных

¹ Впрочем, еще в 1857 г. писали в «Москвитянин» Погодина из Новгорода: «С главных улиц праздничные (так называемые там хороводы и гулянки) уже исчезли, а справляются еще по закоулкам и пригородным слободам: Тронцкой и Никольской».

понижах или рясках, в коротеньких со сборами парчовых безрукавных телогреях, в широких, вздутых на плечах кисейных рукавах и со множеством колец на руках (галицкий наряд пользовался на Руси, вместе с калужским и торжковским, равною известностью и славой). Хороводы собственно были очень чинны и степенны, а потому скучны. Ни одна девушка не решалась поднять фаты, а покусившийся на это смельчак жестоко поплатился бы перед молодежью-уличанами своими боками. Веселились собственно на том и другом конце, где большие и малые играли в городки или чурки. И в самом деле, было забавно смотреть, когда из победившей партии длинный верзила садился на плечи крепкого коротыша и ехал на нем от кона до кона, и гремела толпа откровенным несдерживаемым хохотом. Веселились еще по домам, смотревшим на эту улицу большею частию тремя или пятью окнами, где для степенных и почтенных людей было сварено и выдержано на ледниках черное пиво и брага и напечены классические рыбники, поддерживавшие славу города, который расположился около тинистого большого озера, прославившегося в отдаленных пределах северной России ершами, крупными и вкусными.

Теперь эти праздники там совершенно прекратились, когда, на смену хоровода, привезли из европейской столицы досужие питерщички французскую кадрили. Готовые пальто и дешевые ситцы победили вконец бабушкины сарафаны и шубейки, и в народные песни втиснулся нахалом и хватом, с гармонией и гитарой, кисло-сладкий ветреный и нескромный романс вместе с «частушками» — коротенькими куплетцами водевильного строя. Теперь и в глухих местах пошло все по-новому, и на улицах праздников мы больше никогда не увидим и иных, кроме иносказательных, пословичных, понимать не будем.

ВСТАТЬ В ТУПИК

Очутиться в безвыходном положении, оказаться в очумелом состоянии, стать как пень в смущении и недоумении, растеряться так, что не знать, что делать,—

обычное выражение, народившееся на городских улицах. Городские жители хорошо знают, что «тупиками» называются такие закоулки, которые, подобно мешкам, имея вход, не дают свободного выхода. Эти непроходимые и непроезжие улицы называются также «глухими переулками». Наши города, зачастую расположившиеся у подножия гор и в распределении жилищ очутившиеся в зависимости от направления косоголов и речных берегов, в особенности обилуют такого вида улицами; наиболее же прославилась ими холмистая Москва. Не селились люди как прямее, а строились как ладнее. В старинных городах, когда, вопреки новым узаконениям, дома ставились даже в таком порядке, как вздумалось и как пришлось по зависимости от соседей, к тупикам этим оказалась как бы намеренная и упрямая наклонность. Много возни и хлопот они причинили тем, кто пускался переделывать и перестраивать этот неудобный порядок. Не избегнул тупиков даже и такой втиснутый в струну аккуратный немец, как регулированный три раза Петербург, в своих глухих переулках. Такими еще очень недавно славилась его окраины и в особенности первоначально заселенный пункт, какова Петербургская сторона. Доводились и здесь на ровных болотистых, поемных водою, низинах «вставать в тупик, что некуда вступить» в прямом смысле.

БАКЛУШИ БЬЮТ

Баклуши бить — промысел легкий, особого искусства не требует, но зато и не кормит, если принимать его в том общем смысле, как понимают все, и особенно здесь, в Петербурге, где на всякие пустяки мастеров не перечтешь, а по театрам, островам и по Летнему саду их — невыгребная яма. Собственно незачем и ходить далеко, но за объяснением коренного слова надобно потрудиться хотя бы в такую меру, чтобы подняться с места, пересечь в Москве в другой вагон и, оставив привычки милого Петербурга, снизойти вниманием до Нижнего Новгорода. Нижним непременно и обязательно следует

по пути полюбоваться: стоит он того! Перехвастал он и острова и Поклонную гору, что под Первым Парголовым. Красота его видов — неописанная. Есть у него соперник в городе Киеве, да еще обе эти силы не меряли и не вешали, а потому сказать трудно, кто из них внешним видом привлекательнее и красивее.

Если посмотреть на Волгу и ее берега со стороны города, хотя бы с так называемого и столь знаменитого «откоса», то простор, разнообразие и широкое раздолье в состоянии ошеломить и ослепить глаза, обессилевшие в тесных и душных высочайших коридорах столичных улиц и проспектов. Там, на Волге, на этом месте все есть, к чему бессильно стремятся всяческие, и все вместе взятые, театральные декорации, размалевывая прихотливые изгибы реки, зелень островов и бледноватую синеву леса, обыкновенно завершающие задние планы картины. Все это здесь могущественно и величественно, как те две реки, которые вздумали именно в этом месте начать обоюдную борьбу своими водами. На них — перевозный паром, на котором установлено до двадцати телег с лошадьми, и работают пароходы. И они, и этот уродливый и большой дощаник кажется ореховой скорлупкой. До того высока гора и до того мелко, как игрушечные изделия на вербах, вырисовываются на противоположном низменном берегу церкви села Борок. Теперь уже оно не оправдывает своего лесного названия: леса очень далеко ушли вглубь синеющего горизонта. Но зато какие это леса, те, — которых не видно (но они еще уцелели там, дальше, за пределом, положенным силе человеческого взора), леса «чернораменные»: керженские, ветлужские! Их редкий из читающих людей не знает. Ими вдохновился покойный знаток Руси П. И. Мельников (Андрей Печерский) в такую меру и силу, что написанная им бытовая поэма сделала те леса общественным народным достоянием, в виде и смысле крупного художественного вклада в отечественную литературу.

Следом за ним на короткое время и мы заглянем сюда в эти интересные леса, куда П. И. Мельников сумел так мастерски врубиться для иных целей. В этих первобытных дремучих дебрях, которые также начинают изживать свой достопамятный век, хотя, после П. И. Мельни-

кова, и не осталось щепы, зато процветает еще «щепеное» промысловое дело.

В самом деле, эти боры и раменья или совсем исчезли, или очень поредели: много в них и обширных полян, и широких просек, и еще того больше ветровалов и буреломов. Здесь производится издавна опустошительная порубка деревьев на продажу, которой подслужилась столь известная в истории староверья река Керженец. В лесах этого Семеновского уезда Нижегородской губернии издавна завелся и укрепился промысел искусственной обработки дерева в форме деревянной посуды, говоря общепринятым книжным термином, или, попросту, заготавливается на всю Русь и Азию «горянщина», или щепеной товар: крупная и мелкая домашняя деревянная посуда и утварь. Сильный ходовой товар — лопаты, лодки-долбушки (они же душегубки), дуги, оглсбли, гробовые колоды, излюбленные народом, но запрещенные законом. Для разносных и сидячих торговцев, с легким или съестным товаром и для хозяйства — лотки, совки, обручи, клепки для сбора и вязки обручной посуды — это горянщина; и мелочь: ложки, чашки, жбаны для пива и квасу на столы, корыта, ведра, ковши — квас пить, блюда, миски, уполовники и друг. — это щепеной товар. От этой мелочи и мастера точильного посудного дела называются «ложкарями». Они мастерят и ту ложку «межеумок», которою вся православная Русь выламывает из горшков крутую кашу и хлебает щи, не обжигая губ, и «бутызку», какую носили бурлаки за ленточкой шляпы на лбу вместо кокарды. Здесь же точат и те круглые расписные чашки, в которых бухарский эмир и хивинский хан подают почетным гостям лакомый плов, облитый бараньим салом или свежим ароматным гранатным соком, и в которые бывшая французская императрица Евгения бросала визитные карточки знаменитых посетителей ее роскошных салонов.

Для такого почетного и непочетного назначения ходит с топором семеновский мужик по раменьям, то есть по сырым низинам, богатым перегноем. На них любит расти быстрее других лесных деревьев почитаемое всюду проклятым, но здесь почтенное дерево — осина. Оно и вкраплено одиночными насаждениями среди других

древесных пород и силится устроиться рощами, имеющими непривлекательный вид по той всклокоченной, растрепанной форме деревьев, которая всем осинам присуща, и по тому в самом деле отчаянному и своеобразному характеру, что осиновая роща, при сероватой листве, бледна тенями. Ее сухие и плотные листья не издают приятного для слуха шелеста, а барабнят один о другой, производя немелодический шорох. Это-то неопрятное и некрасивое, сорное и докучливое по своей плодovitости дерево, которое растет даже из кучи ветровалов, из корневых побегов и отпрысков, трясет листьями при легком движении воздуха, горит сильным и ярким пламенем, но мало греет,— это непохожее на другие странное дерево кормит все население семеновского Заволжья. Полезно оно в силу той своей природной добродетели, что желтовато-белая древесина его легко режется ножом, точно воск, не трескается и не коробится, опять-таки к общему удивлению и в отличие от всех других деревьев.

Ходит семеновский мужик по раменьям и ищет самого крупного узорочного осинового пня, надрубая топором каждое дерево у самого корня. Не найдя любимого, он засекает новое и оставляет эти попорченные на убой лютому ветру. То дерево, которое приглянется, мужик валит, а затем отрубает сучья и вершину. Осина легко раскалывается топором вдоль ствола крупными плахами. Сколет мужик одну сторону на треть всей лесины, повернет на нее остальную сторону и ее сколет, попадая носком топора, к удивлению, в ту же линию, которую наметил, без циркуля, глазом. Среднюю треть древесины в вершок толщиной, или рыхлую сердцевину, он бросает в лесу: никуда она не годится, потому что, если попадет кусок ее в изделие, то на этом месте будет просачиваться все жидкое, что ни нальют в посудину. Наколотые плахи лесник складывает тут же в клетки, чтобы продувало их: просушит и затем по санному пути свезет их домой. Эти плашки зовут «шабалой» и ими же ругаются, говорят: «Без ума голова — шабала». Есть ли еще что дряннее этого дерева, которое теперь лесник сложил у избы, когда и цены такой дряни никто не придумает,— есть ли и человек хуже того, который много

врет, без отдыха мелет всякий вздор, ничего не делает путного и мало на какую работу пригоден?

Шабалы семеновский мужик привез в деревню «оболванивать»: для этого насадит он не вдоль, как у топора, а поперек длинного топорища полукруглое лёзо и начнет этим «теслом», как бы долотом, выдалбливать внутренность и округлять плаху. Сталась теперь из шабалы «баклуша», та самая, которую опять надо просушивать и которую опять-таки пускают в бранное и насмешливое слово за всякое пустое дело, за всякое шатанье без работы с обычными пустяковскими разговорами. Ходит глупая шабала из угла в угол и ищет, кого бы схватить за шиворот или за пуговицу и поставить своему безделью в помощники, заставить себя слушать. Насколько нехорошо в общежитии «бить баклуши» — всякий знает без дальних объяснений; насколько не хитро сколоть горбыльки, стесать негодную в дело блонь, если тесло само хорошо тешет, — словом, бить настоящие, подлинные баклуши — сами видим теперь. Таких же пустяков и ничтожных трудов стоило это праховое дело и в промысле, как и в общежитии.

В самом деле, притесал мужик баклушу вчерне и дальше ничего с ней поделать не может и не умеет, так ведь и медведь в лесу дуги гнет, — за что же баклушнику честь воздавать, когда у него в руках из осинового чурбана ничего не выходит? Впрочем, он и сам не хвастается, а даже совестится и побаивается, чтобы другой досужий человек не спросил: каким-де ты ремеслом промышляешь? Однако с баклушника начинается искусство токарное. Приступают к самому делу токари, ложкари — мастера и доточники (настоящие) с покрова и работают ложки и плоски до самой св. пасхи. Вытачивают, кроме осиновых, из баклуш березовых, редко липовых, а того охотнее из кленовых. За ложку в баклушах дают одну цену, за ложки в отделке ровно вдвое. При этом осиновая ценится дороже березовой, дешевле кленовой. Да и весь щепеной товар из всех изделий рук человеческих — самый дешевый: сходнее его разве самая щепка, но и та, судя по потребам, в безлесных местах, лезет иногда ценою в гору. Если дешева иголка по силе и смыслу политико-экономического закона разделения

труда, то здесь около деревянной посуды еще подробнее разделение это, когда ложка пойдет из рук в руки, пока не окажется «завитой» (с фигурной ручкой), «заолифленной» (белилами, сваренными на льняном масле) и подкрашенной цветным букетом, когда, одним словом, ее незастеночно и исправнику подложить к яичнице-скородумке, на чугунной сковородке, с топленым коровьим маслом. Для господ и сами ложкари готовят особый сорт: «носатые» (остроносые) и тонкие самой чистой отделки: «Едоку и ложкой владеть».

Стоит у ложкаря его мастерская в лесу: это — целая избушка на курьих ножках, без крыши, только под потолочным накатом и немшоная: лишь бы не попадал и не очень бил косой дробный дождик в лицо и спину. В избе дверь одна, наподобие звериного лаза, и окно одно подынное, да другая дыра большая. В эту дыру просунул хохломский токарь толстое бревно, насадил на том его конце, который вывел в избу, баклушу и приладился к ней точильным инструментом. К другому концу бревна, что вышел на улицу, прицепил ложкарь колесо, а к нему привязал приученную лошадь: на нее если свистнуть, она остановится, если крикнуть да нукнуть, она опять начнет медленно переставлять разбитые ноги. Ей все равно: она знает, что надо слушаться и ходить, надо хвостом вертеть, а иногда и сфыркнуть в полное наслаждение и для развлечения. Тпру! — значит десять чашек прорезал резец. Теперь другую баклушу следует насаживать на бревно, а готовые чашки с того бревна-баклуши будут откалывать другие. В третьих руках ложечная баклуша так отделается, что станет видно, что это будет ложка, а не уполовник. Четвертый ее выглаживает, пятый завивает ручку; у шестых она подкрашенную сушится в печах и разводит в избе такую духоту и смрад, что хоть беги отсюда назад и прямо в лес. Кто бы, однако, ни купил потом эту ложку, всякий сначала ее ошпарит кипятком или выварит, чтобы эта штучка была непоганая да и не липла бы к усам и губам.

Покупать у ложкарей готовый щепеной товар станут «ложкарники», кто этим товаром торгует в посаде Городце и селе Пурехе (в последнем главнейшим образом). Они умеют доставлять и продавать эти дешевые, но не-

прочные изделия туда, где их успевают скоро изгрызть малые ребята, делая молочные зубы, и ломают сами матери, стучая больно по лбу шаловливых и балованных деток, привыкших дома бить баклуши.

СЛОНЯТЬСЯ И ЛОДЫРНИЧАТЬ

Слоняться в смысле бездельничать; *водить слонов* — ничего не делать, даром теряя время, один толковник пустился объяснять случаем из времен Екатерины. Слонов, приведенных царице от персидского шаха, «целые дни водили по Петербургу на показ народу, а за ними целые толпы, преимущественно молодежи, побросавшей всякое занятие, ходили разиня от изумления рот». Для Петербурга такое объяснение, может быть, и понятно и вполне заслуженное, но дело в том, что исстари поется в одной песне: «не слон слóнится» (см. слоняется) — грузно идет неуклюжий — валит тяжелой походкой; а в сборнике былин Кирши Данилова, при описании богатырского лука, говорится, что у него «полосы были булатные, а жилы слоны сохатные». Отсюда Даль имел полное основание заключить, что не одно лишь животное жарких стран называлось слоном, но что под этим именем разумелось встарь вообще тяжелое или большое животное, которое «слóном слоняется» по лесам, хотя бы подобно тому же сохатому сибирскому лосю наших лесов (а сохатый он за то, что рога у него широкие, вилообразные, то есть развилистые или с рассохою). Но и в последнем выражении «слóном слоняться» все-таки слона не видно из-за обычного родному языку приема выражений подобных, например, нижеследующим: поедом ест, поколотом бьется, живмя живет, ревмя ревет, бегом бежит, потребовавших деепричастий для поддержки с целною усиления впечатлений и значения. Едва ли также с большою удачею принимались толковать однородное слово:

Лодырничать от лодыря и от лодера. Лодырь, или лодер, — повеса и бездельник, шатун и плут, гуляка и оборванец — по мнению Даля, происходит от немецкого слова Luder, liederlich. По другим же толкованиям

(и также на руку немцам) — от московского доктора Лодера, завещавшего, между прочим, Московскому университету превосходный кабинет восковых препаратов анатомических аномалий. Этот доктор первый познакомил русских со способом лечения искусственными минеральными водами, обязывая пациентов, после питья, продолжительными прогулками и быстрой ходьбой. Тяготясь мучительными ожиданиями господ, кучера собственных экипажей, недоумевая при виде этой суетни и беготни взапуски, отвечали испуганным прохожим на вопросы, что это делается: «Лодыря гоняют. Мы сами видели, как из Москвы-реки воду брали»¹. Таким образом, с экипажных козел раздалось и разлетелось по белому свету верное и острое слово в успокоение доверчивым людям.

Видимо, и в этих случаях приходится с приметы пословицной старухи про дождь — сказывать надвое, либо, следуя пословичному выражению, «клещами на лошадь хомут натягивать». Это особенно применимо при истолкованиях чужих слов, заимствованных с иностранных языков. Так, например, происхождение слова «ше-рамыга» от французского *cher ami*, приспособленное к тем плутам и обманщикам, которые любят и привыкли все брать «шаром да даром», «поживляться на шаромыжку», — бесспорно. Между тем и здесь дают два объяснения. Одни относят время происхождения к 1812 г., когда голодные французы протягивали руки, прося о помощи своим обычным ласковым приветом, другие — к 1814 г., когда в свою очередь наши полуголодные солдаты, находившиеся в Париже, заходили в лавки за провизией и продавцы, ненавидевшие пруссаков, охотливо давали нашим все даром: *viens, cher ami!* Третье толкование также и здесь готово прислужиться тем, чтобы с барских кучеров перевести на лакеев. Эти-де, видя, как барыни ласково ухаживают за французскими пленными (после 1812 г.), принятыми в качестве гувернеров, подсмеивались над счастливыми, напыщенными и гор-

¹ Нашелся еще и третий толковник, который то же слово производит от английского *loiterer* (лентяй), но до этого уже так далеко идти, что и с места вставать не хочется.

дыми перед низшими, вертлявыми перед господами, и прозвали их шерамыгами.

Пожалуй, что здесь можно и кончить, имея в виду бесспорные указания на те пословицы и поговорки, которые поступили в русский обиход из чужих земель. Остановимся на более известных.

С немецкого переведены: «задать кому феферу» (перцу); «строить воздушные замки», «знают его, что пеструю собаку»; «голод — лучший повар»; «лебединую песню спеть»; «смотреть сквозь пальцы»; «свинью подложить», «пускать пыль в глаза» и т. д.

С французского: «куры строить»; «он не в своей тарелке»; «нет героя у камердинера»; «риск — благородное дело» и т. д. — все придумано для городского обихода, что собственно не в задаче этого труда.

С более важной стороны для непосредственных заимствований самим народом имеется превосходный источник — церковные чтения и пение — преимущественно для грамотеев. Таковы наичаще встречающиеся, полученные всего больше из псалтыри: «притча во языцех»; «оставиша остатки младенцам твоим»; «око за око, зуб за зуб»; «от дел твоих сужу тя»; «истина от земли, а правда с небес» и проч.

ЛЯСЫ ТОЧАТ

В тех же заволжских лесах, о которых было сказано прежде и где быют настоящие баклуши и вытачивают из них бесконечного разнообразия вещи, также не обманым, а настоящим образом «точат лясы или балясы».

Там не ведут шуточных разговоров на веселое сердце в свободный час и досужее время, истрачивая их на пустяки или «лясы», на потешную или остроумную болтовню. Усердно и очень серьезно из тех же осиновых плах точат там фигурные балясины, налаживая их наподобие графинов и кувшинов, фантастических цветов и звериных головок, в виде коня или птицы: кому как вздумается и взбредет на ум или кто как выучен с малых лет. Работа веселая, позывает на песню и легкая уже потому, что дает простор воображению и нередко руководится

рисунком, которым можно угодить, заслужить похвалу и «на водку». Делается напоказ для похвальбы и идет на украшение лестничных перил, поручней на балконах и т. п.... все не в прямую пользу и не для всякого мужика, сколько его ни народилось на свете, а только для богатого и, стало быть, тщеславного. В глазах ложкарей, приготовляющих нужные всем и полезные вещи, такое веселое занятие кажется менее внушающим уважения за последствия, и точеные, на разный рисунок, столбики — пустяковиной, сравнительно с ложкой, чашкой и уполовником. Лесной житель привык видеть в природе отупляющее однообразие и обязан всегда любоваться ее строгим и хмурым видом и среди ее жить чаще буднями, чем праздниками. С другой стороны, на обоих оживленных берегах Волги, среди открытого простора и бесконечного движения, особенно «на горах», народились охотники на яркие и пестрые безделушки, которым придают они большую цену, — особенно богатые судохозяева.

Отвечая спросу и угождая вкусу поволжских богачей, в среде семеновских токарей издавна завелся особый сорт промышленников, которых и называли «балясниками». Их досужеству обязаны были своей пестротой и красотой все те суда, в особенности коноводки и расшивы, которые плавали вдоль Волги. Когда они выстраивались рядами, во время Макарьевской ярмарки, в самом устье Оки, вдоль плашкоутного наводного моста, выставка эта была действительно своеобразною и поразительною. Подобной в иных местах уже и нельзя было встретить. Она местами напоминала и буддийские храмы с фантастическими драконами, змеями и чудовищами. Местами силилась она уподобиться выставке крупных по размерам и ярких по цветам лубочных картин, а все вместе очень походило на нестройную связь построек старинных теремов, где балкончики, крыльца, сходы и повалуши громоздились одни над другими и кичились затейливой пестротой друг перед другом. Идя по мосту с Нижнего Базара города на песчаный мыс ярмарки, нельзя было не остановиться, и можно было подолгу любоваться всем этим неожиданным цветистым разнообразием.

Строгий деловой и казенный вид однообразных пароходов, которые в последнее время, по американскому способу, стали уподобляться даже настоящим многоэтажным фабрикам и заводам, сбил спесь с расшив и коноводок до такой степени, что они теперь почти совершенно исчезли. Исчезло с ними вместе в семеновских лесах и специальное ремесло балясников, уступив место подложным — тем ловким людям, которые «лясы точат — людей морочат», хвастливыми речами «отводят глаза и заговаривают зубы», а угодливыми поступками берут города, то есть все то, чего не достигают другие люди честным трудом и прямыми заслугами. Много таких мастеров в больших городах и в высших сословиях.

СЫР-БОР ЗАГОРЕЛСЯ

Говорят это, когда неожиданно, снегом на голову, нагрянула великая неизживная беда, либо поднялся шум из пустого. Обе крайности сведены все на тот же сухой сосновый лес, так называемый красный — строевой, величественный в непочатом виде, который докучлив северянину по своему изобилию, но драгоценен по разнообразию приносимой пользы. Нет для великоросса более сокрушительной беды, как если когда займется пожаром этот сырой бор, и помрачится солнце, и потонет в непроглядном дыму вся эта поднебесная красота. Где эти горные кряжи, как добрый конь гривой, покрытые зеленой щетиной сосен, стоявших стройными рядами, как сказочные богатыри, и где эти зеленые долины между гор, пересеченные такими же веселыми оврагами? Среди них, как стадо пугливых овец, стояли белые кудрявые березы. В полугоре без ветра шумела осиновая роща, а за ней в голубой дали опять подымалась щетина дальних боров там за рекою, которая сверкала широким изгибистым коленом, как зеркало. По ребру ближней горы цеплялась узенькая дорога, и ее пересекал, весело журча, говорливый ручей. Все теперь поглощено огнем, и он ничего не пощадит. Вот уже затрещало и занялось и то место, которое «заповедали»: звали священ-

ника с образами и хоругвями, пели всем миром «Слава в вышних богу» и обходили кругом и никто не смел въезжать в тот лес с топором. Огонь теперь и заповедное пожрет, все переменит — старые виды велит забывать и закажет привыкать к новым. Теперь остается одно: прислушиваться и ужасаться — ужасаться тому шуму и треску, который разводит пожар и в сухоподстоях и в молодняке. Кто бывал свидетелем лесных ураганов в огненном море, производимом большими пожарами, тот во всю жизнь о том не забудет (мне уже пришлось один раз вспомнить, как самовидцу, и посильно описать). Кому посчастливилось не быть свидетелем подобных ужасов народного бедствия, тот в «Лесах» Мельникова найдет довольно близкие правде картины. Кто же пожелает проникнуть глубже в этот вопрос и очевиднее понять и ужасы картины и ужасы последствий опустошения, тот найдет их в бесхитростном, прямодушном и умно написанном сочинении «Очерки Заволжской части Макарьевского уезда». Здесь и автор «В лесах» принужден был искать неподдельно живых и свежих красок. Следует, в заключение этой заметки, посетовать на злоупотребление, допускаемое в разговорной речи, позволяющей себе уподоблять людской пустяковский шум тому могучему и устрашающему, который подымает лесной богатырь, когда снимется с ним бороться другой такой же силач.

ЛАПТИ ПЛЕТУТ

Лапти плести в иносказательном смысле собственно значит путать в деле и в разговоре. Так по крайней мере понимает сельщина и деревенщина («путает, словно кашу в лапти обувает»). В городах применяют это выражение к тем, которые медленно, вяло и плохо работают, и применяют, пожалуй, также основательно, так как самый хороший и привычный работник на заказ успевает приготовить в сутки лаптей не больше двух пар. Легко плетутся: подошва, перед и обушник (бока); замедляется работа на запятнике, куда надо свести все лыки и связать петлю так, чтобы, когда проденутся оборы, они не кри-

вили бы лаптя и не трудили бы ног в одну сторону. Не всякий это умеет. «Царь Петр (говорит народ) все умел делать, до всего дошел сам, а над запятником лаптя задумался и бросил. В Питере тот недоплетеный лапоть хранят и показывают». Оправдывая таким неверным сказанием самое немудреное дело на свете, предоставленное в деревнях ветхим старикам, которые уже больше ничего не могут делать, — народ около лаптя умудрился выискать некоторые поучения, выдумал и пустил в оборот еще несколько обиходных выражений. Из области технических деревенских производств вообще взято довольно выражений для живого языка и ежедневного руководства.

Кто шатается без дела и не находит места, где бы найти работу и присесть за нее, — тот «звонит в лапоть». Кто вдруг и сразу захотел сделать дело, да не вышло, — остался хвастливый ни при чем, — говорят тому в укор: «Это не лапоть сплести!» Обеднел кто по своей неосмотрительности, которая, однако, не возбуждает сожаления, про того говорят, что он переобулся из сапог в лапти; а случается, что «переобувают» другие ловкие люди — товарищи в деле и в предприятии. На кого ничем нельзя угодить, хоть разорвись, — на того «черт плетет лапти по три года кряду». Собственно «лапти плести — одна в день есть» — немного заработаешь, потому что пара лаптей дороже трех и пяти копеек бывает редко, и то подковыренная паклей или тем же лыком. Между тем на этого явного и всеми основательно обвиненного врага и злодея красивых и, по применению к общежитию, наиболее полезных и дорогих деревьев истрачивается ежегодно неисчислимая масса. Достаточно вспомнить, что на лыки для пары лаптей обдирается три молоденьких липовых деревца и что только в таком раннем возрасте (до 4—6 лет) они способны удостоиться чести превратиться в обувь. Ее добрый мужик в худую пору изнашивает в одну неделю в количестве двух пар.

Происходит это от умения ровно подбирать сплошной ряд лыковых лент в дорожку по прямой черте, а также и от добросовестного выбора только самых чистых лык. Не всякое лыко годится в лапотную строку; отсюда и распространное выражение: «Не все в строку, не всякое

лыко в строку», обращаемое советом к тем, которые чрезмерно взыскательны и строги, и к тем, которые неразборчивы в делах, расточительны до излишества в словах, и т. п. «Не все лыком, да в строку» — кое о чем можно и помолчать.

Пока еще дадут мужику возможность обуться в сапоги и в том ему помогут, лапоть все-таки сохранит достоинство отличной обуви: дешевой и легкой для ходьбы по лесам и притом зимою — теплой, а летом — прохладной. Свалился он с ног на улице или завяз в грязи — не жалко: слез терять не станут, а догадливая баба поднимет на палку и поставит в огороде: начнет лапоть ворон и воробьев пугать.

В старину едва ли не всюду, а теперь во многих глухих местах, липовый лапоть играл почетную роль измерителя земли при общинных переделах, когда малые клочки хорошей почвы имели важное значение для уравнивания всех в правах владения или торжества общинной справедливости. Пахари становятся один против другого, и, считая вслух, приставляют один лапоть к другому непосредственно и так, чтобы передок головы одного приходился к запятнику (задку) другого. Поэтому и поллаптя принимается в расчет, и двое соглашаются «войти в один лапоть» и т. д.

В ДУГУ ГНУТ

Не в иносказательном, всем понятном, смысле, а в прямом, породившем это общеупотребительное «крылатое слово», дуги гнут не одни медведи, а те же простые мужики-сермяги. Медведи в лесу дуги гнут — не парят, а если переломят, то не тужат. Парит и тужит тот, кто работает этот покупной и ходовой товар на базары обычно в то время, когда настоящий медведь, отыскавши ямы в ветровалах, заваливается в них спать до первых признаков весны. Зимой — временем, столь вообще властным в жизни нашего народа, — и дуги гнут, и колеса тут же, по соседству, работают, и сами же собирают их. Особых мест не предоставлено: самый промысел стал теперь кочевать, отыскивая подходящие леса в нынешнее время

их поголовного и бессовестного истребления. Например, ильмовые и вязовые дуги считались самыми лучшими и предпочитались другим, а теперь там, где властвовало чернолесье (в срединной России), илим, как говорят, ходит в сапожках, то есть можно еще найти, но деревья оказываются никуда не годными: всегда с гнилой сердцевиной. Поневоле стали обращаться к ветле и осине. Осина и на этот раз нуждающихся в ней выручает. В тридцать пять—пятьдесят лет возрастом та осина, которая вырастает на «суборовинах» или на возвышенных местах, прилегающих к настоящим борам, не хрупка и прямослойна, а потому признается годной; из нее гнут дуги и ободья. Но где же ей сравниться с высокими качествами древесины илима или вяза? Если живописному дереву — вязу — задалась глубокая и рыхлая, а в особенности свежая и сырая почва по низменным пологостям рек и оврагов, он дает древесину очень вязкую и твердую, крепкую и упругую. Ее трудно расколоть; она не боится ударов и при этом прочна. С ней много хлопот столярам, но зато в изделии она красива по темно-коричневому цвету ядра и по широкой желтоватой заболони и хорошо при этом полируется.

На смену исчезающих вязов всегда, впрочем, годится и даже напрашивается ветла или ива различных пород и многочисленных названий (верба, ракета, бредина, лоза, чернотал, шелюга и т. д.). По России она распространена повсеместно, а в средней полосе, где умеют гнуть дуги и полозья, она является в наибольшем количестве. Ивушка зато воспевается в песнях чаще прочих деревьев, потому что докучливо мечется в глаза: по лесам между другими деревьями, по рекам, оврагам, на выгонах, по сырым покосам. Может она расти на сухих песках и бесцеремонно лезет в чистые мокрые болота, причем растет необыкновенно скоро: даже срубленный пень быстро покрывается множеством молодых побегов. Вот почему и дуга — чаще ветловая, уподобляемая весьма образно в живом народном языке человеческой неправде: «Если концы в воде, так середка наружу; когда середка в воде — концы наружу».

За то, что эти деревья упруги, с ними обычно поступают так. Сначала непременно парят. На это дело

годится всякая жарко натопленная банька, а где уж этим промыслом живут и кормятся, там относятся к делу с большим вниманием и почтением. Там гнут дуги на две руки: либо на котловой, либо на огневой парке. Для этого приспособлены и особые заведения: простой деревянный сруб, смахивающий на плохую избенку, аршина на два в вышину. На потолке навалено земли и дерна, сколько он сможет сдержать, а сквозь стены внутрь проведены две слег и прорублена дыра с дверкой, чтобы можно было пролезать. В оконце мужик влезет, на слегах уложит вязовые кряжи, на полу зажжет поленья дров и вылезет вон чернее черта. Дверцу в оконце он за собою запрет. Дрова тлеют, а кряжи млеют. Ветлы и вяз так распариваются, что гни их потом, куда хочешь. Это — огневая парня. А если налить водой котел, подложить под него огонь и заставить пустить пар также в наглухо закрытую парню, то и сыр-могуч дуб сдается: придвигай теперь станок и сгибай дерево — не сломится. Свяжи только концы веревкой, да даже хотя бы и мочалом (ценой всего на копейку), и оставь лежать: кряж попривыкнет, слежится, ссыхаясь и замирая так, как ты того хочешь. Когда дуги остынут, их обтесывают топором, потом проходят скобелью, затем просушивают в теплых избах. На просушенных можно уже вырезать всякие узоры, а затем и кольцо продеть и колокольчик повесить. На охотников, сверх всего, готовится краска из коры крушины (которую кое-где, кстати, называют «кручиной»). Толкут ее в порошок и разводят кипятком: выходит оливковый цвет. В расписной кичливой дуге и не узнаешь теперь красивого вяза и величественного, гордого и могучего дуба.

КОЛОКОЛА ЛЬЮТ

— По городу сплетни пошли, и одна другой несбыточнее и злее, — что это значит?

— Колокол где-нибудь льют.

— По деревням бродят вести и соблазняют народ на веру в них. Иная хватает через край, а хочется ей верить: придумано ловко.

— Не верьте, не поддавайтесь: это — колокольный заводчик прилаживается расплавленный колокольный состав из олова и меди вылить в форму и застудить, чтобы вышел из печи тот вестовщик, который, как говорит загадка, сам в церкви не бывает, а других в нее созывает.

Этот обычай родился, конечно, в то время, когда деревянные и чугунные доски, подвешенные к церковным дверям, начали заменять звонкими благовестниками. Шел обычай, вероятно, из Москвы, где, кстати, на Балканах рядом и о бок с колокольными заводами живут в старых и ветхих лачужках первые московские вестовщицы и опытные свахи. Вся задача на этот раз состоит в том, чтобы пустить слух самый несбыточный и небылицу повернуть на быль. Мудрено ли? С древних времен забавные небылицы и дикие вести и слухи привыкли ходить по стогнам этого города на тараканьих ножках, и под них здесь никогда не было нужды нанимать подводы.

Выходила сплетня обыкновенно прямо с колокольного завода, а выпускали ее в угоду хозяину и с полною верою в ее несомненную пользу, как обязательный придаток к искусству отливки, заинтересованные удачею дела работники. С Балкан быстро перелетала весть, как по телеграфной проволоке, в Рогожскую, оттуда перекидывалась, как пожарная искра по ветру, в благочестивое Замоскворечье, а отсюда разлеталась мелкими пташками по Гостиному двору и по всем трактирам, с прибавками и подвесками.

— Проявился человек с рогами и мохнатый: рога, как у черта. Есть не просит, а в люди показывается по ночам; моя кума сама видела. И хвост торчит из-под галстука. По этому-то его и признали, а то никому бы не догад.

Это глупое известие самое употребительное в таких случаях везде и в такой степени, что его можно назвать «колокольным». Конечно, бывают и другие сплетни, каких в Москве вообще не оберешься. Доходит дело до того иногда, что самые недоверчивые люди впадают в сомнение: в сущую ли правду следует верить ходячему слуху, или и в самом деле какой-нибудь тароватый церковный староста заказал новый колокол.

Пущен же нелепый слух с тем, чтобы отвлечь внимание праздной и докучливой толпы от своей работы, в уверенности, что в новом колоколе не будет пузырей. Таким способом отвлекают внимание, скрывая день и час родов женщин (лишний человек — помеха).

Недавно по берегам Камы в селениях и городах Вятской и Пермской губерний упорно ходили слухи, что вот-вот в одном селении зарезали православного священника, который между тем здравствует и до сих пор. В 1890 г. там же и особенно в Сарапульском уезде на 10 декабря ждали мороза в 60 градусов, потом на 15 число 100 градусов и потому запасали дрова, пищу для себя, корм для скота, обоконки для окон. Эти слухи распускали заводчики г. Слободского, получившие большой заказ на колокола.

Вообще следует сказать, что этим церковным благовестникам не только приписывается врачебная сила (например, для глухих, для больных лихорадками и проч.), но народное суеверие зачастую подозревает в них нечто мыслящее и действующее по своему желанию. Так, например, один сослан был в ссылку за то, что, когда во время пожара хотели бить набат, он «гулку не дал». Царь Борис сослал углицкий колокол в Тобольск за то, что он целый город собрал на место убиения царевича Димитрия. При подъемах новых на колоколенные башни иные упрямятся и не поддаются ни силе блоков, ни тяге веревок, предвещая нечто недоброе и во всяком случае зловещее. В Никольском уезде Вологодской губернии, на реке Вохме, невидимый колокол отчетливо и слышно звонил, указывая место, где надо было строить церковь. Это было в 1784 г. В 1845 г. эта церковь сгорела, причем колокола тоскливо и жалобно звонили, — и с той поры сберегается там поговорка: «Звоном началась — звоном и кончилась». Не говорим уже о чрезвычайном множестве провалившихся городов с церквями, колокола которых не перестают в известные дни слышно звонить и под землею и под водами, например в реке нижегородского города Большого Китежа. В одной Белоруссии я знаю таких мест больше десятка. В заволжских лесах Макарьевского уезда Нижегородской губернии большой колокол Желтоводского монастыря будто бы и по сие

время подает знак на св. пасху в святую заутреню, когда начинать христосоваться, в тех селениях, которые разобщены с селами и лежат среди дремучих лесов, в шестидесяти верстах от гор. Макарьева, и т. п.

Не забудем также и тех исторических фактов, когда колокола имели даже и политическое значение. Перевозка их из одного города в другой служила одним из знаков утраты самостоятельности. Оба вечевые, новгородский и псковский, перевезены в Москву (псковичи так и говорили царскому послу: «Волен князь в нас и в колоколе нашем»). В XIV веке Александр Суздальский, возведенный ханом в достоинство великого князя, перевез соборный колокол из Владимира в Суздаль. Тверские князья Константин и Василий Михайловичи должны были отправить в Москву соборный колокол, как знак зависимости от Калиты, и т. д. Теперь на колокольне Ивана Великого целая так называемая «колокольная фамилия», состоящая из тридцати одного звона, в числе которых находятся и удельные: ростовский, новгородский, корсунский и проч. В старину за действием этой «фамилии» наблюдали сами патриархи; к настоящему времени многие колокола лежали неподвешенными, иные неизвестно куда исчезли. Звонили только шестнадцать, у других висевших не было языков (клепал или телепней).

СТОЯТЬ ПОД КОЛОКОЛАМИ

В самой Москве, в которой еще в XVII веке, по свидетельству иноземцев, насчитывалось до пяти тысяч колоколов, «дивных слышанием», — впоследствии оказалось удобным «стоять под колоколами» в прямом и переносном смысле, то есть в последнем значении «слышать» не всегда подколокольный звон, но и сущую «правду-матку». В 60-х годах мне показывали в Москве того оглашенного, который «ходил под колоколами», то есть принял столь редкую вообще, но не уничтоженную и новым законом «очистительную присягу».

Ограбил он, под видом опекуна, капитал сирот, и когда подростки наследники потребовали отчета, а улик

и доказательств никаких в руках не имели, он согласился «пройти под колоколами». Обычно сделали ему сначала увещание в церкви, и он потом присягал на кресте и евангелии при колокольном звоне во-вся и среди все-народного множества, которое едва не разрушило церковные стены. Шел он туда посреди живой стены народа с непокрытой головой, но вышел (как и всегда во всех таких случаях) не оправленным: люди таким крайним и резким случаям опасаются верить. Они внутренне убеждены, что «бог очистительной присяги не принимает». Она остается лишь в виде добровольной сделки ответчика со своей совестью да приканчивает дело с наследниками или вообще с обвинителями, не добившимися удовлетворения иными способами.

Московский купец, среди белого дня, на виду всей Ножовой линии Гостиного двора, наполненной праздными зубоскалами и несомненными остряками,— купец, прогулявшийся по Красной площади под колоколами Василия Блаженного и Казанской, считался человеком отпетым: на него указывали пальцами. Жил он точно на том свете, всеми покинутый и презираемый. Вообще этот способ очистительной присяги признавался самым неудобным и тяжелым, пригодным на крайние случаи и породившим поговорку: «Горе идущему, горе и ведущему». «Хоть при колокольном звоне под присягу пойду» — осталось теперь в виде божбы или клятвы необязательной к исполнению и однородной с подобными: «лопни утроба (глаза)»; «хоть голову на плаху»; «даю руку на отсечение»; «иссуши меня, господи, до макового зернышка»; «сквозь землю в тартарары провалиться»; «с места не встать»; «детей не видать»; «всему высохнуть»; «первым куском подавиться»; «ослепнуть, оглохнуть»; «коли вру, так дай бог хоть печкой подавиться» и т. д.

НА ВОРЕ ШАНКА ГОРИТ

Рассказ довольно простой для объяснения и к тому же весьма известный. Кто его успел забыть, тем напомним. Украл что-то вор тихо и незаметно и, конечно, скрыл

все концы в воду. Искали и обыскивали — ничего не нашли. Думалось на кого-нибудь из своих близких. К кому же обратиться за советом и помощью, как не к знахарю? И не знаясь с бесом, он, как колдун, умеет отгадывать.

Знахарь повел пострадавших на базар, куда обыкновенно все собираются. Там толпятся кучей и толкуют о неслыханном в тех местах худом деле: все о том же воровстве.

В толпу эту знахарь и крикнул:

— Поглядите-ко, православные: на воре-то шапка горит!

Не успели прослушать и опомниться от зловещего окрика, как вор уже и схватился за голову.

Дальнейшего объяснения не требуется, но два однородные рассказа просятся под перо. В видах же полноты и надлежащей точности обязан я напомнить о существовании однородных анекдотов — из восточных азиатских нравов (например, один записан в каком-то даже учебнике для переводов с русского под мудрено-длинным заголовком «Верблюдовожатый»). Тем не менее два представляемые мною — коренные русские.

Посланный министерством государственных имуществ лесничий (по фамилии, сколько помнится мне, Боровский) описывал леса Печорского края и бродил по ним, тщетно разыскивая цельные лиственничные рощи, — ходил, конечно, с астролябией и со съестными запасами. За ним бродила целая партия рабочих, — таких простаков, что даже позднее этого события я не нашел у них замков, кроме деревянных, против блудливой рогатой скотины. У этих устыцyleмов также, по обычаю, была сплочена артель, хотя она, при таком казенном деле и заказе, и не нужна была вовсе. Сбились в артель, или «котляну», как говорят там, то есть «покрутились» все в один котел и кошель или составили артель продовольственную, чтобы уваривались щи погуще, а каша покруче: «Артельно за столом, артельно и на столе».

Все шло хорошо. Котляна была крепка и работой и товарищеским согласием. Ходит лесничий по глухой и мокрой тайболе — не налюбуется. Вдруг жалоба: при-

шли все, сколько народу ни было (и вор пришел, конечно, вместе с прочими), и просят:

— Вор завелся — изведи! Вот у этого смиренного парня запасные теплые пимы (сапоги) украли. Где их укупишь теперь, когда заворотят осенины? А в пимах-то были у него деньги запрятаны; не так чтобы очень много, однако около рубля, говорит.

— Стрелы бы тому в бок, кто такую напасть навел! Ты — ученый, все произошел: помоги нам, укажи вора!

Не желая «дискредитировать науки», ученый (по званию и в самом деле) лесничий решил поддержать и уважение к себе и веру в привезенные им из самого Питера знания. Придумал он позвать предварительно на совещание одного старика, который пользовался у всех большим уважением и был, что называется там, «умная башка».

— Не думают ли на кого товарищи, дедушко? — спрашивал старика молодой лесничий.

— Да все — хорошие люди. Все по артеле-то, что и по работе, равны, как восковые свечи перед богом в матушке-церкве. Одинаково горят!

— Однако и пальцы на руках не все равны, — заметил лесничий.

— Так ведь эдак-то — борони бог! — выйдет, пожалуй, у тебя, что, кто меньше ростом, тот и виноватый. На такой закон ты не выходи: согресишь! Может оказаться при такой скорости, что все мы тому злему делу причинны. Думай по-божески!

— Есть у вас парень чужой, пришедший, — один из всех не ваш: не он ли побаловал? Может быть, ему чужих-то и не жалко?

— Был — чужой, стал теперь свой, и парень он больно хороший. Замечаем, по котляне-то, что он есть лютой: «есвяной» такой парень! Ну, да ведь на работушке силу-то тратит, из котла опять ее назад берет. Не сумлевайся, не кори молодца, — ох, грех великий!

— На мои глаза больно он шустер и пройдошлив: ловчей всех ваших.

— А и слава те, господи! Скоро из котла ложку таскает да есть поторапливается — это по нашим приме-

там и очень прекрасно. Скор на еду — значит, скор и в работе. Однако с чужой ложки не хватает: пошто же на него напраслину выводить за это за самое?

Увидел ученый лесничий, что с атаманом артели не сговоришь; у заступника ее ничего не добьешься: правит он закон и обычай — стоит за артель горой.

Послушал лесничий того совета, который сказал ему старик уходя:

— Коли хочешь узнать сущую правду, ты ищи ее по-другому. Сделай милость, не пугай парня, не обижай его и никому на него не указывай! А я с тем и уйду, что словно бы и не слыхал от тебя ничего. Суди по-божьему!

Оставшись один, лесничий задумался. Перед глазами сыр бор да мшины, ветровалы да буреломы: ничего от них не допросишься. Вдруг на глаза ему попала астролябия, он так и привскочил с места. Из памяти его никак не выходит тот самый пришлый рабочий: на Печоре он к одному нанимался — отошел, у другого тоже не сжил до срока. Надо было показать и старику и артели, что этот человек нетвердый, а стало быть, и ненадежный, в отмену от прочих и — вероятнее других — виноватый.

Поставил лесничий всех своих рабочих в круг, по знакомому всем им знахарскому способу. Чтобы они не сомневались, он около них и круг очертил палкой и зачурал:

— Синус — косинус, тангенс — котангенс, диагональ, дифференциал, интеграл. Бином Ньютона, выручай! Астролябия и мензула, помогайте!..

Рабочие так и застыли на месте: угадал и угодил барин страшными словами. Когда же он поставил в самой середине их круга астролябию, раздвинул ее ножки и сам к ней приблизился, — они уже и глаза опустили в землю, и волосы на бородах не шелохнутся. Заподозренный лесничим рабочий установлен был прямо против северного румба компасика.

— Смотрите все на меня!

Лесничий шибко разогнал стрелку: она посуетилась, помигала под стеклом и встала перед ним острием прямо против того парня. Его так и взмыло!

— Врет она на меня. Она сможет указать и на другого. Я не согласен. Надо, по закону, до трех раз попытать. Гони ее опять!

И во второй раз, конечно, стрелка указала его: все молчат, словно мертвые. Лесничий опять проговорил «замок» по-новому и снова разогнал стрелку. Все повыступили с мест; подозреваемый дальше всех. Стрелка побегала, вздрагивая, и, словно охотничья собака, тыкалась и суетилась, обнюхивая и отыскивая виноватое место. Рабочие старались догнать стрелку глазами и как вкопанные остановили их вместе с нею на парне. А он уж пал на колена и лицо в траву спрятал. Полежал и говорит:

— Моя вина: берите вашу вещь! Ничего теперь не подделаешь! Ваш меч — моя голова!

Артель долго не расходилась, посматривая то на «начальника», то на мудреный «штрумент». Качали все головами и не могли надивиться:

— Ведь ишь ты! словно перстом указала.

На подобную же находчивость известного проповедника московского митрополита Платона указывают в двух анекдотах. По одному из них он обличил плотника, укравшего топор у товарища в артели в то время, когда Платон строил свой исторический скит Вифанию, в трех верстах от Троице-Сергиевской лавры. Я передал его в «Задушевном слове» для старшего возраста в VIII томе, в №№ 5 и 6. Теперь заменяю его более коротеньким, заимствованным из книжки «Русского архива», но совершенно однородным с тем, который передан был мною в 1885 г.

«Однажды докладывают митрополиту Платону, что хомуты на его шестерике украдены, что ему нельзя выехать из Вифании, а потому испрашивалось его благословение на покупку хомутов. Дело было осенью, грязь непролазная от Вифании до Троицкой лавры, да и в Москве не многим лучше. Митрополит приказывает везде осмотреть, разузнать, кто в этот день был, и т. п. Все было сделано, но без всякого успеха. Митрополит решается дать благословение на покупку, но передумывает. Он распорядился, чтобы в три часа, по троекратному удару в большой вифанский колокол, не только вся братия, но

и все рабочие, даже живущие в слободках, собрались в церковь и ожидали его.

В четвертом часу доложили митрополиту, что все собрались. Входит митрополит. В храме уже полумрак. Перед царскими вратами в приделе Лазаря стоит аналой, и перед ним теплится единственная свеча. Иеромонах, приняв благословение владыки, начинает мерное чтение псалтыря. Прочитав кафизму, он останавливается, чтобы перевести дух, а с укрытого мраком Фавора раздается звучный голос Платона:

— Усердно ли вы молитесь?

— Усердно, владыко.

— Все ли вы молитесь?

— Все молимся, владыко.

— И вор молится?

— И я молюсь.

Под сильным впечатлением окружающего и отрешившись мысленно от житейского, вор невольно проговорился. Вором оказался кучер митрополита. Запираться было нельзя, и он указал место в овраге, где спрятаны были хомуты».

ВОРА ВЫДАЛА РЕЧЬ

После указанных случаев, конечно, нет надобности прибегать к объяснению однородного и прямо-таки из них вытекающего пословичного выражения *«вора выдала речь»*. Однако не могу удержаться, к слову и поспопутью, чтобы не передать народной легенды, выслушанной мною в тех же местах, где сотворил свое чудо лесничий, — сказание о бродячем попе и встречном угоднике. Не мог рассказчик с точностью определить подлинное имя святого, но толковал:

— Ссылаются иные на Миколу угодника, что наши приморские и водяные места «порато» полюбил: «От Холмогор до Колы тридцать три Миколы» — сказывают в народе, а говорят, их больше.

— Здешные старухи, «однако», думают на батюшку Иова Праведного, что видел ты могилку в Ущелье-селе.

Там его Литва убила, «честную его главу отсекоша». А он, угодник божий, как охранял свою матушку-церкву!..

Затем следовали тому доказательства в настоящей легенде, которую я записал там, на реке Мезени, и теперь о ней кстати вспомнил.

ПОПОВСКИЕ ГЛАЗА

Вспоминаются на реке Мезени почернелые от времени церкви; вспоминается и этот бедный примезенский, пинежский и кеврольский народ, которому и свою избу вычинять очень трудно и некогда: все в отлучках за промыслами и за ячменным хлебцем вдали, где-нибудь на море.

При такой-то церкви жил и тот поп, о котором сохраняется в тамошнем народе живая память. Жил он, конечно, на погосте: на высокой и красивой горке, — далеко кругом видно. «Звону много, а хлеба на погосте ни горсти».

На погостах, как известно, крестьяне не селятся иначе, как на вечные времена до второго Христова пришествия. Их кладут около церкви в гробах, а живут в трех-четырех избах только церковники: поп-батюшка с многочисленным семейством и работницей, да кое-где дьякон, да два дьячка, если не считать на иной случай старого и безголосого, доживающего свой век «на пономарской вакансии».

На таком-то погосте проживал и тот священник, с которым случились дивные происшествия.

Жил он тут очень долго — и сильно маялся. Окольным мужикам было не лучше, да те по крайней мере зверя били, а священникам, приносящим бескровную жертву, как известно, ходить на охоту, то есть проливать кровь, строго воспрещено издревле. Если крестьян очень потеснит нужда и обложит со всех сторон бедами, они выселятся на другое место и семьи уведут. Стало в храме добрыми молещиками и доброхотными дателями меньше. В тех местах сверх того охотлив народ уходить в раскол беспоповщины: свадьбы венчают кругом

пня, хоронят мертвых плаксивые бабы; при встрече со священником норовят изругать и плюнуть на след. Не стало попу житья и терпенья, хоть сам колокольные молился, а про одного себя пел он обедни что-то чуть ли не десять лет кряду. На этот раз, по необычному на Руси случаю, этот поп был очень счастлив: вдов и бездетен.

Решился он на крайнее дело: со слезами отслужил обедню в последний раз в церкви, поплакал еще на могилках, да по пословице «живя на погосте, всех не оплачешь». Помолился он на все четыре стороны ветров, запер церковь замком и ключ в реку бросил. Сам пошел, куда глаза глядят: искать в людях счастья и такого места, где бы можно было поплотнее усесться.

Идет он путем-дорогою (рассказывал мне, по приемам архангельского говора, нараспев, старик с Мезени). Шел он дремучей тайболой, низко ли — высоко ли, близко ли — далеко ли, «челком» (целиком), — ижно пересадился, «изустал». Навстречу ему пала новáя (иная) дорога. А по ней идет старец седатой и с лысиной во всю голову «шибко залетной» (очень старый). Почеломкался: кто да откуда, и куда путь держишь? — Да так, мол, и так (обсказывает поп-от). — Да и я, батюшко, тоже хожу да ищу по миру счастья (старец-от): хорошо нам теперь, что встретились. Худо «порато», что ты черкву свою покинул и замкнул: ты в гости, а черти на погосте. И какой же приход без попа живет? Не урекать мне тебя, когда в дороге встретись, а быть, знать, тому, как ведется у всех: пойдем вместе. Я тоже бедный. Станем делить, что есть — вместе, чего нет — пополам.

Согласился. Шли — прошли, до большущего села дошли: в «облюделое» место попали. Постучались они под окном в первую избу: пустили их ночевать и накормили вдосталь-таки, не «уедно, да улежно». Да и обсказывают им про такое-то ли страшное матерущее дело. У самого богатеющего мужика один сын есть, как перст один: вселился в того богатеleva сына бес лукавый. Днем бьет его до кровавой пены, ночью в нем на нехороший промысел ходит: малых деток загрызает, да стал и за девок приниматься. Заскучали мужики, а пособить нечем. Сам отец большие деньги сулит, кто беса выгонит; бери,

сколь на́ себе унести сможешь. А поп-от тут и замутился умом и товарищу покучился:

— Хороши бы теперь деньги-то на голодные зубы. Эка вто́ра, и лих мне! — способить (лечить) не умею.

А старец-от на ответ:

— Однако попробуем — я умею. Ты ступай затым за мной, — бы́тьто бы я тебя затым в помощники взял.

Пришли они к богателю и обсказались. Вывели к ним парня, что моржа лютого: глазища кровью налиты и, словно медведь, норовит, как бы зубами схватить да когтями драть. Старичок взял свой меч и рассек его пополам: одну половинку в реке помыл, другую половинку в реке помыл; перекрестил обе — сложил вместе: стал жив человек. И пал затем ему сын в ноги, благодарит Миколу многомилостивого.

— Вот тут я тебе на Миколу рассказываю (заметил старик): да, надо быть, он самый и был затым, что у него в руках ниоткуда меч взялся, как его и на иконах пишут. А черковь-то свою он завсегда при себе имеет. Носит он ее на другой руке: за то, знать, он попа-то и прекнул при встрече.

Дошло у них дело до расчета. Богатый мужик в своем слове тверд, что камень; привел их в кладуху, кладену из кирпича, да столь большую, что и сказать невозможно. Справа стоят сусеки с золотом, слева стоят сусеки с серебром: по медным деньгам лаптями ходят, денег — дивно. «Берите, сколько на себе унесете!» И почал поп хватать горстями золото: полну пазуху навалил, полны карманы наклал (знаешь, какие они шьют глубокие), в сапоги насовал, в шапку; «жакдает». Начал уж за щеки золотые деньги закладывать, да еще товарища в бок толкает: «Что же ты не берешь?» — и приругнул даже, — «победнился». — А мне-ка (говорит старец) — ничего не надо. «Да хоть чего-нибудь схвати!» (поп-от). Сказано: поповы глаза завидующие, руки загребущие. Взял старец с полу три копиецки и разложил по карманам, третью за пазуху пехнул. И из села пошли. Поп «одва» ноги волочит, — столь тяжело ему! Прошли лесом, а он и «пристал»: отдохнуть припросился, «ясти» похотел. Из себя «телесной» такой мужик был!

Пеняет ему старец, святой угодничек:

— Вот ты денег-то нахватал, а хлеба на дорогу не выпросил. Денег при себе много, купить не у чего, а на животе «скет». Я вот запаслив: у меня три просвирки остались. Одну дам тебе, другую сам съем. Отдохнем, да поспим маленько, проспимся: я третью просвирку пополам разломлю. — Съел поп свою просвирку, да словно бы ему еще хуже стало. Скажу уж, согрешу с попом вместе: попово-то брюхо из семи овчин шито. Старец положил кулачок под головку и заснул батюшко, а поп от из кармана у него просвирку-ту схитил и съел, и спит словно правой. Пробудился старец: нету просвирки. «Ты, поп, съел?» — Нету, говорит. «Может, зверь лесной приходил?» — Мало ли его по лесу-то шатается. «А может, и птица стащила?» — Да вон коршун-то над головами вьется, — знать, разохотился: глядит он, нет ли у тебя еще запасной, а я не ел. «Делать нечего — дальше пойдем!»

Похряли и опеть. Супротив пала им наустрету река большая да широкая, что наша Печорушка: воды те благо. А на ней — ни карбасика, ни лодочки, хоть бы на смех колода какая, плот сказать. Поп затосковал, «беднится», а старец догадался: «Иди за мной, ничего, что нет на реке мосту». И пошли по водам, как по стеклышку. На середине-то старец остановился, да на самом-то глубоком месте помянул и спросил о просвирке. «Нету, говорит поп, не ел». И стал тонуть. «Признавайся до зла: вишь, как худо бывает». — Нету, рассказывает, не видал просвирки. — Охлябился поп, что «урасливой» (упрямый) конь. И по шею в воду ушел. И в третий раз уж из-под воды выстал, высунул голову: и булькает, и волоса отряхивает, и захлебывается, а все свое твердит: «Не ел я твоей маленькой просвирки: много ли в ней сыти-то? Обозлит только!»

— На нет и суда нет: пойдем, значит, дальше. — Вышли на берег — отдыхать надо. — Ты бы, батюшко, посчитал, сколько ухватил с собой денег-то. «А теперь и впрямь самое время». Хватил поп в кармане — и вытаскивал уголья. Сунулся в другой — те же самые черные-расчерные уголья, и за пазухой они же, а в сапогах уж он надавил одну черную пыль. Так он и заревел, задиковал.

А старец почал его унимать да разговаривать. «Ужоткова, бает, и я свои денежки смекну». Взял рукой в карман, где лежала копиецка, — вытащил пригоршню золота; где другие две копиецки лежали, там то же самое золото. У товарища и слезы высохли. Стал старец сгребать золото в три кучки — у товарища и глаза запрыгали. «Вот я опять стану делиться: эту кучку тебе». И сгребает ее: которая монета отваливается, ту опять в ту же кучку кладет и поправляет. А сам задумался глубоко так-то, словно бы скрозь землю ушел. Вторую кучку стал складывать: «Это, говорит, мне». Третью начал сгребать, а у него, надо быть, и глаза не видят, и пальцы не слушаются, и кладет-то их, словно бы отдыхая, а глаза у него слезинками застилает. Рассыпается кучка врозь, и никак он эту последнюю-то наладить не сможет. Долго он ее складал. А поп-от таращил-таращил глазищи-то да как спросит:

— А эта-та, третья кучка, кому?

— А тому, кто просвирку съел.

— Да ведь я просвирку-то съел.

Скажи на милость (нравоучительно толковал мой рассказчик): тонул — не признавался; увидал деньги: я, говорит, просвирку-то съел. Ох, грехи наши, все мы таковы! Не выносить нам платна без пятна, лица — без сорому.

ОПРОСТОВОЛОСИТЬ

Поделившись двумя случайными примерами, никак нельзя не припомнить, что в тех дальних местах не так давно приходилось наталкиваться воочию на остатки старинной простоты и честности. Например, в архиве г. Повенца, в делах бывшей паданской нижней расправы (Олонецкой губ.) сберегались записки должников, обеспечивавших долг обязательством: «Да будет мне стыдно, и волен он пристыдить меня привсенародно». Не могло быть в этих случаях пущего позора, когда снимали с воров и неплательщиков на базарах и на сходках шапки на квит, в полный расчет. Отсюда и объяснение поговорки:

«вор с мошенника шапку снял (то есть уличил)», «с недруга хоть шапку долой» и другие им подобные. Насколько зазорно для женщины, когда ее «опростоволосят» и всем неприятно «опростоволоситься», настолько и для мужчин важно держать голову покрытою. Из самых ранних исторических актов видно, сколько требователен был обычай прикрывать волосы. Шапки, называвшиеся клобуками, не снимались ни в комнатах, ни даже в церкви. «И виде Ярослава сидяща на отни месте в черни мятли и в клобуце, тако же и вси мужи его». Это в княжеских покоях, а вот и в церкви: «И начаша пети св. литургию; и рече Святослав ко Броневине, что мя на главе бодет, и сня клобук!» Впоследствии московские послы в чужих землях не снимали даже перед королями своих горлатных шапок. Им это раз заметили. Старший посол отвечал:

— У нас шапку снимают, когда в нее горох насыпают.

Вследствие всех изстаринных обычаев и до сих пор глупых и безрассудных людей называют «непокрытой головой». В деревенском женском быту «покрывать девушке голову» однозначнее с тем желаемым всеми обрядом, когда расплетут косу, накроют голову бабьим повойником и поведут под венец в церковь. Нелегко перечислить все обряды, которые сопровождают это важнейшее в девичьей жизни событие. С тех пор замужняя женщина не осмелится появляться на людях с открытыми волосами. Эта честь и право остается лишь за девицами, которые, ставшись невестами, показываются жениху не иначе, как под покрывалом, а находчивая и суеверная, даже и ставши под венцом, кладет кресты, чтобы жить богато, не иначе, как покрытой рукой. Самые молитвы о женихах приурочиваются к празднику покрова, с которого и начинаются зазывные для женихов посылки. Излишне объяснять теперь, насколько невыносима обида лишиться головной покрывки насилем посторонних людей, что применяется к зазорным женщинам в насмешку или в видах мщения. Было бы долго рассказывать, сколь упорны, ожесточенны и продолжительны были те войны, которые предпринимались в защиту этого головного украшения, дарованного самим творцом небесным и явленного в особенности в бороде. В старину существо-

вало выражение «быть в волосах», что означало современный траур и заключалось в том, что при всенародной печали, какова царская кончина, кроме одеванья печальной одежды, отращивали еще волоса ниже плеч.

У ЧЕРТА НА КУЛИЧКАХ

Русский человек вообще любит часто вспоминать про эту нежить, нечистого, лукавого и злого духа, причем богомольные люди стараются незаметно сделать рукой крестное знамение или творят про себя глухую молитву. Иные «чертыхаются», впрочем не столько с сердцов, сколько по дурной, худо сдерживаемой привычке. Посылают и недруга, и докучливого человека, и всех «ко всем чертям» или в «тартарары», еще не так далеко, как это кажется и как думают о том сами сердитые и вспыльчивые люди. Богатырские сказки и священные легенды учат, застрашивая, и уверяют, назидая, что, как вымолвишь черта, так он тут и появится с длинным хвостом и острыми рогами. Он готов купить душу и потом оказывать за то всякие услуги. Около святых, по пословице, они любят водиться даже в особину, как и в болотах, в таком множестве, что кажется, здесь у них самое лакомое и любимое место для недремлющей и неустанной охоты и стойки. Если же кто живет у черта, да еще при этом на куличках — это уже так далеко, что и вообразить трудно. Последнее выражение только в таком смысле и употребляется, хотя (следует заметить) произносится неправильно. Никакого слова «кулички» в русском языке нет и уменьшительного имени этого рода ни от какого коренного произвести невозможно. От кулича выйдут куличики, а от кулика — куличкй с знаменательным переносом ударения. Если же восстановим в этом слове одну лишь коренную букву и скажем «на кулижках», тем достигаем настоящего смысла выражения и можем приступить к его объяснению и оправданию, как к православному и крещеному.

Кулиги и кулижки — очень известное и весьма употребительное слово по всему лесному северу России,

хотя оно, очевидно, не русское, а взято напрокат у тех инородческих племен, которые раньше славянского заняли студеные страны. Они не сладили с ними и мало-помалу начали вырождаться и «погибоша, аки обри», говоря словами одного из древнейших, но уже в народе давно и совершенно исчезнувших летописных присловий. Слово «кулига» взято у этих несчастных языческих племен и, по обычаю, приведено и окрещено в русскую веру¹. Вот как это случилось.

Когда дремучий и могучий богатырь студеных стран России, хвойный лес, ослабевает в силах растительных, в нем местами являются прогаины, плешины, поляны. Здесь растет торопливо, сильно и густо трава с цветами всякого вида и ягодами всякого рода в обилии. Эти лесные острова и есть «кулиги». Дикие инородцы, у которых все боги злые и немилостивые, признали такие редкие места за жилища старшего керемети. А так как и его тоже, что и старшин и всякое начальство, надо умиловать приношениями ценного и приятного, то в таких местах собираются до сих пор приносить керемети жертвы. Колют оленей, овец, телок, жеребят; наедаются досьта и напиваются допьяна, поют и скачут. Другого применения этим кулигам дикие звероловы не могли придумать. Пошумят, поломаются, обманут совесть и разойдутся по лесным тущам, чтобы не сердить и не беспокоить бога. Его это место: оно им зачуровано и потому для всех свято.

Когда пришел сюда же русский человек, то он сейчас вспомнил, что от перегноя трав на этих местах самая плодородная почва, которую любят и рожь и ячмень. Тут он и поставил избу и приладил крест. Кереметь испугалась, отступилась и ушла с того места прочь. А так как русские люди тянулись сюда, по своему обычаю и привычке, целыми артелями, лесные же деревья тоже размножались и жили плотными общинами (сосна — так кругом сосна, ель — так все ель), то переселенцам и

¹ Инородческое окончание «га» повторяется в бесчисленном множестве слов домашнего обихода, но в особенности знаменательно в названиях таких крупных урочищ, как озера и реки. Таковы, например: Волга, Ветлуга, Онега (река и озеро), Мянгрига, Синдега, Куенга, Лапшенга, Пинегга, Вага и т. д.

пришлось немного призадуматься. Непролазные леса в этих суровых местах на кулиги неохотливы, легче им жить плотной стеной. Полян, то есть травяных островов, или безлесных равнин, в них немного, — все больше сырые болота, где хорошо живет только одним чертям, да и из них подбираются особенные — водяники: нагие, все укутанные в тину, умелые плавать на колодах, целый день жить в воде и показываться только ночью.

Задумываться, однакоже, привелось не долго таким людям, которые пришли в дремучие леса с сохой, топором и огнивом; начали они рубить деревья топором под самый корень, валить вершинами в одну кучу и в одно место и жечь. Стали выходить искусственные поляны, как места для жильев и пахоты; звали их назади, когда врубались в покинутые леса, «лядами, лядиками, огнищами». Это в западных лесах. В северных лесах, когда начали валить их, углубляясь в чащи с речных и озерных побережий, прозвали такие новые места и валками, и новями, и новинами, и горями, и росчистями, и пожегам, и подсеками, и починками. Чем дальше заходили вглубь, тем больше растеривали и забывали старые слова и все такие «чищобы» под пожню (для травы) и под пашню (для хлебов) стали звать чужим и готовым словом «кулиги». Так и осталось оно за ними на всем огромном востоке России, и выражение «кулижное хозяйство» принято теперь учеными людьми для пользования в книгах и пущено в ход в их сочинениях. Для хлебопашца в лесах это единственный выход и исключительный способ, отчего, как убеждается читатель, и такое множество синонимов на одно и то же слово, обозначенное в старинных актах общим именем «на сыром корени». «Да то все управит мати божия, что есть беды принял о месте сем!» — воскликнул святой и смиренный Антоний Римлянин, один из первых насельников новгородских кулиг и покорителей северных суровых стран.

Для пущего убеждения в географической распространности и исторической известности слова «кулига» имеем возможность указать даже на Москву. В те времена, когда этот город, по обычаю и приемам всего государства, созидался и ширился в лесных тесницах и трущобах, под жилые слободы отбили места таким же

новинным, или кулижным способом. В слободах этих, которые потом вошли в состав Москвы, выстроились церкви, устоявшие до наших дней под непонятным теперь для москвичей названием Троицы (за Ивановским монастырем), Рождества богородицы (на Стрелке) и Всех святых (за Варварскими воротами) «на кулижках». Это в трех местах Москвы, где на сухой горе, среди соснового леса, то есть на настоящем бору, несколько раньше выстроена была одна из древнейших церквей Кремля, собор Спаса на бору. При этом следует заметить, что московские чистобаи (название которых принято литературой и в разговорном языке) произносят слово «кулижки» правильно. Грамотеи же, вроде настоятелей тех церквей и составителей указателей, пишут его неверно, заменяя букву ж буквою ш. Повторился тот же придаток к живым урочищам и церквам и в других русских городах, где селения на кулижных росчистях также вошли в городскую границу.

Если остановимся на одной из московских кулижек, — именно на той, где близ Ивановского монастыря стояла при царе Алексее изба — патриаршая «нищепитательница» — то в житии Илариона Суздальского прочитаем о том событии. В богадельне этой (женской) поселился демон и никому не давал покоя ни днем, ни ночью: стаскивал с лавок, с постелей, по углам кричал и стучал, говоря всякие нелепости. Благодетельный царь повелел духовного чина людям творить молитвы на изгнание этого беса. Но он стал еще свирепее: начал явно укорять всех, обличать в грехах и стыдить, а иных бил и выгонял вон. На борьбу с ним вышел старец Иларион из г. Суздаля и начал одолеваять его обычным способом молитвы, но, лишь начнет вечернее пение, бес с полатей кричит ему: «Не ты ли, калугере, пришел выгонять меня?» Начнет старец ночью читать молитвы на изгнание беса, а черт кричит ему: «Еще ты и в потемках расплакался!» И крепко застучит на полотах и устрашает: «Я к тебе иду, к тебе иду». Свидетели, как, например, схимонах Марко, бывший самовидцем, испугались и хотели бежать из избы, но Иларион остановил их уверением, что «даже и над свиньями дьявол без повеления божия не имеет власти». Тогда избяной дьявол обернулся черным котом

и стал прискакивать к старцу всякий раз, когда этот хотел положить поклон. Цели бес не достиг. Иларион был столь незлобив, что сам враг похвалил его: «Хорошо этот монах перед богом живет», — и в заключение неравной борьбы принужден был сознаться, что его зовут Игнатием, что он «был телесен и княжеского рода», но что мамка послала его к черту, что из богадельни он выйти не может, так как не по своей воле пришел сюда. Не послушался он и бродячих попов с Варварского Крестца, стоявших там с калачами за пазухой (см. дальше ст. «Эй, закушу»), а даже обругал: «Ох вы, пожиратели! Сами пьяны, как свиньи! Меня ли вам выгнать?»

На этом сравнительно позднейшем сказании, записанном в малоизвестном житии, иные сами готовы (и советуют) основывать объяснение заглавного выражения (конечно, на произволящего).

Когда и на искусственных кулигах становилось жить тесно, а почва начала утрачивать силу плодородия, уходили от отцов взрослые и старшие сыновья, от дядей племянники и т. п. При полной свободе переходов, с помощью людей богатых, которые давали от себя даром и соху, и топор, и рабочую лошадь, брели врозь с насиженных и родимых мест так далеко, что и вести достигать переставали. Да и как и через кого перекинуться словом, когда стали жить у черта на куличках? Когда припугнули трусливых и диких народцев огненным боем, который вспыхивал внезапно, гремел гулко и разил наповал и насмерть, — кулиги стали подвигаться еще дальше, где уже, по присловью, и небо заколочено досками и колокольчик не звонит.

СОР ИЗ ИЗБЫ

деревенская пословица-закон выносить не велит и, конечно, не учит она этим приказанием нечистоплотности и неряшливости, не советует жить грязно (что несовместимо и с распространенностью повсюдного выражения и с его долговременной устойчивостью). Я при издании своих объяснений обошел ее как такую, которая

далеко прежде превосходно истолкована В. И. Далем. Привожу теперь это образцовое объяснение обиходного выражения в его прямом и переносном смысле.

«В переносном: не носи домашних счетов в люди, не сплетничай, не баламуть; семейные дразги разберутся дома, коли не под одним тулупом, так под одной крышей. В прямом: у крестьян сор никогда не выносятся и не выметается на улицу. Это через полуаршинные пороги хлопотно, да притом сор стало бы разносить ветром, и недобрый человек мог бы по сору, как по следу или следку, наслать порчу. Сор сметается в кучу под лавку, в печной или стряпной угол, а когда затапливают печь, то его сжигают. Когда свадебные гости, испытывая терпение невесты, заставляют ее мести избу и сорят вслед за нею, а она все опять подметает, то они приговаривают: «Мети, мети, да из избы не выноси, а сгребай под лавку, да клади в печь, чтоб дымом вынесло».

СЕМЬЮ ПРИКИНЬ — ОДНОВА ОТРЕЖЬ

Выставляя в первобытной старинной форме эту древнюю, ясную по смыслу и столь вразумительную для руководства в жизни пословицу, останавливаем внимание собственно на цифре, которая рекомендуется ею.

Цифра семь никогда не служила народу единицею измерений, если не считать семисотных верст, которые, однако, в начале нынешнего столетия покинуты, и законная мера версты определена в пятьсот сажен.

У народа свой счет: обходя десяток, он предпочитает вести счет дюжинами, обходя две и три дюжины, начинает считать дробные вещи и более мелкие предметы сороками. В старину, не признавая десятков, не ввели в обычай сотен и, не доходя до них, вели счет девяностами, а потому и выходило тогда «все равно, что девять сороков, что четыре девяноста», а девять сороков с девяностом — пять девяноста; полпята сорока — два девяноста. Отсюда и сороки московских старых церквей, и нынешних церковных благочиний, и базарный счет, долго сохранявшийся в поволжских городах, породивший

насмешку над бестолковыми торговками-бабами: «сорочи не сорочи, а без рубля будешь». Отсюда и «сорочки» шкурок пушных сибирских зверей: куниц и соболей, вложенных в чехол и рассчитанных ровно на полную шубу, а «полсорок» — на женскую шубку. Сорок недель каждый человек сидит в темнице (по народной загадке, то есть в утробе матери, и, стало быть, в самом деле, как часто говорится, «сорок недель хоть кого на чистую воду выведут»). Через сорок дней или шесть недель надо брать роженице очистительную молитву и столько же дней молиться об усопшем или справлять так называемый сорокоуст. В последний раз покойник пообедает в сороковой день с оставшимися в живых домашними из той чашки и той ложкой, которые обычно выставляются и кладутся на стол. Немало посчастливилось этой цифре и в старинных народных сказках, где богатыри ездят к цели неустанно сорок дней и сорок ночей, наезжают на города, в которые ведут сорок ворот; в царских дворцах — сорок дверей, богатырский меч в сорок аршин длины и т. п. Вообще «сороковой-роковой» не только в медвежьей охоте, но и в домашней «забаве» с нынешними «сороковками» зеленого вина, которое, по смешной случайности, разливается и продается из бочек мерою в сорок ведер. На «девяносто» мы уже имели случай натолкнуться, а на «дюжинах» боимся заговориться, хотя не можем не вспомнить, что торговля в некоторых местах требовала считать, в видах личной корысти и расчета на деревенскую простоту, единиц в дюжине тринадцать.

Между тем цифра семь является в счете так часто, что нельзя на ней не остановиться, и представляется такой подозрительной, туманной и необъяснимой, что невольно хочется признавать этот счет ненародным, а чужим и приносным. К нему довелось прилаживаться, как прилаживались и пришлые обычаи к установившимся, крепким и коренным народным порядкам. Христианская вера принесла семь таинств, даров св. духа, вселенских соборов, смертных грехов, звезд в венце, мудрецов на свете, свечей в светильнике алтарном и запрестольном. Седьмой день в неделе указано отдавать богу и т. д.

Последний факт указал не только на важное значение цифры семь в старину, но и на влияние ее на судьбы

научных мировых истин. Когда Галилей открыл спутников великана Юпитера и по целым ночам, не отрываясь, любовался системой этой планеты, противники его не только не верили открытиям, но утверждали, что они невозможны. Ученое невежество говорило: «Как в неделе семь дней, так и на небе семь планет (Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн) и больше быть не может. Соединение малого мира, представляемого человеком, с безграничным миром вселенной происходит при помощи наших органов чувств, расположенных в семи отверстиях головы, а именно: два глаза, два уха, две ноздри и рот. Как нет более таких отверстий в голове, так точно не может быть и на небе более семи планет». За такую еретическую веру в систему Коперника, бывшую тогда в гонении, Галилея преследовали инквизиция и римский двор. В 1633 г. совет из семи кардиналов осудил его на заточение. Профессор три года должен был прочитывать еженедельно псалмы покаяния и на коленях, держа руки на св. писании, объявлять, что мнение о вращательном движении земли есть ересь; но четыре спутника Юпитера движутся вокруг него и в настоящее время так же точно и непрестанно.

Впоследствии оказалось, что у семи нянек дитя всегда без глазу, как и у этих семи совершенно слепых мудрецов мировая истина. Оказалось также, что у семи пастухов не стадо, и самые праведники (настоящие, а не эти самозванные словесные пастухи), осудившие гениального изобретателя телескопа, стали семь раз в день согревать.

На св. Руси пригодился и семик, — старый языческий праздник, — как дозволенный церковью веселый весенний праздник на седьмой неделе по пасхе, в четверг, и не перестала широкая «масленица звать его к себе в гости». У обманщика и неверного в слове человека, также и у бражника объявились на одной неделе семь пятниц («ни одного срока» — для исполнения обещаний, для отдачи взятого взаймы — и «семь праздников» — все про себя, на прогул и полное забвение обязательств).

Наконец, полюбились народу и узаконилась в его живой речи эта цифра так, что, например, человека, пахотящегося в самом отдаленном свойстве или родстве,

начали называть «седьмой водой на киселе», хотя уже и пятой воде не дает промываемая мукá для киселя ни запаха, ни сору, ни пыли того зерна, из которого заквашивается это любимое народное кушанье. Да к тому же «седьмая водина на квасине» дает уже такое жидкое пойло, что его и в рот не возьмешь. Положено законом «семерым одного не ждать» ни на пир, ни к работе, ни к обеду. Бойкие и смелые, не дающиеся в обиду люди и сами склонные обижать, стали «отгрызаться на распутье ровно от семи собак»,— ни меньше, ни больше. Начали считать «семь пяденей во лбу» умного человека; дружескую услугу, сопряженную с неудобствами, в несвободное время, признали пустяком, не стоящим никакого внимания: «для друга семь верст не околица». Однако убедились, что кому не удастся взять что-либо добром, убедительным уговором и ласкательным словом, тот возьмет «сам-сём» и «силком». Так и случилось это раз в Москве в памятную годину государственной разрухи и в «семибоярщину», когда семеро бояр насильственно захватили власть. Тогда, точно в самом деле по заказу, оказалось «у одной овечки семь пастухов», и говорили всем народом про Москву: «не велик городок, да семь воевод» (а полагалось на каждый не больше двух). Понадобилось для нее семь холмов, когда, возвеличивая свой город по общечеловеческому тщеславию, стали цари почитать и называть Москву вторым Римом («а третьему не быть»). Всегда удивлялись бывалым и опытным, и выражались про них так, что как будто они в самом деле «из семи печей хлеб едали», и над вернувшимися домой ни с чем, без всякой науки, прибýtка и успеха, подсмеивались: «он за семь верст ходил есть киселя», этого самого дешевого кушанья, которым, однако, по пословичной же примете, никто, кроме баб, досыта не наедается. Сильный человек обязан ходить на семерых, а иначе его и богатырем не назовут. Не назовут виноватого преступником, а зовут несчастным, признавая в нем жертву обстоятельств павшего брата, и преступление его называют бедою. Поэтому всякий мелкий проступок относится к беде и называется этим именем (бедниться значит жаловаться в обиде). Отсюда и распространенная поговорка, снова понуждавшаяся в цифре семь: «семь

бед — один ответ». Ханжам советует высокая народная мудрость, в согласии с Христовым учением: «не строй семь церквей — пристрой семь детей», когда такие явные суеверы намереваются фарисейски тщеславно замаливать тяжкие старые грехи сооружением храмов с золочеными иконостасами и громкими колокольными звонами и т. д. Впрочем, если подводить полный счет всем случаям, где придается мистическое значение цифре «семь», можно и конца не найти.

ДЕСЯТАЯ ВИНА

Современный и общеупотребительный счет десятками во всяком случае позднейшего приспособления на практике. Едва ли не с прошлого века стали «брать десятого» из бунтовавших скопищ, в которых все были виноваты, но каждый, взятый отдельно, не имел самостоятельного значения. В плотно сплоченном заговоре невозможно отыскать зачинщиков или подстрекателей, да и лень было производить это, имея перед глазами ясно определенный практический образец. Считали с первого головного из расставленных в строй и оцепленных и выводили из круга следующего за девятым. Его и в солдаты брили на барабане, и кнутом били на кобыле, и плетью стегали, и батожем-палками колотили, как указывал закон или приказ укротителя. Отсюда и приговор и поговорка: «десятая вина виновата», хотя для домашнего обихода давно практиковалось правило: «десятью отмеряй, однава отрежь».

СЕМЬ ПЯТНИЦ ¹

Роковое мистическое число семь, примененное к одному из дней недели, обращается в справедливый упрек тем общественным деятелям, на которых ни в каком слу-

¹ Предлагаемому толкованию один из рецензентов, разбивавших эту книгу (в первом ее издании), авторитетно предлагает свое как бесспорную поправку. По его мнению оказывается, что потому семь пятниц на *неделе*, что некогда в Москве на *Красной*

чае нельзя полагаться и им доверять. Эти люди, давая обещания твердые и надежные, повидимому, не исполняют их: либо не платят долгов в указанные сроки, либо не исполняют обещанных просьб; вилуют и обманывают, отлагая со дня на день на все семь дней недели, на все пятьдесят две недели круглого рабочего года. Эти люди, у которых всегда «живет и такой год, что на день семь погод», а это все одно и то же, что «приходи завтра», объявляемое просителям и кредиторам. Не иной какой-нибудь день недели из семи взят в упрек другим и в поучение себе по очень давним историческим причинам и выбран обетным по экономическим бытовым условиям нашей народной жизни.

Некогда, в древние, еще языческие времена, этот день недели считался свободным от работ, то есть праздничным, заменявшим воскресные нынешних христианских времен. В эти дни собирались общественные сходки

площади вдоль Кремлевской стены стояло пятнадцать церквей и между ними большинство пятницких (все ли семь?). Коренной москвич, приглядевшийся ко множеству церквей, вправе прийти в изумление, как могло уместиться столько зданий, хотя бы и малого размера, на таком сравнительно небольшом пространстве (от Никольских ворот до Спасских). Удивившись, любой москвич, привыкший ко всяким своим диковинкам вроде не звонившего колокола, не стрелявшей пушки, обязательно спросит: для чего и кому понадобилась эта диковинная церковная выставка узеньких, стена об стену, наподобие гостинодворских шкапчиков, деревянных зданий? Не для соревнования же или соперничества в раздаче даров благодати скупились шеренгой молитвенные здания, хотя бы даже и случайно скопившиеся на одном месте! Да и сколько между ними было пятницких храмов, автором не указано, — неужели так-таки в пользу его толкования ровно семь? Кто же не знает, что для успокоения тоскующей души об усопших вовсе не надобились именно пятницкие храмы. Важны поминальные дни, девятый, двадцатый, сороковой, полугодовой, годовой — личные и установленные церковью (радуница, дмитриевская суббота и проч.) — общие. Куда и как исчезли эти церкви сразу и неизвестно — очень поучительно было бы знать теперь, когда осталась одна пятница, да и та поместилась в приметном отдалении от указанной площади (именно в Охотном ряду). Все это самоуверенным, но обманутым критиком и не указано, а между тем места упраздненных храмов у знатоков московской старины все на счету. Что же касается меня лично, как обвиняемого в ошибке, то в данном вопросе считаю себя вправе придерживаться прежнего личного мнения и в нем укрепиться, помня о присных в указанные церковью дни и предпочтительно на самых могилах.

соседей для торга, то есть обмена своими произведениями и всякими избытками хозяйства! Не привез кто нужного в этот день или получил на это новое требование, обыкновенно назначал срок исполнения заказа и обязательство на установленный еженедельный торг и сборище, — на базар и ярмарку. Обычай этот сохранился до наших дней не только в мелочных заказах, но и в таких крупных предприятиях, как многотысячные платежи по вновь придуманным векселям. От Макарья до Макарья, то есть от времени закупки товаров на Нижегородской ярмарке до спуска флагов на ней же в следующем году, или от Макарья до Ирбита — для сибиряков, от Макарья до Коренной или иной срочной ярмарки устанавливаются денежные платежи по вековечному русскому обычному торговому праву. От базара до торжка: от последнего до ближайшей ярмарки, это значит одно и то же, что от пятницы до пятницы, но так, чтобы каждая из них не нарушала в исполнители обета дружбы и взаимного кредита, — было бы слово твердо — по старине. Особенно это было важно в те далекие времена, когда не развито было бумажное производство с вексельным правом и работали на честное слово в промыслах и торговле.

Что пятница была праздником (в подтверждение указания толкового словаря Даля и в опровержение предполагаемого им объяснения) и что она, по этому самому случаю, издревле была на Руси обетным срочным днем для исполнения многоразличных и неуловимых обязательств, представляем вкратце собранные нами доказательства.

Девятая пятница, как девятый вал в разбушевавшемся море, не чета другим дням в году и, как исключительная, пользуется в нашем народе и русском быту особым почетом. Не обходят этого дня, считая его от дня св. пасхи, ни Малая, ни Белая, ни Великая Русь: вся святорусская земля с доисторических времен помнит и до сего дня чтит эту почтенную «девятуху». Приметна и памятна эта пятница суеверным и торговым людям.

Если изъездим всю северную Россию вдоль и поперек, присмотревшись к тем дням, в которые собирается народ для вымена и покупки необходимых товаров, то неизбежно убедимся в том, что пятницам для маленьких

торжков или базаров принадлежит самое видное место. Когда же товарный обмен производится в обширных размерах и вызывает людные торговые сходбища, удостаиваемые названия ярмарок, — девятой пятнице также отдается особенное перед всеми преимущество. Если сделаем справку, даже самую легкую, например по сподручным справочным книжкам, мы узнаем, что так называемым «девятым» отведено больше строк и места, чем соседним с нею по времени вознесенским, троицким и ивановским. Тем не менее говорим это про всю Велико-россию, а принимая в соображение исключительно ее северную лесную половину, увидим, что большая часть «девярых» с двумя-тремя днями подторжья и самых ярмарок приходится производить в грязи по колесную ступицу и в слякоти по колена. Мы имеем полное право удивляться такому неудобному выбору ярмарочных сроков и, по усвоенной всеми дурной привычке, пуститься даже в обличения, насмешки и гражданские сетования, но на этот раз удержимся. Примем в соображение то, что девятые ярмарки, несмотря на бездорожицу и распутицу, все-таки везде бывают многолюдны. Все эти торговые съезды превращаются в ярмарки в тех преимущественных случаях, когда входят в сближение и вступают в деловые торговые сделки разные местности, исключительно удаленные друг от друга и не похожие по роду занятий и промыслов. На девятых, как на международных промышленных выставках, собирается самый разнообразный товар, именно такой, какого ни за какие деньги нельзя приобрести в тех местах, где заусловлены один раз в год на этот самый день эти самые большие годовые съезды. Довольно указать на Коренную в Курске (убитую на нашей лишь памяти бойкою и ловко рассчитанною железною дорогою), которая именно тем и была знаменита, что на девятую пятницу по пасхе обе России, северная промышленная и южная земледельческая, здесь обменивали взаимно свои изделия.

Умудрившиеся на тяжких уроках в борьбе с суровой природой практические северяне привычным способом подвергают себя неудобствам бездорожицы весеннего времени именно с тем, чтобы воспользоваться удобствами самой весны. К концу ее в наших деревнях выдается

время некоторого досуга. Тогда обеспечиваются на предстоящее страдное время полевых работ необходимыми предметами и орудиями, да кстати и легким отдыхом с приятными развлечениями на народе: либо в большом селе, либо в городе.

Какою бы раннею ни была пасха, к девятой неделе после нее, ко второй по пятидесятнице, посевы обыкновенно бывают окончены, а по положению даже и все поздние. Тянется то самое скучное время, когда при деле не у дел, в ожидании чего-то важного и ответственного, надо бы дело делать, а взяться не за что. Между тем теперь рабочие руки все налицо и дома. Все собрались на полевую страду, как бы далеко, ради подспорья и денег, ни уходили они на отхожие промыслы. Даже фабричные баловни вылезли из-за ткацких станков и побросали челноки и шпульки, и все ткацкие светелки в девяти средних губерниях заперты на замок до глубокой осени. Мужская сила явилась на выручку женской, и теперь (обыкновенно с последних дней великого поста) все крестьянские земледельческие семьи домой принесли с заработков деньги. Починные весенние работы заделаны, но затем под руками не осталось ничего подходящего и неотложного. Велят ждать. Желающие могут приправляться и охорашиваться, но беспощадное и неустанное колесо еще не вертится, еще не захватывает всеми петлями и спицами, еще не закручивает до обморока и оцепенения, и сорвавшийся с одной петли еще не попадает и не крутится в другой. Девятая и десятая пятницы, с задними и передними соименными соседками, совпадают именно с этим временем гаданья и страхов всего чаще за яровые всходы, которое называется в деревнях «межипарьем». Эта пора от посевов до начала сенокоса, продолжающаяся иногда до четырех недель, показывает только на легкие работы и обязывает лишь самыми грязными, на какие охотливее посылаются девки да ребята. В самом затрапезном платье, подоткнувши высоко подолы, возят они в одноколках навоз со дворов на поля под озимые хлеба, сваливают на полосах кучами и потом, не торопясь и полегоньку, разбрасывают и запахивают. По этой-то причине самая пора называется также «навозницей». Исконные и коренные пахари запасаются

силой и предпочитают, во всем лучшем и чистом наряде, потолкаться и погалдеть на том и на другом торжке в ближнем соседстве. Девятая пятница здесь — указница, вопреки известной пословице и, кроме торгу подходящим товаром, бывает еще тем хороша, что, собирая народ во многолюдстве, облегчает достаточным хозяевам наймы рабочих. После девятой и десятой, и без особого напряжения слуха, достаточно ясной становится близость одной из тяжелых крестьянских работ. Стук по дворам и избам дает себя знать и подсказывает, что отбивают косы, купленные на пятницких торгах вместе и кстати с серпами и другим необходимым железным товаром. Косы острят теперь, оттягивая лезвие молотком, вроде тупой кирки, на маленькой наковальне и потом подтачивают на бруске и правят деревянной лопаткой, усыпанной песком по смоле. После Петрова-дня начинается законное и обязательное для всей северной Руси время сенокоса (в более благодатных странах, позападнее и поюжнее, первый покос начинается раньше недель и более, чаще с Иванова дня, то есть 24 июня).

Я, впрочем, далеко забежал вперед: весенние пятницы велят остановиться и задают серьезный вопрос о себе самих, о девятой и десятой в особенности. В самом деле, подозревается за ними что-то таинственное и символическое и при таковой исключительности их, в силу множества однородных заведомых народных обычаев, предполагаются признаки языческих верований не совсем ясные, по сравнению, например, с семиком, колядой, купалой и т. п., а потому в особенности любопытные.

За справками всего благонадежнее отправиться туда, где старинная народная жизнь сохранилась цельнее и языческие верования мало поколебались и отлично сбереглись благодаря изумительному домоседству жителей и уединяющему географическому положению. Около года мне привелось там производить наблюдения, видеть эти самые пятницы лично и слышать про них довольно много, чтобы быть в ответе и рассказать об одной пятнице, которая навязывается всякому изучающему нравы белоруссов.

Буквально на первых шагах, когда привелось удалиться от городов и отдаться наблюдениям в белорусских

деревнях, заветным днем недели оказался не тяжелый день понедельник и даже не воскресенье, называемое здесь по-старинному и по-славянски «недзелей» (неделя). Выделяется пятница, или, по-тамошнему, «пяценка» и «петка», тем, что по всей этой лесистой, болотистой и исключительно земледельческой стране этот день полагается днем нерабочим: по крайней мере еще до сих времен нельзя шить, нельзя купать ребят, мыть и золить белье. Начатую работу, обойдя запретный день, кончают в субботу и с тем, чтобы тогда же непременно начать новую, предназначенную на следующую неделю. До изумления старательный, терпеливый и трудолюбивый белорусс семи русских губерний в этот день старается не работать на себя, не пашет полос пашни своим семейством. Он искушается на такой тяжкий грех лишь по найму, трудится в людях и на чужих с глубокой верой, что эти уже примут на свою душу грех и ответят за него кому следует и, между прочим, самой Пятнице. Когда в Великороссии остались в народной памяти и в чести только три пятницы (девятая, десятая и в особенности ильинская), в Белоруссии, таким образом, опасны и страшны все пятьдесят две, и между ними требуют особенного себе почета и чествования все весенние, до десятухи (десятой). На них выпали все праздники и игрища с дудой и песнями, так называемые «весенины». Понятно, что, пользуясь таким благоприятным обстоятельством свободных от работ дней, на них основались и те сроки торжков, белорусских «кермашей» и «красного торго», которые особенно дороги и умеют удачно подслужиться перед страдою. Точно так же все работы в больших хозяйствах, когда своими силами не управиться и надобится великорусская «помочь» или белорусская «толока» за приличное угощение, везде, по всему русскому западу, производятся в эти дни, как бы в воскресные или праздничные. Принося хозяйству значительную помощь, пятницы, как и прочие обетные дни (заказанные по случаю градобитий, сильных наводнений и других народных бедствий), являются одним из основных краеугольных камней и нынешних хозяйств. В то же самое время для неимущей братии эти дни — великое спасение и утешение, и потому она здесь является на глазах у всех первою и последнею, вымани-

вает и благодарит, непрестанно распевая «за поящих, за кормящих, за весь мир православный».

В Белоруссии вышло естественным путем также и то, что торговые дни разбросаны по всем пятницам, а более удачным и счастливым местечкам досталось на долю по несколько таковых разом. Так, в Могилевской губернии, близ самого губернского города, в одном из самых древних местечек, расположенном по подолу Днепра, в Польшковичах (в старину — Отмут), чествуются три пятницы: десятая, одиннадцатая и двенадцатая; в гор. Быхове и местечке Кричеве — десятуха, в местечках Шклове и Журавичах — девятница, да еще, сверх того, сама по себе, осенью параскевьевская перед днем 14 октября, когда празднуется память мученицы Параскевы, нареченная Пятницы, пострадавшей при Диоклетиане в Икони и, в первые времена христианства на Руси, сменившей древнее божество кривичей. Уже потому оно было важно и почиталось сильным, что потребовало такой замены, и боготворение его несомненно было повсеместным, так как понадобилось при этом религиозном перевороте изображение святой греческой не иначе, как в виде *изваяний из дерева*.

В местечке Лукомле (в Сенненском уезде Могилевской губернии) таковое изваяние «Пятенки» собирает в одиннадцатую пятницу после великодня (св. пасхи), до трех тысяч человек богомольцев из трех соседних губерний (Могилевской, Витебской и Смоленской). При местном храме сохраняется камень, называемый «стопа», с изображением креста и славянской надписи, которую, по причине давнего, в течение нескольких столетий, усердия богомольцев, выражаемого прикладыванием губ, в настоящее время прочесть нет никакой возможности. Почитается камень, как святыня, но по какой причине и с какого повода, нельзя было дознаться о том даже из темных преданий. Такую же чудотворную икону заведомо чтут еще в местечке Дивине (Гродненской губернии) и в последнее время еще с усиленным рвением с той поры, когда, во время пожара, хотели ее вынести, но не могли сдвинуть с места. Везде, конечно, пристраивается также шумный и живой торжок с тою неизменною особенностью его, что количеством народа он во всяком случае

уступает осенним пятничным торгам, когда свободны все руки и покойно сердце: полевые работы все кончены, и начинается время отдыха; для всяких праздников (если имеется на что) — широкий досуг. Тогда выбираются сроками для сходов последние пятницы перед колядами (рождеством Христовым) и носят общее название «красных торгов». Впрочем, как бы ни путалась в годовых неделях удобная для торгов обетная пора, она старательно выбирает преимущественно пятницы.

Всматриваясь в списки ярмарочных сроков, невольно убеждаешься в том, что если обойден где-нибудь занимающий нас день, то, наверное, потому, что по соседству в другом ближнем месте воздано ему обязательное внимание. Точно так же кажется, что если весенние и осенние ярмарки приурочены к другим выдающимся праздникам, ежегодно сменяющим дни, то устроилось это лишь за недостатком требуемого числа пятниц, то есть спрос совершенно превысил на этот раз предложение. Из пятничных торгов в этом древнейшем русском крае составляется поразительно длинный список: достаточно сказать, что на одну Могилевскую губернию приходится семнадцать пятничных ярмарок и в четырнадцати городах и местечках происходят базары обязательно в каждый пятый день христианской недели, несомненно бывший главным праздничным и первым в неделе у языческих кривичей. Соображаясь же с тем обстоятельством, что и у западных славян (у сербов в будний день, у босняков, галичан и т. д.) почитается «святая Пятка» (и ее поминают во всех молитвах по поводу хлебного урожая рядом с пресвятой девой), в Белоруссии пятничные торги, часовни на подолах рек и при них игрища, церкви во имя св. Параскевы служат признаками и прямыми указаниями на древнейшие славянские поселения в крае, совершившиеся во времена дохристианские.

В самом деле, при учете пятничных храмов во всей обширной белорусской стране сравнительно большое число их резко бросается в глаза и притом часто сопровождается следующими обстоятельствами. Первый христианский князь в земле кривичей (Брячислав, а по другим Вячеслав) строит в стольном городе Полоцке три храма: Софии, Бориса и Пятницы в 1203 г. Первая

православная церковь в Вильне (и притом каменная и, конечно, весьма небольшая, недавно возобновленная) — пятницкая. Эта та самая, в которой Петр Великий крестил предка нашего бессмертного поэта А. С. Пушкина — любимого арапа Ибрагима (Ганнибала); построена женой литовского князя Ольгерда, княжной витебской Марией, на месте языческого капища около 1330 г.¹ (здесь она и погребена).

Из других исторических памятников выводится именно то прямое заключение, что славянская Пятница, как божество, была покровительницею усопших душ. Монастыри ее все — кладбищенские или, как называли в старину, «божедомки». В таком смысле верование это перешло и в Великую Россию, на Восток и Север. Здесь изваяниям Пятниц принадлежит такое же исключительное право и почетное место, здесь пятницкие церкви богаты синодиками, так как богатые люди предпочитали творить молитвы за своих умерших именно тут. Поэтому Пятница явилась покровительницею убогих и нищих во всей древней Руси и около этих церквей (обычно выстроенных на подоле, у рек и самой воды) во всех местах селилась нищая братия своими хатами и логвищами². Где не было воды, там непременно рыли колодцы и пруды. До сих пор белорусские женщины не перестают молиться «святой Пятенке» о дождях для урожая, поступая при этом так.

Когда наступает время жатвы, одна из деревенских старух, легкая на руку и этим достоинством всем известная, отправляется в поле ночью и сжинает первый сноп. Связав его, ставит она на землю и три раза молится в это

¹ Во всех заведомо древнейших городах неизбежно являются пятницкие церкви, так что перечисление и указания постройки в первые годы христианства на Руси становятся совершенно излишними. Припомним лишь при этом, что имя Параскевы было любимым в великокняжеских древних родах, и дочь того же полоцкого Брячислава, отданная замуж за Александра Невского, носила это имя.

² Так, между прочим, было и близ Москвы, в Троицко-Сергиевской лавре, где Дольный, или Пятницкий, монастырь (от которого сохранилась теперь только кладбищенская церковь под лаврской горой, на Подоле) собрал слободку из бедных и потребовал от обители особого приюта для убогих и престарелых, преимущественно женщин.

время Прасковье-Пятнице, чтобы помогла рабам Божиим (помянет всех женщин своей деревни, на которых, по белорусскому хозяйскому обычаю, лежит обязанность жнитва). Просит старуха об окончании без скорбей и болезней тяжелой работы и быть заступницей от лихих людей, особенно тех, которые умеют делать «заломы». Затем берет она свой сноп и, крадучись ото всех, несет его в свою избу. Всякая встреча при этом — недобрый знак.

Для окончательного подкрепления представленных здесь наблюдений и убеждения в древнейшем значении пятого дня всех годовичных недель, в той же Белоруссии поступают так.

Осенью, в урочный день поминок по родителям, в так называемый праздник «дзядов» (дедов), непременно вечером, с пятницы на субботу, каждый дом для своего семейного покровителя — духа-деда — печет блины, режет кабана (свинью) и варит борщи с салом, которых бывает четыре сорта. Все эти кушанья в горшках и на латках расставляются по лавкам. Выступает живой дед, самый старший старик, берет черепеньку с угольями вроде церковного кадила, кладет в нее смолу и машет, чтобы охватило дымом кушанья. Сядет он потом за стол, положит на него плетъ и зачитает самодельные молитвы без склада и смысла, — и беда тому, кто осмелится усмехнуться: под руками лежит и орудие расправы. А бессмысленные и смешные молитвы читает старик перед всяким блюдом, после чего следует легкий загул. Меня уверял этот самый живой образ и религиозное лицо кривского культа, старейшина Несторовой летописи, заблудившийся в белорусских пущах до наших дней, что маленькая семья в этот вечер выпивает не меньше четверти водки.

После всего сказанного нам уже незачем переходить в Великороссию, потому что если и попробуем поступить так, то неизбежно встретимся с тем же языческим обликом пятницы, несколько потускнелым (сравнительно с белорусским), и с христианскими образами Параскевы, совершенно потемневшими от времени. Великоруссы на большую часть вовсе забыли в чествуемых пятницах соименное им женское божество. Но изваяния св. муче-

ницы Параскевы в очень многих местах по северной лесной России (в особенности по Олонецкой губернии, вплоть до села Шуи, Архангельской, лежащего уже на берегу Белого моря) почитаются либо явленными, либо чудотворными. Они занимают видные места (в красивых и богатых киотах) либо в церквях, либо в нарочно сооруженных часовнях, при обязательных родниках и копаных колодцах. Затем кто же по всей России не благоговеет в страхе перед ильинской пятницей?

ИЛЬИНСКАЯ ПЯТНИЦА

Ильинская пятница — всем пятницам мать и наибольшая: все пятницы в году — тяжелые дни, но эта — опаснее всех прочих и считается таковою с тех самых темных времен, как зачались на земле русская жизнь и народная вера. Как ни напрягали свои усилия христианские учителя, чтобы ослабить это суеверие, все попытки их оказались втуне. Заменяли они пятницу мученицей греческой церкви Параскевой, — народ слил оба имени вместе и счел за одно. Снисходя слабости душ и сердец и уважая твердость убеждений и прочность верований, проповедники отделили двенадцать особенных, обязавши их постом, но народ отстоял все пятьдесят две, окружил каждую почтением и суеверными страхами и давал в том даже формальные записи. Известна, между прочим, заповедная крестьян Тавренской волости, писанная в 1590 г.: «А в пятницу ни толчи, ни молотити, ни каменя не жечи, проводить с чистотою и любовию» (см. «Крестьяне на Руси» Беляева, стр. 70). Выкидывали пятницу из списка или «Сказания, каким святым каковыя благодати от бога даны и в каковыя дни им подобает возносить молитвы», — народ все-таки продолжал чтить в ней богиню: «водяную и земляную матушку» и чествовал праздником по соседству и в равенстве с Ильей — бывшим Громовником. Когда исторические судьбы назначили русскому народу новые встречи, пятница у мусульманских народов оказалась еженедельным праздничным днем, а у самого многочисленного и сильного из языче-

ских инородческих племен «мордвы» — таким же исключительным и заветным: вот, стало быть, и новые веские поводы укрепиться в прадедовском веровании. В молодой России, где православие сильно мутится новыми толками в духе рационализма или обезличивается равнодушием к делам и обрядам веры, языческая пятница все-таки не перестает смущать. В Купянском уезде, Харьковской губернии, в 1872 г. пронесся слух, что один крестьянин встретил Пятницу, за которою гнался черный черт, — и теперь все крестьяне празднуют этот день, как воскресенье (см. корреспонденция «Спб. ведом.», 21 июля 1872 г., № 197). Пробовали в апокрифических писаниях, в списках, распространенных в народе в громадном количестве (разнообразных и несходных), умалить и самое значение поста в ильинскую пятницу; писали, что «тот человек сохранен будет всего только от плача и рыдания»¹, и этому не вняли верующие. До сих пор в этот заповедный день ни пашут, ни боронуют. Уверяли, что в награду за этот пост поведутся в благочестивом хозяйстве хорошие, крепкие лошади, а у матерей семейств будут легкие роды². Народ твердит свое: «Если зародится в тот день чадо, то оно будет либо глухое, либо немое, либо вырождается из него вор, разбойник, пьяница, чародей или вообще всем злым делам начальник». Девушечки-невесты молятся 28 октября, в день св. мученицы Параскевы, нареченных пятниц, так: «матушка Прасковья, пошли женишка поскорее!», но на ильинскую пятницу о таком желании своем помалчивают. В Белоруссии они даже в открытую распевают: «Породзила меня матушка у несчастный день, у пятницу, не велела мне матушка белиться и румяниться».

А где таким образом поют и молятся, там, когда сладится свадьба, перины и все невестино имущество отпу-

¹ По моему списку, приобретенному на Печоре в 1857 г.

² По списку протонерея Малова, помещенному в его «Письмах к воинам» (Спб. 1831 г.). Во многих, впрочем, списках ильинская даже не упоминается вовсе: так, во всех распространенных по Малороссии и Белоруссии, и тоже между собою не схожих, ее заменяет либо та, которая предшествует второй пречистой (рождеству богородицы), либо зеленым святкам (тронце), либо, наконец, той, которая бывает перед «ушесцьем» (т. е. ушествием, или вознесеньем). Разное распределение — разное и значение у каждой пятницы.

скают в дом жениха не иначе, как в пятницу вечером. В Малороссии обрядовый свадебный хлебец «лежень» кладется на стол невесты в пятницу же и лежит до венца под двумя ложечками, связанными красной ленточкой и т. д.

В столице Белоруссии, в Смоленске, духовенство достигло, однако, того, что отбило пятницы первых четырех недель св. четырехдесятницы. Там приучили народ (однако лишь только с половины прошлого века) ходить в Авраамиев-Спасский монастырь (один из древнейших в России, как основанный еще в XII веке) и выстаивать особые службы в воспоминание страстей господних, известные в Смоленске под католическим именем «пассий». На повечерях читались, среди церкви, евангелия страстей, пелись две песни: «Тебе, одеющегося светом яко ризою» и «Приидите ублажим Иосифа приснопамятного» и читалось поучение с очевидным намерением службою величайшей в христианстве пятницы страстной недели сокрушить неодолимую мощь и силу языческих пятниц.

В свою очередь в разных местах Великороссии слышится одна и та же легенда о девушке, которой госпожа приказала в этот день работать. Она, конечно, послушалась. Пришла к ней Пятница и в наказание велела, под страхом смерти (и смерть стояла при ней вживе), спрядь сорок мычек и занять ими сорок веретен. Испуганная до лихорадки девушка, не зная, что думать и делать, пошла посоветоваться с опытной и умной старухой. Эта велела наспрядь ей на каждое веретено по одной лишь нитке. Когда Пятница пришла за работой, то сказала девушке: «Догадалась!» — и сама скрылась, и сошла беда на этот раз с рук. Во всех других случаях бывает хуже именно потому, что Пятница, ходя по земле, сама за всеми наблюдает (а хождение Пятницы — повсеместно распространенное верование). Ходит она всюду вместе со смертью, а потому немедля и наказует ею: обычно делает так, что скрючит на руках пальцы, а мужчинам вложит в спину стрелье и ломоту. Пятницу все могут видеть, и кто видел — тот хорошо распознал, что это еще молодая женщина. Иногда она очень милует и награждает, а в иную пору жестоко наказывает. У одной женщины,

не почтившей ее и работавшей, она просто-напросто содрала с тела кожу и повесила на том же стану, на котором та ткала холст. Попался ей раз навстречу по дороге работник, который отошел от хозяина. Сел этот прохожий закусить, а к нему и напрашивается неведомая красавица, чтобы разделить с нею хлеб-соль. Поели они. «Вот тебе за то награда: иди в это село, найди там богатую девушку-сиротку, бери ее за себя замуж. А я даю тебе сто лет веку». Он так и сделал. Жил он ровно сто лет, и пришла к нему Пятница с тем сказом, что пора де умирать. Умирать не хочется: «Прибавь еще одну сотню!» Прибавила. Когда исполнился последний день этой второй сотни лет, она опять пришла. «Еще прибавь сотню!» Прибавила. Жил-жил человек и самому даже надоело, и такой он стал старый, что по всему телу мох вырос. Приходит святая Пятница и смерть с собой привела. «Ну, теперь пойдем: и вот тебе хорошее местечко здесь остаться». Место очень понравилось, но она повела на другое, которое ветхому старику еще больше полюбилось. Когда привела его на третье, то отворила дверь и пихнула его прямо в ад и промолвила: «Когда бы ты помер на первой сотне своих лет, то жил бы в первом месте, на второй — на втором месте, а то в триста-то лет ты столько нагрешил, что где же тебе и жить, как не у чертей в когтях?»

Этою легендою дается, между прочим, объяснение тому повсюдному на Руси обстоятельству, что пятничным церквам отводятся места на кладбищах (как св. Власию на выгонах) и «девятничают и пятничают», то есть по-старинному старухи весь день проводят в строгом посте, воздерживаясь даже от рыбы, и по нынешним обычаям — пьянствуют в память умерших родителей именно в ильинскую пятницу особо и сверх прочих поминальных и панихидных дней. Понятным делается и название в древнейших городах пятничных концов, приходившихся за окраинами города, как было то, например, в древнем Торжке и в самом древнем Новгороде, а равно и учреждение на «божедомках» скудельниц. Сюда в старину свозились и сваливались в кучу умершие насильственной или неестественною смертию, погибшие на поединках и самоубийцы. Их тела, без отпевания, остав-

лялись не преданными земле до ильинской пятницы (в иных местах до семика), когда благочестивые люди обыкновенно рыли для несчастных могилы, погребали их и, за свой страх, пели по ним панихиды.

В ильинскую пятницу исстари, как во все прочие годовые, по селам и городам собирались земледельцы и купцы для торгу, но ильинская отличалась от прочих тем, что тогда производился суд, расправа и казни, конечно наводившие еще больший страх и запечатлевшиеся в народной памяти. С преклоненной головой, с согнутой в кольцо спиной, ползает под образами мученицы Параскевы вся женская деревенская Русь. На коленках до жгучей боли и до крови оползают они бесчисленные часовни при родниках, посвященных ее же имени. Любознательные, не утруждая себя слишком и не ходя далеко, могут отчасти видеть это всего лишь за Охтами, на казенных пороховых заводах, — и в поразительных размерах, и с изумительными подробностями, с небольшим в ста верстах отсюда, в селении Ильешах, Ямбургского уезда. Сюда в течение многих недель общество Балтийской железной дороги зазывает богомольцев объявлениями об экстренных поездах по три раза в день, сверх трех обычных. Поезда довозят до станции Молосковичи, от которой до заветного места всего четырнадцать верст.

Народное религиозное усердие к ильешовской церкви оправдывается еще тем усугубляющим обстоятельством, что при двух придельных алтарях — пророка Илии и великомученицы Пятницы¹ — главный посвящен Николе, издревле заветному для русского народа в такой степени, что все разноплеменные инородцы считают мирликийского святителя русским богом и уже давно чтут его, в свою очередь, наравне со своими богами. Ильешовская же Пятница для поклонения своего указала богомольцам два места: «явления» в неизвестные отдаленные

¹ В предупреждение читателей, могущих принять имя Параскевы за переводное (с греческого языка на славянскую «пятницу»), как это в самом деле на Руси сделано, например, с именем Феодота в Богдана, Милия в Воина, Синетоса в Разумника и т. д., сообщаем справку о том, что Параскева в переводе с греческого на русский язык значит «уготованная».

времена, в полутора верстах от церкви, в поле (где теперь часовня), и «поставления», то есть самую икону в храме погоста. Погост этот в XVI веке носил название Григоровского лесного (то есть лесного), несмотря на то, что церковь звалась «Великий Никола». Старый погост успел слиться с позднейшею деревнею в нынешнее село.

Образ изваян из дерева и, как все такого рода иконы, наглядно свидетельствует о древнейшем своем происхождении и чрезвычайном народном почитании. Последнее обстоятельство подтверждается именно тем, что образ устоял на месте в числе немногих в России, даже в те строгие времена, когда энергически и решительно изгонялись из русских храмов этого вида и характера иконы. Значительное число их было свезено в Новгород и свалено под софийскую звонницу. Какая судьба постигла их впоследствии — неизвестно. Значительную часть, конечно, сожгли.

Перед столь же древним и замечательным изваянием в Ильешах шумно и открыто проявляются, в согласном и дружном сочетании, силы двоеверия, несомненные также и по историческому и этнографическому значению самой местности. Напомню еще раз, что здесь, на этом самом пункте, кончилась свободная, необузданная в стремлениях новгородская колонизация, не знавшая пределов и отдыха отсюда вплоть до Камчатки и американского берега. Здесь же ладно поселилась и мирно ужилась новгородская вера и народность при взаимных одолжениях и обязательном обмене всем с тою инородческою, которая в летописях путалась под названиями Ижоры и Веси. Когда освящали в недавнее время в Ильешах новую каменную церковь, собравшийся народ проявил такой религиозный экстаз и обставил его такими необычными видами, что удивлялись даже приглядевшиеся к диковинкам. Не отказывается толпа пооткровенничать здесь запоздалыми выходками темного суеверия и теперь, в более спокойное время, не вдохновляющее какую-либо чрезвычайностью события, хотя бы вроде освящения нового храма. Благоговейно припадают эти толпы народа под образ, высоко поднимаемый над головами преклоненных богомольцев и несомый на особых носилках в киоте во время крестных ходов с места поставления на

место явления и обратно. Затем, по обычаю всех подобных сборищ, после церковных утренних торжеств, с полудня начинается ярмарка с шумом и гамом не одной тысячи празднично настроенного люда. Часовенное место в Ильешах в особенности знаменательно в то время, когда около иконы сосредоточиваются обряды христианского характера, на месте явления ее обнаруживаются другого рода картины.

Подле самой часовни растет развилистая береза, почитаемая священной за то, что на ней спаслась Пятница от преследования соблазителя в виде черта. Он с досады начал бросаться в убегающую камнями и завалил ими всю окрестность. Один булыжник попал на березу и там врос в кору так, что теперь его едва видно. И дерево это и камень на нем удостаиваются особого народного благоговения, но главным образом почитается другой камень, который лежит близ корня. По одной из множества легенд, существующих в народе об этой местности, на этот камень ступила преследуемая злым духом Пятница и с него прыгнула на березу, оставив след ступни. Последняя ясно обозначается большим углублением, достаточно глубоким для того, чтобы просунуть туда руку. В нем скопляется и тщательно сберегается дождевая вода, конечно грязноватая и сорная. Вода эта целебная: это — слезы праведницы, плакавшей о людских прегрешениях. Вода врачует от всяких болезней и преимущественно от глазных. Впрочем, исцеляет здесь и сельский колокол, под который во время благовеста и звона становятся все глухие. Врачует и песок и все прочее на этом святом месте, которое привлекает всех болящих. Характер последних в особенности разнообразен: это не только окрестные простолюдины, но и та столичная интеллигенция, на которую рассчитывает Балтийская железная дорога, настойчиво напоминая о близости ильинской пятницы. Для наблюдателя на месте в особенности может быть интересна именно эта категория наезжих и их классификация. Здесь все действуют в открытую, не стесняясь. То, что под известным давлением в столице таится или скрывается, то в Ильешах, как у себя дома — как бы в каком-нибудь мертвом и глухом захолустье, — откровенно высказывается в самых разно-

образных, с трудом уследимых картинах. Они часто обставляются крайними выходками несдержанного фанатизма и, между прочим, обязательно требуют раздирающих душу воплей кликуш.

Главный интерес для наблюдателя, конечно, представляют во всяком случае эти следы древнего почитания дерева и камня, старинного по существу и облеченного лишь в новую форму. В газетных корреспонденциях нередко наталкиваешься на подобные указания, и в особенности на эти следы человеческих ног на камнях. Так, например, кроме знаменитой стопы, показываемой в Почаевской лавре, имеется указание на местечко Лукомль (Могилевской губ., Сенненского уезда), где в местной церкви хранится такой же камень со стопой, как уже сказано нами.

Указанием на эти живые урочища и вещественные следы древнего языческого культа мы желаем обратить внимание исследователей и на покинутых славянских богов и на места их почитания. Сколько известно, изучения в этом направлении не производились до сих пор. Не нашлось до сих пор ни одного досужего человека, который составил бы, по готовым материалам, хотя бы краткий перечень сохраняемых, как заветные, деревьев и почитаемых за святыню камней. Те и другие в изумительном множестве рассажены и рассыпаны по лицу земли русской, оживленные различными интересными легендами, с достаточною ясностью свидетельствующими о живучести старой народной веры. Вот она въяве с мельчайшими подробностями всего во ста верстах от цивилизирующего города и в четырнадцать от той самой дороги, которая имеет претензию возить прямо на европейский Запад. Мало того: эти доисторические обычаи и верования имели твердость уберечься в таком пункте, где кончаются крайние русские поселения, где предполагаются по этому случаю три соединенные усилия: католического ксендза, протестантского пастора и православного священника. Наконец, эта местность — вовсе не трущобное захолустье, а весьма известная всей гвардии, как посещаемая ею в последние дни маневров; издавна пролегало здесь Нарвское шоссе и примыкал один из косяков того окна, которое прорубал Петр Великий.

СЕМИПУДОВЫЙ ПШИК

Как у портного на ножницах, — у некоторого кузнеца осталось «на клещах» семь пудов железа. Куда с ним деться и на что употребить? Место глухое и бедное, заказов никаких нет. Ездят все на одноколках и не только не обивают шинами колес, но и в самой телеге не найдешь ни одного железного гвоздя. Таких местностей на Руси еще очень много, и для примера можно взять даже целую страну, Белоруссию, которая захватила собою шесть русских губерний. Кто купит топор, или обзаведется сошником, или запасется заступом, тот уже показывает их всем и хвастается. Кто это видит, тот завидует. Ждет кузнец, пока у какого проезжего лопнет шина или потеряется подкова, а скопленное железо тем временем лежит попусту и ест его ржавчина. Надо же его, наконец, к чему-нибудь приспособить.

Выдумал кузнец выковать из него крест.

— Свезу на базар: приглянется какому купцу, захочет порадовать на матушку-церкву, — купит.

Вскоре в ближнем селе, подле церковной ограды, на свежем навозе и по колена в грязи загалдел базар на сотни крикливых голосов. Громко, во все горло, заговорила деревенская нужда, не стесняясь и не оглядываясь. Шатаются между возами мужики и бабы: смотрят товары и ощупывают, хлопают по рукам и торгуются, божатся и ругаются, увидят крест — дивуются:

— Какой ты большой крест выковал!

— Одной рукой не поднимешь!

— Кабы поменьше выковал — на нашу бы колокольню годился.

— Наша не выдержит, — рассыплется.

— Ты бы свез его в город: там купят.

— Словно бы он топором его тесал, а рубанком-то и не прошелся: в городе не понравится.

Подходили к кресту и зубоскалили; поднимали за один край, крикали и стходили прочь.

Базар тем временем стал замирать и, наконец, развеялся. Повез кузнец свое изделие опять домой непроданным.

«Надо крест поменьше сделать: этакой скорей подойдет, и купят», — подумал кузнец про себя и начал перековывать.

Выковался крест в пять пудов; опять лежит на возу на базаре и опять ждет охотника.

— Великонек, друг, великонек: давно присматриваюсь, купил бы, да не подходит.

Сделал кузнец поменьше; весил крест три пуда. Кто подговаривался на прошлом базаре, теперь не пришел. Из новых никто не присматривается: все проходят мимо. Один фабричный привязался, захотел пожалеть, а сам насмеялся:

— Ты бы его надел на себя, до и прошелся бы по базару-то; базар на всякое диво охотлив; может, кто бы еще и подал на бедность.

Кузнец был упрям, как бык. Он сказал себе: хоть надорвусь, да упрусь, а потому базарной мирской науки не послушался.

Опять и на этом базаре остался товар на руках. А так как у кузнеца рука легка, а шея крепка, то и на этот раз принялся он за ту же работу и новый крест сделал в пуд. С ним снова набивается. Подошел к базарному товару поп, постучал по нем пальцами, перевертывал. На низу посмотрел, чего не написано ли, — сказывал:

— Поставить на церковь — мал; к осенению — не годится; для напрестольного — груб, в воздвизальных — как его таким-то народу покажешь? А хорош: не скоро изотрется. Ты бы, сын мой, походил по монастырям: не отыщется ли где отшельник? К веригам твой крест ладно прилажен; и неуклюж и тяжел.

В монастырях кузнецу везде одно толковали:

— Не те времена. К нам ты припоздал: был один такой, что все уходил в лес спасаться, а наконец, и совсем сокрылся.

— У нас есть спасенники: по кабакам валяются — юродствуют. Сходи к которому — примеряй!

В кабаках кузнеца утешали:

— Хорош был бы крест, когда бы его на шею нашего мироеда надеть разрешили тебе, а ему бы приказано было тот крест носить, не снимая, во всю жизнь до гроба.

— Большие бы заказы мужик доспел, кабы этак-то!..

— А бывало такое дело: одному такому-то где-то из самого Питера дослали, слышь, не то железную медаль, не то крест, тоже вот в пуд весом: носи на здоровье! Как в люди идти, так и надевает. Дома, если спать ложится, разрешали снимать.

Все-таки надо было крест переделывать, а в фунтовых крестах кузнеца еще больше стали путать. Никому он не угодил, да и ставил товар в большую цену; довелось просить и за маленький ту же плату, во что обошлись и большие; ставил в счет все семь пудов старого железного лома. Не клал и не считал только то, что уходило на угар да на обрезки: все, что, по обычаю, кузнецу на клещи полагается.

Наконец, порешил он так, что быть кресту тельником: станет его носить сам на груди под рубахой, на доброе здоровье и на спасенье. Незачем в люди ходить срамиться.

Стал он его накаливать да поколачивать. Расстукает в плиточку — обрежет. Раздует мехами уголья — опять крест всунет и накалит и опять расколачивает: все ему великим кажется. Начал калить такой уже крестик, что едва клещами защемливает, чуть он в них держится.

На беду пришла босомыга-девчонка от матери угольков попросить. И нашла, дура, место: просить углей у кузнеца, что у калашника теста, когда их либо у самого нет, либо самому нужны. И сказала ту просьбу под руку, когда переносил кузнец крестик из горна на наковальню. Сорвался он с клещей до прямо в ведро с водой, о которое кузнец еще на пущую беду спотыкнулся. «Пшик» — зашипело в ведре, и клубочек белого пара взыграл и обозначился. Пришлось кузнецу хлопнуть по бедрам, расставить ноги, вскинуть руками и вымолвить такие слова, что на всю Русь и теперь еще всё отдаются эхом:

— Вот те и семипудовый пшик!

Впрочем, толкуют про иного кузнеца и по-другому. Этот был несчастливее: к нему на дом или прямо в кузню принесли работу. Понадобилось мужику наварить лемех для сохи.

— Надо бы вот, друг, поточить: спусти малость!

Пришла, наконец, мужику пора устанавливать эту соху, пришел он к кузнецу справиться: не готово ли?

— Прости, друг, ради бога! маленько перекалил я твое железо: лемеша у меня теперь не выйдет, а выйдет разве сошник.

— Навари сошник, что делать!

Стал кузнец сошник ладить — не выходит.

— Что же выйдет?

— Топор я тебе выкую, такой топор, что с ним весь свет пройдешь и мне спасибо назад принесешь.

Похвастал мастер — не травы покосил: спина не заболела, а топора не выковалось. Посулил сделать косарь, и на нем пережег железо. Выхвастался потом на нож, — и на том погорело железа столько, что обушок вышел таким же острым и тоненьким, как самое лезо.

— Что теперь станешь делать?

— Да гвоздь можно выковать, какой хочешь: хоть двоечес, чтобы стена затрещала.

Визжал под молотом и ножик, а гвоздь из него вышел такой маленький, что в сапог вбивать его не стоит и даже в руках держать стыдно.

— Сделай что-нибудь поладнее, что сможешь.

— Можно теперь сделать один только пшик.

— Делай пшик, сделай милость! Хоть чем-нибудь на счастье с тобой по квитаться!

С КОЛОМЕНСКУЮ ВЕРСТУ

В таком нелестном подобии является в представлении московских людей высокий человек, превосходящий на целую голову прочих и, стоя, например, в толпе, мешающий задним видеть впереди себя. По большей части такой человек неуклюж, неловок, неповоротлив, что называется на севере «жердяем» и «долгаем», а повсеместно «верзилой» и «долговязым». Для московских жителей такие больше-рослые люди представляли подобие тех столбов, которые царь Алексей Михайлович расставил от Москвы до своей любимой загородной летней резиденции — села Коломенского. Это был первый опыт обозначения видными

знаками верстовых измерений, существовавших издавна в одном лишь призрачном представлении с обязательною неточностью самой меры. Неточность зависела столько же от сметки расстояний на глазомер, сколько и от условной подвижности или изменяемости самой меры, и при этом не одних только верст, но и сажений. Древнейшая сажень была короче нынешней, и таких требовалось в версту целая тысяча. Впоследствии верста стала состояться из семисот сажень, и такое-то количество их и велел уложить царь Алексей в ту видимую версту, которая ушла в поговорку. Царь Петр I повелел считать в версте пятьсот сажень, что и намечали впоследствии по всем казенным почтовым дорогам пестрыми верстовыми столбами, покрашенными в три национальные цвета. За такой-то столб задел в степи хохол, изумленный невиданною диковинкою, и остался недоволен.

— Ажно проехать стало невозможно: проклятые москали верстов по дороге понаставили!

На самом деле консервативное начало высказалось и в этом нововведении: еще на нашей памяти в захолустных местах семисотные версты предпочитались пятисотным, взаимно соперничая. Требовался переспрос: по какому счету принято на поселках, где не поставлено столбов, разуместь дорожную версту. Конечно, всего чаще случалось получать в ответ всем известное объяснение расстояний в нашей пространной и неоглядной Руси: «Меряла баба клюкой, да и махнула рукой,— быть-де так!»

КОРЕЛЬСКИЙ ВЕРСТЕНЬ

Кроме коломенской версты, на святой Руси доводится набегать еще на «корельский верстень». Так проносят слово верста северные инородцы; да и в самом деле, «верстень» представляет собою весьма характерную особенность и своеобразную единицу меры в тех непроходимых лесистых и болотистых местностях. Не спуста у архангельских поморов сохранилась поговорка: «Корельский верстень — поезжай целый день», «Баба меряла, да оборвала веревку». Такие версты и называются

«корельскими»: тонки да долги. Прямо смотреть, рукой подать, да надо тянуться через такие зыбуны, где и легкая лисичья нога не удержится. Обезымы десятки верст оставляют такое мучительное впечатление, что не забывается десятками лет, и при воспоминании о корельском верстене у испытавшего такое горе пробегает мороз по коже. Переезжает лесничий с корелом на дырявой лодке через широчайшее Топозеро, чтобы попасть на интересный остров с остатками знаменитого раскольничьего скита федосеевского толка, — и мучается ожиданием половины пути. От берега до берега насулили двенадцать верст, — истратили пять часов, а все еще далеко от места. По пути оказался маленький болотистый, топкий островок:

— Вот теперь половина будет, — подсказывает корел.

— Вот тут-то, должно быть, и оборвалась у вашей бабы веревка.

В ответ на это замечание следует точное и откровенное объяснение в утешение измученного проезжего человека:

— Задняя половина больше, — передняя половина «горазд поменьше».

ДВА ДЕВЯНОСТА

Одно девяносто потребовало филологических исследований, два девяноста имеют уже историко-географическое значение. В записках Академии наук 1878 г., том 31-й, напечатана статья Прусика, директора гимназий в Руднице, в Богемии, в которой доказывается, что это слово неправильно пишется девяносто и, на основании сличений с греческим и латинским названием этой цифры, необходимо писать девеносто. По следу этой записки в «Филологических записках» 1879 г., выпуск I, другой исследователь, Ф. Ржига, на основании законов русского языка, настойчиво и доказательно опровергает мнение чеха и советует писать девяносто, как принято. Он производит это слово от девять до ста, что подтверждается и в звуковом отношении в области славянской речи.

«Непосредственный или последний десяток ко ста будет=90. Итак, спросим еще: что значит «девять до ста? или к какому числу можно добавить до ста?

$$x+9 = (100 - 1)$$

$$x+9 = 99$$

$$x=90.$$

Ответ заключается в самом вопросе,— это значит, что число 90 достаточно обозначено славянами: девять до ста = (девяноста)=девяносто».

Вполне подчиняемся этому решению и будем вперед следовать этому указанию, как поступили уже в самом заголовке предлагаемой статьи. Для нас же важны не одно, а именно два девяноста.

Народные несчастья, крутые исторические невзгоды, когда приводилось плохо всей Руси, большее всех городов и областей (даже пограничных) отзывались на срединном городе русской земли, властительном, влиятельном и богатом. Обездолить военным разорением, обессилить грабежом и пожарами, унижить позором набега и надругаться разрушением,— все это кстати было именно здесь, в самом центре Руси. Таковым в данном случае является Москва, не в пример прочим городам и в строго-математическом смысле.

Эта видимая случайность в самом деле весьма знаменательна. Первые города от Москвы отстоят на «два девяноста верст»: Владимир, Тверь, Тула, Калуга, Рязань, Егорьевск, Юрьев (Полесский, Владимирской губ., очутившийся на поляне, в полях, среди вырубленных лесов и совершенно истребленных дебрей,— один выделившийся этою особенностью среди всех «залесских» городов и перед своим стольным городом — Володимиром). При этом первому из московских соседей, на которого обращены были исключительно поглощающие стремления Москвы, досталась самая печальная участь, выразившаяся в очень горькой насмешке народного присловья: «у Владимира два угоды: от Москвы два девяноста, да из Клязьмы воду пей». Это — первые из старых, которые не успели обессилеть от поглощающего соседства Москвы и удостоились почетного прозвища губернских, когда Петербург, при Екатерине Второй, начал раздавать

звания и дипломы всем заслуженным и производить в соответствующие чины и степени городов не всегда того достойные села, посады и слободы. При этом замечательно, что промежуточные города, соблюдающие до сих пор то или другое значение и сберегшие прежнюю силу и известность, отстоят от Москвы на «одно девяносто» (Коломна, Клин, Серпухов, Руза, Можайск, Переславль-Залесский), то есть на ту меру, какая из глубокой старины принята была для определения расстояний и, вместе с сороками, составляла общеупотребительный способ и любимую форму счета. Два-девяносто значит четыре с половиной сорока, сто восемьдесят. Вышло так, что «четыре девяносто, что девять сороков — одно; полпята сорока — два девяносто», а затем, как говорят в глухих местах опытные счетчицы: «что полпятаста, что пять-девяносто — все те же девять сороков с девяностом» (вот таким образом и это несклоняемое числительное, вопреки нашим грамматикам, народом склоняется).

Пройти пешком треть девяносто за единый дух и прием очень трудно: надобен на половине пути отдых. Пройти еще такую же треть, как от Москвы до Троицы-Сергия, считается уже подвигом, достаточно успокаивающим религиозное настроение москвичей. Чтобы одолеть целое девяносто, надо уже запрягать лошадь. Хода лошади стала единицею меры расстояний и невольно выразилась в распределении населенных мест там, где русскому племени пришлось колонизовать страну в междуречьях, где переставали служить плоты и лодки и выручали свои ноги или хода благородного животного. На тридцати верстах оно уже уставало само и требовало отдыха и корму. После отдыха оно снова служило на том же пространстве или перегоне и, при взаимных сношениях и обменах соседей, помогало тому, что хозяин мог в одни сутки доехать, сделать дело и вернуться назад. Там, где этим тридцативерстным дорогам, как радиусам в круге, доводилось определять центр — вырастали торговые села. Группа таковых, тянувших друг к другу, определяла центр уже городом, нередко «стольным» в старину и еще живым в нынешнее время. Города же первого девяносто на втором — порождали города уже первопрестольные, царствующие, княжеские. Таковы все пять вышеупомя-

нутых. Как бы то ни было, указываемое нами явление неотразимо и обязательно явилось во всей суздальской и рязанской Руси; пусть прогуляется циркуль от Москвы, как центра, на Владимир до Муром, на Ярославль за Кострому до водоразделов и т. д. в любую сторону. Этим способом мы отчасти объясняем себе и ту видимую случайность, при которой города с двумя девяностами расстояния могли создать такой громадный город, как Москва, уже не знающий себе на Руси соперников, имели основание признать его срединным и наименовать сердцем и, как своей и личной, интересоваться его судьбами. Стали поговаривать: «В Москве к заутрене звонят, а на Вологде тот звон слышат».

МОСКОВСКИЕ ПРАВДЫ

ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ: ПОДЛИННАЯ И ПОДНОГОТНАЯ

На свете правда — одна, и другого приличного эпитета ей нельзя придавать: «ложью, как хошь, верти, а правде путь один»; «все на свете минётся, опять-таки *одна* только правда останётся», — уверенно и смело говорит народ наш. Умелый в родном языке до поучительного образца и ревнивый к отступлениям и неправильностям обиходной речи, наш народ, несомненно, неспроста и неспуста решил прилаживать к правде странные придатки, поставленные в заголовке нашей статьи. Не назвал бы он правду подлинной на том же основании, как не зовет на смех всем масло масляным, и потому что неподлинная правда есть уже просто кривда¹. Равным образом нам приходится теперь говорить не о той правде, которая есть первая из самых первых основ нравственности и справедливости и то первое же и главное, что необходимо иметь всем и каждому и которая в нынешнее

¹ Название кривды народ объясняет тем, что неправда на земле пошла от первой женщины Евы, которую бог создал из кривого ребра. Правда осталась у бога, а кривда на земле. Она светом началась — светом и кончится. Оттого и выучились люди жить так хитро и ловко, что «где в волчьей нагольной, а где и в лисьей под плисом».

время более чем во все предыдущие периоды человеческого развития является вопиюще необходимостью. Настоящее наше толкование вынуждается специальной правдою, которая обычно всяческими способами отыскивается на суде и при юридических дознаниях, розысках и следствиях, в прямом расчете, что затаенная правда где-нибудь да отыщется.

В старину до этой правды добирались впотьмах ощупью следующими путями и способами.

Доносчик и обвиняемый приводились в судную избу вместе, но допрашивались порознь: «истцу первое слово, а ответчику последнее». Так это и в пословицу попало.

Первым ставили перед судейским столом обвинителя, который и повторял донос. Приводили обвиняемого. Он божился и клялся всеми святыми и родителями, отпираясь от поклепов и оправдываясь. Местами и временами он изругивался, искоса и в полуоборот волчьим взглядом поглядывая на злодея-доносчика. Приводили снова этого и ставили очи на очи. Давалась «очная ставка».

«Очи на очи глядят, очи речи говорят»: доносчик стоит на своем, обвиняемый, конечно, отпирается. «И не видал, и не слыхал, и об эту пору на свете не бывал». Тогда, по Уложению царя Алексея Михайловича и по древним судейским обычаям, уводили доносчика в особую пристройку «за стеной» судной избы или в «застенок». Там раздевали его донага, «оставляли босого и без пояса, в одних гарусных чулочках и без чоботов» — как поется в одной старинной песне. Затем клали его руки в хомут или связывали назад веревками, обшитыми войлоком, чтобы не перетирали кожи; на ноги привязывали ремень или веревочные путы. На блоке и в хомуте двое вздымали к потолку, двое других придерживали за ноги внизу, оставляя всего человека на весу вытянутым на «дыбе» и не допуская его концами ножных пальцев упираться в пол. Палач становился на бревешки и вывертывал из лопаток руки (что называлось «встряскою»), и затем, как опытный костоправ, вправлял их, вдвинув изо всей силы на старое место. Давали висеть полчаса и больше. Если «на подъеме» он не говорил того, что хотели слышать, тогда начинали «пытать» — допытывались правды. Палач, или заплочный мастер, мерно бил по нагнутой спине

«длинником», хлыстом или прутом («бато́гом»), а то и просто палкой или даже кнутом,— словом, что первое подвернется палачу под руку или на что укажут ему. С вывернутыми из суставов руками, со жгучею болью в груди,— на виске «под длинниками» или «под лынками» говорил пыточный с пытки «подлинны́е речи». Поседе́лый в приказах дьяк придвигал к дыбе в застенке свой столик: перо у него за ухом и пальцы в крюк. Мучительно медленным почерком, чтобы какой-нибудь на бумаге крюк не выпустить из рук, «нижет приказный стро́ку в стро́ку, хотя в ряде слов нет проку». В это время доносчик висит на виске и говорит первые пыточные речи, или измененные и дополненные показания, ту «подлинную», понятия о которой несправедливо и неправильно перенесли потом на все то, что называется настоящим и имеет вид безобманного и истинного. Часто случалось, что доносчик, под длинниками, то есть бата́гами или хлыстами, гибкими и хлесткими прутьями на дыбе, от своих показаний отказывался и сознавался, что поклепал напрасно или спьяну, или из мести и по злобе. Тогда его опять пытали три раза. И стало́сь так, как говорят пословицы: «На деле прав, а на дыбе виноват: пытаются татя на три перемены». Если доносчик с этих трех пыток подтверждал свое пыточное сознание, обвиняемого отпускали. Он успокаивался на той мысли, что «нескорбно поношение изветчика». В противном случае подвешивали на дыбу и этого: «Оправь бог правого, выдай виноватого».

«Били доброго молодца на пра́веже в два прутика железные. Он стоит удаленький,— не тряхнется, и русы кудри не шелохнутся, только горячи слезы из глаз ка́тятся»,— выпевают по настоящее время слепые старцы по торгам и ярмаркам. Правится он на праве́же («на жемчужном перекрёстичке», как добавляется в московской песне с указанием на то урочище, где было место старых казней), правится он, как береста на огне коробится, и с ущемленными в хомуте руками «хомутит» на кого-нибудь, то есть или клеветает и взводит напраслину на невинного, или сваливает свою и чужую вину на постороннего. В таком по крайней мере смысле и значении убереглось это слово до наших дней вместе с пословицей, обязательно предлагающей «первый кнут доносчику».

Оно, впрочем, справедливо со всех сторон, во все времена и во всех местах: старинных и новейших, в школах и артелях, и в общественном быту. Доносчику первый кнут не только от старинного палача, но и от современных товарищей и сожителей за этот самый извет.

Если ни страх дыбы в виду подъема и пыток первых, ни хомут, ни кнут не вынуждают вымученного сознания, то подозреваемых «ставили на спицы» (объяснения которым в старинных актах не сохранилось, хотя известны спицы в том оружии старинной мучительной казни, когда колесовали, то есть колесом ломали преступнику кости). Затем сажали на цепь и к ножным кандалам, сверх сыта, привязывали тяжести. Кормили соленым — и не давали пить. На ободренные спины трясли зажженными сухими вениками; посыпали солью по тем местам, где кожа содрана была лоскутьями. Очевидец подъячий Сыскного приказа, бывшего тогда на Житном дворе у Калужских ворот, некто Горюшкин, рассказывал, что старые судьи хвастались друг перед другом изобретением новых средств и новых орудий для допросов и пыток. «Случилось мне,— говорил он,— зайти в пытальную палату, или застенок, по окончании присутствия. На полу я увидел кучу лоскутьев окровавленной кожи,— спрашиваю у палача: «Что это такое?» — «Как что?! выкройка из спины». Этот же Горюшкин и в том же Сыскном приказе слышал половицу пытаемых: «терпи голова — благо в кости скована», и «приветы» колодников одних идущих на пытку от испытанных ее: «Какова баня?» — «Остались еще веники». Пытки считались вполне делом законным и справедливым¹. Ни власти, ни народ нисколько в том не сомневались: пытка была законом, а дыба и заплечные мастера встречались даже в народных волостных избах, не только в казенных городских. Необходимость и законность пытки были укреплены твердо в понятиях всех и каждого. Надо лишь изумляться всеобщему равнодушию и той нерешительности, с какою подходили законодатели к

¹ Этот Горюшкин самообразованием достиг того, что был впоследствии приглашен к преподаванию в университете практического законоведения. Своим лекциям он давал драматическую форму, и класс его представлял присутствие, где производился суд по законному порядку.

уничтожению этого позорного, бесчеловечного, безнравственного и бессмысленного способа отыскания следов преступления и степени виновности. В незлопамятном народе остались воспоминания только о самых мучительных и лютых пытках, хотя, правду сказать, некоторые из старых практиковались и в очень недалекие от нас времена.

Осталась, между прочим, в народной памяти — «подноготная», та пытка, которою добивалась на суде, в самообманчивой простоте, никому неведомая и от всех скрытая правда, заветная и задушевная людская тайна. В старину думали, что она, несомненно, явится во всей наготе и простоте, когда палач начнет забивать под ногти на руках и ногах железные гвозди или деревянные клинушки, когда судья закричит и застрашает подозреваемого возгласом: «Не сказал подлинной — заставлю сказать всю подноготную!» Тогда пыточному закрепляли кисть руки в хомут, а пальцы в клещи, чтобы не могли они сложиться в кулак или не изловчилась бы дать наотмашь.

По некоторым сведениям, в числе замысловатых инструментов пыток находились особого вида клещи, которыми нажимали ногти до такой боли, что человек приходил в состояние лгать на себя и, в личное избавление, рассказывать небылицы целыми повестями. По внешнему виду, по особому устройству верхней половинки клещей, похожей на столь известную и любимую овощ (brassica napus), орудие пытки носило название «репки». Ею выдавливали правду из ногтей, как колют теперь машинкой орехи и сахар. Отсюда и столь известное и общеупотребительное выражение: «хоть ты матушку репку пой», а я на то несогласен, по-моему не быть ни за что и ни в каком случае.

ТРЕТЬЯ ПРАВДА: «У ПЕТРА И ПАВЛА»

В Москве, где очень многое по-другому и все своеобычно, потому собственно шла правда от церкви Петра и Павла, что вблизи ее находился страшный Преображенский приказ, особенно памятный народу с тех самых пор,

как стрельцы рассердили Петра, вооружили его против Москвы, и он задумал с ней вконец рассориться и навсегда разойтись. Здесь были застенки и дыбы в несчетном количестве; производились бесчисленные пытки и казни и применялись и получали дальнейшее развитие все разнообразные способы допытывания правды. Собственно же «московская правда» давно уже была во всей тогдашней Руси на худом счету. Она обращена была даже в насмешливое слово и понималась как укор и попрек с тех времен, как Москва стала забирать в свои руки всю Русь и мало-помалу становилась главою государства. Любопытным и сомневающимся советовали искать этой правды «московской» особенно в Пскове, где она сумела выразиться во всем неприглядном безобразии. Псков помог князю московскому под Новгородом,— псковичи пожаловались ему на московских послов, обижавших людей по дороге, отнимая у проезжих лошадей и имущества и требуя грубо поминок не по силе,— великий князь взглянул на жалобу грозно, подивился и гораздо больше поверил своим боярам. После падения Новгорода Псков объявил полную покорность, а из Москвы посылались нарочно такие наместники, из которых на каждого приходилось жаловаться. Избранных челобитчиков великий князь принимал, но вскоре велел отдавать под стражу. Они думали покорностью смягчить Москву, авось там смилятся и сжалятся: вышли за город навстречу князя Василья, прибывшего во Псков, поклонились ему до земли, а он лучших людей велел схватить и увезти в Москву. Триста саней потянулось по московской дороге под стражей. Князь выехал из Пскова, по словам летописи, без крови, с великою победою, но москвичи, оставленные править городом, не разбирали средств увеличивать свои доходы. Они подстрекали ябедников на богатых людей, брали взятки и посулы и разоряли. Добро, нажитое в прежние времена независимости торговлею и промыслами, теперь переходило в руки московских дьяков. Лучшие люди бросали дома и убегали в чужие земли; иногородние покинули Псков все до единого. Один за все вольные города русские челобитьем к потомству пожаловался на московскую правду псковский летописец такими глубокого смысла словами: «О, славнейший граде

Пскове-Великий! Почто бо сетуеши и плачеш? И ответа прекрасный град Псков: прилетел бо на мя многокрылый орел, исполнь львовых когтей, и взя от мене три кедра ливанова, и красоту мою, и богатство, и чада моя восхити. И землю пусту сотвориша, и град наш разориша, и люди моя плениша, и торжища моя раскопаша, а иныя торжища коневым калом заметаша, а отец и братии наша разведоша» и т. д. С этих пор создались и убереглись исторические поговорки, что «Москва слезам не верит», ее не разжалобишь («не расквелишь»), она «по чужим бедам не плачет» и прочие живучие поговорки, которые примечаются ко всякому подходящему случаю в обиходной жизни¹.

После стрелецкого бунта в 1698 г. дела по полиции и общественной безопасности стали вестись в Преображенской приказной избе. Новые полки: Преображенский, Семеновский и Бутырский держали постоянные и временные караулы в Кремле, у городских ворот, у кабаков, у церквей, около монастыря, на площадях и прочее. С 1702 г. все дела из Судного приказа перешли в Преображенский, который «из избы» переименован был в «приказ».

Здесь всеми делами ведал, и правду искал, и суд творил не кто иной, как царский любимец и ближний человек, сам князь-кесарь Федор Юрьевич Ромодановский, решавший всякие дела и даже самые страшные о «слове и деле» без апелляций. Это был (по словам кн. Куракина, современника его) «человек характера партикулярного (то есть своеобразного), собой видом, как монстр, нравом злой тиран, превеликий нежелатель добра никому; пьян во вся дни; но его величеству верный так был, что никто другой». Сидя за столом в старом боярском кафтане, отороченном узеньким золотым галуном, с длинными густыми усами, всякое дело выслушивал сам этот страшный человек, перед которым никто не смел садиться и во двор

¹ В пословичных выражениях сохранилась еще память об однородном с правдою московском «часе». Хотя вообще русский час — «все сейчас», но полагается очень долгим; со днем тридцать. Московскому же часу определила русская старина срок ровно в целый год: «подожди с московскую годинку — с московской час!» Это же и «московская волокита».

к которому никто не имел права въезжать (даже сам царь Петр выходил из одноколки у ворот). Словом, судила та исключительная суровая личность, подобные которой, по русским приметам, нарождаются в целое полустолетие один только раз. Конечно, в эти времена охотливее, чем в другие, советовали не бояться суда, а бояться судьбы: суд стоял прямой, да судья сидел кривой. В его руках закон был дышлом: он его куда хотел, туда и воротил. «Зачесали черти затылки от его расправы», и долго сохранялась в народе память о «петропавловской» правде, все время, пока поддерживалась она робкими, медленными и неудачными попытками к истреблению в корне тех поводов, которые породили самую поговорку. Петр III в сенате, 7 февраля 1762 г., запретил ненавистное «изражение слова и дела»; Екатерина II назвала употребление пытки «противным здравому, естественному рассуждению», но уничтожить ее формальным образом не решилась. Счастливая доля приостановить ее досталась в 1800 г. императору Александру I.

Обнаружилась в Москве правда, вместо Петра и Павла — «у Воскресенья в Кадашах», в Замоскворечье, в то время, когда на городских выборах оказались в громадном большинстве голоса за Шестова, имевшего свой дом в этом приходе. Шестов, в 1830-х годах, выбран был в городские головы.

ЧЕТВЕРТАЯ ПРАВДА: »У ВОСКРЕСЕНЬЯ В КАДАШАХ«

Нравы и обычаи того времени требовали, чтобы в городских головах на Москве сидел такой, который бы всем и всему потрафлял, а если он, сверх того, богат, тароват и хлебосолен, то еще того лучше. Против таких сговаривались целым обществом, и если они сами не запрашивались, то их выбирали заочно и потом кланялись и неотступно упрашивали. Особенно важных требований, как к хозяину такого огромного и богатого города, тогда не предъявлялось; ни образования, ни убеждений, ни особенной силы воли и характера вовсе не требовалось. Производились самые выборы на добрую половину в шутку. Раз, однако, привелось ошибиться.

Голова Шестов оказался недюжинным. Загадали на простого, а получили прямого; на иную хитрость хватало и его простоты. Практически полагали все, что он будет не лучше и не хуже прежних, и вдруг довелось услышать, что голова начинает чудить по-своему: до всякого пустяка в думе доходит сам и сует нос во всякие мелочи, не жалея своей головы. Что-то будет?

Стал он, например, до того доходить, кто пожарных лошадей кормит, почем для них покупают овес и сено. И когда дознался до старых цен,— объявил наново, что сам будет кормить, по прямому закону, с вольной цены, какая установится на торгах. Доискался такими же путями и до фонарного масла, которое покупалось вместе с овсом, и до других статей городских расходов, которые шли особняком. Шел он просто, все по дороге, просто и доходил, не жалея себя и словно не ведая того, что на дворе стояло самое ненастное время, хозяйничала голая, как пузырь, голова графа Закревского, топала и кричала, угрожала и исполняла угрозы. Не замечал, да и не хотел слышать и видеть Шестов, что против него собирались враги и предпринимались воинственные походы. На городскую казну смотрел он купеческим оком и сторожил и умножал ее так, что когда к концу первого года стали ее считать, то вышло дивное дело, неслыханное событие: возросла казна до больших размеров от скоплений и сбережений и от умного хозяйства. Сам Шестов вошел в большую цену и славу, и имя его сделалось известным даже малым ребятам, и — шутка сказать! — перевернул из-за него наново московский люд старую, уже твердо устоявшуюся на ногах, пословицу: «Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла».

В 50-м году вся Москва только и говорила, что о подвигах этого Шестова, и даже лубочная пресса, в те времена столь далекая от всяких политических вопросов дня и притом в то суровое цензурное время, вынуждена была обмолвиться о правде «от Воскресенья в Кадашах» полуграмотным легким намеком¹. В нынешние времена это

¹ В приходе этой церкви Воскресенья в Кадашах, где в старину жили бондари-бочары, обручники-кадочники,— по-старинному кадаши, или кадыши, а в указанное время жил исторический городской голова в своем доме.

почтенное имя совсем исчезает из народной памяти под давлением и влиянием новых выборных земских порядков. Сколько нам известно, заслуги Шестова не почтены толковыми печатными воспоминаниями людей, близко и лично знавших его и, конечно, во множестве еще обретающихся в живых (припоминается лишь небольшая заметка, видимо урезанная цензурой, напечатанная в «Современнике»). Никольский «Петушок» издания тамошнего книгопродавца И. Г. Кольчугина (под заглавием «Турусы на колесах», 1846 г., в типографии Евреинова, с одобрения цензора Зернова) тоже уже не поет о Шестове, представляя своего рода библиографическую редкость. А он, сам петушок¹, робко спрятавшись где-то далеко на насесте, сиплым, простуженным голосом, все-таки дерзал выкрикивать: «Пришла к нам правда не от Петра и Павла, а от Воскресенья в Кадашах и стала матушка в барышах, а то ведь наша матушка все беднела да бледнела, все хромала да головушкой хворала,— перестала наша матушка хромать» и т. д.²

НУЖДА ЗАСТАВИТ КАЛАЧИ ЕСТЬ

Нужда бесхлебных и малохлебных губерний обычно увлекала народ на низовую Волгу. Здесь, за малою населенностью края, очень нуждались в рабочих руках для косьбы роскошных степей и жнитва неоглядных хлебных полей, а также и для лова рыбы в устьях Волги и на Каспийском море. Там все едят хлеб пшеничный, потому что пшеница — господствующий хлебный злак, и ржаного хлеба не допросится верховому бурлаку или рабочему. Пшеничные хлебы и булки до сих пор называют там калачами. В подкрепление наших слов мы находим такую заметку известного ростовского археолога А. А. Титова (в предисловии к изданию г. Вахрамеева «Расход-

¹ «Петушками», как известно, издавна принято называть в книжной торговле все те дешевые лубочные книжки, которые стаями нарождаются в Москве на Никольской улице и разносятся в коробах владимирскими офенями по всей деревенской России.

² См. также далее в ст. «Турусы на колесах».

ная книга патриаршего приказа кушаньям, подававшимся патриарху Адриану и разного чина людям с сентября 1698 по август 1699 г.): «Русские в XVII столетии ели преимущественно ржаной хлеб. Он был принадлежностью не только убогих людей, но и богачей. Наши предки даже предпочитали его пшеничному и приписывали ему (да и теперь также) больше питательности. Название «хлеб» значило собственно ржаной. Пшеничная мука употреблялась на просфоры, а в домашнем быту — на калачи, которые вообще для простого народа были лакомством в праздничные дни. От этого и поговорка «калачом не заманишь» — самым редким кусом не привлечешь к себе того, кто испытал в чужих руках горькую долю, суровую нужду. Зато иного человека и калачом не корми, а сделай ему то и то, или: «лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь» и т. д. До пароходства эта нужда искать заработков при калачах самым главным образом находила удовлетворение здесь. Десять губерний поступали таким образом. Отсюда идет и другое темное выражение: «неволя идет вниз, кабала вверх». По толкованию В. И. Даля, тут речь идет все о той же Волге и о разгульном бурлацком промысле, с которым связана кабала: задатки взяты, усланы домой в оброк, а остатки пропиты. «Неволя, то есть нужда, идет вниз, по воде, искать работы; вверх, против воды, идет или тянет лямкою кабала»; а за нею следом рваная и голодная нищета. Или по иному толкованию этого же знатока народной речи в буквальном смысле: «Раб ждет милости за верность, а кабальный все более и более должен и в кабалу затягивается».

ПОПАСТЬ В КАБАЛУ

в нынешние времена, вследствие неблагоприятных условий быта, легче, чем в старину отдаться в кабалу, отчего первое выражение общеупотребительное, а второе, утратив практический смысл, сохранилось лишь в историческом значении, как древний юридический термин. Беззаботный человек, живя спустя рукава, очень

часто незаметно и неожиданно для себя попадает в безысходную нужду или, как говорится, «выводит на себя кабалу». Она хотя и не имеет на этот раз старинного смысла, требующего вечной работы или продолжительной выслуги за неоплатный долг, за неустойки в платежах деньгами и трудом, и хоть эта «кабала не кабала, а голова все-таки не своя», по пословице. Зачастую случается, что рабочий, идущий внаймы, принимает на себя кабалу, и таковая в недавнее даже время определялась сроками, если и на слово, без письменных кабальных записей, но с заручкой благонадежными свидетелями, как доверенными поручителями. Так, например, на шесть лет приходил на заработки, чтобы выслужить потраченные деньги, тот, которого выкупал купец или священник из крепостного состояния от помещика, либо иной богатый человек из податного состояния освобождал выкупом от рекрутства и т. п.

МОСКВА — ЦАРСТВО

Так обмолвилось одно из присловий обрисовывающих характер всех городов русских и в наибольшем числе (сравнительно с прочими) сгруппировавшихся около этого города. Его наш народ и очень любит и нежно ласкает; любя прибранивает и лаская подсмеивается; ее боится и остерегается, но ею же живет и хвалится. Назвал народ Москву матерью всем городам и говорит, что, кто в ней не бывал, тот и красоты не видал, хотя она и «горбатая старушка». В ней «хлеба-соли покушать, красного звону и ее самое послушать», хотя в ней и толсто звонят и сама она «стоит на болоте и ржи не молотит». Она тем и любя народному сердцу, что, когда ее соперник Питер «строился рублями и стоил больших миллионов», она, белокаменная и золотоглавая, «создалась веками». Обмолвилось присловье, по обыкновению, неспуста и неспроста и в том случае, когда создавалось изречение «Москва принос любит». «Без дарственного воздаяния не может Москва дел никаких делать», — писали посыльщики устюжского архиепископа Александра еще в XVII

веке на Устюг. Московские приказные, по словам тех же посыльщиков, «говорят, не обинуясь, что от того же дела мы есть-де хотим». Несколько раньше то же самое и в тот же Устюг протопопу Владимиру пишет протодьякон Владимир (мая 24-го 1658 г.): «Сволочись даром не хочется», (то есть съездить в Москву без успеха в ходатайстве), а на челобитных только пометы: «взять к делу... а к дьякам приступ тяжек».

Не удивительно, что за долгое время и в силу исторических судеб и русской народной воли за Москвою признан такой важный и крупный эпитет, который взят нами в заголовок прямо из уст самого народа. Он очень хорошо помнит, что Москва населялась жителями из всех областей земли русской, которые тянули к ней и промыслом, и торгом, и неволей. Он отлично знает, что Москва собрала всю заветную областную святыню, палладиумы покорившихся княжеств, и до сих пор бережно сохраняет их, главным образом, в Кремле и в Успенском соборе или в нарочно выстроенных храмах и монастырях. Тем и другим она и привлекла к себе народную любовь и закрепила внутреннюю связь со всею обширною страною Русского царства, сделавшись сама, в миниатюрном виде музеума, ее подобием и представительницею, со званием и титулом «сердца России».

Здесь не место перечислять все те святыни, которые взяты были из покоренных городов и свезены в Москву как победные трофеи вместе со знатными и богатыми семьями горожан. Нам не время доказывать, что еще не так давно у московских застав можно было, без труда и усилий, прислушиваться к разнообразным оттенкам говоров и наблюдать наряды и шляпы, как этнографические признаки пришельцев из тех местностей, откуда вышли к этим заставам шоссейные дороги. Наречия и говоры русского племени были здесь все налицо. Всем хорошо известно, что выселение из дальних городов в Москву не только не прекратилось, но еще и усиливается. Нам, однако, время и место — не в первый раз — и снова пожалеть о том, что столь глубокое и очевидное значение города Москвы до сих пор не остановило на себе в надлежащей мере внимания: местные исследователи пробегают мимо этих интересных фактов, сильно бьющих в глаза и

в ухо. Все говорят, что Москву собирала вся Русь и сама в ней засела во всей целомудренной чистоте и неприкосновенной целости, но подлинных признаков не приводят. Бесспорными доказательствами этот город переполнен.

Между тем сколько любви и ласки народной, в самом деле, сосредоточивается около этого срединного русского города, который, как цельная государственная область, заручился внутри себя городами, посадами, целыми слободами, классическим, не существующим на самом деле, но действующим, в виде церковных благочиний, «сороком сороков» и двадцатью двумя монастырями (последние, в указанном количестве, полагаются обыкновенно на целую губернию или область) и т. п.

БЕЙ В ДОСКУ — ПОМИНАЙ МОСКВУ!

Город Москва и богата всем и таровата: все найдешь, кроме птичьего молока да отца родного с матерью. Была бы догадка, а в Москве денег кадка. И диковинная, не в пример всем другим городам и селениям: «В ней каждый день праздник (по необыкновенно великому числу церквей); у Спаса бьют, у Николы звонят, у старого Егорья часы говорят», и при этом «грязь не марается, и спать широко». «Москва широка, как доска», у этого города «нетоколицы», а потому он нигде «не сошелся клином».

Захотят ли похвастаться родным городом, называют его «уголком Москвы». Она служит меркою для определения величин и расстояния: на свете так много дураков, что их «до Москвы не перевешаешь». Иван Великий — измеритель высот «повыше высокого»; Царь-колокол — тяжестей: «подними-ко!» Пресня хвалится женихами, «все скоморохи»; вся Москва до наших дней и по всей Руси — невестами. Всякий русский город обязательно заручился «московской» заставой, и очень мало таких, где бы не было Московской улицы.

Поминают Москву и в карточной игре («на пиках», например, «вся Москва вистует») и в детских забавах: прихватывают ладонями оба уха, приподнимают с полу, чтобы показать именно Москву пожелавшему ее видеть;

впрочем, сквозь жидкий чай ее всегда видно, а «показать Москву в решето» значит уже наголо обмануть, либо больно одурачить. На Москву загадываются загадки и ее именем упрекают богатых, насмехаются над тщеславными и щеголями и проч. («а что просишь за Москву?» — спрашивает надменный и хвастливый глупый богач и лезет за пазуху вынимать готовые деньги). Быть в Москве и видеть «золотые маковки» считается за большое счастье и полагается первым душевным утешением богомольного люда и всего православного народа. Всё за Москву и всё про нее: «бей в доску — поминай Москву»; «звони во всю Ивановскую».

За долгие и многие годы Москва успела выработать свои обычаи и наречие, свои песни, пословицы и поговорки и привела их во всенародное обращение вследствие долговременных связей и неизмеримо обширного знакомства с ближними и дальними русскими областями. Недаром говорится, что отсюда «до Москвы мужик для поговорки пешком ходил».

ДОЛГИЙ ЯЩИК И МОСКОВСКАЯ ВОЛОКИТА

Когда говорят про недобрых дельцов и судей, про влиятельных лиц и решителей судеб, упрекая их в лени, что они «откладывают дела в долгий ящик», тем вспоминают про тот длинный ящик, который некогда царь Алексей Михайлович велел прибить у дворца своего в селе Коломенском, на столбе. Он ежедневно прочитывал сам вложенные туда челобитья. До того времени челобитные на имя царя клались на гробницы царских предков в Архангельском соборе. Богомольный царь, ревностный к церковному благолепию, поспешил отменить обычай. Ящик сделан был длинный в соответствии свиткам, на которых писались все документы до Петра, заменившего их листами голландского формата, существующими до сих пор. Из царских теремов выходило решение скорое, но, проходя через руки ближних бояр и дальних дьяков, дело «волочилось»: инде застрянет, инде совсем исчезнет, если не были смазаны колеса скрипучей при-

казной машины. Недобрые слухи про московскую «волокиту» или, еще образнее, про «московскую держь» в народном представлении остались все те же, а кремлевский ящик из длинного превратился в «долгий», про вековечный обиход несчастных просителей и жалобщиков на всем раздолье русского царства. Особенно же это было чувствительно и тягостно для приезжих из областей и дальних мест. В первопрестольном городе им доводилось задерживаться и издерживаться. Это — то же «хождение по передним» нынешних влиятельных лиц, равносильное стоянию на Красном кремлевском крыльце или у дверей старинных приказов. Насколько тяжело было положение просителей, свидетельствует св. Митрофан, епископ воронежский. Отправляясь в Москву, он считал необходимым, для сокращения сроков московской держи, каждый раз запастись достаточным количеством денег. Если в монастырской казне их не было, то он прибегал к займам и издержки аккуратно записывал в тетрадь. Одна из них сохранилась. В ней мы читаем о покупке святейшему патриарху «в почесть 40 алтын на лещей и на 23 алтына и 2 деньги осетрины» в то время, когда на себя лично во всю дорогу издержал святитель всего лишь семнадцать алтын «за постой и квас». В Москве он поднес патриарху калач, дал патриаршим истопникам сорок алтын, патриаршим певчим славленных шестьдесят два алтына, пономарям Успенского собора гривну, подъячему Кириллову на сапоги две гривны и прочая «прóтори и прбести, убытки и волокиты», как привычно выражались в те времена, приравнивая даже взятки к волокитам всякого рода.

ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ

В такой, а не иной форме сохраняется это выражение в устах народа, и взявшийся поправлять мое прежнее толкование сам попался впросак именно по той причине, что обратился не к прямому источнику, а принял его с чужих слов по доверию и обычаю в несколько искаженном виде. Кричать «во всю Ивановскую» (улицу) да хотя бы и «во

всю» площадь, что примыкает к московским соборам (как старается объяснить новый толковник)— нельзя. Это — не в законах живого языка: такой расстановки слов не допустит строгое и требовательное народное ухо. Можно и кричать (и при этом, конечно, осрамиться и прославиться) на всю улицу, на все площади русских городов, и нет нужды, для объявления во всеуслышание царских указов, выбирать из них именно кремлевскую Ивановскую. Для такой цели и по величине и по удобствам гораздо приличнее Красная площадь с торговыми рядами, с народной толкучкой, с Лобным, которое так любил грозный оратор Иван IV и «тишайший» царь Алексей — в дни церковных «действ». К тому же с тех же самых давних времен бирючи обязательно кочевали, разыскивая места наибольших народных скоплений, и там кликали на всех крестцах и на все улицы. Вот если зазвонит Иван Великий во всю свою *Ивановскую* «колокольную фамилию» (как выражались исстари), «во все кампаны», в тридцать колоколов своих,— это окажется внушительнее, величественнее и памятнее для народа в роды и роды, чем крики сиплых от невоздержания дьяков всех многочисленных московских приказов и на всех площадях широко раскинувшегося города. Издревле Иван Великий был глашатаем великих событий не одной лишь церковной, но и государственной жизни: предупреждал о подступе к кремлевским стенам и святыне злых врагов в виде татар и ляхов, извещал о победах над ними, о радостных событиях в царской семье и проч. И до сих пор звон Ивана Великого возвещает о вступлении на прародительский престол новых царей, и первым на всей святой Руси приветствует их богом венчанными и превознесенными. Кто бывал в Москве в пасхальную ночь, тот на всю жизнь запечатлевает в памяти очарование необычайным колокольным концертом и входит в должную силу разума, что значит «во всю Ивановскую» — в самом настоящем смысле. А голосом кричать охотным и безбоязненным людям можно на всех Ивановских улицах, без которых действительно ни один город на Руси не обходится и без которых, вопреки мнению мсего обвинителя, едва ли ему удастся объяснить распространенное выражение «кутить во всю Ивановскую».

У добрых соседей во всей гостеприимной Руси не почитать заветного очередного (так называемого уличного) праздника значит кровно обидеть: все гости на счету, а близких людей ожидает более радушный прием. Вот почему верные дедовским обычаям непременно заходят во всякий дом и обязательно отведывают хлеба-соли и зелена вина, чтобы не показать (хозяевам-стряпухам), что они ею гнушаются. К вечеру такого праздничного дня на улице, носящей любое название (да хотя бы и без всякого названия), иной, не твердый на ногах, вопреки полицейским и грамматическим запрещениям, возьмет да и вскрикнет весело и громко: «катай-валяй во всю Ивановскую», а не то с этим же окриком нахлещет лошаденку и наладится домой¹.

В живой речи чаще всего «во всю Ивановскую» требует именно удалых или отчаянных выкриков с призывом «во вся тяжкая», а не исключительно со словом «кричать». У Даля имеется прекрасный пример того, сколь изменяет смысл пословицы даже одно слово, неверно подслушанное или намеренно перевранное.

ВО ВСЯ ТЯЖКАЯ

Хотя говорится таким образом чаще всего о таких людях, сбившихся с правильного жизненного пути, которые безвольно отдались всяким порокам, «пустились во вся тяжкая», тем не менее едва ли не из того же источника

¹ Г. Никольский и на это изречение дает свое объяснение: «В Москве в XVII в. совершались казни и объявлялись правительственные акты (?) и распоряжения на Ивановской площади (за Москвою-рекою), куда вела Ивановская улица. Глашатаи, оповещая жителей о каком-либо распоряжении или о предстоящей казни, проходя по Ивановской улице действительно кричали «на всю Ивановскую» (опять-таки на всю, а не во всю). Никакой площади и улицы там, где указывает наш толковник, нет, если только они не исчезли при нивелировке города в позднейшие времена и на нашей памяти. В нынешних справочных изданиях указанная за Москвой-рекой Ивановская улица исстари и посейчас называется «Кожевниками». Даже ранее XVII в. за Москвой-рекой была (да и теперь есть) местность, называемая «болотом», и еот на ней-то действительно производились казни, и еще в XVII в. здесь был четвертован Пугачев и казнены его сообщники.

вытекло это выражение, как и предыдущее «во всю Ивановскую», то есть от того же колокольного звона. Основываюсь в этом отношении на самой форме выражения церковнославянского склада, припоминаю начальные строки служебной книги «Пентикостарион», или, проще, «Цветной триоди». В ней повелевается перед пасхальной заутреней «вжигать свечи вся и кандила; устроить сосуды два с углем горящим и влагать в них фимиама много благовонного». «Тоже ударяют во вся кампаны и *тяжкая* и клепят довольно» (текст этот, по обычаю, печатается киноварью).

В подкрепление этого предположения имеется в виду следующее очевидное и доказанное обстоятельство. В числе проводников в народ различных пословичных и поговорочных изречений довольно видное место занимают духовные лица до семинаристов включительно (с которыми равную честь и славу делят также охотливые передатчики — солдаты). По словарю Даля, а особенно по его пословицам, таких изречений, которые могли выйти из стен семинарий, насчитываются десятки. Таково, например, название вина цельным выражением: «его же и монаси приемлют»; и оправдание потребления первой и следующих чарок «стомаха ради и частых недугов»; товарищеский совет: «иже не ври же, его же не пригоже» и таковой же ответ (слыхали мы эту песню) «песня стара», «пета бяху». Из закоптелых семинарских стен, не так давно наполнявшихся воплями истязуемых, объявились в живом языке и выражение «задать субботки», и молитва: «только бы перенес бог через субботу», в память того, что по субботам обычно и обязательно секли розгами; «аз да увяз, да не выдрахся», «от фиты подвело животы». «Глас шестый подымай шесты на игумена, на безумена». Когда наши духовные училища прияли малую толику от латинской премудрости, многие изречения классиков, приводимые примерами на грамматические правила, также пущены в обиход, часто в намеренно искаженном виде нередко переиначивались латинские фразы переделкою на русский лад вроде: «Квис нон габет клячам, пехотаре (или пеши ходаре) дебет» — так вссело подтрунивали школьники над собою, таскаясь гурьбою с котомками за плечами за сотни верст в родные села, когда на

Кирика и Улиту (15 июля) распускали на летний отдых, и т. п.

Между прочим припоминается мне из школьного возраста один образчик подобного рода из практики костромских семинаристов. Наскочивши на тяжелый камень преткновения, полагаемый в грамматике неправильными глаголами, наши латинисты, не утратившись ими, придумали свои особенные. Так, например, глагол *testo* обращен в неправильный и проведен по временам в таком виде: *testo, slastisti, culagum, schaladare*, что в переводе на русский язык означало с комментариями: если ржаное тесто подсластишь ты (солодом, например), то получишь кулагу — вкусное и всеми любимое во время постов блюдо, особенно, если упарить его в корчаге и в печи на вольном духу да подержать малое время на холодке. Точно так же, тем же путем, прямо с церковных клиросов и в таком же извращенном толковании, как насмешка, прокрались в народную толпу слова греческие. Так, длинные волосы у духовных лиц стали называть «аксионами» с повода пострижения их при посвящении в священный сан и произнесения и пения слова «удостоен» несколько раз. Базарную бестолочь, всякую шумливую суетню, крикливые ссоры стали звать «катавасией» за то, что оба клироса певчих сходятся на середине церкви для совместного пения ирмосов, именно как бы для того, чтобы подымать больше шума, вступить в соперничество между собою и поразить наибольшим громогласием.

ПОПОВУ СОБАКУ НЕ БАТЬКОЙ ЗВАТЬ

Даль дает такие толкования в пример того, что, когда не только мы с вами, но и еще двое собеседников говорят одну и ту же пословицу на свой лад — и все четыре правы: «старую собаку не волком звать» — за то, что она устарела, не годна более, не считать ее за волка, не обходиться, как с врагом. «Попову собаку не волком звать»: как ни надоедал поп жадностью и прижимками своими, да не глядеть же на собаку его, как на волка: она ни в чем не виновата. «Старую собаку не батькой звать» — не от-

цом — ответ на требование уважать старика не по заслугам: стар пес, да не отцом же его за это почитать. «Попову собаку не батькой звать»: ответ на требование уважения к людям случайным. Что ни толкуй об уважении к батьке, к попу, да пес его — не батька. В этом виде поговорка часто применялась к любимцам барским из двора. Это объяснение потребовалось (и погудило) собирателю нескольких десятков тысяч поговорок в течение десятков лет в опровержение обвинения, взведенного на его сборник в том, что «это куль муки и щепоть мышьяку» и между прочим в пояснение, что нельзя прибегать к «огульным» обвинениям. Несправедливо в один обход или обзор, сплошь и подряд, браковать все по той лишь причине, что нечто мне показалось неточным, другое-пятое — совсем ошибочным. Надо поправлять, да и самому осматриваться, как бы не попасть, подобно «куру во щи». Огулом, без разбору обвинять — не на базаре с воев огурыцы покупать.

ДОРОЖЕ КАМЕННОГО МОСТА

В комедии А. Н. Островского «Не было ни гроша, да вдруг алтын» одно из действующих лиц говорит:

«— Какие серебряные подковы? Какие лошади? Двугривенного в доме нет, а он...

— Позвольте! Это верно. Нам теперь с вами какой-нибудь двугривенный *дороже Каменного моста*.

— Какой мост? Квартальный давеча страмил, страмил при людях, что забор не крашен».

Елеса Островского на этот раз говорит общеупотребительное в Москве, но, по вековым тесным связям ее, хорошо известное и во всех подмосковных губерниях выражение о дороговизне, уподобляемой дороговизне перекинутого через Москву-реку Каменного моста. Выражение этого рода приспособляется во всех тех случаях, когда может определить и крайнее богатство и всякую несоизмеримую ценность какого-либо имущества или предмета и т. п. Вот тому основание.

Деревянная Русь очень медленно и неохотно покидала свои брусные избы с горницами верхними (или горними комнатами), надстроенными над нижними жилыми

хозяйскими покаями для приема гостей с повалушами, куда уходили на ночь из топленых изб и холодных горниц спать (повалиться), и прочими хоромами — жилыми и холостыми строениями, принадлежащими к жилищу домовладельца. Богатые заботились лишь о числе этих зданий, и удивленные самовидцы спешили записывать: «А во дворе хоромов четыре горницы с комнатами, да пять повалуш в подклетьях, да сенники» (холодные горенки против избы через сени или мост, разделяющий дом на две половины). Церкви каменные строились в первые годы водворения христианства, но каменные жилые здания упоминаются впервые в 1419 году по поводу постройки палат из кирпича московским митрополитом св. Ионою. Впоследствии сделались исторически известными каменные палаты купца Таракана (1470 г.) и боярина Образца (1485 г.). При царе Алексее уже во всю силу действовал указ 1681 г., предписывавший в Белом городе, по примеру Кремля, строить одни каменные здания. В помощь выдавался уже из приказа Большого дворца кирпич (по 1½ руб. за тысячу с рассрочкою на 10 лет) тем, кто хотел строиться в Кремле и в соседних с ним городах: Китае и Белом.

Отец этого любителя зодчества и художества царь Михаил задумал построить через Москву-реку постоянный и прочный мост из кирпича. Дома таких искусных мастеров не нашлось, а потому для него, как и прежде для каменных московских соборов, выписан был мастер палатных дел из Страсбурга Анце Яковсен, прибывший в Москву с родным дядей Кристлером, прозванным Иваном Яковлевым. Эти мастера принялись строить мост, но не достроили. Сорок лет укладывались кирпичи и размывалась кладка буйными весенними водами своего нравной реки, до сих пор не изменившей своего разрушительного характера и сохраняющей на том месте остатки камней прежнего моста в виде обманчивых естественных порогов. В медленности и дороговизне постройки народное предание обвиняет князя Вас. Вас. Голицына, любимца царевны Софии, украсившего Москву многими памятниками зодчества. Он нашел, как говорят, какого-то мастера-монаха неизвестного имени, который и завершил дело, не отступая от плана Кристлера, на полное удивле-

ние современников и на насмешливую укоризненную память последующих поколений до наших дней. Каменный мост встал царской казне в большую сумму, которая значительно возросла между прочим и оттого, что постройкою руководил именно этот избалованный и расточительный любимец царевны и правительницы государства Софии Алексеевны. В. В. Голицын достаточно известен (по несомненным официальным документам), как стяжатель богатств многими бесчестными путями, без разбора способов. Довольно памятна и народу его непомерная жадность к личному обогащению: дорого стоящий государственной казне его бесплодный пресловутый Крымский поход, за который он все-таки получил от правительницы чрезвычайные драгоценные награды, в числе которых одна золотая медаль оказалась стоимостью более тридцати тысяч рублей. Позор свой он к тому же старался оправдать тем, что всю вину сложил на гетмана Самойловича, который по этому случаю был сослан в Сибирь. Когда князя судили, он, выслушав приговор, произнес громогласно: «Мне трудно оправдаться перед царем». Когда его сослали в Пинегу, то в погребах его роскошно обставленного дома нашли сто тысяч червонцев и до четырехсот пудов серебряной посуды. Рассказывали, что он при заключении мира с Польшей выговорил себе из контрибуции сто тысяч рублей, а с крымского хана взял две бочки с золотой монетой. Таков был этот «ближний боярин» и при этом носивший самый высокий титул «оберегателя большой царственной печати».

Дороговизна моста при постройке окончательно запечатлелась в памяти москвичей от таковой же и при починке его, когда началась чистка города по воцарении императрицы Елизаветы. Оказалось, что этот мост (он же и Всесвятский) загроможден лавками и палатками, в которых живут люди. Между быками была укреплена плотина и пристроены мельницы. Весенний лед спирал здесь и вредил мосту настолько, что требовал ежегодной починки. Крестьянин Кузнецов брал на себя поправку, просил 8120 рублей и право построить мельницы. В последнем требовании сенат отказал и после уговоров принужден был сдать подряд ему же, с денежною надбавкою (за 8770 рублей).

БОБЫ РАЗВОДИТЬ

Теперь это значит пустяками заниматься, побасенки рассказывать, с прямым желанием подлаживаться, угождая находчивым, острым или веселым словом. «Иной ходит до похода, бобы разводит», как подсмеивается поговорка. Выражение это взято от обычного не только в старину, но и в наши дни способа ворожбы, по которому раскидывали бобы (или разводили) и гадали по условным знакам, как ложились эти продолговатые плоские зернышки обыкновенного огородного стручкового боба. Повезло ему счастье избрания с древнейших времен. Искусство разума предсказательной силы в будущем приобреталось наукой, передавалось за особую высокую плату не всякому встречному, но каждому в тайне. Опытных мастеров выписывали, например, в Москву из далеких стран, какова Персия, доискивались их в глухих лесных и болотистых трущобах, какова наша озерная Корелия. Прятали их самым тщательным образом потому, что уличенных и сознавшихся в колдовстве, по старинным московским законам, предавали лютым казням. В старину науке волхвования — искусству разводить чужую беду бобами — обучали всяких чинов досужие люди, но больше всего простолюдины. Чаще всех владели тайнами ворожбы и гаданий коновалы, среди которых это искусство оберегается и до сих пор, наравне с цыганами. В таких же кожаных сумках хранятся у них бобы, травы и росной ладан. Бобами гадалышник разводит и угадывает; ладаном оберегает на свадьбах женихов и невест от лихих людей, при родах от сглазу и от ведунов. Умея ворожить бобами, умели на руку людей смотреть и внутренние болезни у взрослых и младенцев узнавать и лечить шептáми. Траву богородскую дают пить людям от сердечной болезни без шептов; норичную траву дают лошадям. И зубную болезнь лечат, и щепоту, и ломоту уговаривают, и зуду (кровь) заговаривают, и тому подобное.

Не одного из таких знахарей в строгие времена застенка и пыток сжигали живыми в срубах с сумками и с наколдованными в них травами и бобами всенародно в Москве на Болоте.

Из «розыскных дел о Федоре Щегловитом и его сообщниках», изд. Археографическою комиссиею, видно, между прочим, следующее: царевна Софья узнала, что постельничий Гав. Ив. Головкин водил в Верх, в комнату царя Петра Алексеевича, мурзу князя Долоткозина и татарина Кодоралея. Они там ворожили по гадательной книге и на письмах предсказали, что царю Петру быть на царстве одному. За такое предсказание их обоих отвезли в застенки, пытали и в заключение сожгли на их спинах гадательную книгу и письма. Здесь родилась и пословица: «Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу».

ШИШ НА КОКУЙ!

Долго, почти до наших дней, находилось в обороте у москвичей это непонятное и утратившее подлинный смысл выражение, обращавшееся к тем, которым доводилось сказать: «Пошел прочь, уходи вон» и тому подобное. В сущности оно в цельном виде представляется еще большою загадкою, однако в то же время такую, которая не только облегчает, но и прямо ведет к объяснению. Говорили с прибавкой: «Фрыга, шиш на Кокуй!»

Если остановимся на давней и известной привычке русского человека перестраивать на свой лад заморские слова и иностранные выражения согласно требованиям языка и уха, то увидим, что «фрыга» есть испорченное до неузнаваемости прозвание всякого иноземца Западной Европы и перестроенное из «фряга» и «фрязина». Явилось оно, конечно, в то время, когда объявились на русской земле эти пришельцы, находившиеся под особым покровительством Ивана Грозного, и потребовалось для каждой нации отличительное прозвание. Письменные дьяки стали распознавать «немцев», за незнанием русского языка принужденных отмалчиваться на вопросы и, прибегая к пантомимам, казаться немцами. Оказались «немцы Амбургския земли» ввиду того, что из торговых ганзейских городов (Бремена, Гамбурга, Любека, Данцига и проч.) первыми явились передовые купцы, искавшие в неизвестной стране дел и торговых промыслов и уже издавна

успевшие спознаться с Великим Новгородом. Объявились и другие немцы (из нынешней Австрии), которым волей-неволей приходилось приурочить отдельное прозвище: стали их называть «немцами Цесарския земли» (в противоположность азиатским народам, которые назывались общим именем «басурман»). Выходцы из Швеции и Норвегии названы были «свейскими немцами». Зауряд с итальянцами весьма редкостные французы получили прозвище «фрязинов». Когда письменные люди ввели эти различия в грамоты и договоры, народ всех немцев окрестил в одно имя «фрягов», «фрыги» и на том утвердился. Московским людям это звание было не только понятно, но и любезно, и мало того — внушительно. Перед изумленными очами их в священном Кремле с 1479 года возвышалось величественное и дивное каменное здание Успенского собора, наминавшее имя хитреца-зодчего, прозванного «хитрости ради» Аристотелем и записанного в актах «фрязином» (из Венеции). Да и сами иноземцы в Московском государстве в те времена представляли собою редкость и большую диковинку.

Истерзанная и измученная Русь, в самое живое время строения своего, на юге чужеземными и дикими кочевыми народами монгольского племени, на западе и севере остановленная в своем поступательном движении к заселению свободных земель племенами германской расы, — Русь, умудренная опытом, сделалась опасливою, недоверчивою. Она замкнулась в самой себе и, когда точно определились ее политические границы, последние получили значение крепкой стены, сквозь которую не всякому можно было проникнуть без дозволения и охранных грамот. Получивший таковое разрешение не иначе мог проходить по русской земле, как с «опасным листом», под зорким глазом московских приставов, в строго определенном числе лиц, роде занятий и целей прибытия. При этом охотливее давалось единичное разрешение лишь тем «хитрецам», которые своею наукою и художеством могли быть полезны царственному или царскому двору. Предпочтительною свободою перед немцами пользовались, по издавна установившемуся обычаю, лишь одни византийские и морейские греки, как люди той нации, от которой приняты догматы православного христианского испове-

дания. Все прочие иноземцы были стеснены и во въезде в нашу страну и во время пребывания в ней. Ограничивал их даже свободолюбивый и своекорыстный Новгород. Он отвел ганзейским купцам особое место, где и закрепил их стенами и запретительными правилами. Воспретил он на восемь шагов кругом около немецких дворов постройку всяких зданий; новгородские молодцы около этого места не смели собираться играть на палках — обычная новгородская игра (перевранная в свою очередь в немецком документе в слово «велень»). Ворота вечером запирались наглухо, и спускались с цепей злые собаки. Русские могли посещать немецкий двор только днем. Новгородцы и иноземцы смотрели одни на других с подозрением и недоброжелательством.

Не внушали русским людям того же самого и греки, несмотря на большую свободу в силу религиозных связей и зависимости русской церкви от греческого патриарха. Милостыня нужна была для греков, а московскому правительству — по временам греческий авторитет. Духовные лица привозили с собою многоцелебные мощи и чудотворные иконы, а богатые люди являлись с товарами: вместо алмазов и других камней привозили подделанные стекла; да из этих же купцов многие начали воровать, товары доставлять тайно, торговать вином и табаком. Глубоко и тяжело поражено было религиозное чувство богомольного русского люда, когда распознал он плутни заезжих греков, являвшихся с поддельными святынями. Они несли с собою: иорданскую землю, частицы мощей святых угодников, даже часть страстей господних, то есть орудий страданий, губы, трости и прочее, наконец часть жезла Моисеева. За деньги продавали они святое миро, священные и бесценные реликвии променивали на московское золото, соболей и белок. Немецкие купцы в свою очередь подсовывали плохие и короткие сукна, сбывали всякую дрянь, продавали мед в самых малых бочках, сладкое вино в малых сосудах и дурного качества и соль в малых мешках, а принимали, например, воск не иначе, как с тугой набивкой, и тому подобное. За все это впоследствии, чтобы проникнуть грекам в Московское государство через границу, в городе Путивле,

нужно было явиться в качестве патриаршего посла с грамотою к государю или примкнуть к свите какого-нибудь именитого греческого архиерея. В Москве им стало также не легче: у русских людей уже укоренилось то убеждение, что как немцы, так и греки ищут только денег и средств к жизни. «Голодной их жадности никогда не наполнить, как дырявого мешка. Их очи никогда не насыщаются, но всегда алкают все больше и больше, и хотели бы высосать кровь из жил наших, мозг из костей наших». Когда цареградский патриарх Иеремия прибыл в Москву, то на подворье, где он жил, нельзя было никому приходить и видеть патриарха, ни ему самому выходить вон. Только монахи, когда хотели, то выходили с царскими людьми на базар и под их же охраною возвращались назад. На базар дозволялось и немцам являться не для одних только покупок необходимых вещей и продуктов или для вымена их на собственные немецкие изделия, но и для развлечения среди крикливых и живых площадок. Вся народная городская жизнь собиралась тут нараспашку в любезном виде как для привычных к таковым сборищам восточных людей, так и для прочих европейцев, знакомых с площадною жизнью. Для тех и других здесь было много развлечений и приманок. Обжившиеся в Москве немцы сновали в народных толпах с утра до вечера, резко выделяясь своими куцыми камзолами и высокими сапогами среди серого лапотного московского люда.

Немцев в Москве скоплялось мало-помалу довольно число из тех мастеров, которые либо вызваны были из Германии, либо добровольно выехали из Ливонии, Пруссии и западно-русских городов. Уже во времена Ивана III, без всякого сомнения, существовала значительная немецкая колония, и в ее среде, кроме ремесленников, были и лекаря, а впоследствии даже и учителя комедийному делу, когда царь Алексей клал основание русскому театру. Нужда во врачах была более личная государева, чем общественная, а потому лекаря с помощниками и аптекарями обязательно жили в Москве и получали или готовый двор, или деньги на дворовое строение. Некоторые уходили обратно в свое отечество с обещанием «превозносить царскую милость и в иных государствах распространять». Многие оставались на постоянное житье

«служить на государево имя», то есть молиться за царя и оставаться в России навсегда. Если иноземцы объявляли это при въезде, то со вступлением в русские пределы получали они проводников, не платили за подводы и пользовались от казны кормом. Некоторым и по прибытии в Москву давали корм и питье, как сказано в одном из указов, «для их скорби и иноземства». Дворы отводились где случилось из записанных на государя (конфискованных, например, за корчемство), без разбора среди туземцев и старожилов. Когда же благодаря усилившемуся покровительству (особенно во времена Грозного) число заезжих иноземцев увеличилось в значительной мере, им предназначено было особое место, отведена отдельная слобода. При этом руководились все-таки тем отчуждением и нетерпимостью к иноверцам, которая воспитывалась в народе, ревностном в деле православия, под влиянием и внушением духовенства. Впрочем, считая протестантов менее католиков зараженными духом религиозной пропаганды, наши предки допустили пасторов и кирки в том убеждении, что они, удовлетворяя нуждам природных протестантов, не сделаются оплотом и орудием соращения православных. Начало протестантской церковной общины в России относится к 1559—1560 гг., ко времени пребывания в Москве лютеранского пастора Тимана Бракема, который временно и правил богослужение.

Для немцев назначено было то косогорье, которое на краю Москвы спускалось к Яузе и носило имя «Кокуя», может быть по тому русскому названию дня Ивана Купалы, который издревле чествовался немецкими, как и русскими, людьми, с резкими и поразительными оказательствами в виде зажигания костров, прыганья через огонь, танцев, пиров во всю ночь и т. п.¹ Здесь у инозем-

¹ Места игрищ в честь Купалы издревле назывались кокуем. Чтобы не ходить далеко, укажем под самым Петербургом на подобную местность: по Нарвской дороге в девяти верстах от столицы находится липа, ветви которой, переплетаясь с ближайшими деревьями, составляют как бы природную беседку, замечательную еще тем, что Петр Великий неоднократно отдыхал под ее тенью. На это место в Иванову ночь сходятся ижорки и, разложивши большие костры, проводят тут всю ночь, распевая песни, в которых вспоминают имя Купалы, потом сожигают белого петуха и начинают плясать. Это игрище ижорцы называют «кокуем».

цев были свои нравы, свои обычаи и вера и самый образ жизни совершенно не был похож на московский. Всем русским во времена допетровские вступать в браки «с девами немецкой слободы» считалось неслыханным делом. Впервые нарушил этот обычай дядя царицы — матери Петра Великого — Федор Полуектович Нарышкин, женившись на девице Гамильтон (Авдотье Петровне). Теперь это название «Кокуй» забыто, специальный характер исключительно немецкого селения утратился. Местность эта стала слыть под именем «Немецкой слободы», и памятник старины сохранился лишь в кирке, очень давней и оригинальной постройки — именно 70-х годов XVI столетия. Впоследствии Петр Великий вызвал слободу из ничтожества, возбуждая в народе сильный ропот и нескрываемое негодование москвичей, когда после каких-либо удачных баталий и вообще по приезде в Москву он не заезжал поклоняться кремлевской святыне, а направлялся прямо на Кокуй. Здесь он веселился и пировал, не разбирая праздничных дней и ночей. Так поступил он в 1702 г., когда возвратился из-за границы без бороды и в немецком платье и проехал прямо в дом вино-торговца Монса, где с его дочерью и Лефортом прокутил целую ночь. На другой день он брил уже бояр всех, кроме двух. Через пять дней, когда надо было выходить по случаю новолетия (1 сентября) на Красную площадь и здравствовать народ, — царь пировал у Шейна, много пил и велел шутам резать последние боярские бороды. Бритый царь с бритыми боярами, немецкими женами и дочерьми пировал потом у Лефорта. Франц Яковлевич (по словам современника его кн. Куракина) «был прямой французский дебошан и вообще человек забавный (то есть любитель увеселений) и роскошный».

Задолго до Петра и в течение всего предшествовавшего времени двух столетий ни чужезцам, ни их местожительству не оказывалось особенной чести. Те и другие были лишь терпимы русскими людьми, как неизбежное зло, с мягкой и благодушною снисходительностью, «ради их скорби и иноземства». Враждебное отношение началось еще во второй половине XVI века. Иностранцам только во времена Олеария позволили ходить в своем платье. Не любили их и за хищничество и за то, что они,

не будучи людьми высших нравственных качеств, обращались с москвичами грубо.

Приходилось пришельцам жить среди новых людей иной веры и несхожих обычаев в очень суровой и дикой стране, жить опасно и под постоянным страхом, на лучший конец, обратной высылки, изгнания. Скажут: «Пойдите от нас — вы нам засорили землю!» Не только в живой памяти, но и перед глазами происходили случаи жестоких казней тех иноземцев, которые были несчастливы в отправлении ремесла и проявлении своих знаний, как лекарь Леон, как Бомелий: «Забыли вы страх божий и великое государево жалованье». Надо было принижаться, казаться смущенными, льстить для личной безопасности и семейного спокойствия. Вследствие исключительного положения перед московским боярином, гордо задравшим назад на дерзкий козырь голову, покрытую высокою горлатною шапкой, и выпятившим толстый, ожиревший, сытый живот, сухопарый немец, в куцем камзоле и узеньких панталонах, не скрытых полами одежды, мог казаться смешным. В глазах равнодушной черни, на московском базаре, в толпе, он являлся фигурой, возбуждавшей жалость, рассчитывающей на покровительство и как бы молящей о защите. Не могло здесь быть места озлоблению, презрению, преследованиям: не станут с ними особенно якшаться, но не удержатся от того, чтобы и милостиво и снисходительно не потрепать по плечу, не погладить по спине: «Не бойся, — мы тебя не обидим». Этим беднякам, скромно зарабатывающим на торгу хлеб, всегда уступчивым и, видимо, угнетенным, указан строгий закон оставаться на рынках только до солнечного заката. Ни один из них не имел права ночевать вне своей оседлости, в городе, то есть в Москве. Всякий должен был уходить в свою слободу, брести очень далеко, в самый конец города, на Кокуй. Для напоминания об этом сроке расхаживали особые приставы, со внушительным орудием в виде длинной палки. Кто удачно расторговался да в увлечении барышом замешкался, тому кричали: «Фрыга, шиш на Кокуй!» Ступай, добрый человек, домой под эту добродушную поговорку и тотчас за этим ласково насмешливым окриком, каким добрые хозяйки обычно стоняют на насест шальных куриц, залегевших в избе на стол или лавки.

Вспомнил об этих нравах иноземцев и о самом выражении сын Артамона Сергеевича Матвеева, будучи в ссылке. Из Пустозерска он писал в свое оправдание против клевет лекаря Давыдки (Давида Барлова), распускавшего слухи о якобы награбленных богатствах: «Пьяный вор, датский немчин, будучи на Москве, только славы учинил, как его возили пьяного, через лошадь и через седло перекиня, или в карете, положив вверх ногами, и ребята вопили вслед: «Пьяница, пьяница, шиш на Кокуй!»

КУРАМ НА СМЕХ

Ни одно из домашних животных не представляет наибольших поводов к презрительным насмешкам или унижительным уподоблениям, как куриная порода, с древнейших времен сделавшаяся домашнею и очень полезною. Именно женская половина этого вида, наиболее оказывающая куриных услуг людям (некоторые курицы приносят до ста двадцати яиц ежегодно), вызывает самое большое количество насмешек. Петух, гордый султан, поддерживающий семейный порядок в строжайшей дисциплине, щеголь и крикун, сумел отстоять себя во мнении просвещенной и мыслящей публики. Над ним не насмеваются. Смеются над теми людьми, кто ему уподобляется, петушится, то есть либо чванится и величается, либо без особой нужды, по задорному характеру, лезет в спор и драку. Зато на курицу посыпались всякие насмешки, впрочем не столько заслуженные ею одной, сколько всем куриным родом. И в самом деле, как рак — не рыба, так и курица не птица; например, всем природа дает перья для полета, — у ней они только для украшения и при этом слабо прикреплены к мягкой коже и часто выпадают и легко выщипываются. Короткие, круглые и тупые крылья тоже не для дальних и повсюдных передвижений: из холодных стран в теплые и, в свое время, обратно. Несмотря на то, что издали слышен бывает шум куриных перелетов, на самом деле «гора родит мышь»: перелеты, не больше хороших скачков, ничтожны и забавны своими претензиями до смешного. Курицы не делают гнезд, а высиживают яйца на голой земле, в поразитель-

ное отличие от прочих пернатых. Они боятся воды и забавляются только пыльными и песчаными ваннами, пропуская, на солнечном пригреве, пыль и песок между перьями, развернутыми веером. Они флегматиками бродят по двору и, обладая ненасытной прожорливостью, заботливо и хлопотливо ищут зерен, которых им всегда мало. Кажется, по этой-то самой причине они и пребывают в постоянной задумчивости и меланхолии и, выведенные из такого положения невзначай и особенно темной ночью, начинают беспокойно шуметь, кудахтать так, что не скоро затихают. Когда их ментор и патриарх, привыкший прежде всего заботиться всею душою о семействе и потом уже о самом себе, найдя целую кучу зерен, расхвастается о том, — ненаходчивые и неизобретательные куры ему верят. Они вдруг схватываются с места: как шальные, начинают суетиться, как будто услышали какую-то чрезвычайную новость и рассчитывают увидеть невиданное чудо. Они спешат вперегонку друг за другом, бегут сломя голову, толкаются, семят ногами, комически повертываются и зря, на полном доверии начинают тыкать короткими и крепкими клювами у ног своего повелителя. Петух, однако, пошутил, — обманул: рассказывал, что просыпана целая горсть, а на самом деле оказалось, что всех зерен — только щепоточка, да и то сомнительного качества, впережку с мелкими камушками. Так же флегматически, вперевадку, бредут обманутые куры дальше, ничем не смея выразить своего неудовольствия и очевидной обиды. Довольный испытанным повиновением, общим доверием и вообще всем домашним порядком, хвастливый при всяком случае и со стороны очень смешной своим самодовольством, петух в это время уже успел взлететь на первую попавшуюся кафедру — на забор, на кадку — и воспел самому себе хвалебную песнь так громко, что она слышна далеко в соседней деревне. Конечно, все эти проделки очень забавны.

Именно эта забавная петушья ревность и эта самая смешная куриная покорность с безответной подчиненностью уронила всю куриную породу во мнении людей. Ничего не может быть обиднее и унижительнее сказать или сделать на смех этим смешным курам (совсем худо,

«если курам смех»), как ничего не может быть жалчее и опять-таки в то же время забавнее «мокрой курицы».

Вялый в работе, неповоротливый в движениях человек, на которого нечего и рассчитывать, обзывается, с великой досады, этим самым унижительным прозвищем «мокрой курицы», потому что непригляднее ее, попавшей под дождь и не успевшей спрятаться под навес и на насест, трудно уже представить себе что-нибудь другое.

«Слепая курица» есть тот человек, который бестолково тычется и суетится, разыскивая вещь, лежащую, что называется, у него на носу. Толпа на базаре, горожане на бульваре ходят долго и много, но без всякого толку—это они, как куры, бродят. Утлая избушка сказочной бабы-яги и всякой иной ведьмы стоит не иначе, как на курьих ножках: такая неустроенная и необрядная, что хуже ее не бывает.

Против этого мимоходного сообщения довольно странно возражает г. Никольский (сначала в газете «Южный край», потом дословно в воронежских «Филологических записках», 1891 г., вып. IV—V). Он прямо, ничтоже сумняся, ставит сказочную избушку «на курьих», а не на курьих ножках.

В олонецких краях, где умели цельно сохранить (более, чем где-либо) песенную и сказочную старину, избушка на курьих ножках снабжена еще придатком «на веретеной пятке», то есть до того неустойчива, что свободно могла поворачиваться, как укрепленная на тонком конце вертлявого веретена («пятке»). Иван-царевич так и говорит ей: «Устойся-устойся,—туда тынцем (то есть тыном, забором), ко мне крыльцем. Мне не век вековать, одну ночь ночевать». Весь интерес сказки вертится именно на архитектурной особенности и исключительности этой постройки, а вовсе не на местоположении ее. Напрасно мой судья взвел напраслину на сказочников, что они не понимали выражения «на курьих»; стали-де искать к прилагаемому (на курьих) существительное, каким и оказалось «ножки». На Севере в особенности всем известно, что курья — тот изгиб реки, который отделяется от главного русла большим коленом, образуя остров. Так делает это Печора и сделала Двина против Холмогор, отрезавши большой остров — «Кур-остров», на ко-

тором уместилась целая волость с деревнями, и в одной из них, как всем известно, родился наш гениальный Ломоносов. Напрасно, стало быть, выписывал автор из словарей целую группу финских слов, которые довели его лишь до неверного понятия о курье, как «о высохшем русле реки или оврага, теряющегося в болотах». Стремясь поместить «едва заметную убогую избушку» еще как можно дальше — в курье, «в оврагах и лощинах, где русского духа слыхом не слыхать», как видим, сам толковник забрел, без всякой надобности, в болота и там доброхотно завяз. Кур-островская курья течет себе вольно, пропуская даже пароходы, да и в избах побережных деревень петухи поют, напоминая, что старинное славянское имя им — кур («куре-доброгласне»), да и сейчас «попал, как кур во щи» и уже по нем супруга из его гарема называется курицей. Отсюда, от него же прилагательное законное «курий», а от особи женского пола, по произволу, и куричий, и курячий, и даже «курицын сын», как слегка бранное и насмешливое ¹. Слово же куриный, рекомендуемое оппонентом, относится ко всей птичьей породе, ко всему семейству этих пернатых животных. Теперь как же объяснит автор предлагаемой мне поправки со своим финским аршином московское урочище «на курьих ножках», где стоит (между Поварской и Арбатом) церковь Николы, чрезвычайно далеко от Москвы-реки? И, наконец, как он посоветует приспособить к имени обитательницы избушки производимое с финского «ягать и яжить» к белорусской старухе, которая зовется «бабой-Югой, а чаще просто Югой»? В Белоруссии, при чрезмерном обилии болот, о болотистых курьях и не слыхивали, даже и в тех местностях, которые соседят с финскими племенами.

¹ В «Вопросах Кирика и Слове христолюбца» сказано: «Кумирную жертву ядят, и кур (петухов) им режут». В 1289 г. кн. Мстислав установил с берестьян подать со ста «по 20 куров, а княгине Витовтовой давали с дыма в кухню по курети (по курице) и по 10 яиц. По «Русской правде» за куря взыскивали по 9 кун» и т. д. В цельном своем виде живым сохраняется до сих пор старинное имя современного петуха при выражении о неудачнике: «попал, как кур во щи». При этом объясняется, что таковое изречение применено было еще к судьбе первого самозванца (по свидетельству современника М. Бэра).

ГДЕ КУРЫ НЕ ПОЮТ

Природа из числа куриных пород наделила только весьма немногих приятным голосом и, в числе их, кое-каким однообразным и крикливым нашего домашнего петуха. Вещное пение его и перекличка всех его родичей и соседей служат по ночам заменою строго выверенных деревенских часов, а днем — указателем погоды и даже предсказателем грядущего. Запели первые петухи — это полночь: ворочайся на другой бок; вторые поют перед зарей, третьи на самой заре — вставать пора. Если же днем или ночью они распоются не во-время, то либо видят злого духа и гонят его прочь, либо предсказывают покойника, либо новые указы будут, либо начнется ненастье. Если поют они целую ночь, то напевают всем на голову какую-нибудь непрощенную беду и неминуемую напасть. За это преимущество, предоставленное петуху природою, в исключение перед прочими, за это право петь он получил в замену коренного и древнего имени «кур» и наиболее употребительного в деревенском быту названия «кочетом», прямо определяющее и его право и способность петь — повсеместное имя петуха. Оно равнозначуще с церковнославянским «петел», с древненовгородским «пеун», или певун, с нынешним казацким и белорусским «певень» и с малорусским «пивень». Все это он, тот самый (по художественной картинной характеристике одного из зоологов) гордый, поющий посреди своего гарема султан, украшенный короною, гребнем и хвостом, который великодушно заботится сначала о слабейшем поле и только потом уже о себе самом. Этот патриарх и ментор вполне совмещает в себе смешную, но все-таки умилительную поэзию куриного быта. В упорной кровавой битве, сражаясь шпорами, клювом и крыльями, он прогоняет из своих владений чужих пришлецов и тогда возвещает с высокого места, далеко разносящуюся триумфальною песнью, об унижении бегущего врага. Поэтому называется он уже в санскритском языке (самом древнем из известных языков) «*kṛikavāka*».

Бывают, однако, такие случаи, что нарушаются уставы естества, и на грех курица свищет, силится спеть

петухом, как равным образом случается, что, по пословице, кому поведется, у того и петух несется (спорышком — уродливым куриным яичком в твердой скорлупе, без белка, с одним желтком). Тот и другой случай предсказывают великие беды. Суеверие обратило это уродливое маленькое яичко — «спорыш», или «сносок» — в петушьё яйцо, из которого высиживается василиск, то есть дракон или змей. Если же заметят, что курица подарила таким спорышком, то твердо убеждаются в том, что она хочет перестать нестись. Большею частью таким заподозренным птицам немедленно рубят головы, а потому сложилось и пословичное убеждение: «Не петь курице петухом, а и спеть, так на свою голову»¹. Впрочем, судя по разным местностям, в этом случае замечается некоторое противоречие: так, например, в Южной России таких поющих кур считают плодливymi, называют «носками» курами и не режут их. Вообще же наиболее распространено то мнение, что «не к добру курица петухом поет».

Вот на этом же самом юге России нашлось такое село, где куры совсем не поют, по особенно важной причине. Такое знаменитое село отыскалось в Волынской губернии, в тридцати верстах к западу от уездного городка Старо-константинова. Зовется оно Чернелевка и расположено на реке Случе и при пруде довольно живописно и удобно: на большой (не почтовой, а торговой) дороге. По ней несколько раз проезжали цари, а потому и прозвана она «царской». Повидимому, для крестьянского благосостояния есть уже видимая причина в союзе с тем местным условием, что земля в селе черноземная, способная достаточно вознаградить крестьянский труд. В прямое и законное последствие того сами жители ничего не знали, кроме земледельческих работ: если кто мало-мальски владел топором, тот уже считался у них и прямо назывался всеми «мастером». По этому же самому поводу в

¹ Какая бы птица ни залетела в избу, надо изловить ее и сорвать голову с приговором: «На свою голову!» Это же надо сказать громко, если собака начинает выть по ночам, и при этом обязательно перевернуть под головою подушку. Как бы собака ни выла, в обоих случаях к худу: воет, держа голову к земле, — быть покойнику; задрала голову вверх — быть пожару и т. п.

неурожайные годы сельчане, за ненаходчивость и косность в быту своем,— мученики нужды и кабальные рабочие за самую ничтожную заработную плату. На пущее бездолье обрекла их недавно изжитая крепостная зависимость. То было такое время, когда крестьяне от хищных и ненасытных глаз прятали в землю не только деньги, но зарывали в ямах даже самый хлеб,— словом, те времена, когда народ назывался и считался быдлом (скотом) и создалась поговорка: «плебана для пана, а попа для хлопа». Тамошний народ до сих пор твердо помнит и охотливо рассказывает (оправдывая свою с трудом поправимую бедность) про недавние «панские времена», и про «войтову пугу или плеть», и про «войтову бирку». На последней безграмотные войты, или сельские старосты, нарезками замечали количество принятого зернового хлеба и прочее. Длинною плетью с толстым кнутовищем (которую всякий войт обязан был носить всегда при себе, как знак власти и достоинства) выгоняли в поле до восхода солнца, а с закатом его распускали по домам без платы. Если во время работы иная мать наведывалась к колыбели грудного ребенка, ее наказывали этой самой войтовой плетью. Точно так же ею же поощрялись ленивые к работе. Ходит войт по полосам и похлопывает. Того войта, который забыл, по рассеянности, свою пугу дома и, не имея ее в руках, попадался на глаза пану, растягивали тут же и наказывали другой такой же плетью, каковая всегда была на глазах. Для пущего вразумления обычно брали эту длинную пугу в середине и били так, чтобы она наказывала обоими концами: тонким и толстым за один раз, но в несколько приемов. Тогда не смотрели на то, что крестьяне по целым месяцам питались одной бульбой (то есть картофелем), а продолжали крепко их мучить...

По словам самих сельчан, «волк ягнят так не душит, как душили нас,— не было к нам никакой жалости». В жаркие летние дни косили панское сено в сермягах, надетых, прямо на голое тело: ни у кого не было рубах. Дадут лен прясть, но при этом не доведут,— надо было добавлять своей пряжей на вес: такова была войтова бирка. Бывало, весной каждой хозяйке в хате раздадут по двадцать яиц и велят осенью доставить двадцать кур:

не донесла этого числа, — либо прикупай у жидаков в корчме, либо плати по гривеннику за каждую недостающую до полного счета птицу. Приводилось больше расплачиваться не птицами, а деньгами. «Село до такой степени занищало, что, не подойди к тому времени воля, — случилось бы большое худо: все бы поднялись бунтом».

«Стали говорить соседи и все проезжие с обозами, не то из жалости к нашей куриной подати, не то на смех, за недостачу всегдашнюю у наших женок кур, — называть наше село не настоящим именем, а всегда так-то: «это то село, что куры не поют».

Настоящее название села с языка у соседей пропало. Таким и слывет оно в народе до сих пор, изживая прежние невзгоды, но оставаясь на людских памятях, как ведомые и видимые горемыки — особняки. В Белоруссии так и говорили в те времена, с полною уверенностью, «что дере коза лозу, а вовк козу, вовка мужык, мужыка пан, пана юрыста, а юрыста чертов трыста».

КАЗАНСКИЕ СИРОТЫ

«Казанский сирота», а равно и «нищий» из того же места, как московский жулик и петербургский мазурик — тип особенный и самостоятельный. Это — не тот сирота, который, оставшись безродным и круглым, жмется и прячется по углам, чтобы не заметили, не задели и не обидели. Он робостью и смиренством вызывает сердобольную слезу и в беспомощном положении всегда находит покровителей. В самых бедных деревушках, которые сами стоят без крыши, эти бедняки с голоду не умирают, потому что «за сиротою сам бог с калитою», — с тем мешком со сборным подаванием, который стал историческим именем еще с 1340 г., со смерти первого московского князя Ивана Калиты.

Казанский сирота — назойлив и докучлив: от него не отвяжешься. От других его всегда можно отличить по особому мундиру и ухваткам. При внешних признаках отмены он притом совсем не сирота и не нищий, а таким лишь прикидывается. Он — плут нагольный и образцо-

вый притворщик: нищенством и попрошайством он простодушно промышляет, как подобные ему пензенские калуны, клепенские (смоленские) мужики и ведомые всему московскому люду и русскому миру воры и сквозные плуты — гуслицкие нищebroды. Разница у казанских с этими лишь только в местностях промысла: казанские «Волгам шатал, базаром гулял» и все князья, не без достаточных, однако, на то причин и оснований.

Большую частью они — потомки бывших казанских мурз—«плешь-мурзы-Булатовичи», живой остаток старинных времен и ходячие исторические документы. Их породило и забаловало московское угодничанье, считавшее своею обязанностию их ласкать и приваживать не только в первые времена по завоевании всех татарских царств, но и в позднейшие, когда совсем уже «отошла татарам пора и честь на Русь ходить». Еще царь Алексей Михайлович полагал обязательством и долгом для себя награждать этих плутов и попрошаек свыше всяких мер, особенно если мурзы решались переменить веру. В исторических актах много таких примеров. Вот один из довольно обычных.

В 1640 г. задумал креститься Бий мурза, Корель мурзин, сын Исупов. Его сейчас же поспешили назвать «князем Иваном» и наградили царским жалованьем «для крещения», как бы в задаток, около 250 тогдашних рублей. Потом, когда был послан «под начал», то есть приготовиться к крещению в монастыре у особого старца, ему дали жалованье за подначальство: «28 рублей 32 алтына 2 деньги». Затем он «видел государевы очи и челом ударил после крещения». А за то даны ему из серебра кубок, стопа, братина и ковш, «шуба атлас золотной на соболях, пугвицы серебряны золочены, шапка горлатна, атлас золотной, бархат червчат; камка куфтер желтая да лазоревая, да кармазин, 40 соболей в сорок рублей, денег 150 рублей; с конюшни жеребец аргамачей сер с конским нарядом: цена жеребцу 60 рублей, конского наряду 91 рубль 18 алтын». Стоил этот крещеный татарин всего 905 рублей и 18 алтын с деньгой. Да, сверх того, на всю жизнь обеспечен поденным кормом и питьями в достатке, а на последующее потомство поместным окладом 1200 четвертей да деньгами 150 рублей. Через четыре года

(в 1644 г.) князя Григорья Сунчалеева Черкасского наградили при крещенье еще щедрее, потому что «изволил крестить сам великий государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея России». «А купель была обита кругом сукном червчатым настрафильным, по краем у тое купели и в купель впущено того же сукна $\frac{1}{4}$ аршина, а около купели запон атлас желт, 4 рубли 2 деньги».

Этот стоил 969 рублей только при одном челобитье на царских очах. Не забудем при этом, что в те времена русский лекарь получал, например, государева жалованья в год 9 рублей да 2 алтына в день столовых, что составляет в год всего до 30 рублей.

Расплодились казанские нищие — завелся у них и суеверный, но злой обычай, выраженный коротким и непонятным изречением: «приткнуть кому грош». Это значит, по примеру казанских нищих, воткнуть в избу, на зло богачу, эту медную монету с ясным расчетом и прямым желанием, чтобы тот разорился и захудал.

ХЛЕБАЙ УХУ

Пословица «хлебай уху, а рыба вверху» — не нелепица, опять-таки по той же коренной причине, что у народа «неспуста слово молвится». Оно идет из тех же мест, о которых я уже имел повод и случай упомянуть, рассказывая о таких же призрачных бессмыслицах пословичных выражений. На Низовой Волге, куда сходится рабочий народ со всех сторон (с преобладанием, однако, пензенских и других черноземных), хозяева рыбных ватаг кормят его черной или частиковой рыбой, которая ловится круглый год, кроме трех летних месяцев. В такую уху, следовательно, идут в свежем и живом виде: стерлядь, мелкий шип, судак, белорыбца, сазан, лосось. К черной же рыбе, хотя и с белым мясом, относятся: лещь, окунь, чехонь, вобла, тарань, жерех, подлещик, шемая, усач, щука, линь, сопа, берш и сом (и этот сорт рыбы весь я переименовал). Вся эта рыба — рабочая снедь. Ее не жалко: вари и жарь, и в пирог загибай, и в ухе хлебай, а настоящая рыба вверху, то есть идет в верховые купе-

ческие города и в обе столицы. Настоящей рыбой считается дорогая в цене и выгодная в продаже — красная, то есть хрящевая и бескостная: благородный осетр, любимая нашим купечеством белуга и самая вкусная из всех — севрюга. К этому сорту рыб относят еще шип осетрий и белужий ублюдок, только никак не стерляжий, которым привычно обманывают малоопытных в обеих столицах, продавая его вместо настоящей кровной и породистой стерляди.

Могу предупредить сомнения и вопрос. К числу таких же бытовых поговорок в зависимости от промыслов относится следующая: «пришла честь на свиную шерсть». Это бывает осенью и зимой, когда кулаки-скупщики крестьянского изделия являются менять на горшки и горящину всякое бабье рукоделье и все, принадлежащее им одним, по вековечному праву: лен, пеньку, нитки, а на этот раз и свиную шерсть, то есть щетину. Образчиков в этом роде в обращении всенародном, конечно, очень много и писать об этом очень долго.

ПОДКУЗЬМИТЬ И ОБЪЕГОРИТЬ

Отвечая на запрос о значении этих слов, никак не могу согласиться с тем, что они — полная бессмыслица из случайного подбора имен. Неспуста слово молвится — во всяком случае, и в особенности, если принять к рассуждению второе слово. Сколь величествен в представлении народном самый мифический образ св. Егория, столь же знаменателен в народной жизни этот день, то есть не астрономическое число празднования в честь великомученика, а ближайшие окружающие его дни, вроде осенних кузьминок, зимней никольщины и т. п., среди которых указанный представляется лишь починным или срединным, как бы своего рода эрою. Вся группа последующих дней составляет определенный период, на который упадают известные сроки обязательств, вынуждаемых в деревенском быту либо общественными, либо домашними требованиями, а в экономической жизни указуемых временами года и явлениями природы. «У Егорья по локоть

руки в красном золоте, по колени ноги в чистом серебре, а во лбу-то солнце, во тылу месяц, по косицам звезды перехожие» — поет былина, подслушанная мною на побережьях Белого моря. Егорий разъезжает в поднебесье на белом коне, в лесах раздает наказы зверям, которые все у него в строгом подчинении; на полях спускает он на нивы питательные живоносные росы и, приглашая сюда деревенский домашний скот, обещает ему на все лето защиту от зверей и покровительство при питании¹. Он начинает красную весну и указывает срок посевам, отчего и называется «Егорий — ленивая сошка»: выезжает запахивать на этот день пашню даже лежебока, если не желает на весь год «подъегорить», то есть обмануть и обездолжить семью, оставив ее на чужом, горьком хлебе. К этому сроку весеннего бесхлебья все запасы подошли к концу: осталась одна надежда на милость господню и на св. великомученика, который, по этому обычному явлению в сельской жизни и народном хозяйстве, зовется повсюду «голодным» (в отличие от Егорья холодного — 26 ноября). С Егорьева дня начинают обычно весенние хороводы, выгоняют вербой, сбереженной от вербного воскресенья, в первый раз скот в поле и запахивают пашни. Из дальней, глубокой старины, ведавшей твердо свои права и руководившейся свободой, в исторический «Юрьев день», в старину (до конца XVI века) этим днем точно определялись сроки всякого рода наймам рабочих, сделкам промышленных и предприимчивых людей и сроки платежей у торговцев. Две недели до осеннего Юрьева дня и одна неделя после него полагались конечным сроком, когда крестьяне садились на новые земли и обязывались отдавать половину или треть жатвы за пользование ими: либо богатому купцу или ловкому промышленнику, либо сильному князю или честному монастырю. Кроме этого срока, ни владелец не мог отказать, ни сам крестьянин отбиться от работ и уходить с земли к другим. Борис Годунов «подъегорил» весь крестьянский русский люд тем, что отнял у него это право переходов от худых

¹ У белоруссов на нем: белый плащ, на голове — венки, в руках колосья; ноги босые. По приказу матери он отворяет небесные ворота, и с выездом его на земле начинается настоящая весна.

владельцев к хорошим. По старой памяти и по неизменному почтению к старине, это обычное правило отчасти убереглось до наших времен во всей неприкосновенности. В самом деле, Егорий починает полевые работы (весной), как он же их и кончает (осенью). Древние сроки наймов на весь этот рабочий период в нынешние времена лишь сократились, ограничившись в иных случаях Семеновым днем, «летоководцем» (1 сентября) — началом бабьего лета и концом посева озимей, в других — днем покрова, который кончает уличные хороводы, сменяя их для молодежи посиделками в натопленных избах. При наймах в другие работы выговариваются более отдаленные сроки, каковы, например, кузьминки (начало ноября — древние «братчины»), как начало зимы. Это такое время, когда въявь обнаруживаются итоги и плоды летних полевых работ и можно из своего ячменя, с придачей с женина огорода хмеля, сварить разымчивое пиво. Может «подъегорить» рабочий наемщика, давши слово или взявши задаток, — не прийти в срок на работу; может подкузьмить, то есть обмануть, и мироед-хозяин при расчете с наймитом за потраченный полугодовой труд с весеннего Егорья до осеннего «Кузьмы-Демьяна». Может и купец в одно и то же время и подкузьмить и подъегорить, не прибывши в заговоренное время с готовыми деньгами для расплаты или с готовым товаром для расчета. Кстати, можно и самому рабочему вскоре «просавиться» или «проварвариться» (кому как угодно), то есть на своих сладких пивах, а равно и на покупном зеленом вине прогулять все заработки, увлекшись зимними никольщинами, когда во всяком доме пиво. В деревенском быту никольскую брагу пьют, а за никольское похмелье бьют: одних раньше — на Варвару (4 декабря), других днем попозднее — на день памяти преподобного Саввы Освященного, некогда создавшего известную лавру близ Иерусалима «над юдолию плачевною» (то есть над долом или долиною Иосафатовою). Во всяком случае плачевная юдоль, постигающая бражников, на этот раз является вполне заслуженною. Так и приговаривал сердитый муж, постегивая плеткой ленивую жену, которая частой гульбой расстроила хозяйство: «просаввилася еси, проварварилася еси».

ОЧУМЕТЬ

Очевидцы московской чумы 1771 г. отметили следующие признаки нежданной страшной гостя: «выговор больных не вразумителен и замешателен, язык точно приморожен, или прикушен, или как у пьяного». По новейшим наблюдениям медиков, болезнь развивается обыкновенно чрезвычайно быстро, почти внезапно, сказываясь прежде всего сразу наступающей крайней слабостью («скоропостижным расслаблением», как выразились московские врачи — очевидцы прошлого века). Одновременно появляется озноб, вскоре сменяющийся жаром, и сопровождается затем сильною головною болью во лбу и висках. Слабость бывает так велика, что больной не только не в состоянии двигаться, но с трудом ворочает языком. На другой уже день головная боль переходит в помрачение сознания с беспокойством и даже бурным бредом. Воспоминание об этой картине глубоко запечатлелось в народной памяти и выразилось в новом слове, цельно сохранившемся до сих пор, хотя и применяемом к явлениям значительно слабейшим. Кто забудется в тяжких думах о нерадостном настоящем или уйдет воспоминаниями в милое и дорогое прошлое и погрузится так, что ничего не слышит и не сразу спохватится на вопрошающий оклик, — тот человек очумел или одурел. Чумеют от угара, от приступов дурноты, при головокружении и т. п.

ЗАБАВАМ НЕТ КОНЦА

Голубей гонять, синиц и чижей ловить, о погоде разговаривать, баклуши бить, балясы точить и т. д., — все одно и то же значит: заниматься пустяками, ничего не делать, пожирая труды делателей. Если же и приспособиться к какому-нибудь занятию, то все равно из него выйдет либо «семипудовый пшик», либо «дыра в горсти». Однако два первые бездельные занятия оба таковы, что, по некоторым причинам, останавливают на себе внимание и вынуждают призвать на помощь память и личные наблюдения, а на крайний случай — рассказы друзей и товарищей.

СИНИЦ ЛОВИТЬ

В густых кустах, а еще того чаще — на опушках хвойных рощ, если только они, подобно сосновым, не растут быстро, как грибы, выют себе гнезда эти птички-синички — одни из самых маленьких в разнородном пернатом царстве. За то они и преследуются неотвязчиво в народных пословицах: говорят, если прапорщик не офицер, то и синица не птица, хотя в самом деле: «невеличка синичка, да та же птичка». Не велик человек чином, званием или заслугами, да кстати и ростом невысок, но сметлив и

способен к большим делам, может и за себя постоять, от нападок отбиться и нагрубить и при случае больно уязвить: это благодаря тому, что у него, как у синицы, «ноготок востер». Эта же птица собиралась когда-то зажигать море в посмеяние и поучение тем, которые, при своем нравственном ничтожестве или физическом бессилии, хвастливы на дела чрезвычайные. На тонких и слабых синичьих ногах они собираются лезть на крутые горы и брать крепкие города.

В сказках сказывается: «полетела птица-синица за тридевять земель, за сине-море океан, в тридесято царство, в тридевято государство», что бывает обыкновенно на самом деле раннею осенью. В теплых странах за морем, хотя бы даже для нас за Аральским и Каспийским, где (опять-таки по пословице) синица — птица уже просто по всенародному убеждению, что за морем всё едят, — стало быть, и синиц, синица дожидается летнего времени наших стран. Тогда она, вслед за другими, в своих стаях летит подвесить на елке свое теплое гнездышко, обыкновенно похожее с виду на вязаный денежный кошелек.

Летом синица из Сокольников, Нескучного сада или Марьиной рощи вылетает в самый город Москву целыми стаями и разгуливает видимо, беззаботно по песчаным косам и на отмелях несчастных рек счастливого города: на Москве и Яузе. Впрочем, для нее там есть и такая речушка, которая обесславлена именем этой самой невеликой птички. В синичьих стаях всё свои кровные и ближайшие родные в нисходящем потомстве, потому что у этой птицы особый от других обычай — воспитывать птенцов при себе до позднего возраста.

Прилетают синицы в богатый город и, с своей стороны, пощеголять голубым темечком на веселой головке, при беленьких щечках, и оживят эти отравленные фабричными отбросами местности веселыми движениями и беспокройной суетней. То, как маленькие стрелки, они перепархивают с лужайки на песок, то бегают по веткам, по бревнам, по палке, брошенной и забытой уличными ребятишками. Синице все равно: обращена ли на бегу ее вертлявая и живая головка, как у всех, кверху, или наверху очутилась спинка, или зобок, или шаловливый хвостик; словно она не ощущает в себе никакой тяжести,

как комнатные мухи, которые бродят по оконным стеклам вверх и вниз, сюда и туда и не затрудняются ходить по потолкам.

Утром просыпаются синицы раньше всех, — где еще до воробьев. Андрей-воробей еще и не собирается вылетать на реку поклевать песку, потупить носку, — синицы уже набегались, напорхались, наклевались, когда у них что ни клевок, то и глоток. Иную личинку или яичко и в микроскоп не разглядишь, а синичка увидит и съест. Глаз не поспеет следить за каждым ударом ее клюва, острого и коротенького, как шило, до того они быстры и часты. Все это проделывают синицы с полною беззаботностью и очевидною доверчивостью: школьники-де пока еще спят самым крепким остаточным сном, с которым обыкновенно они расстаются сердито и ворчливо. Да и домовые и фабричные сторожа также спят, так как в этих местах на такие их дела будочники совсем не взирают. Куда на ту пору девались, столь присущие этим птицам, их прирожденная робость и чуткость?

Да вот и они обе вместе; лишь только поднялось повыше солнышко и выиграло разом на кресте Ивана Великого и на орле Сухаревой башни, синицы не узнать: она позволяла до тех пор свободно наблюдать за всеми своими игривыми проделками, — теперь к ней и не подступайся. Даже так, что сама наступит на кончик соломинки, а другой в то же время приподымется, — она уж и испугалась до смерти и стрекнула прочь, как искорка. За одной полетели и другие, как пульки: только мы их и видели. «Пырк-пырк-пырк» — и исчезли.

Ранним утром, когда синица обнаруживает откровенную и любознательную доверчивость, ловят ее в сети только неумелые и ленивые птицеловы или те, которые продают певчих птиц в знаменитом Охотном ряду. Для них с древнейших времен держится в Москве специальный торг певчими птицами и собаками на Собачьей площадке, которая в последнее время стала кочевать по Москве и никак не найдет себе нового облюбленного и насиженного места. Торг бывает в сборное воскресенье, то есть первое в великом посту (неделя православия).

Кочевало торжище сборного воскресенья даже и по самой площади Охотного ряда: было оно сначала на площадке у мясных рядов, потом перевели его к самой церкви Параскевы-Пятницы, затем — к дому Бронникова, а отсюда, спустя немного времени, к дому Челышова. Теперь оно не то на Лубянке, не то в Зоологическом саду, но тут и там обезличенное и ослабевшее. Не так давно богачи и даже титулованная знать, а с ними всякие любители и особенно псовые охотники, являлись на этот день обязательно со своими выкормками и воспитанниками: поискать лучших, похвастаться собственными. Это была настоящая выставка и говорящих скворцов и умнейших собак. Съезжались очень издалека, а в особенности из Коломны и Тулы. Охотники были здесь все налицо.

ГОЛУБЕЙ ГОНЯТЬ

Для иных эта работа — забава и шалость, за которую вообще не хвалят, а *городских* ребят родители их считают непременно обязанностью награждать волосяной выволочкой. Для других, не только взрослых, но даже старых, легкая забава переходит в серьезное занятие, требует особой науки и доводит до любительской страсти со всеми неудобными последствиями.

Как всякое безотчетное влечение, эта страсть также неудержима, необузданна и заразна. Ею заболевают целые города и в них такие умные люди, как дедушка Крылов (баснописец) и такие могущественные, богатые и сильные люди, как братья Орловы-Чесменские. Однако, как не дающая никаких практических результатов, игра все-таки у нас не пользуется уважением и вызывает насмешки. Думают даже, что нет позорнее несчастья, как свалиться с голубятни и убиться до смерти в безумном увлечении при напуске и подъеме голубей. Слово же «голубятник» обратилось в презрительное и бранное: «в голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало» — уверяет народная пословица.

О городских ребятах выговорилось слово неспуста, именно потому, что серьезно поставленная гоньба голубей, с соперничеством на пари, как игра азартная, укрепилась исключительно в наших городах и преимущественно в торговых. В деревнях такими пустяками заниматься некогда, разве воспитывая голубей на продажу. Однакоже и здесь голубей заменяют скворцы. Тем не менее здесь твердо верят, что «сегодня гули, да завтра гули, ан и в лапти обули». Зато невозможно представить себе ни одного мало-мальски порядочного города, в особенности старинного, где бы не было настоящих голубятников-любителей. Правда, что нынешнее строгое время, перевернувшее многое наизнанку, а главное, потребовавшее строгого и сторожливового взгляда на жизнь, в значительной степени ослабило эту купеческую страсть и городскую забаву. В некоторых городах она достигла до крайних пределов не больше двадцати пяти — тридцати лет тому назад. Город Тула выделялся более всех других и почитался столицей всяких забав с певучими и непевучими птицами. Он сделался даже притчею во языцех и предметом народных насмешек. Москва, совмещившая в себе несколько городов разом, конечно, оказалась не в силах отстать от повальной страсти к козырным голубям, говорящим скворцам, драчливым петухам и т. д. Она прославила курских соловьев и заставила завести для себя заводы канареек в Медынском уезде Калужской губернии, на так называемом Полотняном заводе. Голуби дались легче прочих птиц, потому что оказались более покладливыми к людям и их жилищам и более забавными и послушными.

В самом деле, найдется ли на Руси такой город с мучными рядами и лавками, где бы не шумели сильными и громкими взмахами сизяки (одичалые голуби) на длинных заостренных крыльях, помогающих быстрому, грациозному и продолжительному полету? Они либо нежно целуются, сидя на крышах, и томно, громко и приятно для уха воркуют, то хлопочут и суетятся около налитой дождем лужи или на водопойной колоде и притопывают проворными и нежными лапками, на которых задний палец касается земли! Они в кучке и не ссорясь между собою клюют выброшенные из лавки целыми горстями

зерна, а самчик в густом и красивом мундире, как гусар былых времен на балу, ходит вокруг своих дам, растопырив шейные перья. Такими голубиными проделками можно только любоваться. Вообще не ошиблись люди, признавая эту птичью породу за идеал кротости, целомудрия, невинности и любви (но не ума, которым голуби всех пород вообще не отличаются). Понятна городская любовь к ним, особенно если припомним, что на любителей имеются в природе до двухсот различных видов, и между ними такие занимательные, как воркун или бормотун (он же зобастый); большой глинистого цвета, и, когда воркует, то вздувает зоб пузырем, за что зовется еще дутышом. Трубастый распускает хвост, подобно павлину, колесом или опахалом; плюмажный ерошит свой воротник из перьев. У хохлатого или козырного — хорошенький чепчик и мохны на ногах, делающие его похожим на одетую по парижской моде богатую городскую девочку (иногда у него этих чепцов нет). Белый «чистяк» с черными крыльями носит на них повязки и ходит в кругах, за что ему особенное предпочтение перед другими породами. Огнистый носит на груди манжеты. Рыжий турман, всегда голоногий и изредка хохлатый, на лету вертится кубарем через голову, через какое-нибудь крыло боком или через хвост ничком. Он так иногда усердствует править свое дело, «катается в разнобой», что, не рассчитав места, разбивается головой о крышу своей голубятни. Египетский голубь, когда воркует, заливается хохотом, сидя и покачиваясь на стрехах и на сучьях, — словом, всякий вид голубей очень красив и все чистоплотны, кротки и обходительны («голубчик» и «голубка» обратились в самые нежные и сердечные ласкательные приветствия). Голуби привязаны к своим жилищам, кормят других птиц своим кормом и насчет времени очень аккуратны. Этими последними свойствами и воспользовались люди, чтобы сделать из этих птиц серьезную для себя забаву.

Она у солидных людей искала досуга и знала свое время. В праздничный день и во всякое воскресенье, теплой летней порой, горожанин-любитель поднялся с постели рано, сходил помолиться к заутрене, отстоял обедню. Вернувшись домой, сейчас горячего пирожка

поел, щей похлебал, соснул немного, наверставши то время, что израсходовал ранним утром; попил кваску и как был в халате или в рубахе при жилете, так и полез на голубятню и на крышу. Взял он в руки длинную мочальную веревку с хвостом, спустил голубей и замахал мочалом в круги; чем дальше, тем больше. Дошло, наконец, дело до подпояски, а у азартного человека — до халатной полы. Тогда трудно бывает представить себе что-либо смешнее этой бородатой фигуры, которая к тому же и присвистывает, и хлопает в ладоши, и пристукивает палкой, прикрикивая на голубей: «кысь-кысь!», пока они ходят в кругах.

Он вскинул сначала ободистого или кладного, которые больше любят летать одинцами и не могут подолгу тешить хозяина в жаркие и тихие дни. Он на этой голубятне родился и здесь выхолен; теперь ему проба.

Поднялся он хорошо, взлетел весело: то притонет, как будто бы в воду приспустился, то немного подастся наниз, то опять полетит крепко. Стал он спускаться, выкруживать книзу: потягивается, вертит шеей на ту и другую сторону. Хозяин доволен: будет хороший летальщик на все лето, в жаркие дни станет летать мягко.

Вот и испытанные «повивные» или «налетные», выпущенные парами и всем гнездом. Не торопятся; круги словно рисуют на бумаге: выходят гибкие, совершенно круглые. Всем кажется, что стоит там для них в воздухе прямой шест и они его видят во всей прямизне и стараются выводить около него спиральные круги, точно часовую пружину тянут: чем выше, тем завивистей и проворней. И все еще летают на виду. Видит глаз и чувствует любительское сердце, что там, в воздушных кругах, голуби «сплывутся или вскипятся» все в кучу и прямо над головой, затем исчезнут.

На это время уже чуть не половина небольшого, но старинного города наострила глаза и, не спуская их, любитесь и утешается чужой радостью, которая на этот день и раз как будто своя, домашняя и даже отчасти общая городская гордость. Ребятишки, побросавши городки и бабки, собрались со всех улиц и сгрудились тесной кучей около того места, где хозяин голубей

проверяет число кругов, какое сделали птицы до исчезновения из глаз. Считают с ним вместе и все те, кто любит; при этом, конечно, просчитываются, заводят споры, ссорятся ребята и дерутся. Сто кругов полагаются обязательными для лучших повивных; после двадцати исчезают из глаз, «теряются летальщики» и т. д. В особенности оживляются группы зрителей, когда с двух разных голубятен вскинули по паре и обе, на дальней высоте, сплылись и исчезли. Вопрос о том, в чьей будке они очутятся, куда обе пары выкружат, — настолько живой и горячий, что делаются заклады или пари. Спор идет о том, чья голубка переманит; один продал голубя, другой купил его, посадил к голубке, кормил пшеницей, держал их в одной клетке несколько недель и не выпускал на волю. Голуби совыкались: голубка привязчива, а голубь всегда обходителен и ловок. Придет пора, что можно на него и понадеяться, спустить его на свидание и для встречи с прежней голубкой. Теперь чья-то возьмет? Вот они все четверо выкружили; книзу идут твердо, все шибче и резвее, не изменяя взлетов, не ломая кругов. В самом низу кружат очень сильно. Но не в этом дело, а куда повернут? Повернул голубь за старой подругой, а за ним потянула в чужую будку и новая; разом все, как по команде, уселись в ряд на гребне крыши. Побежденная пара, без ссор и дальних споров, остается собственностью того, к кому прилетела. Был чужак, теперь стал свояк, «пришатился».

Хорошо выдержанных в жаркий и тихий день можно смело вскидывать раза четыре, — они нимало не ослабнут. Летанье отменное, «сплывка» веселая. На Таганке, на Полянке и в Рогожской у Андроньева монастыря это хорошо понимают и высоко ценят, гулом и выкриками делая настоящий базар. На это твердо рассчитали и сами владельцы-любители. Голубя любить, надо его и холить и все предусмотреть.

Переманка голубей у охотников почитается делом законным и справедливым. Голое воровство наказывается суровым самосудом, как одно из тяжких преступлений. Молодых ребят поколотят родители само по себе, а сверстники прибавят к недополученному дома.

КАЗЮКИ

Острые на язык, паходчивые на ответ, сорви-голова — тульские оружейники, изнемогая около горнов шесть дней в неделю, на досужий час праздничных отдыхов умеют превращаться из оборванцев, пропитанных кузнечным и медяным запахом, в добрых молодцев. Не из одной только корысти на веселую выпивку облюбили они всякую божью птицу, гоняются за ней, водятся с ней, холят и воспитывают. Птицелов Перова в картине, всем известной, художественно изображает то состояние духа, каким проникается подобный любитель.

— Присядь, бачка, чижи летят! — упрасивал в оно время проходящего человека тот «казюк», просьбу которого обратили теперь в насмешливое присловье всем тулякам.

Он на тот, как и на этот раз приладил западню, а сам, пустив заводного чижа, припал за куст, да там и замер. Старательно он самца выбирал; все присматривался; задолго до охоты отсаживал, а теперь на него уже вполне понадеялся.

По сучьям березы бегают эти зелененькие чижи, вольные и беззаботные, — и чирикают. Заводной, как только выпустили его на точок и услышал он чириканье, так и стал тотчас же «мастерить» — заманивать. Один чиж прилетел на западню — и заморозил охотнику сердце. Хлопнул западок так, словно из ружья выпалил, и растопил сердце: первый чиж попался.

А заводной все зазывает: призовет — обойдется, да так, что не знаешь: дивиться ли тому, как это умеет оказывать такую ласку такая маленькая пичужка, или свое сердце сдерживать, — не мешать заводному обманывать. Иной мастерит на все девять позывов, а вольные самки так колом к нему и бросаются. Начинают чижи драться между собою и пищат. От удовольствия и наслаждения у охотника дыхание спирается в горле — целый день сидел бы да смотрел на птичьиделки.

На соседней липе тем временем проявился зеленый молодец покрупнее заводного. Привел этот с собой своих

целую стаю и всех при себе держит. Западню видит, а к ней нейдет. Раз подскочил, да тотчас же приподнял и взъерошил затылок, затрещал,— да и прочь. Точок опустел весь, только один верный домашний друг и остался на нем.

— Провалиться бы этому самцу сквозь землю! Не дорог конь — дорог заяц.

Надо теперь новый точок разыскать, опять начинать охоту сначала.

— Тю-пик!

Это красноголовый щегленок некстати прилетел над охотничьей неудачей подсмеяться.

Туляки, впрочем, и щеглятники (их же дразнят: «щегол щаглуе на дубочьку»). Не дают они спуску и синицам: одна какая-нибудь махнет, как колокольчиком,— казюк и замлел. Опять присел, стал прислушиваться, измучился,— до того хороша эта синичка: в пении сильна, и полна, и многословна.

— Ти-гю-динь!— и расстановочку сделает необыкновенную.

Завтра и на синичьи стаи напустит казюк заводного. Один такой у него уж отсажен.

ТИПУН НА ЯЗЫК

Порода голубей и вообще всякая домашняя птица останавливает на этом общеупотребительном ответном выражении «типун бы тебе на язык» всякому, кто пугает недобрыми вестями, страшит худым предсказанием, высказывает слишком откровенно какое-либо злое пожелание. У птиц, исключительно принадлежащая им, болезнь эта, по объяснению Эльпе в 1-й серии «Обиходной рецептуры» — особое поражение гортани, полости носа, иногда покровов языка; то, что хозяйки дома обычно принимают за «типун», на самом деле есть особый придаток на кончике языка, вроде коготка, облегчающий при клеванье подхватывать языком зерна.

ДЕЛО В ШЛЯПЕ

Некоторые думают производить его в виде переводного слова с французского языка, хотя, по многим признакам, выражение это можно считать коренным или если и заимствованным, то в очень далекие времена. Метать жеребьи, определяя очереди,— прием, известный библейским евреям,— практиковался и на Руси. Шляпа, валянная из овечьей шерсти, также издревле русский народный головной убор, и белорусский колпак-магерку мы видим на скифских изваяниях. В эти шляпы на всем разнообразном протяжении русской земли бросаются всякие жеребьи в виде условных знаков — будут ли то каменные или надкусанные и нащербленные рубилом монеты, или кусочки свинца с меткой на счастье — при спорах и наймах. «Жеребей — божий суд» (говорит пословица); «жеребей метать — вперед не пенять». Чья метка вынется, на том человеке и всем спорам конец; его право на получение заказа перед соперниками, на куплю и продажу, на поставку лошадей в разгон и т. д. неоспоримо, и дело в шляпе ожидало лишь очереди: надевай ее на голову,— теперь дело твое из нее уж не выскочит.

ЭЙ, ЗАКУШУ!

Это выражение, в виде предупреждающей остротки и легкой угрозы, появилось в Москве и здесь до сих пор бродит, вращаясь в среде торгового люда. Появление его в обиходной речи относят к началу нынешнего столетия и, приписывая ему историческое и бытовое значение, требуют от нас обстоятельных объяснений.

Покойно, сытно и сладко жилось честным старцам в смиренных кельях честных обитателей, а еще того лучше, беззаботнее в богатых лаврах и ставропигиях. Пели у них на крытых переходах слепые нищие про Алексея — человека божьего; «пили-ели сладко, жили хорошо», особенно в прошлом столетии, когда монастыри эти владели крестьянами, и Троицко-Сергиева лавра была помещицею более чем ста тысяч душ чудотворцевых.

Худо жилось заштатным гулящим попам, которые с давних времен представляли целый класс людей без средств к жизни и определенных занятий.

Тут и запрещенные и бесприходные, все — гуляки и бражники: шатаются по веселым местам, валяются по царевым кабакам с тех самых времен, когда всякие деяния впервые выучились записывать и с народом стали разговаривать писанными грамотами. Задумают ли удалые казаки поход на татар, или просто добрые молодцы соберутся погулять и пошалить по матушке-Волге, — безместные попы тащатся за ними. Когда поплыл Ермак забирать Сибирь, в его отряде шли три попа и, сверх того, старец-бродяга, который «правило правил и каши варил, и припасы знал, и круг церковный справно знал». Бродили попы и за Стенькой Разиным, нашлись таковые готовыми к услугам и у Емельки Пугачева. Чем больше нарастало лет и приближали они наше бедовое время — число безместных попов сильно увеличивалось. В конце прошлого и в начале нынешнего века оно было изумительно. Указы совсем перестали действовать: попов они вовсе не устраивали, а стало быть, и не смиряли. Шатались они по кабакам и нагуливали больную печень; болтались по базарам и, среди народных скопищ, говорили скаредные речи и творили неподобные дела. Дошатались и договорились вконец до того, что на их артель пало сильное подозрение в кровавых событиях московской чумы 1771 г. Московская чернь убила полумалоросса, полумолдавана, архиерея Амвросия Зертис-Каменского, который любил раздавать, по жестокому нраву, плети и розги направо-налево и вдоль всего белого духовенства. Даже священники, приносившие бескровную жертву, были сечены до крови. И сами они убегали от приходов своих, и насильно их отгоняли от церквей. Скопилось таковых «безместных» к началу нынешнего столетия великое множество, почуявшее уже силу и вообладавшее смелостью. Кто не успел пристроиться в раскольниковых скитах поповского согласия, те вышли прямо на московские площади. На перекрестках они протягивали руку, на людных «крестцах» предъявляли всенародно свои рваные вретича и объясняли свои безысходные и неключимые беды. В Москве особенно просла-

вился «Варварский крестец», что образовался из Большой Лубянки, Солянки и улицы Китая-города, носящей название свое от церкви великомученицы Варвары. Здесь, на дороге из Замоскворечья, собирался торговый люд во всенародном множестве с самым легким и плохим товаром, но дешевым и подходящим всякому на руку. Тут и бесприходные попы приладили своего рода торговлю, чем умели и чего от них могли на рынке требовать.

Этот спрос на попов свободных, гулящих и безместных в особенности усилился в то время, как француз спалил Москву, когда погорели все церкви и стояла «мерзость запустения» даже в кремлевских соборах. Опасливое духовенство последовало примеру Августина (Виноградского), правившего епархию за митрополита Платона, удалившегося с чудотворными иконами Владимирской и Иверской в Муром. На все великое множество московских церквей далеко недоставало требоисправителей не только в то время, когда Москва наполнена была пожарным смрадом, на улицах валялась конская падаль, торчали закоптелые каменные фундаменты и печи. Собравшиеся со всех сторон священники получали заказ и находили дело далеко потом, когда кое-какие храмы успели уже обновить или подправить. Кладбищенские же хотя и все оставались целыми, но стояли без причта и без пения. Деревянные поповские дома все пригорели. Ничего не пощадил француз; всех ворон поел, все драгоценности расхитил; над святыней надругался; многое с собой увез.

На подобном безлюдье и среди такого полного разрушения громадного города безместные попы обрели себе злачное место, чтобы было где править слово истины. Полюбился им пуще всего «Варварский крестец», и стали все они здесь собираться. Кому их было нужно, так про то все и знали. Походят безместные по толпе, присядут на лавочку — всё поджидают. Волоса, известные на рынках более под именем гривы, торчат из-под шляп с широчайшими полями всключенными; засели в них пух и сено. Бороды не расчесаны, нанковые линючие подрясники подпоясаны веревочкой; на плечах выцветшие на солнышке камлотные рясы еле держатся.

Иные обуты в лаптишки, и хоть бейся об заклад, на ком больше заплат.

Все забрались с первым светом, когда чуть еще начинал он брезжиться. Рыночные торговки, по своему сердоболью и по чужому обычаю, успели всех попов оделить калачами. Иной забытый или запоздалый и обделенный сам припросит:

— Ныне от тебя еще не было благостыни: давай калач-от!

Калачи попами не поедались, а прятались за пазуху.

Зачем холодному и голодному прятать, лучше съесть: может быть, другая калачница новым и свежим облагодетельствует?

Мы сейчас увидим, какую с этими калачами безместные попы «Варварского крестца» выкинут штуку¹.

Идет к ним купец или иной нуждающийся в попах человек, а они уже его по шапке и по походке издали видят и обступают. Выслушивают, что кому нужно: заупокойную или заздравную обедню?

Первые в то тяжелое время были в наибольшем требовании.

— Помянуть надо.

Мало ли народу побито под Тарутином, под Малоярославцем, а того еще больше под Бородином! Другому хочется о своем избавлении помолиться, да притом не иначе, как в своей приходской церкви, а духовного отца нет: еще не вернулся. Иному это сейчас хочется сделать, потому что он в тот день именинник.

¹ Обычай этот многие относят к более древним временам, доводя его даже до Ивана Грозного и бывших грозных пожаров вроде все-святского. В измененном отчасти виде он дожил и до наших времен ввиду того, что московские приходы отличаются своею неравномерностью, вызвавшею ненормальные явления с наемными священниками. Это — особый бытовый тип Москвы, не встречающийся в других епархиях. В Москве, где в церквях нужны две обедни (поздняя и ранняя), издавна выработался тип «ранних священников». Наем священников поденно, понедельно, помесечно, погодно в Москве практикуется в широких размерах. Персонал «наемных батюшек» или «ранних» не может отличаться, конечно, достоинствами, но и отношение к ним штатных причтов не представляется нормальным. Им стараются заплатить поменьше, заставить их работать побольше и третируют, несмотря на сан, как наемников. Это приводит к явлениям, иногда крайне соблазнительным.

— Ну, что ж тут толковать, мы это дело справим, мы это можем.

— Цена какая будет?

— Что предъявляешь?

— Чтобы со звоном и пением, и пуще всего — не пропускать ничего и не торопиться.

— Имеются ли готовые просфоры в указанном церковными постановлениями количестве?

— Заручились: одна-таки просвиренка уцелела и торгует мягкими.

— В каком количестве и все ли пять, и суть ли, сверх того, запасные?

Оказывалось все налицо.

— Полагается поминальная запись. Есть ли она?

— Сгорела, затерялась; потолкаться, чтобы написали, было не к кому.

— Вот и препятствие, труд и болезнь: писать надо. А я сам-то поразучился. Да и веществ тех для рукописания, грех ради наших, ни у кого не промыслишь: здесь на торгу не полагается.

Через плечо другой поп смотрит, лукаво прищулив левый глаз и приклонив ухо. Впрочем, на этот раз он смотрит более из любопытства и отчасти лишь из соглядатайства: на самом деле попы, мужичьим базарным обычаем, уже метали жребий. Звонили они в шляпе грошами и установили очередь между собою, по порядку вынутых монет. Торгуется умелый и самый бессовестный, а служить пойдет тот, который последним вынул свой ломаный грош. Умелого и не допускают до жеребья, а высылают его вперед, по общему назначению и полным голосованием: он получает отсталое и «свершонок».

Бойкий старается сбивать заказчика на словах. Торгуется, сбавляя цену копейками. Закидывает всякими мудреными словами, запутывает устрашающими и неожиданными вопросами:

— Касательно полных поминок всех надлежащих имен или только новопреставленных: как читать?

— На всех ли сугубых ектениях совершать полное поминовение или токмо на первой?

Выговаривает и число выходов из алтаря для каждения, называя кутью «коливом», толкует и о многом

неподходящем и, встречаясь с кремневым упорством заказчика, выхватывает из-за пазухи даровой и дешевый калач. Держит его в руке и обсказывает:

— От продолжительных и пустых разговоров я уже и есть восхотел. Эй, закушу!

Между тем остальные попы все уже отошли прочь и, невидимо для наемщика, скрылись в рыночной толпе. Все они калачей своих еще не начинали: по номоканону, следуя священническим правилам, не принимали они ни капли питья, ни крохи пищи современе вчерашнего солнечного заката. Так по крайней мере все думают.

Думает таким же образом и тот заказчик, перед которым, как Мария египетская в Иорданской пустыне, стоит последний поп и, как свеча перед иконою, теплится.

«Закусит тот поп калача — уж он не петух: обеден петъ на весь день не годится. Прячь-ко, батько, калач-то за пазуху! По чистой совести надо бы тебя изругать в корень, да вот «пришло по-тѣ, что подай попа». От вора отобьешься, от подьячего откупишься, — ну, а от попа как и чем теперь отмолишься?»

ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ

Удельные князья писали обычно в своих договорах друг с другом: «а боярам и детям боярским и слугам, и крестьянам вольная воля». Вот с каких пор сохранилось до наших времен это выражение, по строгим требованиям нашего языка кажущееся такою же бессмыслицей, как «масляное масло», «поздно опаздывать» и тому подобные неправильности, допускаемые иногда в обиходной речи. Когда складывалась эта поговорка, на самом деле волен, то есть свободен, был каждый крестьянин, носивший в себе умелую и привычную силу, владевший великой тайной из дикой земли создавать плодородную почву и пустую, ничего не стоящую своим трудом и искусством превращать в ценную. За таковую уже охотно платят деньги. За пользование ею требовали подати и повинности и их соглашались платить. Земля делалась «тяглом», и крестьянин с землею и земля с крестьянином

так тесно были связаны, что друг без друга они не имели никакого значения. Земля без крестьянина — мертвая пустошь, липкая грязь, «дикая пасма»; крестьянин без земли становился бобылем, бездомным и бесприютным человеком, которого уже никто не жалеет, но все охотно презирают. Ему необходимо было садиться на землю, и если он расчистил новую и ничью — становился полным хозяином; если занял чужую, то, не переставая быть свободным человеком, жил здесь как наемщик, платил трудом за пользование, а захотел — отошел. Если он забирал при этом на чужой земле у владельца скот и орудия, хлеб на прокорм и семена, он все-таки был только должником: рассчитался по чести и совести — и опять был свободен. У вольного воля, таким образом, была правом, привилегией, означала свободу для действий и поступков: жить на земле, доколе проживется, и уходить, куда вздумается. Пользовались этой свободой переходов только именно вольные люди, какими почитались в те времена сыновья при отцах, братья при братьях, племянники при дядях, — все, не вступившие в обязательства или свободные — уволенные от таковых. Всем вольным предоставлялась полная воля, потому что были еще холопы и рабы. Эти вечно принадлежали господам и, как вещь, могли быть заложены, проданы и даже убиваемы без суда и ответа. Такие кабелили себя сами, продаваясь от крайней бедности или от мучительных притеснений богачей и тому подобного.

Из того же древнейшего права на вольную волю, каким, наравне с крестьянами, пользовалась и дружина, и на том же северо-востоке Московского государства совершился великий акт объединения государства. Усевшийся на своей «опричнине» князь, почерпая из земли, как богатырь, новые силы, богател и крепнул. У сильнейшего князя стало выгодно служить, и дружинники, по праву свободного перехода, потянули в Москву. С многочисленными дворами пришли сюда бояре даже с далекого опустошенного юга и облегчали, таким образом, московскому князю собирать русскую землю, становиться самовластным государем. Сама дружина, с усилением княжеской власти, начала утрачивать свои вольные права и, главное, право «отъезда» на службу в

другие края. Уже на Ивана Третьего сыпались боярские жалобы, что он «нынеча силу чинит: кто отъедет от него, тех бессудно емлет». Сын его, Василий, немилых ему бесцеремонно гонит вон: «пойди, смерд, прочь, не надобен ми еси», а сын его Иван Грозный отъехавших бояр уже смело и открыто называл «изменниками». Он убежденно высказал Курбскому: «а жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны ж». Вот в чьи руки попала дружинная «вольная воля», остававшаяся таковою еще некоторое (недолгое, впрочем) время за крестьянами. Своевольное боярство отомстило убиением царевича Дмитрия в Угличе, избранием в цари человека низкого, без всяких нравственных убеждений (старейшего из Рюриковичей, Василия Шуйского) и всеми ужасами смутного, безгосударного времени начала XVII века.

БЕСПУТНЫЙ

«Не быть в нем пути» — говорят про такого человека, который явно не встал на прямую дорогу, обычно ведущую к цели, а выбрал или «попал на неправый, кривой или ложный путь житейский», как выразился Даль и подкрепил общеизвестными живыми изречениями: «Идешь по беспутью к гибели своей», «на беспутной работе и спасибо нет». К нашим удельным князьям приходили с воли свободные люди, бояре-дружинники, и нанимались к ним на службу двояким способом: навсегда — служить до смерти, или на время, «сколь поживется». Первые получали «кормление» — право собирать известную часть доходов не только с городов, но и с целых волостей. Вторые — мелкие бояре — получали разные должности при дворе, где и служили в разных чинах, пользуясь за службу содержанием или жалованием (то есть что пожалует князь) с каких-либо доходных своих статей, смотрели — что теперь называется — из «чужих рук», а не брали, как первые, своею «властною рукою». А так как современное слово «доход» в старину называлось «путем»¹, то и княжеские наемники этого

¹ Так и писали: «отдали землю на льготу, да в том ему и путь».

рода получили прозвище «путных» или «путников». Иные прямо оправдывали свое звание тем, что разъезжали по поручениям князя, обычно провожали и охраняли в дорогах во время переездов княжеские семьи, но вообще они были на каком-нибудь «пути». Одни собирали на бойких проездных дорогах «мыт» и пользовались доходом от сбора пошлин за товары, провозимые по земле князя. Другие держали путь по владениям князя для сбора ко двору съестных припасов с сел и деревень¹ (это «стоольничий путь»). «Окольничий», при походах и разъездах царских, посылался вперед и приготавливал станы или места царских остановок. У царя Алексея указан был «сокольничий путь», то есть состоял при дворе чиновник, ведавший охоту, и имелись под его рукой рассыльные, собиравшие по дальним волостям соколов, кречетов и иную ловчую птицу. Лица, занимавшие подобные должности, так и назывались: «боярин с путем, сокольник с путем» и т. п. До строгих времен собирателей земли — московских царей — у «путных бояр» оставалась в силе и праве «вольная воля». Высмотрев более богатого и тароватого князя, охочего в посулах, уходили к нему. Здесь такие «послуживцы» получали поместья; так, между прочим, народились из них помещики на свободных землях вольного Новгорода, когда их стал раздавать Иван Третий. Вообще этот класс людей был подвижным (они даже не обязаны были сидеть в городе). Впоследствии многие из них домогались со своим вольным правом, переходя с места на место, до того, что сошли на очень низкую и незавидную степень. На Литве, например, они заняли у панов должности управляющих имениями, стали приказчиками, войтами и даже прямо слугами. Оставшимся при старинном праве и звании «путных» довелось очутиться без прежних почетных путей, а при неудачах в жизни без промыслов было удобно и легко стать совсем «беспутными» в современном обидном смысле. Неимение определенных занятий все-таки главным образом зависит от того, что у таких людей и в личном характере «не было проку».

¹ Даже у вольного Новгорода из глубокой старины приписывались волости «на путь тысяцкого».

Когда пришельцы-дружинники давали удельным князьям поручные записи служить ему самому и его детям и не отъезжать ни к кому другому, то им, как сказано, давались «в кормление» и целые города и большие волости. Эти были надежны за клятвою, данною либо «по рукам» (на личном доверии), либо за порукою сильных и влиятельных людей (каковы были митрополиты и духовные владыки стольных городов), и крепки на месте за крестным целованием, также с записью. Эти бояре назывались большими, в отличие от меньших путных, и «введенными». Тут были и приезжие из Литвы или с великокняжеских русских столов и владельцы значительных уделов. Из этого-то иерархического беспорядка, при совместном служении у московских князей, и выродилось самобытное явление нашей истории — местничество, созданное предками «отчество», дававшее поводы считаться преимуществами рода, а не личным качеством и заслугами. Стало очень важным и щекотливым право, «кому с кем сидеть и кому над кем сидеть» в советах и думах.

Кормление им давалось «с правдою» и «без правды», то есть с наростом обычных доходов, еще право суда с теми пошлинами, которые полагались за разбирательство, решение дела и приговоры. Иным, сверх всего, жаловались поместья в вотчину с правом перехода из единоличного в потомственное владение. Можно было эти владения продавать, обменивать на лучшие земли, дарить излюбленному человеку, отдавать в закуп для молитв по грешной душе своей честным монастырям. Этот способ пожалования сел и деревень назывался отдачею «в прок». Такие счастливы на свои пустые земли могли звать к себе рабочих людей и «добрых»: свободных от тягол (обязательств ранних) и «не письменных» (нигде не прописанных). Этим жилось привольно; кормление шло впрок. Вся суть его заключалась в том, чтобы быть сытыми, на что они сами указывали великим князьям, когда обращались с жалобами, говоря с полною откровенностью. Так, двое бояр (один русский, другой литовский выходец), назначенные вдвоем на один город, били

целом, что «им обоим на Костроме сытыми быть не с чего». А чтобы сытыми быть, посланные на кормление, вместо того чтобы тем городам и волостям расправу и устрой делать и всякое лихо обращать на благо, чинили злокозненные дела, не были пастырями и учителями, но сделались гонителями и разорителями. Бывало так, что один выпросит у горожан на себя «посул», а потом потребует еще и на жену. И «вошло в слух благочестивому государю, что наместники и волостели многие города и волости учинили пусты», разбежался народ кто куда: иные крестьяне разошлись по монастырям бессрочно и без отказа, другие разбрелись безвестно. Деревни запустели, и наместника и пошлинных людей уцелевшим на местах прокормить нельзя: нечем. Между тем наместник и волостели были «честнее» воевод (то есть, по старинному значению, чином и заслугами и в общественном и государственном положении стояли гораздо выше), — чего же могли ожидать от этих, более низких, самые малые черносотенные? «Великого князя (отвечают иные жалобы) половиною кормят, а большую себе берут»; по выражению Ивана Грозного: «от слез и от крови богатеют». Воеводы наезжали не только с детьми, но и с родственниками, а так как им была и честь большая и корм сытный, то они привозили с собою всякую челядь, большую дворню. Сверх того, около них же пристраивались с площадей оскуделые люди — подьячие, которые в свою очередь «кормились пером». Всем посадские люди несли корм: и деньгами, и пирогами, говядиной и рыбой, вином и пивом и сальными свечами, лошадям овсом и т. д. в бесконечность. Кормленщики разъедались, и чем дальше они кормились от Москвы, тем необузданнее действовали. Мирские люди тех мест нередко вызывались даже на самоуправство, оправдываясь про себя тем, что «до бога высоко, а до царя далеко»: «и лаяли» воевод и «хаживали на них бунтом». Пробовали воевод указами смирять, сокращая поборы, ограничивая приносы. Петр Великий «шельмовал» их, но только один из них высветлел на темном фоне старинного народного быта. То был Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин — любимец царя Алексея: он не хотел кормиться на псковском воеводстве, а всемерно старался поднять благосостояние города. Все

остальные были на один образец, как образно показано в драме А. Н. Островского. На вопрос о том, каков будет новый воевода, сказано отчаянно безнадежным голосом из толпы молодых посадских: «Да, надо быть, такой же, коль не хуже». Когда спознали, что и в воеводах нет пути и не было проку, то есть ни добра, ни пользы, это звание в 1764 г. совершенно отменили.

ВЫДАТЬ ГОЛОВОЙ

Этот обычай известен был еще в XII веке, когда с князя за вину бралась волость, а прочих людей отдавали головой, причем последняя выражала понятие о личности. Отданный головою за долг поступал к займодавцу с женою и детьми в полное рабство и в работу, которую и отбывал до тех пор, пока не покрывал весь долг. Во время местничества оскорбитель был бит батогами и потом обязан был просить униженно прощения у обиженного и жалобщика: кланяться в землю и лежать ничком до тех пор, пока оскорбленный не утишится и не поднимет со словами: «Повинную голову и меч не сечет». Словом, в старину это означало предание суду за преступление с лишением гражданской свободы, а также во временное рабство за долги. Тогда «брат брату (шел) головой в уплату», а теперь нечаянно, без умыслу выговорить в неуказанное время неподлежащему человеку условленную тайну значит то же, что «выдать головой».

ПРАВДА В НОГАХ

Хотя пословица и укрепляет в том бесспорном убеждении, что в ногах правды нет, однако в недавнюю старину ее там уверенно, упорно и с наслаждением искали наши близорукие судьи, с примера, указанного татарскими баскаками. Сборщики податей, а впоследствии судные приказы, взыскивавшие частные долги и казенные недоимки, ставили виноватых на правеж, то есть истязали. По жалобе займодавца приводили должников босыми. Праведчики, то есть пристава или судебные

служители, брали в руки железные прутья и били ими по пятам, по голеним и икрам (куда попадет). Били с того самого времени, когда приходил судья, до того, когда он уходил домой.

Били доброго молодца на правеже
В одних гарусных чулочках
И без чоботов,—

говорит одна старина — былина. Бивали так новгородских попов и дьяконов «на всяк день от утра до вечера нещадно». Чаще всего ограничивали срок битья соглашением должника заплатить долг или появлением поручителя. Бирон казенные недоимки, накопившиеся от неурожая, вымогал тем, что в лютую зиму ставил на снег и все-таки в отмороженных ногах бесплодно искал правды. Стали толковать: «душа согрешила, а ноги виноваты» и «в семеры гости зовут, а все на правеж». Истязуемые умоляли безжалостных заимодавцев: «дай срок, не сбей с ног!» Бессильные и безнадёжные, когда «нечем было платить долгу, бежали на Волгу». Все эти болезненные вопли и бессильные жалобы ушли в пословицы и, с уничтожением правежного обычая, приняли более смягченный смысл. Плачевный вывод из суровой практики старых времен погодился в нынешние времена лишь в шутливый и легкий упрек доброму приятелю. Стали уверять, что «в ногах правды нет» тех, которые, придя в гости, церемонятся, не садятся¹. Точно так же: «дай срок, не сбей с ног» обращают теперь к тем, кто в личных расчетах торопит на работе, понуждает на лишние усилия сверх ряды и уговора, в тяжелом труде, затеянном либо на срок, либо в самом деле наспех, и т. д. Над упраздненным правежем начали уже и подсмеиваться в глаза заимодавцам, «на правеж не поставишь!» (не что возьмешь!). Какая же в сущности правда в ногах? «В правеже не деньги», то есть иск по суду мало надежен, — сознательно говорят и в нынешние тяжелые времена всеобщего безденежья.

¹ И. М. Снегирев говорит, что в буквальном своем значении и в свое время пословица эта заменяла нынешнюю: «На нем взятки гладки», то есть ничего с него взять нельзя; напрасны и мучительные домогательства, как бесцельны и настойчивые просьбы.

ЛОЖЬ КРИВАЯ

Диво варило пиво: слепой увидел, безногий с ковшом побежал, безрукий сливал; ты пил да не *растолковал*?

Или так: безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой караул закричал, безногий в погонь погнал?

Таковы, на досужий час зимних вечеров, две из народных загадок, вообще очень скупых на отвлеченные понятия и вращающихся преимущественно в кругу видимых предметов и обычных вещей. Указание для отгадки в данном случае сделано на то несмыслаемое пятно, которое уже целые века сберегается целым на роде человеческого, и на то, в чем, по писанию, весь мир лежит. Оно со светом началось и со светом кончится. Им красна всякая человеческая речь, что, по народной пословице, живет и ходит на тараканьих ножках (того и гляди подломятся). Его люди терпят, но от него пропадают. С ним весь свет пройдешь, но назад не воротишься. Словом, загадка указывает на ложь или, по точному и более употребительному народному выражению, на неправду, столь же древнюю, как мир, и имеющую отцом своим дьявола («от бога дождь, от дьявола ложь»), с передачею в наследие всем людям через первую жену. Появление этого порока на земле наш народ объясняет тем, что бог создал жену из кривого ребра, оттого и пошла *кривая ложь*, или, короче сказать, самым правильным русским словом, кривда. Она крива, по злому насмешливому выражению, как московская оглобля в городских пролетках или санках. Это, по тем же пословицам, либо простая дичь, либо дичь во щях, либо дичинка с начинкой, либо дудки. Она же околесная и сивый мерин, она кривые моты мотает, гнет дугу черемховую, и если заговорит, то не иначе, как во всю губу и всегда на ветер. По временам она же самая — и красное словцо, гоголевские сапоги всмятку и его же Андроны, которые едут и Миронов везут, и т. д. «Правда осталась у бога жить на небесах, а кривда пошла гулять по белому свету».

Люди, обладающие живым и пылким воображением и впечатлительностью (не исключая, конечно, прежде

всего и детей), никак не могут ограничиться представлением голого факта, а должны непременно его идеализировать. Часто, рассказывая одно и то же придуманное ими, то есть распространяя ложь, они доходят, наконец, до того, что сами убеждаются в правдивости личных фантастических образов. С каждым разом, придавая своей лжи художественную законченность и глядя, что их ложь действует сильнее правды, они, наконец, доходят до того, что, по пословице, перед ними леса нагибаются и сырбор преклоняется. Таков, между прочим, тот путешественник, который, рассказывая о том, что он сам видел, как дикие ели воображаемых детей его, всякий раз заливался горячими слезами. Про таких-то и говорят наши пословицы, что, «кто их переврет, трех дней не переживет», и «один врал — не доврал, другой врал — переврал, третьему ничего не осталось». Один сморозит, а другой плетет кошель с лаптями, либо прямо несет колеса на турусах (или наоборот); один выворачивает дело наизнанку, другой лошадь через шлею валит; иной так путает, что и сам дороги домой не найдет, — и все они, попросту сказать, врут. От иного вранья уши вянут, в глазах зеленит, святых выноси и сам выходи. Под другое вранье иглы не подбить, через третье не перелезть, четвертого вранья за пазуху не уберешь.

Если, как сказано и доказано, лжей много, то во всяком случае правда одна, и та непременно — голая.

ПРАВДА ГОЛАЯ

Александр Невский сказал: «Не в силе бог, а в правде», а русский народ говорит: «И Мамай правды не съел». Однако на всем свете, по всенародному убеждению, правду говорят только дети, дураки да пьяные. В самом деле, многие ли ищут истину и любят правду?

К слову: в последних двух словах, при некотором обусловленном сходстве, есть существенная разница. Истина — «все, что есть», что справедливо, верно и точно, является достоянием человеческого разума, или, как говорится, истина *от земли*, в смысле правдивости и правоты,

а правда с небес, как дар благодетели. По объяснению В. И. Даля, истина относится к уму и разуму, а добро или благо — к любви, нраву и воле. Благо во образе, как в форме, доступной пониманию, есть истина. Свет плоти — солнце, свет духа — истина. Истина же во образе, на деле, во благе и есть правда, как правосудие и сама справедливость, суд по правде. По псалтырю «истина от земли воссия, а правда с небесе притече». Истина присуща только богам (ее-то и не знал Пилат и громогласно просил объяснения); стремиться к истине — значит желать быть добродетельным. Вот почему она встречается так редко. Да и правда, будучи не нагою, не дерзает являться в свет иначе, как прикрытою ложью, чтобы, по русскому выражению, не колоть глаз, то есть не возбуждать ненависти. Правда не так сладка людям, как плоды заблуждения и обманов, да притом же ее трудно проверить, а потому и народный совет: «с нагольной правдой в люди не кажись». Нагая правда, то есть прямая, без обиняков, не на миру стоит, а по миру ходит, то есть не властвует людьми, не начальствует над ними, а, истомившись, сама лжи покорилась. Всякий правду хвалит, ищет, любит, знает, да не всякий ее сказывает, в том убеждении, что и хороша святая правда, но в люди не годится. Пробовала правда спорить с кривдой, да свидетелей не стало, а случилось так, что у всякого Павла оказалась своя правда, и все оттого самого, что она живет у бога. Если хороша эта правда-матка, так не перед людьми, а все же только перед одним богом. И трава перекати-поле, подхваченная ветром, унесла на себе кровавые следы, которые обнаружили убийцу, и ракитов куст тем же способом за правду постоял, но все-таки правде в людях нигде нет места, и не по той же, в самом деле, причине, что она ходит нагишом. Ее уж с древнейших времен, когда настояла надобность изображать в лицах, попросту изображали голою (отсюда и русское выражение: «Правдолюб — душа нагишом»). Ввиду господствующей лжи современные любители и искатели правды советуют одно утешение — в молчании с убеждением и верою, что правда все-таки есть на свете. «Все в нем минется, а правда останется». Под прикрытием лжи можно долго изловчаться, однако до тех только

пор, пока не грянет гроза, очищающая и освежающая воздух, и не разразится буря, ломающая все гнилое и попорченное. «Правда есть, так правда и будет» — говорит пословичная народная мудрость.

ГЛАС НАРОДА — ГЛАС БОЖИЙ

Выставляю в заголовке эту мировую, всесветную пословицу, конечно, не для толкования ее, а собственно потому, что один из рецензентов моей работы упрекнул в пропуске ее, а сам поспешил дать неверное объяснение. Имея в виду только те «крылатые слова», которые требовали толкований или давали повод к пояснительным рассказам, я намеренно не коснулся «*Vox populi — vox Dei*», как такого изречения, которое ясно всем, как божий день. Судья мой советует для наглядного объяснения этого выражения отправиться в северную Русь и указывает на тамошние церкви или собственно на ту к ним пристройку, которая называется трапезою. В этой пристройке собирався народ, сходявшийся на погост помолиться, поговорить о своих делах и постановить мирское решение, обязательное для всех. Под церковным кровом решение это, как бы освященное, являлось уже в то же время как бы божьим гласом, исходящим из храма божия. На самом деле вот какие данные получаются из актов об этих трапезах и вот о каких фактах они свидетельствуют.

В деревянных храмах северной России, представляющих собою изумительные образцы самостоятельного и самобытного народного зодчества, на западной стороне собственно храма (обыкновенно холодного) и вплотную к нему пристраивалась эта вдвое и втрое бóльшая часть церкви — трапеза. Стены ее вытесаны и гладко выскоблены; крыша покрыта скалой и тесом с рубцами наплотно, чтобы не было кáпи. Спереди, при входе, построено подгапертье с крыльцом на столбах и с двумя лестницами, в северную и южную стороны. И крыльцо и лестницы забраны досками в брусье. Из трапезы в церковь вели двери с полотенцами, и туда же смотрело одно длинное

окно со ставнями, когда кончалась служба, чтобы отделить эту пристройку от священного места. Четыре окна выходили на улицу, пятое, побольше, служило дымоволоком, так как трапеза была курная. Отступя от стены на такое расстояние, чтобы можно ходить кругом, стояла печь, которая чадила и грела. Среди трапезы построены скамьи с «причелинами» (дощатыми спинками), на которых садились мирские люди, когда сходились на совет по всяким делам (конечно, лишь в зимнее время). Здесь выслушивались указы и приказы, сказывались вести обо всем полезном и любопытном и «о всякой нуже, чтобы ведома была народу». Тут в древние времена происходили пиры-братчины и пиры-поминки по умершим родителям. Трапеза во всяком случае представляла совершенный особняк от церкви, хотя и была прирублена к ней вплотную. Сторож, охранявший церковь, тут в трапезе и спал. Он обязан был мыть пол только два раза в году: к Христову рождеству и на святую пасху и топить печь осенью, зимою и весною каждый день еловыми дровами. Где не было земских изб, там, естественно, церковные трапезы заменяли их место, не внушая к себе исключительного почтения, каким пользовался самый храм. По актам, касающимся церковно-общественного быта холмогорской и устюжской епархий, доказывается это обстоятельство наглядным образом. В одном случае разбора дела не стеснялись тяжущиеся принять церковную трапезу за съезжую земскую избу. Так, например, своевольничал отец с детьми: косил чужой луг и травил скотом огород. Обиженные пожаловались земскому судье на тех «сильных людей». Главный обидчик схватил жалобщика за ворот и хотел удавить. Дети его выступили с ножами и кричали: «Бей да режь его!» Свидетелей было много, и все подтвердили единогласно, что был крик: «Возьмите да убейте!» В другой раз пришел в трапезу поп безобразно пьяным, бранил всех неподобною бранью скаредно, и за горло хватал, и о пол ударил. Вырвал у одного старичка костыль, волочил старца по полу по трапезе, бил кулаками: «о голову руку свою расшиб до крови и кровь его на стол текла и на пол». По словам другого акта, в трапезах вообще бывали «поносы большие во весь рот».

Довольно рискованно предполагать, чтобы «из этой передней части божия храма исходивший» глас народа назывался, по его правдивости, «гласом Божиим». Подобные факты скорее можно причислить к несметному сонму доказательств случайной пословицы: «суд людской — не божий».

СЧАСТЬЕ ОДНОГЛАЗОЕ

«Не в котором царстве, а может, и в самом нашем государстве жила-была женщина и прижила роженое детище. Окрестила его, помолилась богу и крепким запретом зачуралась, — довольно-таки с нее одного: вышел паренек такой гладкий, как наливное яблочко, и такой ласковый, как телятко, и такой разумный, как самый мудрейший в селе человек. Полюбила его мать пуще себя: и целовала-миловала его день и ночь, жалела его всем сердцем и не отходила от него на малую пядь: почку. Когда уж подросло это детище, стала она его выпускать в чистом поле порезвиться и в лесу погулять. В ино время то детище домой не вернулось — надо искать: видимо дело — пропало. Не медведь ли изломал, не украл ли леший?»

А та женщина называлась *Счастьем* и сотворена была, как быть живому человеку: все на своем месте и все по-людскому. Только в двух местах была видимая поруха: спина не сгибалась и был у ней один глаз, да и тот сидел на самой макушке головы, на темени; кверху видит, а руками хватает зря, что нащупает и что под самые персты попадетсЯ наудачу. С таковой-то силой-помощью пошло то одноглазое Счастье искать пропавшее детище. Заблудилось ли оно — и с голоду померло, или на волков набежало — и те его сожрали, а может, и потонуло, либо иное что с ним прилучилось — не знать того дела Счастью: отгадывать ему бог разума не дал — ищи само, как ты там себе знаешь. Искать же мудрею и несподручно: видеть не можно, разве по голосу признавать. Так опять же ребячьи голоса все на одно. Однако идет себе дальше; и может, оно прислушивается, может,

ищет по запаху (бывает так-то у зверья) — я не знаю. В одной толпе потолкается, другую обойдет мимо, третью околесит, на четвертой, глядь-поглядь, остановилось. Да как схватит одного такого-то, не совсем ладного, да, пожалуй, и самого ледащего, прахового, сплошь и рядом что ни на есть обхватит самого глупого, который и денег-то считать не умеет. Значит, нашла мать: оно самое и есть — ее любимое и потерянное детище. Схватит Счастье его себе и начнет вздывать, чтобы посмотреть в лицо: оно ли доподлинно? Вздыхнет полегонечку, нежненько таково, все выше да выше, не торопится. Вздыхнет выше головы, взглянет с темени одним своим глазом да и бросит из рук, не жалеючи, прямо оземь: иной изживает, иной зашибается и помирает. Нет, не оно! И опять идет искать, и опять хватает зря первого встречного, какой вздумается, опять вздыхает его в небесам и опять бросает оземь. И все по земле ходит, и все то самое ищет. Детище-то ее совсем сгубло со бела света, да материнское сердце не хочет тому делу верить. Да и как смочь ухитриться и наладиться? Вот все так и ходит, и хватает, и вздыхает, и бросает, и уж сколько оно это самое делает — счету нет, а поискам и конца-краю не видать — знать, до самого светопреставления так-то будет! Правду молвят в народе: «счастье, что трястье — на кого захочет, на того и нападет».

Таковую притчу слышал я от старика-раскольника на реке Мезени, но после нигде с нею не встречался и ни в каких изданных сборниках не нашел.

ГДЕ РУКА, ТАМ И ГОЛОВА

Рука согрешит — голова в ответе.

Пословица.

Взятая в буквальном смысле, всем известная и повсюду распространенная пословица может показаться ненужной, лишней пустословкой, вызывая прямой и короткий ответ: конечно, так, само собой разумеется. В самом же деле пословица заключает в себе глубокий смысл и есть не что иное, как юридический термин, от старины до наших дней не утративший своего значения.

В старину послухи, или свидетели, при поголовном безграмотстве, ручаясь в данном показании, подавали полуграмотному дьяку правую руку и тем как бы давали собственноручную (или, вернее, и по-старинному, «заручную» подпись). Во многих случаях требовалось даже наложение самой руки или обеих вместе на бумагу свитка поручной записи,— прием, объясняемый слогом позднейшего сочинения — рукоприкладство или, короче и проще по-русски, подписи, вместо составленного на немецкий лад. В некоторых случаях она заключалась в том, что послухам или видокам обмазывали правую ладонь черной краской и делали оттиск на свитках в столбцах, называемых поставами (гербовую бумагу начали употреблять с 1699 г.). Во всяком случае человек ручался за данное показание на суде, становился порукою за другого человека по старозаветному выражению, часто встречаемому в старых актах: «ты о том не тужи, в том моя голова». Было все равно, сграничивался ли он одним лишь голословным показанием, или целовал евангелие, крест, сырую землю, или скреплял все клятвы подписью на бумажном листе. Отсюда и «держать чью руку» значит стоять за того, быть на его стороне при выборах и клятвенных ручательствах, и «играть в одну руку» — действовать во всем заодно. В старину «порукой» назывался и тот человек, который брал подсудимого себе на руки, ручался ответом за него. Порукой считалась и целая семья купцов, остававшаяся как бы в закладе дома, на родине, когда (по Котошихину) торговые люди ездили в чужие земли, чтобы «им в иных государствах не остаться». Со времен той же старины «поручным» называется всякий задаток, особенно деньги, взятые или данные при битье по голым рукам или по рукавице, при условиях всякого рода: наймах, продажах, куплях, обменах. Точно так же до сих пор отцы жениха и невесты покрывают лапами кафтанов руки и ударяют ими в знак окончательного согласия на брак, то есть одновременно этим способом подписывают брачный контракт и свидетельствуют его у нотариуса. То же самое делают барышники при продаже лошадей, хлопая в иных случаях не уладыцы по несколько раз до последнего, когда бьют по рукавицам, прихватив на этот раз руками повод продаж-

ного коня, и т. д. До сих пор на общинных сходах при составлении мирских приговоров верители подают грамотеям руки, что и зовут «отбирать руки» и проч. Так велико значение этой верхней конечности человеческого тела в жизни и обычаях русских людей. В то же время столь разнообразны в живой речи применения в иносказательном смысле этого существительного имени женского рода!

Ленивый человек, привыкший ничего не делать и сидеть праздно, «поджал руки»; у таковых, конечно, по этой причине и всякое дело «валится из рук». Иной городской извозчик или почтовый ямщик сумеет запрячь лошадь «под руку», то есть на пристяжку, да в езде часто не знает «своей руки», то есть не знает правила держаться «парадной», то есть узаконенной у нас в России, правой стороны при направлении в езде (в Англии и в Японии «парадная» сторона — левая). Иные бестолковые или тупые люди «руки не знают», то есть не разбирают права или лева, — прежние рекрута, приведенные из глухих мест и требовавшие на ученьях привязки к одной ноге сена, к другой соломы, чтобы уметь разбирать очередь той или другой ноги при маршировке. Человек, от постоянно преследующих его неудач пришедший в отчаяние, растерявшийся до того, что не знает, как поступать дальше и что ему делать, «опустил руки». Драчливый и вздорливый человек, посягая на смирного, «поднимает руки»; нападая на податливого, «прибирает его к рукам», и на худший конец «налагает руку», то есть порабощает и притесняет. Воры, у которых «руки с ящичком», действуя с товарищами, «играют с ними в одну руку», и если поживились случайно или нажились окончательно, — они «нагрели руки». Бывают руки тяжелые, легкие, длинные, как бывают толстые шеи и медные лбы и т. п.

ПРИТЯНУТЬ К ИИСУСУ

В 1732 г. тайная розыскных дел канцелярия из Москвы переведена была в Петербург, и хотя Петр Третий уничтожил ее, но Екатерина поспешила восстановить.

При Екатерине разыскивание правды, как известно, поручено было знаменитому Степану Ивановичу Шешковскому, тайному советнику, получившему особую известность в 80-х годах прошлого столетия, когда он сделался главным распорядителем в делах тайной экспедиции. По сыскной части он был виртуоз еще в молодых летах и на первых шагах в служебной карьере. Но когда стал заведывать политическими розысками, пользуясь полною доверенностью императрицы, он сделался грозю всех по причине грубого и неумолимого личного характера. Шешковский наводил ужас одним своим именем: Радищев, написавший известное сочинение «Путешествие из Петербурга в Москву», упал в обморок, когда услышал, что дело его поручено Шешковскому. При встречах с последним, Потемкин приветствовал его всегда одним и тем же вопросом: «Каково кнutoбойничаешь, Степан Иванович?» — «Помаленьку, ваша светлость, потихоньку!» — обычно, потирая руки, отвечал он, и подобострастно кланялась при этом его небольшая мозглявая фигурка, одетая в серый сюртучок, скромно застегнутый на все пуговицы. Принимая, по свидетельству поэта Г. Р. Державина, важный, грозный и таинственный тон, с заложенными в карманы руками, он не чинился ни с кем, кто попал в его лапы, не различая знатных дам и ростовского архиерея Арсения Мациевича от Емельяна Пугачева и от всех прочих, обвиняемых во «враках», как привычно выражались в то время. Шешковский пустил в ход и розги, и кнут, и свою толстую палку. Смотрел он спокойно и бесстрастно, считая удары и наслаждаясь, когда работали его палачи. Иногда он увлекался до того, что вскакивал с места, выхватывал кнут и бил им сам. Допрос с вынуждением признания он начинал не иначе, как внезапно ударяя своей толстой камышовкой под самый подбородок заподозренных лиц с такой силой, что трещали и выскакивали зубы. Затем следовали всевозможные истязания, включительно до того стула, на который сажал свою жертву самородный отечественный инквизитор и патентованный палач. Стул этот особым механизмом опускался под пол, где скрыты были готовые секуторы с орудиями пыток. Допросчик был холоден и неумолим — по характеру, звероподобен — по вос-

питанию; но при этом старался казаться богобоязненным человеком: усердно посещал церкви и каждую обедню вынимал три задравные просфоры. По преданию, та комната тайной экспедиции, где он снимал «пристрастные» допросы с истязаниями, вся изувешена была иконами. Вопросы, обращаемые к жертве, Шешковский уснащал текстами священного писания. Когда раздавались стоны, вопли и мольбы о пощаде, ханжа-пустовер начинал кощунствовать, впадая в гораздо худшую крайность: он начинал читать на то время акафист божией матери или «Иисусу сладчайшему, души утешению, Иисусу многомилостивому...» По догадке г. А. Н. Корсакова («Историч. вестн.», декабрь 1885), в этих оригинальных приемах Шешковского, «верного пса» (как он сам расписался под своим портретом), следует, по всему вероятию, искать основания этому очень распространенному выражению, поставленному в нашем заголовке. Иначе и объяснить его трудно, ввиду странного состава самой фразы с таким неожиданным сопоставлением в речах глубоко и искренно верующих русских людей.

ПОСЛОВ НЕ РУБЯТ

В давнюю старину подкупленный убийца прокрался темною ночью к богатому вельможе, но чем ближе подходил к спальней, тем сильнее одолевал его страх. Когда же увидел он воочию перед собою намеченную жертву, погруженную в глубокий безмятежный сон, разбойник вдруг почувствовал, что та рука его, которая держала отточенный нож, стала мертветь и отыматься. Приняв это явление за божье наказание, испуганный злодей начал сам будить обреченного на смерть. С трудом собравши силы и справившись с языком, нанятый разбойник объяснил своей жертве, что злые враги хотят его извести, но бог выбрал его в посланцы, чтобы сообщить о злодейском умысле и велеть остерегаться.

— Я бросаю нож, но ты вели казнить меня: весь я теперь в твоей воле!

— Послов не секут, не рубят, — ответил князь, — а домой отпускают. Ступай и ты туда, откуда послан, — благо темно здесь. Ступай скорей, чтобы я тебя и в лицо не видал. Повинную голову и меч не сечет!

НЕ В КОЛЬЦО, А В СВАЙКУ

Самым малым деревенским ребятам известно, что без кольца играть в свайку нельзя: нет никакой забавы и невозможно показать ловкости в руках и зоркого прицела глазом. Умеет сковать свайку всякий деревенский кузнец: выберет троетесный гвоздь, обколотит углы, обровняет их так, чтобы казалось толстым шилом, и наварит на толстый конец из обрезков железа толстую и тяжелую голову (чем она тяжелее, тем лучше). Свайка готова: и на потеху малых ребят, и на похвальбу верным глазом взрослых. Надо попадать в кольцо так, чтобы не только угодить в серединную точку, но чтобы кольцо прискочило, и завизжало, и с быстротой вонзилось тотчас же в землю, а того лучше в гнилые бревна подъязбицы. В подобном случае попробуй вытащить эту «редьку» тот, кто проиграл, то есть не попадал в кольцо, а бил его по внешнему краю и вышибал свайкой из намеченного кона навывлет или просто забивал кольцо глубоко в землю, ударяя в него головой свайки. За такие неловкие удары приходится долго служить, вытаскивая свайку, и часто наклоняться, чтобы передать ее счастливому игроку. Этот берет тонкий конец гвоздя или хвост свайки в кулак и всей пятерней броском вонзает в землю, причем самая свайка успевает раз перевернуться в воздухе. При верно намеченном ударе она обязательно падает на свой хвост, который и вязнет в земле. Наловчившиеся пробуют бросать свайку, придерживаясь за хвост двумя пальцами правой руки поочередно. Самый ловкий становится к кольцу спиной в таком расстоянии, что, приложивши острие ко лбу и наклонившись вперед, бросает через голову свайку так удачно, что она не только попадает в свое место, но и самое кольцо бешено взмывается с земли и задорно визжит у самой головки.

Теперь от уличной забавы (как это ни покажется странным) для нас необходим переход к такому важному народному бытовому вопросу, как обычное народное право в применении его к наследованию имущества. По этим народным законам, издревле установленным и нигде не напечатанным, но тем не менее общим и однообразным для всей России, в применении их к женщине, между прочим, заповедано «бабьему добру от бабы не отходить». Жена — хозяйка своего добра: все, что принесено ею в мужнин дом, принадлежит ей одной, будет ли то кладка (деньги от жениха в виде платы за невесту), или сундук (то есть приданое в смысле даров от родителей носильным платьем, бельем и нарядами) и т. д. По смерти мужа, если она останется бездетной вдовой, все это она уносит с собой. Вдовою при детях, в значении хозяйки, она остается лишь до совершенных лет ребят, иначе пользуется только какою-нибудь частью имущества (чаще половиною). Во всяком случае «мать при сыне — не наследница», точно так же, как «сын наследует отцу, но отец не наследует сыну». Мать хотя и великий человек (в мучениях родит, грудью кормит), но отец стоит выше матери: он родит, дети — его кровь, он властитель и хозяин, как бог надо всем светом. На этом основании женщина и в семейном быту и в юридических правах весьма ограничена, сильно обездолена и всегда обижена, особенно при имущественных разделах. Немудрено, но очень долго, приводить все многочисленные доказательства тому, что «женский быт — всегда он бит» или «бей шубу — теплее, бей жену — милее» и т. п. При свекрови сноха — подчиненная безответная работница, с распределением очереди (обычно по неделям) для отправления обязанностей стряпухи. Младшей снохе труднее всех, потому что она всех ниже значением, а старшая сноха, будь она даже вдовою, сохраняет свое почетное положение и ее больше слушают. Только в том случае младшая поднимается на одну ступень выше, когда вернется в семью родная дочь, выданная на сторону замуж и успевшая овдоветь. При дележе, по смерти родителей, сестры при братьях должны довольствоваться тем, что захотят им выделить на справу к свадьбе, если мать при жизни своей не успела исполнить свою главную и священную

обязанность — выдать дочь замуж (хлопоты о женитьбе сыновей лежат на отцах). Только в том случае делится имущество на равные части, когда наследницами являются дочери. Во всяком случае до сих пор нерушим вековой закон, выраженный пословичною формулою: «сестра при брате — не вотчинница». Отсюда же становится понятным иносказательное выражение, наше крылатое слово — «не в кольцо, а в свайку» идет имение, то есть поступает в собственность сына, а не дочери. Это значит, что заготовленное и сбереженное родителями имущество всего чаще не приращается, но проматывается по закону: «отцы наживают, детки проживают», и по пословице: «наживной рубль — дорог, даровой рубль — дешев».

ПО ЗЕМЛЕ И ВОДА —

как живое и живучее слово, перестанет считаться непонятным или дешевого смысла, если взглянуть на него как на древний юридический термин. Ясно, что в спорах о владении землей установилось естественным образом право владеть и водами, протекающими в границах земельного участка. По земле присуждалась и вода. Вся трудность, вызывавшая путаницу отношений и споров, заключалась в точном определении межей, когда живые урочища не помогали резкими особенностями и яркими очертаниями и приметами. В таких спорах обыкновенно являлись решителями дела указания стариков: приводилось свидетельствовать с соблюдением некоторых таинственных обрядов. В Каргополе сохранился самый старинный: доказывающий свое или чужое право кладет на голову кусок дерна, то есть «мать сыру-землю», и с ним обходит по граням. В других местах дерн успели заменить честною иконою. В древней Ростовской земле епископ посылал священника с крестом св. Леонтия. Крест ставился на спорную землю, и свидетели должны были, удостоверясь крестом ростовского первомученика, определять, которой из двух тяжущихся сторон должна принадлежать земля. Таким образом, и в Ростовском княжестве «развод земли» производился также по совести,

«а не как в других местах (говорит описатель чуда св. Леонтия), где обыкновенно суды и тяжбы производились и лилась кровь». Самое же право владения определялось выражением: «куда топор и соха ходили» — по ту грань в лесу и на полях надо считать землю собственностью лица, поселившегося и приложившего труд на таких новях.

ПОКАМЕСТ

Здесь, между прочим, следует искать происхождения слова «покамест», как старинного, оставшегося кое-где в ненарушенной форме: «ждали по ка — подождем и по та», то есть подольше — слышится зачастую. «По ка (по какое место) укажут, по та и отрубишь», — обычно говорят плотники северных лесных губерний. «По ка мест живется, по та мест и жить стану», а инде уже подмененное общеупотребительным наречием — пока, покудова, на северо-востоке России — дока, докуда, поколь, поколе, на юго-западе — покель, покелева, покелича, покедь, поколя; на юге — покаме, покамест, покилича, а у белоруссов и малороссов — по́ки и допóки. По ка место, как сложное существительное, издревле склоняется в любимой и более употребительной форме множественного числа, например, как в старых актах, «по кех мест те судные деньги (то есть взятые займы) за ними, исполщиками (половинщиками в работах), побудут (вперед за условленную работу), а где ее запись выляжет, тут по ней суд» и проч.

Или так, как поступал Петр Великий.

Он что-либо прикажет исполнить, да непременно тотчас же и пристращает: «Если в срок не исполните, то велю сковать за ноги и на шею положить цепь и держать в приказе «покаместо» (пока) выписанное исполнится». Такой, между прочим, указ послал он за своею подписью архангельскому вице-губернатору ближнему стольнику Ладыженскому.

Кому рассказывают про такое дело, которое он отлично знает и помнит, видел его очень ясно, своими глазами, а не усвоил по слухам, тот обыкновенно (в лесной северной России) отвечает:

— Не рассказывай: я на межевой яме сечен.

Хотя это и не требует дальнейших разъяснений ввиду того, что межи или границы земельных угодий обыкновенно обозначаются «гранными ямами», тем не менее такое выражение обязывает остановиться на весьма важном народном обычае. Гранные ямы — такие места, которые не только представляют собою жизненный глубокий интерес для деревенских соседей в вопросе владения землею, водою и лесом, но имеют значение такого исторического явления в народной жизни, которое требует изучения, как самобытное.

Гранные ямы прежде всего замечательны тем, что практический смысл прорывших эти ямы первыми на пользование будущих поколений научил зарывать сюда для признака угля. Чтобы зарубить на память и закрепить такую надежную примету, что называется сверх сыта и окончательно, прикидывали сюда черепки горшков, как не гниющие (успевшие сохраниться в курганах до наших времен цельными). Рассчитывали на долговечную прочность также и углей, так как хорошо выжженный древесный уголь не гниет. «Уголь — такой же негной, как нетленен и черт» (по пословице), особенно если первый, будучи положен в виде дров в ямах, истлеет без пламени, не сгорая, а медленно под костром земли, окладенной дерном. Уголь там, как говорят лесовики, тает, то есть поспевает от одного жара: дерево изникает на месте как бы воск или олово. Тогда и вторые, то есть черти, по народному поверью, сумеют оценить достоинство такого вещества. «На межевом бугре, на угольях да на черепках, черти в свайку играют», — думают суеверы и пословично говорят: «Когда нечем черту играть, так угольем».

В те времена, когда руководили людьми прадедовские обычаи, межевые границы подчинялись особым правилам и определялись совершенно иными способами.

До времени изобретения мензул и астролябий оставались еще целые века впереди, а для измерения земельных имуществ не существовало никакой определенной единицы. Говорили и писали в актах «по туль и владение, куда топор и соха ходили», или по-другому: «по ка места плуг и соха ходили». Каждый брал на свою долю столько

земли, насколько хватало у него сил для обработки ее. Стало быть, земля, никем не занятая в ту пору, измерялась личными трудами и силами первых насельников. На общинных землях, где каждый владелец участка ежегодно сменялся, способ определения границ временного владения сопровождался особенными оригинальными приемами, в обеспечение общего права и в подкрепление коренного народного неписанного закона. Такой прием еще можно наблюдать в особенно яркой картине на землях Уральского казачьего войска, живущего до сих пор строгим общинным строем.

На реке Урале у тамошних казаков и посейчас сохранился таковой старинный яицкий обычай при косьбе лугов. В силу законов общинного владения (особенно бережно и упрямо соблюдаемых этими казаками) все казаки, имеющие право на сенокосение, по тому же правилу, как и при рыбных ловлях, в назначенный день общего покоса — на ногах. Ждут сигнала. Когда он подан, все бросаются на луг и на те места, кто где захочет. Всякий спешит запауски обойти косой, захватить желаемое место вокруг — «обкосить» до заката солнца. Обкошенное пространство на этот удалой и удачливый раз считается собственностью казака, и он может с семьей своей косить тут траву и при этом ни за что не посмеет закашиваться в чужой обкос. Паев здесь не разверстывают, а предоставляют все дело силе и расторопности, как и на багреном и на плавенном рыболовствах. Сенокосные отводы делаются только тем казакам, которые не могут отлучаться по службе, но в самом ограниченном размере (не более стога на каждую служилую лошадь). С 10 мая начинается ковыльное, которое продолжается на общественных землях «обволечным» и кончается третьим сенокосением общим «валовым».

Туман, застилавший грани владений, давно уже рассеялся перед планшетом съемщика, перед вехой и цепью межевщика-землемера. Теперь положен конец прежним захватам сильных и возникшей неугомонной борьбе между куренями рядовых казаков и хуторами влиятельных или богатых чиновников. Прекратились неурядицы, жалобы и иски — это неизбежное зло между «соседями» нынешними и «шабрами» старинными.

Конечно, в те стародавние времена эти споры и тяжбы, доходившие на полевых рубежах до драк, увечий и даже убийств, возбуждались неясностью межевых знаков. Это продолжалось даже и в то время, когда появились записи в актах, принявших народные термины на корне их происхождения в живом языке: рубежей — от рубить (резы на деревьях), и граней — от гранить (насекать) знаки на камнях и других твердых предметах. Ни в одном из актов нет ни одной черты, по которой можно было бы теперь выразить в цифрах величину чьего-либо владения. Не много также поправили дело и попытки правительственной власти, учреждавшей «меженины» (размежевания), которая сочинила так называемые разводные или разъезжие грамоты и писцовые книги, в величайшем множестве сохранившиеся в наших архивах. Принимались за признаки границ такие урочища, которые истреблялись временем. Межи «западали», как выражались и в давнюю старину, как говорят и в настоящее трудное время. Алчность поземельного соседа всегда стояла настороже и, при оплошке и ослаблении бдительности соперников, являлась во всеоружии захватов, готовая и на насилие и на открытый бой. Вековая пословица оправдалась в лицах: «Межи да грани — ссоры да брани». Обозначалась беспокойная чересполосица.

Где земля представляла особые удобства жизни, там межевые споры были бесконечны: потребность в земле вынуждала одних жителей входить в те участки, которые сосед отвел для своих занятий, признавал своею принадлежностью и засчитывал давность пользования и владения. Соседи, работавшие рядом, межа об межу, грани свои перепахивали и, влахавшись в чужое, обыкновенно защищались тем, что «межи-де запали», то есть изгладились. Те и другие хозяева доказывали свое право на спорный участок, опираясь на живое фактическое обладание им, обеспеченное приложением личного труда или затратой денежного капитала. Чем пособляли спорным делам?

Полюбовно устраивались такими способами: оба соперника выходили на спорный участок и предъявляли доказательства давнего владения. Чтобы спокойно вла-

деть дальше вперед на неопределенное время, ставили метки, зарубали условные знаки на деревьях, отмечали особенно приметные и выдающиеся места и т. д.

Когда колебалась в доказательствах одна сторона и осиливала ее противная более вескими данными, а сладу и мировой все-таки не было, отыскивали, приводили на межи «знахоря», вполне доверяясь его свидетельству и решению. Этот «знахорь» (назывался так старинными актами) не был, по нынешнему нашему распространенному понятию, колдуном, умеющим портить и править людей, шептать и заговаривать. Старинный «знахорь» актов являлся просто знающим, опытным лицом, убежденным сединой, отягченным обилием лет и пользующимся всеобщим уважением как человек сведущий и опытный во всяких деревенских делах и задачах и, наверно, в детских годах сеченный вместе с товарищами вблизи или на этих самых межах. Доверие к ним народа выразилось в одном акте в такой общепринятой формуле: «Доселе была моей поже межа по та места, а ныне по та места, по ка места отведут, как отвести подымет думу знахорей». Отводили земельные угодья «знахори». Обе спорящие стороны оставались довольны, а велось таким образом несомненно исстари, с тех времен, когда существовало между нашими предками нетронутое язычество и первобытная форма отношений. Вот она какова в цельном и образном виде по старинному юридическому акту.

Встал судья из митрополичьих посланцев на поже, на наволоке реки Шексны, в лугах, и говорил ответчику:

— Ты, Левонтей, перекошил государя моего митрополита пожню ту, на коей стоишь? Отвечай!

— Я ту пожню косил, а меж не ведаю. Ее заложил у меня в деньгах Сысой, а указал, господине, ее косить по та местá, чего на мне ищут,— говорил Левонтей.

Отвечал Сысой:

— То, господине, пожня моя, а ино вели повести знахорем, а у меня той поже разводных (мировых) знахорей нет.

Спрашивает судья:

— Кто у вас знахорей есть на разводные межи?

— Есть у меня старожильцы — люди добрые. Те знахори стоят перед тобою,— оправдывался Сысой.

Этим свидетелям говорил судья:

— Скажите, братья, нам право: знаете ли, куды той пожне митрополиче с Сысоевой пожнею межа? Поведите нас по меже!

«Знахори» отвечали:

— Знаем, господине; пойдите за нами, а мы тебя по меже поведем.

И под леса повели они судью от березы к трем дубкам, стоявшим середь пожни, а отсюда по берегам к виловатой (развилистой) ветле, по самые рассохи (разрезы, где слились под острым углом две речки, по подобию развилин матушки-сохи Андреевны).

— Вот здесь межа митрополичья с Сысоевой.

Сысой сказал последнее слово:

— Знахорей у меня нет: дума этих свидетелей подымет (то есть, полагаясь на их совесть, верю им и вполне соглашаюсь с их указанием и вашим решением).

Во времена христианства в спорах о межах прибегали к «образу пречистыя». Когда соглашались на такой способ, один старожил брал образ богоматери, ставил его себе на голову и, в сопровождении прочих «знахорей», шел по меже от дуба, на котором намечен был знак. Пошел немного до стопняка, повернул направо, а когда вышел к паренине¹, за перелеском, то прямо указал гранные копаные ямы. От них, возле паренины, шел пожней на горелый липовый пенёк и здесь предъявил свидетелям ямы. Дальше он указал на дубок и на резанные на нем грани и опять шел вперед до речки, где убереглась еще «грановитая сосна» (то есть порезанная знаками крестика, очка, угла, квадрата), или где стоит дуб со ссеченным (срубленным) верхом, что тоже означало границу и служило приметой и т. д.

Такой стык или рубеж, казавшийся «знахорю» верным и справедливым, становился бесспорным на будущее

¹ Третье гулевое поле, обыкновенно оставляемое под выгон скота, оно же и паровое поле, а стопняк — сложенная в порядке куча: либо ворох булыжных камней, либо дрова или бревна, сложенные в клетки, обыкновенно счетом.

время для обоих соседей. Когда со временем полюбовное размежевание таким способом объявилось недостаточным, начали прибегать к содействию государственной власти, у которой имелась на такие случаи особая должность «межевщиков».

Размежевальщик, он же и судья или писец, являлся на спорную землю, призывал тяжущихся и свидетелей, учинял разъезд, то есть делал пропашкой борозду, устраивал межу, клал грани (то есть зарубки на стоячих деревьях), копал ямы и т. д. Добродушные старики, и потехи ради и чтобы не отстать от обычаев старины, собирали ребятишек, клали их на эти взрытые сохой борозды (на которых любят ложиться зайцы) и секли их с наказом и приговорами, для забавы и утехи скучавшего и сердитого, заезжего в дальнюю сторону, межевщика¹. Затем судья этот писал на бумаге разъезжую или разводную грамоту по общепринятой форме. Тогда уже, вместо старинного сырого дерна на голову, прикладывалась горячая восковая или сургучная печать на бумагу, а на нее клались руки свидетелей, — совершалось воочию людьми, неумелыми грамоте, то действие, которое сохранилось до наших дней уже в отвлеченном и переносном значении «рукоприкладства». К нему присоединились потом: присяга с поднятою правою рукою, сложенною в

¹ В доказательство, насколько этот первобытный обычай был повсеместным на русской земле, приводим выписки о таких же приемах на Дону, у казаков. Один автор пишет (г. Харузин): «Казаки, облюбовав себе место, подводил к его границам своего малолетнего сына и больно сек его тут, чтобы помнил границу, — это на его же пользу делалось: по смерти отца он уже хорошо знал границы своего наследства» (толковали автору старики). Другой писатель о Донском войске (г. Тимошенко), как очевидец, говорит: «Граждане, сошедшись с гражданами других пограничных станиц, согласились насчет меж и поставили грани. Для того чтобы они лучше помнились в народе, граждане собрали всех взрослых мальчиков как из своей, так и из всех других станиц, водили их толпою по меже и секли розгами в тех местах, где стояли грани. Как кого высекут, так и пустят бжать домой. Делая это, они надеялись, что каждый мальчик до старости будет помнить то место, где он был сечен. В некоторых станицах казаки сообщали, что и пастухов в прежние годы секли на границах, дабы они помнили их и не гоняли бы скотину, куда не следует».

молитвенный крест, чтение или повторение за священником клятвенного акта, заключительное целование креста и слов спасителя, то есть евангелия, и, наконец, своеручная подпись на присяжном листе.

ГРЕХ ПОПОЛАМ

С грехом пополам бывает такое дело или даже самая жизнь, что можно выразить также словами: кой-как, так-сяк, с примесью добра и худа, горя и радости, довольным быть нечем, а, впрочем, ничего — не жалуемся, а терпеливо сносим: от греха не уйдешь. Грех пополам — это уже совершенно другое. Пополам с водою и молоко рыночное продается, пополам делят, по обычаю, и общую находку, а «озорники все рвут пополам да надвое». Несогласные семейные наследство делили: пополам перину рубили, не смотрели на то, что давно уже сложилась насмешка на таких людей: «Кувшин пополам — ни людям, ни нам». Пополам также люди торгуют, то есть работают на складочный капитал соединенными силами находчивого ума и налаженной опытом привычки. Впрочем, с такими приемами и воры мошенничают и крадут. В лавке торговец за свой товар запрашивает, покупатель дает свою цену, конечно меньшую. Между посулом этим и запросом образуется таким образом разность. Она уменьшается по мере того, как соперники борются, слаживаются каждый на своих резонах. Выходит так, однако, что разность все еще такова, что им ее не осилить: тому и другому тяжело и невыгодно, а желательна сделка ради знакомства и других добрых чувств. Вот тогда-то эта разность оказывается «грехом», в смысле помехи, которую и решаются, с обоюдного согласия и по взаимному уговору, рубить на две равные половины, как бы бревно или полено, попавшие под ноги и мешающие ходу.

Таково самое простое, всем известное толкование этого выражения. Нередко каждому доводилось даже применять толкование его на деле, но у нас имеется про запас другой повод, чтобы указать иные применения греха пополам. В народной русской жизни здесь важно то,

что этот обычай перешел в судебные разбирательства при исках и тяжбах: суды решают платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется. Так на Дону у казаков и таких же сибирских казаков (иртышских). Во-вторых, этот обычай упоминается еще в эпических песнях. Так, например, Илья Муромец говорит своему крестному отцу:

Батюшка крестный Самсон Самойлович,
Покажи ты половину греха на меня.

У донских казаков, в случае гибели скота во время езды, пастьбы или в случае недостатка доказательств для решения спора, станичный суд определяет платить ответчику только половину той суммы, которая с него ищется.

ОСОБ СТАТЬЯ —

слово вовсе не позднейшего происхождения, как сочинение приказных, шутливо пускаемое в оборот в нынешние времена, а очень старинное и при этом важного юридического смысла. В значении всего опричного и неместного и как исключительная особенность оно применялось, например, к земельной собственности. Это было в те далекие времена, когда все населенные местности, вроде деревень, тянули к своей волости и когда самые церкви с их имуществом находились в полном распоряжении мира, избиравшего для заведования церковным имуществом особого приказчика. Таким землям нелегко было выделиться от мира, а надо было во всю силу тянуть заодно с черными волостными людьми. Бывали исключения. Старые и богатые церкви и монастыри взятками, подкупам, лестью и разными способами иногда добивались того, что писцы писали все их деревни «особ статьей», то есть отдельно от волости. Тогда они имели уже и свои подушные книги и своих приказчиков. Эти обитатели и приходы уже, «опричь черных людей», сами назначали подати земские и государственные и служили службы. В таких редких и исключительных случаях и монастыри и церкви получали название «особных» (неправильно

объясненное в «Толковом словаре» Даля тем, что «в таких обителях каждый из братий жил на своем иждивении»). Позднейшие подьячие давали совсем другое толкование. Один квартальный не так давно отвечал: «Я не человек, а лицо, а губернатор — особа».

В КРАСНУЮ СТРОКУ —

говорят, диктуя пишущему. «Начинать с красной строки, писать в красную строку».

«Ярославские епархиальные ведомости» приводят любопытные сведения о значении этих обоих слов, рассказывая о том, как у нас в старину переписывали книги.

Приступая к переписыванию, писец возносил к богу молитву о благополучном окончании предпринятого труда. Некоторые книги писались в течение двух-трех лет. Летопись, около ста восьмидесяти листов, написана монахом Лаврентием в 1377 г. в семьдесят пять дней, то есть по два с половиной листа в день. Еще медленнее писалось Остромирово евангелие, хранящееся теперь в Петербурге, в императорской Публичной библиотеке: оно писано на пергаменте двести три дня, то есть по сто строк в день. Принимаясь за переписывание книги, писец, для ведения строк в равном одна от другой расстоянии, проводил на бумаге прямые параллельные линии. Писали крупно — уставом или мельче — полууставом, и буквы ставили прямо. Каждую букву писали в несколько приемов. На каждой странице оставляли широкие «берега» во все стороны, то есть поля. Чернила употреблялись железистые, сильного раствора, глубоко проникавшие в пергамент. Удивительно, что цвет чернил большинства старинных рукописей сохранился до сих пор: они не выцвели. Смотря по уменью и усердию, книги писались весьма различно. Заглавные буквы писались красными чернилами, киноварью; отсюда — название «красной строки». Иногда заглавные буквы затейливо украшались золотом, серебром, разными красками, узорами и цветами. В орнаментацию русских рукописей,

преимущественно заглавных букв, входили разные фантастические существа: чудовища, змеи, птицы, рыбы, звери и т. п. В начале каждой главы или в конце помещалась заставка, нарисованная сложным узором.

У НАС НЕ В ПОЛЬШЕ

Заданное к объяснению и подслушанное в Велико-россии выражение это, кажущееся неясным и в виде загадки, станет понятным с забытым или просто недосказанным придатком. Оно объясняет взаимное отношение супругов — говорят всегда таким образом: «У нас не в Польше, муж жены больше». Говорит это забаловавшийся, увлеченный своим мужниным правом, как бык рогатый, задуривший мужик жене, когда видит, что последняя старается забрать в свои руки значение и власть в семье. «Не в Польше жена — не больше меня!» — толкуют иные по-другому. В самом же деле говорится это без надлежащих справок, а с ветру, с чужого (солдатского) голоса. Известно, например, что в Подляхиях муж с женой обращается так же деспотически и грубо, как и в наших местах. Он так же готов бить жену за всякие пустяки, а безропотное терпение польской крестьянки выражается и в народных песнях, где жена называет мужа своего «паном». И польская замужняя женщина, как великорусская (по песням же), «вековечная слуга», оправдывает мужнину тяжелую руку тем, что побои его свидетельствуют о силе мужчины и его достоинстве. Если казнит, то, стало быть, может и миловать. Он может всегда защищать жену от посторонних обид. Физическая слабость женщины вызвала потребность в защите со стороны сильного. И этот принцип сохраняется у всех западных славян до черногорцев включительно, особенно же у сербов. Там славянская женщина не протестует против семейного ига даже пороком и преступлением, но в великорусской семье подобное явление представляется уже довольно ясным. У нас имеется на этот случай и объяснительное выражение и крылатое слово «срывать сердце», одинаково относящееся к тому и дру-

тому лицу, составляющему крестьянскую семью. При этом неизменна и древняя поговорка про жен: «День ворчит, ночь верещит, плюнь да сделай». Только, может быть, в высших сословиях Польши можно найти признаки женского преобладания в семье и несомненное участие в общественных делах и политических движениях, породившее начало поговорки, которая потребовала в ответ предлагаемую заметку. Существует в живой речи еще и такое выражение, обращаемое как окрик или упрек озорнику и своевольнику, привыкшему к самоуправству: «У нас не Польша, есть и больше».

КАМЕНЬ ЗА ПАЗУХОЙ —

остался в обращении с тех пор, как во время пребывания поляков в Москве, в 1610 г., последние хотя и пировали с москвичами, но, соблюдая опасливость и скрывая вражду, буквально держали за пазухой кунтушей, про всякий случай, булыжные камни. Об этом свидетельствует очевидец, польский летописец Матеевич. «С москалем дружи, а камень за пазухой держи», — с примера поляков стали поговаривать и малороссы одним из своих присловий в практическое житейское свое руководство и для оценки великороссов.

ВДОВА — МИРСКОЙ ЧЕЛОВЕК

Писатели подслушали верно, но неточно поняли эту юридическую, а не бытовую пословицу, выражающую почет и уважение вдовам, а вовсе не упрек или осуждение за подозрительное житье и недобрые деяния. На мирских сходах теперь, как и древле, женщина не являлась, так как не имела права голоса, пока оставалась в девицах или пока находилась замужем, то есть жила за мужем, за его спиною и под его охраной. Когда же она теряла мужа, то уже не возвращалась в отцовскую семью, а становилась сама себе госпожой и в доме хозяйкой.

На самостоятельность указывают и первая русская княгиня Ольга своим примером и первый свод законов «Русская правда», трактующая о вдове-матери, «яже сидети начнет с детьми». Припомним Марфу Посадницу на новгородском вече в особенности, и тогда поймем легко и свободно, что вдова должна быть мирским человеком, то есть полноправным и самостоятельным членом разумно организованного общества. Если она, как в старину, не обязана являться на сходы, так и теперь она имеет право послать туда своего уполномоченного. В старину даже иногда и судебные акты совершались на дому тех женщин, которые не желали являться на сход. Теперь в иных случаях вдовы приводят на сход своих старших сыновей; в других случаях являются сами не иначе, как надевши на голову мужскую шапку покойного мужа и т. п.

Точно так же неверно толкуют пословицу: «На вдовый двор хоть щелку брось», — не клевету, брань или недоброе слово, а добрую помощь, хотя бы растопками в печь. Вдове при детях предоставляется право полновластной хозяйки: она остается на месте, то есть в избе покойного мужа, пока не вышла снова замуж. Вдова старшего брата сохраняет в больших семьях свое почетное положение, и ее, как старшую сноху, всех больше слушают: большая сноха распоряжается домашними работами. Говорят: «Овдовеет — поумнеет», то есть более молчаливая, владеющая при муже ограниченными правами, которые расширяются с его смертью, получает возможность предъявить во всю силу весь запас знаний, приобретенных опытом прежней жизни, и усилить проявление их на независимом просторе, при самостоятельном и ответственном образе действий и т. д. По пословице прямого смысла: «У вдовы обычай не девичий».

БИТЬ ЧЕЛОМ И БЫТЬ В ОТВЕТЕ

Оба выражения коренные русские — и первое из них с несомненным византийским пошибом — ведут свой род из Москвы и сохранились в языке как остатки мос-

ковских дворцовых обычаев. Соберутся, бывало, бояре в «передней» Кремлевского дворца рано утром и после обеда в вечерню,— и только одни самые ближние бояре, имевшие право входить в «комнату» или собственно в кабинет государя. По словам Котошихина, «уждав время», бояре или входили туда, или на старом месте ждали выхода. Завидев царя, бояре и прочие чины кланялись государю большим обычаем, то есть в землю, прикасаясь лбом полу, а иные и постукивали им так, чтобы было слышно и ведал бы въяве государь про их любовь и усердие. От таких-то свычаев и обычаев пошло в оборот и до наших дней уцелело выражение «бить челом», в основном смысле «кланяться», и со всеми его разнообразными применениями: на кого — значит жаловаться, в чем — извиняться, на чем — благодарить, чем — подносить подарки, о чем — просить. С просьбами и на честной поклон, перед царскими очами, большею частью и ходили ежедневно бояре в царские хоромы. Государь выходил к ним по обыкновению в тафье (шапочке вроде скуфьи или татарской тюбетейки), иногда в шапке. Ни ту, ни другую он никогда с головы не снимал «против их боярского поклонения». После приема царь шел в церковь, а по выходе от обедни начинал в передней, а иногда в самой комнате «сиденье с бояры». Это и называлось царской палатой или думой. При этих думных людях и всегда лично присутствовавший царь слушал судные дела и челобитные. Здесь же он назначал боярам должности и, между прочим, ту ответственную и важную, которая прямо обязывала государственных чинов «быть в ответе». Это значило вести переговоры с иноземными послами (переговоры и ответ одно и то же), давать царские ответы или решения посольских дел. Происходили они всегда в особой палате, называвшейся и «ответною» и «посольскою». «В ней,— по свидетельству И. Е. Забелина,— подобно как и в Грановитой палате, устроен был тайник, тайное окошко, из которого государь слушал иногда посольские совещания». А по Котошихину: «А как им, послам, велят быти у думных людей в ответе и им потому ж велено ездить в ответ учтиво». Затем, по общему закону, кто первый в совете, тот первый и в ответе, а по истории и ее свидетельству: «били,

били, и бояре волком были: при Грозном — от опричнины и во все другие времена — от стрельцов-молодцов. По старинной поговорке: «Они стреляли, да и мошну не забывали» (то есть обижали и грабили). Вероятно, с тех же пор и приметы: лоб свербит или чешется, то либо кланяться спесивому, либо челом бить с правой стороны мужчине, с левой — женщине, и поговорка: «богатый-то с рублем, а бедный-то с челом»; «бей челом на Туле, а ищи на Москве» (намек на времена самозванщины); «я тебе челом, а ты уж знаешь, о чем» и т. п.

ЧИН ЧИНОМ

В этом ходячем выражении разговор идет, конечно, не о том чине, который велят почитать и о чем ходил по Москве анекдот, относившийся к Н. В. Гоголю. По возвращении его в Россию, после долгого пребывания за границей, один знакомый поинтересовался спросить: что его, свежего человека, отвыкшего от русских обычаев и порядков во время долгого пребывания в Западной Европе, прежде всего поразило в отечестве. Николай Васильевич будто бы отвечал, что на первых же шагах в таможене самую первую фразу он услышал на китайском языке: «чин чина почитай»¹. Отвечал он так, сильно ударяя на звук «ч». В нашем выражении заключается толкование другого рода, прямо применительное к тем случаям, когда нужно бывает поступать не торопливо, а исполнять все по порядку, степенно, как установлено приличием и обычаями, — так сказать, по церемониалу. Выражение «чин чином» или «чин по чину» прямо народилось в тех народных приемах, какими обставлялось самое чинное (в смысле степенного, чопорного, ломливого, требующего изысканной обрядовой вежливости) свадебное торжество с последующим пир-

¹ Происхождение этого изречения основательно относят ко временам местничества, когда говорили: «чин чина почитай, а меньшой садись на край». Тогда же говаривали в свое утешение: «род службе не помеха».

шеством. Самые свадебные дары и даже сласти носят название «чинов». За сговором следует веками установленный церемониал. Вот, например, «чин поезда жениха» в дом невесты: 1) дружка или старший боярин с чинами — обувью, притираниями и другими подарками, с пряниками и орехами невестиным подругам; 2) большие бояре или прочие дружки с благословенным образом жениха; 3) сам жених со своим тысяцким, то есть посаженным отцом, каковым бывает обыкновенно крестный отец; 4) свахи и 5) лагунные бояре, обыкновенно двое, едущие в конце поезда с лагуном пива или ведром водки, чем и угощают встречающих, чтобы не взглянули недобрым глазом или не вынули из-под поезда следов на несчастье новобрачных. А вот и «чин невесты» при выходе из дома в церковь под венец: 1) дружки; 2) бояре с благословенными иконами; 3) жених с тысяцким; 4) особо сваха жениха; 5) невеста со свахами (тетками и другими родными); 6) постельные бояре с приданным невесты и 7) лагунные бояре. После венца из церкви жених садится в сани или телегу рядом с невестой. Тот же порядок соблюдался и на свадьбах московских царей, лишь с большим количеством свадебных чинов, с большою пышностью и торжественностью, но с соблюдением основного народного чиновного устава. Стало быть, чин — не только самый порядок, установленный для определенного торжества, но и лицо, им заведующее и за него ответственное: «чин (ведется и устанавливается) чином».

БЕЗ ЧИНОВ —

в смысле «будьте, как дома, не церемоньтесь» — сохранилось со времен московских царей, которые иногда снисходили до того, что кушали в комнате за просто, без чинов, с некоторыми боярами, окольными, думными дворянами и думными дьяками. Они приглашались по особому благоволению государя и сидели, в забавные времена местничества, на этот раз уже без мест. Милостивое внимание заглушало едкую боль щекотливого чувства, непомерному развитию которого очень

способствовало само законодательство: в Уложении царя Алексея, например (в X главе), весьма подробно и точно оценена на деньги честь каждого лица. Можно судить поэтому, насколько тяжело было сиденье без чинов, если только это не было сиденье «перед царскими очами». Без того и вне священного царского дома (а нередко и в нем самом) были бесчисленные сутяжнические дела о бесчестье, даже одним словом, даже опискою в титуле. Вот какие слова и выражения были выписаны из челобитных, как наносившие бесчестье: «Вольно тебе лаять, шпынок турецкий! — Из-под бочки тебя тащили. — Не Воротынский-де ты лаешь. — Ребенок! Сынишко боярской! — Мартынуша-мартышка. — Черти тебе сказывают! — Трус! Отец твой лаптем щи хлебал. — Отец твой лапотник, сулил сыромятную кожу и яловичьи сапоги. — Разоренье мне от тебя! — Мучил ты меня! — Что ты смотришь на меня зверообразно?» и проч. А вот что указал царь относительно исков по поводу простых описок на письме: «Буде кто в челобитье своем напишет в чьем имени или в прозвище, не зная правописания, вместо о — а, или вместо а — о, или вместо ь — ъ, или вместо ъ — е, или вместо и — і, или вместо о — у, или вместо у — о и иные в письмах наречия, подобные тем, по природе тех городов, где кто родился и по обычностям своим говорить и писать извык, то в бесчестье не ставить и судов в том не давать и не разыскивать, а кто кого назовет князем без имени — и за то править бесчестье». Большая беда бывала тому, например, кто напишет отчество, кому не следует, без «вича», или кого в брани назовет князем без имени, то есть, например, вместо князь Иван, скажет просто князь. Также и относительно недописки или прописки в чине само правительство устанавливало строгие взыскания: «Кто пропишет бесхитростно — чин или честь и в том даст подкрепление по св. евангельской заповеди, под клятвою — тому того дела в вину не ставить и судов на них не давать». «А кто бесчестные слова напишет нарочно и на того суды давать и править бесчестье по Уложению». За «такие скверные небылишные позорные слова» били батогами нещадно в подклетке, в одной рубашке, чтобы иным впредь воровать было неповадно. Бывало так, что огра-

ничивались отсылкою виновных в тюрьму, а случалось, что наказывали ссылкой в сибирские города, если бесчестье словами было крепко выражено. Такова, например, перебранка: одни говорили: «Знали бы де вы дядю своего Оску, палача, да липовую плаху» (у их дяди отсекли голову), — а другие им отвечали: «Пойдем-де прочь, что с таким псаренковым внуком говорить». Иной бесчестил такую неподобною лаею: «Не дорог твой и отец, что привез мертвому немчину голову отрезав: тебе б у меня живу не быть». Или вот как другой издевался над подьячим: «Добр подьячей, да язык высуня пишет», «если б я, шед, и сзади его ударил, и язык бы ему пришиб» и т. п.

ГДЕ РАКИ ЗИМУЮТ

По народным приметам, этою завидною способностью знания владеют *хитрые люди*, умеющие отыскивать свое благополучие и устраивать благосостояние такими способами и при таких условиях, которые заурядным людям вовсе не известны. Хотя знатоки этого сорта не пользуются сочувствием прочих и об них отзываются с презрительною досадою, но уму их отдают преимущество. Предполагают, что они владеют исключительным знанием и выдающимися способностями. Сведения о местах нахождения рачьих зимовок, по суеверным понятиям, очевидно предполагаются исключительными не каждому доступными, а лишь избранныкам. От последних требуется если не полное изучение таинственных сил природы, то во всяком случае обладание одним из величайших ее секретов. Даже самый вопрос, обращенный в такой форме, в какой стоит он в нашем заголовке, способен поставить «в тупик, что некуда ступить». Над дешевым ответом всякий поспешит как будто задуматься, даже по той простой причине, что не было случая об этом подумать прежде. Да и стоит ли самый вопрос внимания? И само-то водяное животное, принадлежащее к роду скорлупчатых насекомых (crustacea) и представляющее вид речных раков (*astacus fluviatilis*), по русскому выражению, «ни рыба ни мясо», именно то дрян-

ное среднее, что возбуждает отвращение и брезгливость. В северной лесной России этого «зверя», который «по ножницам — портной, а по щетине — чеботарь», в самом деле употребляют в пищу с большим разбором и под сомнением. Потребляет их далеко не вся православная Русь. Раков, как и зайцев, не едят староверы, бережно уберегающие древние народные обычаи и суеверия и охраняющие их с особенною любовью и ревностью. Не могут лакомиться раками очень многие из таких людей, у которых этого рода съедомое вызывает болезненные припадки (в виде накожной сыпи или красноты), называемые в медицине диким, неудобь-сказуемым словом идиосинкразии. Мало употребляет их в пищу и Сибирь, в каком бы виде ни подавали и каким бы соусом ни замаскировали этих животных, которые, по народной загадке, в баню входят черными, а выходят красными и которые, в отличие от прочих, только одни в целом свете краснеют от горя.

Не без причины же взяты в пример эти скорлупчатые съедобные и не без основания около этого класса животных отыскал народный язык довольно-таки всяких иносказательных выражений. Отправляются ловить раков утопленники; краснеют, как рак, со стыда уличенные и пойманные в дурных мыслях на слове и в худых делах с поличным на месте. Пятятся раком отупелые в предрассудках и изжившиеся на устарелых и вымирающих верованиях и убеждениях в силу грядущего нового, не стерпя его света и убоясь его силы. Чрезвычайно забавны наши раки именно этою исключительною способностью — ходить не так, как все животные, даже одной с ними породы. Иные ходят твердым, размеренным шагом; омар с быстротой стрелы движется по каменистым рифам и песчаным мелям и, как хорошо направленная пуля, сильным прыжком бросается на добычу. Наш рак, наоборот, ползает, пятясь назад даже с некоторою виртуозностью. Как тени, бродят раки около углов скал: глаза упорно направлены вперед, но крючковатые ноги изгибаются в сторону. Эти роющие многочисленные ноги с ножницами и щиплющими клешнями, с недоверчивыми сяжками и щетинами, которые все чего-то ищут и вздрагивают, силятся сказать что-то таинственное, тарашатся,

грозно пошевеливая усами, но на самом деле эти движения скорее противны, и рак кажется смешным и комическим до пародии. Немецкие зоологи так обрисовывают их характер и нравы: «Об умственной их жизни едва ли можно сказать хоть что-нибудь. Эти обитатели тьмы и глубины представляются как бы подвижными образами, живыми представителями и олицетворением сна, но в них нередко проявляется черта хитрости или страсти. Искусством не отличается ни одна порода раков (то есть ни речные, ни крабы, ни шримсы, ни ктырь и гарнат, ни омары); зато они все известны силою своего оружия. При нападении видна ярость в их глазах. Если двое из них встретятся, то бросаются один на другого, щиплют и дергают. Во всяком их движении видны холодные, впрочем предусмотрительные флегматики. Скучное развитие чувств указывает на низкую ступень, которую раки занимают в животном царстве. Слух, однако, повидимому, обладает большою тонкостью; обоняние тоже замечательно развито; даже ощущения вкуса лишены, кажется, не все раки, хотя орган вкуса у них до сих пор верно не установлен. Все эти челюсти и ногочелюсти, усаженные щетинками и щетками, обращенные в пилы, когти, ножи,— все они представляют у речного рака искусное вооружение и ненасытную работу этих органов».

Понятно, с какою легкостью и искусством и в то же время очень глубоко, при таких орудиях, вырывают себе норы наши речные раки, когда внезапные холода с крутым морозцем разом превращают всюду в мелких реках воду в стекло вплоть до самого дна. Немудрено раку войти в первое удобное место под камнем и еще легче просверлить нору, разрывая ногами целые горсти песка и с помощью других ног откидывая их далеко от норы. Здесь он впадает в оцепенение и оставляет его тотчас, как только животворная теплота восстановит отправления тела. В норах раки и дожидаются весны, но видали их и между полярными глетчерами. Хотя и дознано, что несколько поколений могут размножаться без оплодотворения и раки отличаются плодородием (у самки смаров насчитали до двенадцати тысяч яиц), но и старые умеют зимовать. Неспуста слово молвилось и потому еще, что рак растет во всю жизнь, которая продолжается

до двадцати лет. В глубине норы скрывается самка, самец настороже у входа держит свою боевую клешню поперек отверстия. В конце весны они только перелиняют, то есть сбросят кожу, которая лопается, подобно коре на дереве. В безопасном убежище они выждут отвердения новой кожи и опять живут, когда так называемые «жерновки», или «камни», или «глаза» раchy — два угловатые каменистые сростка, содержащие углекислую известь и животную студень, — растворятся в желудочном соке. В новом мундире, при старых орудиях, которые вполне обеспечивают раков, как паразитов, для присасывания к другим живым телам, эти животные, перезимовавшие и перелинявшие, остаются все теми же хищниками. Таковы наши раки и по природе и по своему внешнему виду. Даже коротенькие и маленькие из их породы смеют запускать ничтожный коготь в самую большую и сильную рыбу. Напрасно она увертывается и вывертывается: коготь паразита неотразимо вцепляется в тело, и измученная болью рыба сама прыгает рыбаку прямо в лодку. Раки неподражаемым образом препарируют в воде трупы утопленников, собираясь из всех нор, из-под каждого камня грозными и жадными толпами.

НАШИ СПЯТ

Это выражение до такой степени распространено всюду и хорошо известно, что редкий не слышал его от тех, кому во время беседы неожиданно доведется громко зевнуть и в оправдание себя обмолвиться таким словом. По всему вероятно оно выговорилось теми первыми, которым довелось мириться с новым распределением работ и времени отдыха. Городские сроки не сходятся с деревенскими, запаздывая против них: в деревнях спать ложатся раньше, особенно на безработице, в глухое осеннее и зимнее время. При этом, чем глуше местность и первобытнее деревенские нравы, тем раньше гасят в избах огни. В некоторых местностях этот приговор при вечерней зевоте сопровождается указанием и на самую местность, где раньше ложатся и о которой тоскуют на чужбине. С чужих слов приня-

тое выдается потом за свое и с течением времени становится родным и домашним. Так, например, в Горах, то есть в местности правого берега Волги от устья Оки к Суре, говорят: «Наши за Волгой давно спят». Местные исследователи быта и нравов имели полное основание предположить, что приговор этот занесен сюда шерстобитами, являющимися именно из Заволжья (Семеновского и Макарьевского уездов), где обычно кончают работу и ложатся спать раньше, чем в Горах.

СОБАКУ СЪЕЛ

Таких выражений, не имеющих определенного смысла и не допускающих объяснений, в нашем богатом обиходном языке очень много. Вот и еще один из известных всем пример. Все, на что иные не обращают внимания, к чему другие не питают уважения, считая то пустяком, называется очень часто «трын-травой». В какой же ботанике мы разыщем ту траву, которая называется трынсом и которая при этом всякому нипочем, ни для кого не имеет цены? Точно так же с трудом поддается объяснению весьма распространенное выражение «собаку съел»¹.

¹ Впрочем, нельзя ли искать объяснения в обычае начетчиков хвалиться бойким чтением, когда они, громогласно читая (например, на церковных службах), «борзятся», ведут это дело с такою поспешностью, что даже захлебываются? Слышатся отрывистые вскрики, чавканье и рявканье, непривычному уху простых людей кажущиеся подобными звукам собачьего лая. Старинные дьячки, для которых в самых богослужебных книгах указывалось правило петь и читать «косно, со сладкопением, не борзясь», не так давно давали прямой повод к таким уподоблениям. В актах археографической экспедиции свидетельствуют о том, что в церквях ввелось от небрежения многогласное пение, поют и говорят голоса в два, и три, и в четыре; читали псалмы борзо, вдруг, в несколько голосов и при чтении стояли лицом не к царским дверям, а назад или на сторону. В другом регламенте читаем следующее: «Худой и вредный и весьма богопротивный обычай вошел в службы церковные и молебны деогласно и многогласно петь, так что утреня или вечерня на части разобрана, вдруг от многих поется и два или три молебна вдруг от многих певчих и чтецов совершаются. Сие сделалось от лености клира и вошло в обычай, и, конечно, должно есть перевести такое богомоление». Певцы пели, псаломщики читали, дьяконы говорили

Это — тот, кто изучил до тонкости или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый промысел, мастерство и т. п., тогда как настоящую «собачину» едят только небрезгливые китайцы. Они считают ее даже лакомым блюдом при исключительных условиях их поваренного искусства, имеющего дело со всякими слизняками и даже птичьими гнездами, приправляемыми столь прославившейся китайской голодовкой. У нас на Руси петрозаводцы попробовали нечаянно поестъ собачины, так с той самой поры им от насмешек прохода нет. Всякий встречный их дразнит: «Боску съел!» Или так: «Боска, боска! на тебе костку!» Произошел этот несчастный случай с олончанами в Шелтозерском обществе, Петрозаводского уезда, таким образом.

В одной деревушке приготовились справлять свадьбу. В жениховой избе, по обычаю, шла накануне большая стряпня до поздней ночи. Северный человек, вследствие климатических влияний, вообще ест много, обязательно четыре раза в день на четыре выти, как говорят там (завтрак, обед, паужин и ужин). Олончане же сами про себя давно когда-то выговорили: «Наши молодцы не дерутся, не борются, а кто больше съест, тот и молодец». На веселых свадьбах съестное угощение изготавливается в особом изобилии, Олончане в таких делах не отстают, по силе обычаев, от прочих. Мать жениха на этот раз надумала угостить «богоданную» новую родню между прочим щами с убойной, то есть с мясом свиным и коровьим. Чтобы капуста упрела, она выставила щи на шесток на ночь, чтобы на другой день опять уварить их и подать с пылу горячими. Затем она печь skutала и сама легла спать. В ту же ночь надумала оцениться собака, которых в тех местах предпочитают называть корельским словом «боска», но ценят едва ли не больше, чем в других местах. Где она забава, шут, почтальон, комедиант и игрок в домино, спутник и оберегатель дома и стада, — здесь она помощник в борьбе, товарищ на охоте и проводник и,

ектении, а священники возгласы, не выслушивая и не дожидаясь друг друга: все в один голос. Смущались души богобоязненных простолюдинов и даже вызывались с их стороны горькие сетования и вынужденные насмешки: вот, значит, и впрямь проглотил в грамоте собаку, коли по-собачьи залаял, читая по книге.

сверх всего, в то же время упряжное животное: возит воду, а при случае и воеводу. По этой причине везде на Севере для такой суки заботливо отводят особую щенковую закуту, а в данном случае шелтозерка положила суку на горячую печь. Щенята жары не стерпели и распозлились, а со слепа попадали с печи прямо на печную загнетку и во щи. Собрались свадебные гости, подали «шти» — показались собачьи морды, уши и лапы; все разбежались и всем рассказали; дошло и до нас.

ПУСТОЗВОН

Это укоризненное слово, обращаемое к тем краснобаям, которые увлекают внешним блеском слов и постройке речей, но в результате их не оставляют того поучительного впечатления в памяти, на которое надеялся и рассчитывал внимательный слушатель. На каких данных основывается переименование краснобаев в пустозвонов? Невольно припоминаются нередкие в глухих городах и селах случаи такого рода. Нерадивые и нетрезвые священники велят звонить по праздникам для прилики. Сам батюшка в подгуле сидит дома, а пономарь позвонит в один большой колокол, а потом заведет и перезвон «во вся», по порядку заутрени и обедни. Звон сзывает прихожан, а потом незаметно приучает их к тому очевидному факту, что тут каждый раз — явный обман, напрасная тревога. Надо быть равнодушными. Иной усердный богомолец бедняк-старичок придет к божьему храму и, взглянув на запертые церковные двери, махнет рукой, покачает головой. И не удивительно, если он при этом накажет заочным укором и наградит бранным словом того, кто произвел этот призывной, но бесцельный звон, — «пустозвоном».

ГОЛ, КАК СОКОЛ

К кому только не приравняли совсем бедного, бездомного, не одетого и необутого человека! Говорят: гол, как осинový кол, как перст или бубен, как сосенка.

Такие уподобления, взятые для примера, наглядны и весьма понятны и в пальце, скудно прикрытом волосами, и в бубне, обечка которого нарочно обтягивается сухой кожей, тщательно очищенной от шерсти («тяжбу завел — сам стал, как бубен, гол»). Если всем хвойным деревьям судила природа смотреть вершинами только в высокое небо, то сосне заказано это строже других. Исполняя такое назначение, сосна стремится охотнее ели занимать самые возвышенные места, обрастает все горы своей семьей, борами, и не любит соседей. Она глубоко, как редька, пустила свой корень в сухую, большею частью песчанистую землю, но затем растеряла все ветви почти вплоть до вершины и густо скопила их только здесь в виде шапки. Большая часть ствола этих высочайших деревьев во всем свете является совершенно голою и такую же стройною, как все столь прославленные южные пальмы. На просторе, который сосна очень любит, древесный ствол высоко очищается от сучьев, потому что сосна сбрасывает отмирающие сучья и в молодом возрасте дает самые длинные, крепкие и голые жерди. Словом, все эти принятые в разговорном языке сравнения и уподобления с полным правом пользуются общим кредитом. Их довольно бы, но почему-то понадобился еще сокол — хищная птица, один из известнейших тиранов воздушного царства.

Природа снабдила сокола грозными орудиями, настолько надежными, чтобы быть ему сытым и не линять от недостатка пищи. Серый глаз с острым, холодным и жестким взором, угрожающий погиб клюва, расставленные люто когти — все это признаки могучего силача. Он по природе опытный воин: неподвижно покоится он в прозрачном воздухе, но его пронзительный взор видит все пернатое царство. С быстротою молнии, как всякий хищник, он падает на жертву и, как гастроном, медленно наслаждаясь, высасывает ее теплую кровь. Сокол еще, сверх того, обучается бить на лету особым, любимым охотниками, приемом: он сперва подтекает под намеченную жертву, взгоняет ее, испуганную, ввысь, потом сам выныривает сзади и, взмахнувши крыльями, взлетает вверх и тотчас опускается в то самое время, когда испуганная птица падает как бы с последнею надеждою на спасение.

Он, как живой нож, быстро распарывает ее, перерезая горло, и пьет кровь не так, как ястреб, который щиплет куда ни попало, а как запойный пьяница.

Этот-то своеобразный полет и оправдывает ту ходячую поговорку, что «видно сокола по полету, как доброго молодца по ухваткам». На длинных и широких крыльях, подобно орлам, сокол показывает всю силу величавого стремления и поразительную красоту парения. Как рыба в воде, он парит в воздухе, как бы покоясь на незримом облачном столбе, и сам воздух стремится к нему навстречу целыми потоками, ищет и окружает его, проникает в него, подымает и носит.

Оперён сокол так же, как и все летающие птицы, представляя в воздухе непроницаемое целое из бородок перьев, переплетенных между собою. При этом он свободно и красиво плавает в воздушном пространстве, и вся фигура его отличается теми же мягкими контурами, которые при ярких цветах, вообще предназначенных всем хищным птицам, делают из сокола красавца. За это его восхваляют и в песнях, и в пословицах, и в поговорках. Для русского доброго молодца нет лучшего уподобления и наибольшей похвалы. Зачем же этой красивой птице придается такая несчастная, унижительная прибавка, какая указана нами в заголовке? Если стало так по набалованной привычке к приятному для уха созвучию, то отлично выручает и заменяет кстати подслужившийся и успешно выполняющий свою службу осиновый кол.

Действительно, мертвенно гол и гладок другой «сокол» — одно из старинных стенобитных орудий, которое обыкновенно выливали из чугуна, подвешивали на железных цепях и ломились им во всякую стену, каменную и деревянную, с большим успехом. Если изловчались придвинуть сокола к воротам, то и от железных створов летели только осколки да куски. Это — то же тяжелое бревно, окованное на одном конце и называвшееся также тараном или, еще проще, бараном. Под именем сокола идут и большие ручные ломы, которыми обычно ломают и гранитные камни и каменную соль. Ручная баба или трамбовка вроде песта — тоже сокол, в работе и от нее не только голый, но и ясный сокол.

ПЕЧКИ И ЛАВОЧКИ

К слову о крестьянской избе, где печь занимает целую треть всего помещения, а лавки наглухо приделываются к трем стенам обычно четырехстенного рубленого бревенчатого жилого сруба. Всего-то счетом сто бревен, каждое не больше восьми вершков в толщину, обеспечивают любую крестьянскую семью и на сырое осеннее и на холодное зимнее время. Затем, в тесноте да не в обиде, имеется в избе все то, для чего господам купцам и дворянам надобится целый десяток комнат.

Вглядимся, в самом деле, и вдумаемся именно мы, обязанные платить для помещения своих семей в здешней столице тысячи рублей ежегодно.

До первого деревенского пожара русский крестьянин улачился в своем тесном жилье таким образом.

В левом углу, первом от входа, поставлена либо битая из глины, либо кладеная из кирпичей печь, «мать наша» в самом широком значении. Около нее — многое добро и всякая благодать, что выражается великим словом «семейный очаг», понятным всему человеческому роду и драгоценным каждому мыслящему существу. Все пространство между печью и стеною с волоковым окном, выходящим на улицу, принадлежит женщинам и носит название «бабьего кута». Это и кухня, и рабочая женская комната, и будуар. Угол этого отделения избы так и зовется «жернов угол», где стоит жернов и ставятся прялки. Если это место и не отделяется от прочей избы перегородкой или ситцевой занавеской, то подвешенная к потолку зыбка показывает, что тут уже детская. Затем следует «красный, или большой почетный угол» с иконами на тягле и с обеденным столом, — всё вместе: моленная, столовая и гостиная. Отсюда к задней стене и в угол «коник, или хозяйский кут» — рабочий кабинет и спальня хозяина, с разными пожитками, орудиями и сбруей под лавкой в ларе. Над этим кутом настланные полаты — общая спальня и гардеробная: одним краем упираются на пристройку к печи из досок. Это — «голбец» или чулан для поклажи провизии и для схода в подъизбицу — подручную холодную кладовую. Он

пристроился к печи, и на нем всегда сидит дед, которому, вместе с бабой, отдается во владение вся теплая печь. Здесь они, как в богадельне, и доживают свой век, получая тут и спальную и, на случай, рабочую комнату. В подпечке — место для котят, в запечке — для щенят. Подле печки приделывается шкафчик, удобно заменяющий целую буфетную комнату. Под лавку печного бабьего кута или «стряпного угла» обыкновенно смещается весь сор избы веником.

Начав с печи, так как она первая встречает всякого входящего с улицы в избу, и кончив ею, мы обошли по лавкам все крестьянское жилье, известное целому свету своим гостеприимством. Для гостя — за столом самое почетное место в красном углу, под образами, на столе — все, что есть в печи; для спанья на ночь — та лавка, которая идет от коника под самые святые образа. Если же гость очень измок и зазяб, ему предлагается место на самой печи, вообще без всякого стеснения и при полной готовности и радушии. Полежать на печи да крепко выспаться, за стол залезть да из печи сытно поесть, на лавке посидеть — покалякать, да хоть и опять на печь и снова за стол. Это ли не житье, не блаженство? Это ли не дружба, что водой не разольешь, когда все вместе: и эти самые печки и все лавочки? «Кто сидел на печи, тот не гость, а свой», — говорит уже прямо другая пословица.

ДЫМ КОРОМЫСЛОМ

Та же печка или собственно дым из ее широкого жерла или трубы дал повод к разным общеупотребительным выражениям и поговоркам. В так называемых курных избах, которые ставятся без труб, дым из устья печи валит прямо в избу и выволакивается «волоковым» окном, открытыми дверями либо дымоволоком, выведенным в сени. Говорят: «тепло любить — и дым терпеть», «и курна изба, да печь тепла». Выходит дым из труб над крышей, судя по состоянию погоды, или так называемым восходящим потоком, либо «столбом» — прямо вверх, либо «волоком» — стелется книзу, либо «коро-

мыслом» — выбивается клубом и потом переваливается дугой. По этому гадают на ведро или ненастье, на дождь или ветер и говорят: «дым столбом, коромыслом» про всякую людскую сутолоку: многолюдную ссору со свалкой и суетней, где ничего не разберешь, где «такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом, — не то от таски, не то от пляски».

Когда подымала пыль столбом московская рать Ивана Третьего, шедшая громить Новгород в сухое лето 1471 г., тогда и дым коромыслом буквально и успешно сыграл свою историческую роль на всех трех дорогах, которые вели от Москвы. Тогда немилосердно жгли села и пригороды, убивали без разбора и сострадания и малых и старых и «клали пусту всю землю». Между прочим, осаждали Вышгород и стали сильно теснить огненными «приметами». Вышгородцы защищались храбро, стреляли метко и убили одного из предводителей, а камнями ловко раздробляли головы. Да не было у осажденных воды, их начала мучить жажда. Дым, переваливаясь через стену и застревая в забралах (наличниках шлемов), слепил глаза и сильно беспокоил. Осажденные не выдержали: вышли со крестами, и воевода их кричал: «Учините над нами милосердие, мы же вам животворящий крест целуем».

БРАТАТЬСЯ

С древнейших времен Руси побратимство умело выражаться в особом слове и оригинальном обычае «крестового брата». Совершенно чужие люди обменивались крестами и обязывались на всю жизнь взаимной помощью и дружбой, более крепкими узами, чем те, которые существуют между кровными родными. Обменявшись, крестились и обнимались, называясь потом «побратимами» и «посестрами». Не так давно в бурлацких артелях заболевший рабочий, которого обычно бросают на дороге на произвол судьбы, если имел крестового брата, был обеспечен. Побратим, несмотря на все тяжелые невыгоды остановки, хлопотал о больном, пока тот не поправится и не удастся его пристроить к какому-

нибудь делу. Этот же обычай приладили русские люди к инородцам, наиболее оказавшим способности и заявившим стремления к обрусению (в особенности вотякам). Однако похвальным обычаем злоупотребляли, пользуясь беззаветной искренностью и простотой полудикарей, то есть делались побратимами на те случаи, где предполагался перевес выгод и услуг, и переставали держаться обычая, когда он начинал стеснять. На этот случай сохраняется много забавных анекдотов. Однако в этом христианском обычае чисто русского происхождения (теперь, кажется, совершенно исчезнувшем) нельзя не видеть одного из действительных средств к тесным сближениям с аборигенами дремучих лесов на всем пространстве колонизационного движения русского племени. Братались — и плотнее садились на новых землях.

КАША САМА СЕБЯ ХВАЛИТ

Какая ни уварись: изю ржи — оржаная, из ячменя — яшная, из гречи — грешневая, всякая каша хороша и каждая сама за себя ответит. Нечего ее хвалить и попусту слова терять, когда налицо самое дело в незатейливом и скромном виде, с наглядными и ощутительными достоинствами. Никто не мудрил, не ломал головы: налил в горшок воды, насыпал крупы, присолил, поставил на огонь, — она и уварилась. Не зевай только, чтобы каша не перекипела, когда вода забудет ключом, и не ушла бы из горшка — это очень худо и всегда не к добру. А вскипит в меру и уварится густо — нет для русского человека вкуснее и слаще этого кушанья, и потому еще, что оно непременно требует масла; «овсяная каша тем и хвалилась, что с коровьим маслом родилась». Замечают даже так, что русского мужика без каши и не накормишь. Да и она, в самом деле, везде с ним, выручая его даже и там, где нет ничего: и в лесу, где лишь одни пенья да коренья, и на реках, где песок да камень. Мало крупы для нее — можно ее повернуть на кашницу и все-таки остаться довольным: спорое кушанье — из малого выходит большое. Оржаная каша даже благодарнее пшенной, а

с грешневой всегда такое дело, что и «есть не хочется, а отстать не сможет».

В самом деле, это заветное, можно сказать — даже ежедневное народное кушанье, точно какое «святое», добрый друг и охранитель, обрядовое приношение, как бы осколок старой языческой веры наших предков. Вероятно, вся эта честь за то доброе свойство каши, что она встречает и умеет с честью поддержать человека на первом и на последнем пороге его жизни. Ей главное, красное место и на крестинах, и на свадьбах, как заветному праздничному блюду, вроде блинов на масленице, яиц на пасху и т. д. Крестильную кашу даже покупать надо, то есть платить повитухе деньги с приговором: «Кашу на ложки, а молодец (новорожденный) на ножки». Для каши уряжен издревле особый праздник (на рождество Христово «бабы каши»). На нее и гадают (летом румянится она в печи — к дождю, зимой — к снегу, вылезла в печь — к добру, из печи ушла — к худу). На ней расчет у рабочих, и достоинство самой работы («ела коса кашу — ниже бери, не ела ее — ходи выше»). У плотников, при постройках новых крестьянских изб, издавна велся такой обряд. Когда строение было готово вчерне, ладилась «подымать и обсевать матицу», то есть тот поперечный брус, на который настилается потолок. Когда она поднята и укреплена в последнем венце, варят кашу, кутают горшок в полушубок и подвешивают на веревке к матице. Плотник лезет на потолок, обходит насланный накат этот, рассыпая рожь и хмель на счастливое житье в новом доме. Проходя по матице, он рубит топором веревку, на которой висит горшок с кашей, и садится с товарищами есть это сладкое и масляное кушанье. Едят они с приличным угощением водкой и пивом от хозяина, — сверх ряды за сруб избы. Затем опять следуют в живом языке выражения и уподобления, заимствованные от этого всенародного кушанья — значит, «сыт пострел, коли каши не ел», потому что всякому брюху должно быть любо, «если глаза видят кашу» во всей ее простоте и скромности. Зачем выхваляться хорошему человеку теми доблестями, которые и без того всем видны? Что хорошо, того нечего хвалить, — иначе выходит самохвальство, то есть докучливый и оскорбительный порок,

выродившийся из тщеславия. За это он и осмеивается, с легкого сердца, а погрешивший и уличенный хвостун приравняется к каше: то к оржаной, то к грешневой.

II ЗВЕРЮ СЛАВА

Животное царство дало много подобий, пригодных для пословичных выражений и крылатых слов. Так, между прочим, наблюдения над животным царством из пернатых привели к уподоблению галкам людей ненаходчивых в трудные минуты жизни и в виду неожиданных препятствий. Все у них идет хорошо, ведется по привычным приемам, и вдруг остановка такого рода и свойства, что иные имеют дурное обыкновение при этом широко раскрывать свой рот. Чтобы достигнуть такому человеку намеченной цели, надо начинать дело сначала. Полоротые дикари захолустных мест получили такое насмешливое прозвище, заслуженное ими явно показанным изумлением при виде невиданных и незнакомых диковинок (таковы костромские галичане, которые в Москве свою деревенскую ворону узнали; таковы же ярославские пошехонцы и многие другие). Причина заключается в добытых наблюдением данных из жизни галичьей породы вороньего рода. Строит галка гнездо — и все идет у ней хорошо, умно, даже очень остроумно: отыскала прутик, подняла, подбросила, повертела — значит взвешивала, делала выбор и примеряла подходящую ветку — не всякая годится. Иную не унесешь, другую стащишь, да не уложишь. Выбрала птица ветку, взяла ее клювом поперек за середину и установила для облегчения полета полное равновесие. Летит умная и смышленная птица к гнезду — и вдруг поглупела: ветка, взятая поперек, не идет в маленькое отверстие гнезда. Стоило бы ухватить ветку или прутик за один конец и свободно просунуть другим концом, а между тем птица бьется изо всех сил, стараясь просунуть, хлопает крыльями, вертит головой и хвостом — и не попадает. Выбившись из сил, она бросает ветку и летит за новой, с которою начинается такая же возня, как в сказке про белого бычка. Кто всматривался в галичьи гнезда, тот видал, как много

под ними разбросано сухих прутиков и веток: все это собранные материалы, но, без ватерпаса, топора и скобля, не приложенные к сооружению в должную меру. Выходит, по пословице: «галка не прытка, и палка коротка», «разбросались палки на чужие галки»¹.

Лентяй, вечный соня и неповоротливый лежебока обзывается именем хомяка, неисправимого хищника зерен, который и больно кусается и терпеливо сидит в своих норах и проходах. Таким понят он у нас (у немцев хомяк превратился в пословицу, рисующую образчик скупоści, соединенной с гневною яростию).

Кто работает суетливо, но без пользы и добрых последствий; кто всю жизнь хлопочет, состоя при одном и том же деле или ремесле, мучительно перебиваясь в нужде, тот трудится, что белка в колесе.

Болтливую, неугомонную бабу — рыночную торговку, свах и прочих разносчиц вестей и сплетен зовут сороками, с сорочьим языком, сравнивая их с долгохвостой птицей. Вертушка эта непоседливо прыгает, пляшет

¹ По отношению к названиям птиц в нашем родном языке замечательна выдержанность при усвоении их в звукоподражании. Не говорим уже о зловещей кукушке, накричавшей свое прозвание целому свету и всем народам, хитрый, осторожный, выступающий театральною поступью с гордо приподнятой головой и высматривающий умными и пронзительно-зоркими глазами ворон называется в Белоруссии необыкновенно верно, в соответствии его крику на полете, — «круком». «Карр», а всего чаще «крра», «грра» с самыми первыми признаками весны должен слышаться ежеминутный неустанный крик в городских садах и пригородных рощах, где много старых деревьев. На них-то и накидывается птичья стая, со времен творения привычная жить большими колониями, бесчисленными артелями, — стаи вороньего рода сплошь черные, и белоносые грачи (этим-то звуком «грра» и рекомендует себя при первой встрече старая птица этого рода). Прислушайтесь, когда летит за добычей самая маленькая из всего вороньего рода птица с коротким и толстым клювом, черно-серая цветом, похожая на ворону, но отмеченная особым именем «галки», прислушайтесь к крику ее внимательнее: она ясно сама выговаривает свое неважное имя. Весной, сидя парочками, галки умеют очень мило болтать вполголоса и на разные лады, подобно щебету сороке, как подметил то прислушливый к жизни природы и ее голосам профессор Дмитрий Кайгородов. Такой естественный народный прием в присвоении прозваний довольно нагляден, обычен и понятен, не требует представления дальнейших доказательств.

вприсядку на задворках и неугомонно стрекочет — со-
кочет, гостей пророчит, на хвосте вести приносит. Она
скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу.
«Сорока пустая» — это всякий пустомеля, любящий
много болтать: наскажет он тебе даже и то, «на чьей сороке
изба сидела». Вообще эта птица, совершенная лисица
между пернатыми, народом нелюбима. Ее считают про-
клятой трижды: одни говорят, что она, склонная воро-
вать чужое добро, утащила у великого постника и по-
движника не то просвирку, не то лепешку с окна кельи.
В Москве толкуют, что она навела врагов на боярина
Кучку, владевшего той землей, где стоит теперь белока-
менная русская столица. В этом же городе обернулась
сорокой-птицей и улетела Марина Мнишек, когда су-
пруг ее, самозванец, был убит московскими людьми.
Всякий раз эту птицу проклинали, и она спешила остав-
лять такие места, с тем чтобы в них никогда уже больше
не появляться. Все тому рады, потому что сороке зака-
зано предсказывать всякие беды и напасти. К тому же
она — воровка, или, как говорят в народе, «охоча до
находки», в сущности же она наделена страстью к бле-
стящим вещам, которые таскает и прячет.

С другой стороны, о вороне — родной сестре бело-
бокой сороки, не установилось одинакового мнения: кто
считает ее воровкой, кто приписывает ей похвальные
добродетели, кто находит в ней комические стороны, при-
менимые к людским свойствам. Большой рот ее пригодил-
ся в укор тому, кто имеет дурную привычку, слушая,
разевать рот. Дураковатый ходит, постоянно держа его
незакрытым; рассеянный и несметливый умеет прозе-
вать подходящее дело и полезное начинание. Полоротая
ворона, одетая в павлиньи перья, понадобилась для
укора и насмешки над тем, кто не по заслугам хвалится и
гордится и, чувствуемый не по достоинству, даже наружно
старается показать себя вороньей гордой выступкой.
Коренастая, неуклюжая ворона, мерно расхаживающая
по двору, распутив на груди перья, важно кивает голо-
вой при каждом шаге, — не столь величественно, сколь
смешно: «ворон соколом не бывает», по словам пословицы.
И за море летала, а вороной вернулась. Плох сокол,
если ворона с места сбила, и частенько бывает в жизни

и службе, что «сокол (снимается) с места, ворона (садится) на место».

Настойчивый до докучливости человек уподобляется у нас дятлу — той птице пурпурового цвета, которая на верхушке дуба или сосны откалывает куски коры и щепки от ствола длинным сильно сжатым клювом. Последний служит и ударным молотом, пробующим крепость дерева и отыскивающим гниющее, наполненное червячками и насекомыми для пищи, и буравом, высверливающим из-под коры добычу. Долбит он неустанно (и «как у него голова не разболится», — острит народная поговорка): его странное стучанье раздается в лесу даже и в ночную пору. Настойчиво он долбит кору в то время, когда его сильные ноги и черные глубоко вонзающиеся когти, вместе с хвостом, на который дятел упирается, как на палку, помогают ему целые сутки не оставлять дерева и по несколько часов держаться перпендикулярно на стволе, как на намеченной жертве. Со скоростью ящерицы обегает птица кругом дерева и все лезет вверх, потому что вниз она лазить не умеет.

Бестолковый, туго смекающий и плохо вникающий в чужие речи и мысли человек, сидя, хлопает глазами, «как сыч» (не сова или филин, а совушка). Особенно удачно это уподобление по тому видимому признаку, который делает глаза птицы подобными человеческим. Значительно увеличивает это сходство кружок из перьев, окаймляющий эти огромные глаза, от которых не ускользает ни малейшее движение жертвы. Днем меланхолически неподвижная и молчаливая птица, поводящая из стороны в сторону плохо видящими глазами, действительно дает легкую возможность к составлению укоризненного сравнения, пригодного для смешных и досадных людей.

Глухой человек и по свойствам, в нем замеченным и приравненным к лесной птице глухарю или тетереву-косачу, в самом деле обнаруживает характерное наружное сходство. Сидит в архангельских лесах в тайболах этот глухарь на дереве и равнодушно-смело глядит (не шелохнувшись и покачиваясь с боку на бок) на прохожих и проезжих людей. Словно он никогда их не видел и про их хищные наклонности не слыхивал, а сам

впервые старается ознакомиться. Куда направляются шаги охотников, туда и птица смотрит (за это почитают их и зовут глухарями). Когда же птица на току надувает горло, распускает крылья, семенит ногами и, как пьяная, ворочает глазами, тогда охотник может смело подойти к ней и удачно застрелить: птица страстно увлеклась и никого теперь не способна заметить. Их при завоевании Амура солдаты просто убивали палками.

Орлиный и соколиный взгляд, ястребиный взор в смысле уподобления известного выражения глаз человека, как немой, но высшей речи его — выражения, весьма всем известные не по одним поэтическим произведениям. Выбор именно этих птиц, а не иных, можно назвать самым счастливым: хищные птицы в особенности наделены от природы остротой зрения. Она обеспечивает им жизнь, облегчая добычу продовольствия, разбойным способом, на чужой счет. Пернатое царство, в отличие от прочих животных, почти все одарено завидным преимуществом острого зрения.

В жаркий летний день у завалинки избы в пыльной ямке беззаботно и с очевидным наслаждением купается курица, распутив крылья и перья хвоста. Она совершенно забыла о своих цыплятах и вдруг всполыхнулась: вытянув шею, начинает она повертывать то тот, то другой глаз, направляя зрение в небесную глубь и лазурь. При этом издает она необычные, тоскливые звуки, подобно умоляющему стону. Она горбится и надувается и делается спокойнее лишь тогда, как все цыплята сбежались к ней и она успела прибрать их под себя и прикрыть крыльями. Птица заметила врага, очень высоко плавающего в воздухе и самому зоркому человеку кажущегося нисколько не подозрительной маленькой точкой. Это плавает ястреб, умеющий намечать жертву с такой выси, где сам совершенно скрыт от людских взоров. Оттуда же взвившийся почтовый голубь превосходно видит свою голубятню и падает прямо на нее. Глазной хрусталик всех этих птиц наделен способностью делаться более или менее плоским или слабо выпуклым для наибольшей дальности зрения. У голубя, например, глазной хрусталик может значительно изменять свою кривизну из плоской в выпуклую и наоборот. Сверх того, природа озаботилась

снабдить птиц лишним против нас веком — третьим, внутренним, прозрачным и тонким. Оно непосредственно прикрывает собою глазное яблоко: при каждом движении наружных век внутреннее, быстро вращаясь, обтирает и прочищает зрачок, освежает его и придает зрению новую энергию и силу.

ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ

«Шиворот-навыворот», как и «зад наперед», — однородное несчастье и прямая неудача: сделать вовсе не так, как бы следовало, истолковать превратно, разъяснить извращенно, сказать и поступить совсем наоборот, думать затылком, как говорят попросту крепкие задним умом деревенские русские люди. Шиворот в обиходном употреблении разгуливает по свету и в смысле ворота и в значении затылка, одинаково в народной жизни имеющих большое значение. Для пущего позора обычно бьют по шее, сгоняя прочь с занятого места и отказывая от дела, в расчете, что у русского человека шея крепка: многое на ней висит тяготой и бременем — и ничего, выносит себе. Блажен и счастлив тот, кто «сваливает с шеи» — отделяется от докучного дела и освобождается для отдыха; но не завидует никто тому человеку, который «берет на свою шею», то есть на свой ответ, конечно обязываясь при этом разнообразными хлопотами и многочисленными заботами. За тот же шиворот хватают тех, которых ловят на месте преступления или ведут на суд и к ответу. Равным образом бывает обязательно для всех, как непреложный закон: «по шее и ворот». И самый ворот также имеет большое значение и получает разнообразный переносный и прямой смысл. В последнем значении он служит даже важным племенным этнографическим признаком, по которому легко различаются северные русские люди, пристрастные к косому вороту на верхнем (армяках и полушубках) и на нижнем одеянии (рубках), от южных жителей (малороссов и белорусов). Эти последние искони предпочитают прямой ворот — с разрезом по середине шеи на гортани — косому,

застегнутому на правом боку для пушей защиты груди от холода. В старорусских обычаях этот ворот играл даже более значительную роль: он отличал боярина от простолюдина тем козырем, который на торжества и царские выходы прикреплялся, весь вышитый золотом, серебром и жемчугом, сзади шеи, на затылке к вороту парадного кафтана (зимой к нему пришивался ожерелок, то есть меховой воротник). Расшитый козырь торчал так внушительно, придавая осанке прямое и гордое положение, что до сих пор сохранилось выражение «ходить козырем»: надменно, высоко и прямо держа голову и не сгибая спины, с полнейшим сохранением важного достоинства и вида, с видимым презрением ко всем прочим. С тех пор все, что резко выдается вперед, как бы наступает и грозит, зовется козырем, начиная с кожаного зонтика, пришитого к картузу или шапке, и кончая передком саней, дерзко загнутых кверху. Оказалась козырем та игральная карта, которая бьет остальные масти, и «козырь-девка», которая выделяется от подруг находчивостью, веселым духом, видным ростом и бойкими ухватками и всегда и везде впереди всех.

Ни один боярин ни разу не надевал своего ворота наизнанку и навыворот не по одному лишь тому, чтобы не стать в глазах других посмешищем. С последнею целью выворачивали наизнанку, на исподнюю, выворотную сторону, все носильное верхнее платье, чем особенно любил забавляться грозный царь Иван Васильевич, а за ним и московская чернь. Обреченные на такой позор отягощались еще тем, что их сажали на лошадь лицом к хвосту. И в наши дни, когда второпях надевается платье и нечаянно загнется ворот, поправляют его с невольной улыбкой и поспешностью, — и теперь так же точно надеть платье наизнанку значит не к добру: «биту быть», как спроста говорят мужики. К добру выворачивают намеренно они же овчинные шубы и полушубки только на свадьбах, как родители жениха, при встрече молодых из-под венца, чтобы наглазно показать им желание свое быть богатыми, жить в тепле и холе. В старину чаще всего практиковался этот способ выворачиванья одежды наизнанку или — по-деревенскому — наизво-

рот в самосуде над пойманными на месте и уличенными в грязном деле. Однако этот прием не исключителен для русских людей, а, по всему вероятию, сохраняется с древнейших времен. Он, между прочим, употреблялся среди библейских евреев.

ЗАДАТЬ КАРАЧУНА

И прииде к Новугороду архиепископ Аким, и требища разори, и Перуна посече и повеле врещи в Волхов. Он же, плаваша wskвозе великий мост, вверже палицу свою на мост и рече: «на сем мя поминают новгородские дети»; ею же и ныне, безумие упивающеса, утеху творят бесом.

Новгор. 2 летопись, под 988 годом, стр. 1 и 2.

Всякий знает, что «задать карачуна» значит то же, что пришибить, убить или злодейски замучить кого-либо, уничтожить что-либо в корень. Это слово при случае заменяет слова: мат и капут (как говорят просвещенные горожане по-немецки), извод (как понимают крестьяне наши по-русски). Все это каждый из нас знает, но не всякому известно существование старинного русского слова, означающего определенное в году время. В последнем издании 1888 г. новгородской летописи (по синодальному харатейному списку), под 1143 годом записано: «Стояше вся осенина дождева, от Госпожина дни до Корочюна, тепло, дъжгъ (дождь) и бы вода велика вельми в Волхове и всюде, сено и дръва разнесе». Уже по одному этому летописному указанию, записанному новгородским грамотеем в столь древние времена, легко догадаться, что слово «карачун» происхождения очень старинного, и притом славянского корня.

Корень этот заключается в глаголе «коротать», по прямому указанию начертания этого слова в летописи (в обоих случаях с сохранением звука «о»). До сих пор во многих местах Великороссии именем Корочуна зовется

день Спиридона-поворота, то есть 12 декабря, или «солноворот». Тогда наступает конец нарастанья темных ночей и, по народному календарному выражению, солнце идет на лето, а зима на мороз. Столь важное время — с обычными молитвенными гаданьями и практическими предсказаниями из опытных наблюдений начинается хозяйственный период, который кончается на днях равноденствия. На сорок мучеников, 9 марта, кончается зима, начинается весна, знаменуясь прилетом жаворонков на проталины. Все время, когда длятся самые короткие дни, старинные новгородцы называли корочуном, до последнего дня, когда начинают убывать ночи. Имя этого дня и придано всему длинному предыдущему периоду времени. Действует очевидная, но непонятная (темная) сила, *укорачивающая* светлую половину суток. Когда христианство, вступив в борьбу с язычеством, между прочим, сменяло имена богов именами святых, на месте Корочуна встал «Поворот-Спиридон», и все предшествовавшее время с канунным заговеньем 14 ноября стало позднее называться филипповками (от дня св. апостола Филиппа) и рождественским постом, как предшествующим дню рождества Христова (у карпатских славян также до сих пор корочуном называются святки)¹. Понятным становится изумление новгородского летописца столь продолжительной дождливой погоде и странному физическому явлению запоздалой зимы, непонятному и чудесному в глазах современника, когда и климат был суровее и погода устойчивее. Очевидно одно, что кто-то борется с той злой силой, которая умерщвляет жизнь природы, напускает леденящие лютые морозы. Ведьмы-выюги заслепляют глаза, злые метели засыпают

¹ Под Корочуном, указанным новгородского летописью (так называемую Первою, изд. 1888 г., стр. 134), надо принимать именно день преподобного Спиридона, епископа тримикийского, 12 декабря. Это ясно видно из последующего текста летописной записи, что в *ту ночь* озеро Ладожское замерзло, но ветер разбил лед («растърза и вьнесе в Волхово»). Причем льдом поломало городской мост и снесло неизвестно куда («без вести») четыре городни (то есть либо четыре сруба, насыпанных землей и камнями для укрепления в виде быков или устоев под мостом, либо четыре обыкновенные сваи). Во всяком случае в следующем 1144 г. «делаша мост весь через Волхов, по стороне ветхого, новъ весь».

все пути и тропы: ни входу, ни выходу, ни света в очах. При этом, видимо, происходит и борьба света со тьмой, добра со злом, с преобладанием последних над первыми. Царствовал, хозяйничая над землей, в это время этот самый Корочун — подземный бог, повелевающий морозам. По толкованию знатока славянской мифологии Киркора, подземный бог воевал со светлым богом Перуном и, зная, что родится «божич» (красное солнышко), оборачивался в медведя, набирал стаи волков (метели) и гонялся за женою Перуна (громовницей, или калядой, или пятницей), которая пряталась между ивняками и на деревьях и там родила сына Дажбога. Этот-то и сокрушал лютого врага, сменяя долгие ночи такими же светлыми днями на тепло ¹.

Значение этой таинственной силы, производящей непонятный переворот, когда «солнце пошло на лето, а зима на мороз», не только понималось, но требовало обрядового чествования даже в более позднейшие времена, например при последних московских царях. Основываясь на изустром предании, немногим известном, и приводим нижеследующее сообщение, заимствованное из «Нового времени». 12 декабря звонарный староста московского Успенского собора был допускаем в Кремлевский дворец, перед светлые царские очи, для донесения о годовых суточных переменах. Так, 12 декабря объявлял он царю, что «отселе возврат солнцу с зимы на лето, день прибывает, а ночь умалется». За эту радостную весть великий государь жаловал ему двадцать четыре серебряных рубля. 12 июня тот же звонарный староста приходил к царю с известием, что «отселе возврат солнцу с лета на зиму, день умалется, а ночь прибавляется». За эту весть его обыкновенно запирали на сутки в темную палатку на Ивановской колокольне. «В действительности этого курьезного обряда не дозволяет сомневаться общее изустрое предание старых звонарей Ивана Великого, переходившее с давнего времени и сохранившееся до наших дней», — добавляет корреспондент.

¹ См. «Живописная Россия», изд. Вольфа, где оппонент мой («Филологические зап.», Воронеж, 1891 г.) увидит, что этот рассказ не мною выдуманная сказка.

В силу этих представлений о смене тьмы на свет среди пустынных болот и в дремучих лесах России, при вое голодных волков, щелкающих железными зубами, сохранилось имя покинутого бога и живое о нем представление. До сих пор верят, что в самый день св. Спиридона тримикийского медведь поворачивается в берлоге с одного бока на другой. До сих пор во время святок непременно стараются сами люди наряжаться медведями. Словом, память о старом боге Корочуне жива и за справками об его более определенном существовании стоит лишь отправиться к белоруссам. У них Корочун в живой речи и до сего дня — злой дух, сокращающий жизнь, а в переносном смысле — нечаянная и преждевременная, в молодых летах, смерть. «Корочун его возьми!» — до сих пор там побраниваются со злом. Там еще не свыклись с «Поворотом», как великоруссы, но Корочуна хорошо помнят. Это — «старый дзед (дед) — сива борода». Он носит эту седую бороду длинную; сам ходит в белой шубе, но всегда босоногим и без шапки. В руках он держит тугой лук и железную булаву, и когда рассердится, то ударяет ею в пень, вызывает вихри и рассылает их по земле, а самым стуком производит трескучие морозы. За то и зовут его кое-где «морозом» и «зюзей». Молитва ему такая: «Хадзи куцью есь: на чугунную борону железным кнутом». Это темное мифическое выражение значит так: «не мешай уродиться хлебу и всему тому, что можно положить сковородником (железным кнутом) в чугун или на сковородку (железную борону)». При этом и священнодействие в полной форме: в самый вечер коляды за ужином или «куцьей» бросают первую ложку праздничной куты за окно для умиловления сердитого бога с вышеупомянутым ласкательным приговором. А затем во время колядок чествуют его обязательно и безбоязненно тем, что водят живого медведя с козой, — благодаря местечку Сморгоням, где князь Радзивилл научил обучать этих неповоротливых, но понятливых зверей затайным пляскам. Нет под боком цыгана с живым медведем — сами наряжаются зверем, выворачивая кожихи наизнанку.

В замену предложенного нами толкования Я. Ни-

кольский, написавший рецензию на эту книгу (в «Воронежских филологических записках») предлагает свое. Он сплутно сделал легкий упрек за доверие к Далю, конечно не сообразивши того, что на доверии к своему прислушливому уху, при легком напряжении памяти, очень просто достигнуть того же результата, производя слово «корочун» от коротать, подобно словам «лгун», «говорун», «драчун» и т. п. С большою самонадеянностью рецензент уверяет, что слово произошло от старинного слова «карак» — нога, и находит его одного корня со словами: «окорок, окорочь, карачиться (да заодно уж) и карячиться, корточки, закорки, корча и даже каракатица». Чтобы закрепить свое авторитетное мнение, он вспомнил, что в одной из былин «князь Владимир от посвиста Соловья разбойника ползает на корачках, а княгиня ходит раскорякою», заглянул мимоходом в «Этнографический сборник» 1864 г., а там в окончательное подкрепление ему указано сибирское поверье, что 12 декабря Спиридон начинает выворачивать ноги молодым курицам. Не погнушавшись на этот раз начисто отвергнутым им Спиридоном-поворотом, рецензент поворотил неожиданно в противоположную сторону. Он толкует (сославшись также по словарю Даля — на южных славян, где у сербов карачити значит ходить, у хорват корак — шаг и проч.): «При желании, чтобы кого-либо взял карачун, подразумевается не смерть, а то ужасное состояние, когда человек жив, но не может делать движений или же двигается с большим трудом, ползком, что всего резче проявляется при параличе. Не отсюда ли и народное название этой болезни кондрашкою, переделанное затем в Кондратия Ивановича?» С своей стороны считаю себя обязанным сделать последнее замечание. Г. Киркор, несомненный и признанный знаток литовской и белорусской народности, отождествляя Карачуна с Ситивратом, Зюзей, Морозом, как подземного бога, рассказывает (мною повторенный) миф о борьбе его с Перуном, — миф, легкомысленно приписанный моему изобретению. А что в посуле карачуна любому недоброхоту заключается пожелание гибели, смерти — это тоже верно и по словарю белорусского языка. Верно также и то, что к некоторым выражениям прилаживается двоякое объяснение, на

выбор произволящего (чему указаны и в этой книге примеры). Так, между прочим, пока мой судья путался в финских лесах и словах, разыскивая кулигу, нашел ее в болоте у Москвы-реки («на низкой местности близ непросыхающих луж»), объявился сам черт не из этого болота, а живьем из купеческой семьи той же Москвы (см. в настоящем издании дополнение к ст. «У черта на куличках»). «Опасно искать ученым взглядом того, чего бы найти хотелось», — сказал искушенный многолетним опытом Даль.

ЧЕРЕСЧУР

Вовсе не с тою целию, чтобы поставить читателя в тупик и затруднить разгадкой, я придумал и выставил такой, повидимому, странный заголовок. Пользуясь известным грамматическим правилом, дозволяющим всякой части речи быть подлежащим, принимаю за таковое всем знакомое и общеупотребительное наречие. Ставлю же его в заглавие своей статьи по той причине, что оно дает тему для беседы. Эта тема может показаться и новою и любопытною, лишь только мы зададим себе самый простой вопрос: что значит это русское слово и откуда оно произошло?

Применение загадочного слова «чересчур» в обиходной речи для каждого совершенно понятно. Неясно лишь его происхождение, так сказать колыбель и место его родины.

Если мы расчленим (говоря учебным выражением) слово «чересчур», то есть разделим на обе составные части наше наречие, то получим предлог «через» и существительное «чур».

«Чур» у наших предков, у язычников-славян, могло быть божеством не особенно высокого ранга, скорее полубогом, мифическим существом, однако таким, что имя его повсюду знали и особенно чествовали. В Белоруссии, например, «чур» до сих пор не забыт (как случилось в Великороссии), но пользуется особенным уважением. Он почитается покровителем и оберегателем границ поземельных владений и еще живет на земле, как

существо, которое может награждать и наказывать, любить и ненавидеть и т. п.¹.

Все славянское племя, и в том числе русская ветвь его, — преимущественно хлебопашцы. Вот, например, старорусский богатырь Чурило Пленкович, не помнивший ни отца, ни матери, идет от короля в Литве в свою сторонушку, на свою родину, а все дойти не может. Идет он дорогой широкой и осматривается, а все видит, что пахарь пахивает. День идет до него — дойти не может, а прислушается — все пахарь лошадку понукивает. И на третий день все одно и то же, и видит и слышит, как у пахаря соха поскрипывает. Насилу он дошел, словно в образное предсказание исторических судеб земледельческой Руси, которую после Киева и Волхова надо было искать на Клязьме, на Печоре, за Камой, на Иртыше и далее. Всем понятно и известно, до какой степени любит и ценит, холит и удабривает всякий земледелец свой участок. Ту почву, которая родит хлеб и питает семью, он зовет не иначе, как «матерью» (сырой землей). Проще сказать, крестьянин боготворит землю: плодотворную силу ее почитает за божество, чествует приношениями и жертвами и устанавливает особые праздники с песнями и плясками. Так было и у всех народов на земле, а у нашего языческие верования и суеверное боготворение земли, как питательной почвы, соблюдается до сих пор в такой мере, что можно их наблюдать и ясно видеть. В особенности это удобно делать в тех местах, где вся жизнь зависит от земледелия, как в Малороссии и Белоруссии, там, где языческие верования еще борются с христианскими, как в указанных странах и в глухих, отдаленных местностях Великороссии.

Везде и всякому дорог тот участок земли, от которого он питается, который с величайшим трудом отбил от леса и болота, удобрил, возделал и буквально полил своим потом. Всякий строго следит за своей полосой земли и старается не запахивать чужой соседней, но есть лихие,

¹ Между прочим, «чура» у запорожцев и малороссов был нечто вроде мальчиков-оруженосцев, доверенных, воспитанников. Так, у Богдана Хмельницкого чурой был «Иванец» — впоследствии Ив. Март. Бруховецкий.

дерзкие и бессовестные люди, которые любят жить чужим добром и трудом. Существуют в природе такие могучие и неожиданные явления, в виде ураганов с лютыми дождями и гибельными наводнениями и проч., что смыывают и разрушают определенные межи так, что потом бывает трудно разобраться в своем и чужом. Надобится посредник, который разобрал бы споры и прекратил ссору; желательна такая сила, которая сберегала бы межи от разрушения и истребления. Но где найти и то и другое, когда и самые межи невозможно определить с точностью и пределы поземельных граней выяснить на почве, точно так же, как делается это пером и циркулем на бумаге?

В старину, да и теперь там, где земли много и лежит она в диком состоянии, будучи никому не принадлежащей, поневоле прибегали к случайным и неточным межам. В старинных актах мы то и дело наталкиваемся на такие обозначения границ: «С камня на вяз, да с березы долом прямо через поперек бору к грановитой сосне, а на ней граница крест».

Налетала на ту сторону огненная стрела молнии, и сгорало столетнее дерево, как свечка; вырывал ураган развесистый вяз с корнем и замывал песком и илом бешеный ливень вместе с тем и все другие грани и знаки. Наконец, размножалось население в такой степени, что валил топор весь дремучий бор, соха и борона превращали лес в пашню и пожню. Затем размывало овраги и буераки, высыхали ручьи и колдобины, и все те приметные урочища, вообще называемые живыми, которые служат более надежными признаками поземельных граней. У кого же искать защиты и к кому обращаться за управой? Приходилось надеяться не на усталую и неверную память старожилов, а на сверхъестественную силу, на случайности и неизменное народное «авось». В старину, привыкшую верить в чудесное, так и поступали в подобных случаях, что искали помощи в той же матери — сырой земле. Нашли — или лучше — заподозрили в ней такую новую силу, которая оберегала межи, удерживала дерзких и своевольных нарушителей чужих владений, останавливала зазевавшуюся или разгулявшуюся соху, тупила, запутывала и ломала размахавшуюся косу, рас-

ходившийся топор. Эта сила и был «чур» — справедливое существо, как помощник матери-земли в той правде, которую искали при земельных спорах, в запутанных чересполосных владениях! ¹

«Чура», как всякую живую и действующую силу, олицетворяли, представляя его в видимом образе, в деревянном изображении, имевшем форму круглыша, короткого обрубка толщиной в руку. На нем вырезались условные знаки, обозначающие семью и владельцев. Такие обрубки сохранили древнее название свое в известных словах, уцелевших до нашего времени, каковы: чурбак, чурка, чурбан, чурбашка, чурак, чурок, чушка. Они ставились в давнюю старину по межам на тех местах, «куда топор и соха ходили», как привычно выражались в старинных владенных актах. Несмотря на грубость работы и ничтожность того материала, из которого вырубались эти «чуры», стоящие на границах, почитались предметами священными и неприкосновенными. Безнаказанно их нельзя было уничтожать; вырванные случайно должны быть заменены новыми тотчас же, чтобы не свела неосторожных рук судорога, чтобы не высохли они на том же самом месте. На нем уже предполагалась невидимо поселившаяся сила, которую следовало бояться, так как ей предоставлено право наказывать: насылать беды и наделять болезнями до пожизненной слепоты и преждевременной смерти включительно. В Белоруссии до сих пор можно видеть, с какими стараниями и опаскою опахивают эти «чуры», боясь того духа, который поселился в них. Там это — небольшие курганчики или бугры, нарочно насыпанные на межах и очень нередко огороженные частоколом, состоящим именно из толстых и коротеньких чурок. Ни один белорус не покусился разрыть хотя бы одну такую земляную кучку. Этими покровителями пограничных примет и знаков и защитниками прав собственности в Белорус-

¹ Насколько было важно перепахиванье межи или уничтожение пограничных знаков, видно из «Судебника» Ивана Третьего, в котором, как известно, вместо пени «Русской правды» впервые узаконено битье кнутом на торгу. «Торговая казнь» ожидала всякого, кто решился уничтожать чужие чуры и заезжал сохой в чужую полосу пахотного поля, наравне с татьбой.

сии еще до сих пор не отвыкли клясться. Там часто говорят таким образом: «Чурóчками клянусь, што гэтаго не буду дзелаць»¹.

В Великороссии «чур», как божество, совершенно забыт — осталось в памяти только его имя, да в глухих лесных местах кое-какие обычаи из далеких времен язычества. По всей Великороссии слово «чур» перенесли прямо на поземельные границы и этим именем зовут всякую межу, грань, рубеж и т. п. Говорят: «не ступай за чур» (за черту); «не лей через чур» (через край); «наше по чур» (то есть по эту грань) и т. д. Затем по всей обширной России чураются и зачуровываются, то есть делают себя и разные вещи заговоренными, неприкосновенными, заповедными; словом, не забыли выражения, старого, как русский белый свет и родная мать сыра-земля: «чур меня!»

А. К. Киркор в статье «Следы язычества» («Живописная Россия», т. III) говорит: «Чур белоруссов — бог, оберегающий границы поземельных владений», а затем далее: «В то же время чур является домашним пенатом, так что каждый дом, каждое семейство имеет своего чура, охранителя домашнего очага, преследующего и отгоняющего демонов мрака». Я воспользовался для своего рассказа первым значением ввиду задачи объяснить слово «чересчур»; г. Никольскому (рецензенту моей книги) понравилось и понадобилось второе. Понравилось, между прочим, потому, что в слове «пращур» ему послышалось слово «чур», а понадобилось, конечно, с целью противопоставить свое объяснение, основанное на почитании предков. К этому чуру, «как духу предка, защитнику семьи», он и отнес все то, что принадлежит, по моему мнению, пограничному чуру. Забывши на этот раз самим же высказанное убеждение, что «мифология славян вообще дело темное и запутанное», автор сам поспешил в поучение всем доказать это на самом деле, запутавшись со своим чуром-пращуром на самом открытом и ярко освещенном месте этой

¹ См. «Словарь белорусского наречия» Носовича. Восстанавлию эти указания в свою защиту против подозрений, высказанных в «Новороссийском крае» и настойчиво и самоуверенно повторенных (перепечатанных) в «Воронежских филологических записках».

мифологии. Сомнительному чуру он приписал те свойства и действия, которые нераздельно принадлежат «дядядам и прадыядам», которых поэтически описал Мицкевич и прозаически, но очень наглядно и открыто чувствуют белоруссы в первый день колядок. В первую куцью (постную кутью) первую ложку бросают за окно «дядядам», души которых слетаются на этот день навещать потомков. Их громко вызывают и приглашают: «хадзице куцью есыць». В иных местах их изображают даже в лицах: старый дед в черной рубахе, с колбасой в руках, лезет на печной столб и т. п. А молятся и гадают при этом, исключительно имея в виду урожай хлебов, а не межевые вопросы. Весной же установлен самостоятельный праздник «Дзяды» (также радоуница), отправляемый чрезвычайно торжественно, с весенним обновлением природы пробуждая память о погибших отцах и дедах. Именно на том основании, что это отдельный культ и особый цикл верований, я не останавливался на них при вопросе о рубежах, имевши случай личными наблюдениями поверять границы белорусских суеверий, отделяя коляду от купалы, чуров от дзядов и т. д. (Эти исследования своевременно были подробно изложены мною в печати.)

ЧУР МЕНЯ

Идут или едут несколько человек в товарищах по одной дороге. Зазевавший и неосторожный путник, ранее проходивший тут, обронил какую-нибудь вещь. Вещь эта валяется забытою, и кто-нибудь другой ее непременно подымет. Хозяин оброненной вещи, видимо, не спохватился о своей потере и не возвращался ее отыскать и взять. Взять чужое, конечно, все равно что украсть; от такого греха избави бог всякого человека. Все так и думают: «Нашел, да не сказал — все равно что украл». Чужую, однакож, вещь, которая валяется на проходном пути, велят считать за находку: не искал, а набрел на нее неожиданно. Это бывает так редко, что всякому приятно зачесть за особое свое счастье: «бог послал». Если бы вернулся хозяин, объявил, представил

доказательства, — бесспорно чужую вещь отдать надо. Отдать ее следует и в том случае, когда бы можно было разыскать владельца; да где же его уследить в незнакомом месте, в целой толпе неизвестных прохожих людей, между которыми всегда можно рассчитывать на обманщика? Он вклеплется, назвав чужую вещь своею. Всего же чаще случается так, что лежит чужая потеря среди чистого поля, в бесследном перелеске и на проезжей дороге.

Хотя находке и не велят радоваться, как и об утрате горевать, однако кому же ее взять, когда шло несколько человек? Из глубокой старины установлено так, что если спутников двое, находку надо делить пополам с товарищем. Не всегда это бывает легко и возможно (смотря по вещи). Если шли втроем, впятером и разделить никак нельзя, да и из деленного каждому почти ничего не достанется и вещь может быть дележом испорчена, в целом же виде она кому-нибудь очень бы погодилась, — как поступить? На этот-то раз выручает одно только слово, этот самый «чур».

«Чур одному!» — спешит выговорить тот, который первый заметил находку. Этим запретным словом он бесспорно и бесповоротно заручил ее за собой как нераздельную собственность: «чур одному — не давать никому». И чтобы вконец было верно слово на деле, к находке притрагиваются рукой. «Чур чуров и чурочков моих!» — говорят при этом в Белоруссии.

У белоруссов это слово во множественном числе относится ко всем тем вещам и предметам, которые, будучи приговорены словом «чур», как присвоенная находка, становятся для всех запретными, являются собственностью единоличною, а не общественною. Клады, например, спрятанные в земле, считаются общим достоянием всех имущих, но остаются собственностью того, кто умеет «чуровать» (по белорусскому выговору), то есть словом «чур» ослаблять и разрушать волшебную силу наложенного запрета или очарования. «Чурую землю, воды и гроши», — говорится в местных сказках. Например, тамошний рыбак из тверских остаей, ведомых и искусных истребителей озерной рыбы, никогда не возвращается с ловли домой с пустыми руками. С белоруссом случается

противное, потому что бородатый остах в кожаном фартуке зачурал во всей стране для себя все рыбные места, все подводные тайники. Как «чаровник», он видит даже, где подо льдом кучатся лещи, спят щуки и проч. Осенней порой, когда небо покрывается черными облаками, остах уверенно бросает в озеро сети. Буря вздымает волны, покрытые пеной, а он, как нырок: то появится на ребре самой большой волны, то низвергнется в кипящую бездну; только и видно, как крутятся над ним крикливые птицы-рыбалки. Он знает, что иные породы рыб ловятся только в непогоду, другие — когда тихо и ясно, а потому зовет ветры на озеро, волнует воду, поднимает и беспокоит рыбу, а когда этого не нужно ему, он гонит ветры прочь и возвращает на землю день ясный. Такова сила чарования, ведомая практическим великороссам, по понятию суеверных белоруссов.

«Чур пополам, чур вместе», — торопятся выговорить все товарищи, если все увидели находку разом или когда ранее усмотревший ее не успел или не догадался ее «зачурать», то есть заповедать. По этой причине скорее чурают ее, доколе кто не увидел, — вся тайна и все права в этом. Обыкновенно же поступают так, что, по взаимному соглашению, обязывают того, кто возьмет себе находку, платить соответственную долю товарищам.

Зачурованные, то есть чуром приговоренные, присвоенные находки, на этом основании называются также «чурами». А тех людей, которым находками случайно посчастливилось в жизни, зовут «чураками».

По народному поверью, помогало слово «чур» с неизвестных времен тем, кто находил клады, то есть зарытые в земле сокровища. Зарывались клады с зароками, например на три головы молодецкие, на сто голов воробьиных и т. п. Три головы должны погибнуть при попытке овладеть кладом, — следующему по счету, четвертому, он обязательно достанется.

Надо зарок знать и притом помнить, что клад стережет злая сила — нечисть. Когда клад «присумнится», то есть выйдет наружу и покажется блуждающим огоньком и выговоришь зарок, черти начнут стращать, отбивать клад. Тут слово «чур» и очерченный круг только одни и выручают, спасая от мучений.

По народному верованию, на архангельском Севере, клады достаются только тем, которые «не обманывают бога», то есть кто, заприметя клад, скажет три раза: «Чур мой клад с богом пополам». Это значит, что дан твердый обет половину из открытого отдать на доброе дело или в пользу церкви.

«Чур меня!» — говорят (и вслед за тем спешат положить на себя крестное знамение) те люди, которых поражает какое-нибудь неожиданное явление: не расшибло бы чем, не убило бы как-нибудь.

Каждый из нас с ранних детских лет хорошо помнит, насколько важно было в товарищеских играх оставить на собою занятое место, хотя бы в игре в медведя, или оставить себя безопасным от ударов и от «ожогов», например в игре мячом (в «лапту»), на рюхах (в «городки»). Кому надо отойти по какому-либо частному поводу в сторону, вне порядка игры, тот обязан оговориться: «чур моя ямка, чур мое место, чур меня!» Зачуровавшийся, равно как и заговоренное место — становятся священными и неприкосновенными, как бы и впрямь какая-нибудь важная пограничная собственность.

Путник в дороге, догнавший другого пешехода, добрым приветом «мир дорогой» зачуровывает, заговаривает его в свою пользу: вместе идет, коротает время, чтобы не было скучно, сокращаются расстояния, меньше чувствуется усталость и проч.

Деревенские колдуны-обманщики и знахари-лекаря, действуя на воображение, опутанное в туманную сущность, вызывают или нечистых духов, или темные врачебные силы такими заговорами и мольбами, в которых неверующий человек не найдет никакого смысла. Эта бессмыслица в суеверных людях даже увеличивает и страх и веру. Когда ловкие и опытные колдуны видят, что воображение верующих достаточно напугано, они выговаривают страшное слово: «чур меня, чур!» Этим они желают показать, что нечистая сила уже явилась, невидимо присутствует тут, у него за плечами, и готова творить всякое зло. Но колдун, сильный человек, ее обуздывает, останавливает одним этим могучим словом «чур меня, чур», то есть не тронь меня, не смей тронуть, в то самое время, когда нежить готова кинуться

на людей и натворить разных бед и напастей. За проговоренным же словом все стали безопасны и неприкосновенны, как за каменной стеной, потому что заручены вызванным добрым духом, всегда готовым на помощь, чуром: они «зачурованы» — заговорены от нечистой силы. Для пущей уверенности в том колдуны обратившихся к ним за помощью очерчивают кругом, за который уже не посмеет заскочить самый бойкий и дерзкий чертенок. Велика сила этого слова, и им пользуются все суеверные люди с древнейших времен и повсеместно. Народ твердо убежден в том, что от нападения вражьей силы только тем и избавиться можно, если поспешить очертить вокруг себя круг, хотя бы перстом или палкой, и заручиться заговором, и оградиться криком «чур меня!»

Таким образом, немудреное слово неважного бога живет на русском белом свете заведомо вторую тысячу лет. Всякому делается известным оно с младенчества и пришедшему в зрелый возраст напоминает дорогое и золотое время детства, весну человеческой жизни.

НАКАНУНЕ

Таково свойство всех чисто народных праздников, доставшихся в наследство от предков и целюно сохранившихся со времен славянского язычества, что они начинаются с вечера того дня, который посвящен тому или другому богу. Так, начинают с вечера и прыгают через огни во всю ночь на Ивана Купалу, перед днем перелома лета. Точно так же в святой вечер, начинающий двенадцатидневные коляды и совпадающий с рождественским сочельником христианских времен (перелом зимы), стелют на обыкновенный стол солому и, покрывая скатертью, ставят обетные кушанья: разварные зерна, насыщенные медовым или маковым соком, овсяный кисель, блины, толокно и т. п. Это — первая кутья, «постная» и первая коляда.

В Малороссии и Белоруссии вторая кутья (исчезнувшая в Великой России) поедается с вечера, накануне городского Нового года, в деревенский Васильев вечер, в языческую «щёдровку». Эта кутья самая важная; эта коляда настоящая: ласая, мясная, товстая (толстая), щедрая, жирная, богатая, а потому и любимая. Она почтена многими прозвищами за то, что требует непременно мясных кушаньев и, по мере возможности, в роскошном обилии. Здесь первое место принадлежит колбасам разных сортов, ветчине, студню — все из свинины, все жирное и все мясное. С колбасой лезет старший в семье на печной столб в черной рубахе и съедает всю колбасу в расчете на урожай всякого жита. Самая кутья поедается теперь с коровьим молоком или топленым скоромным (а уже не постным) маслом. Девушки хватают со сковородок первые блины и из горшков первые ложки кутьи и бегут с ними на перекрестки гадать — прислушиваться. Молодые ребята выбирают из среды своей самого рослого и красивого парня, одевают его стариком в парик из кудели и в рваное вретисьце. Это — щедрец, который водит по домам ватагу товарищей, распеваящих для подачек особые песни, называемые «щёдровками». Молодежь также теперь «щедрует» (гадает), тогда как накануне рождества она «колядует», славит Христа и коляду. Существенная разница здесь заключается в том, что песен колядок очень много и они весьма разнообразны, а щёдровки от древнейших времен остались в виде маленьких осколков и притом в замечательно ничтожном числе (меньше десятка) и с однообразным содержанием. Великоруссы-псковичи поют: «Щедрин-ведрин, дайте вареник, грудочку каши, шматок колбаски», а коренные белоруссы: «Дарите не барите, коротки свитки — померзли лытки, коротки кожушки — померзли петушки, матка казала, штоб кусок сала» и т. п.

Третья кутья бывает в крещенский сочевник (неправильно сочельник, ибо слово происходит от сочива, именем которого называется всякий сок из семян: мака, льна, конопли и проч.). Такая кутья (последняя в году) носит прозвание «голодной», потому что она опять постная и оттого, что на этот раз все запасы уже съедены.

Во время первой кутьи первою ложкою чествуют мороз и зовут его есть кутью зимой, а летом просят жаловать мимо, лежать под гнилой колодой, не губить посевов. Тогда же обязываются домовые хозяева подарками и приношениями духовным лицам. Отдавались здесь, откупались подарками и в Великороссии за грехи, преследуемые этими самыми служителями веры.

В Архангельской губернии под кануном понимают те «богомольные дни», когда чествуется заветный праздник особо в каждом селении всею общиною, в одном из домов поочередно. Складчина требует, чтобы все участники приносили съестные припасы «по силе — по мочи». В складчину же варят пиво, кое-где освящаемое духовенством. Оттого самое празднество называется «пивá», а самый напиток, с вечера заправленный хмелем, именуется канунсм, канунным пивом. Начнут молитвой в сельской церкви за обедней, а кончат попойкой и играми. Чтобы не смешивать таких канунов, справляемых в известные дни (например, на Ивана Богослова, 8 мая, на Илью, на Петра и Павла и проч.), для прочих праздников имеются свои названия: «богомолья, пóварки». Я видел одно торжество, которое мне называли «борода». То было окончание уборки сена (или, все равно, хлеба). Зовут на «бороду», когда дождут и свяжут последний сноп (белорусские «дожинки», великорусские «обжинки»). Одну кучу стеблей оставят на ниве с колосьями горсти на три; солому разогнут, присыплют туда горсть земли и начнут завивать бороду. Девушки соберут по меже цветы, подовыют их к бороде и разбросают по ниве около того места. Тогда уже идут в избу хозяина угощаться, затем водить хороводы, петь песни, играть во всякие игры. Из кушаньев здесь играет общественную роль «отжинная каша».

Христианская церковь уступила народным привычкам и вековым обычаям и в свою очередь начинает чествовать наступающий праздник также с вечера, совершает «правила». А это последнее слово перевод с греческого «канон», превратившееся на русском языке в «канун» и выражающееся церковными песнопениями в похвалу святого или чествуемого праздника. Эти стихири, или похвальные тропари, эти ирмосы, или вступи-

тельные стихи, выражающие содержание прочих стихов канона и других, иногда читаются, иногда поются на заутренях и вечернях. На таких канунах, как начале отправления праздника, по известным правилам, или, проще, в вечер наступающего знаменательного дня, приготавливаются и праздничные столы с символическими кушаньями, то есть «справляют канун». Оттого и все такие дни, «кануны», и всякое совершившееся событие, всякое законченное дело к известному дню, но во всяком случае в этот, который предшествует срочному или видному празднику, за день, с вечера, породил прямое и ясное выражение «накануне», то есть случилось на тот день и в тот раз, в самый канун. Таким образом, а не иначе, мы вправе понимать слово, поставленное в заголовке, в его расчлененной форме.

Канун, сделавшись самостоятельным словом, выражающим определенный день, в свою очередь допустил в языке новое и законное выражение «канун кануна», то есть день до кануна, вечер перед кануном. Говорят и «накануне третьего года», то есть в четвертом году. В самом деле, и священник ездит и собирает кануны — всякие приношения; и по усопшим совершают кануны, то есть поминки; и в начале и по окончании полевых работ заказывают кануны, то есть молебны; и варят канунцы, то есть заготавливают домашние пиво и питейный мед. С успехом читают кануны по усопшим на дому приглашенные начетчики. Пошло даже и на то, как откровенно высказывает поговорка, что «хоть сусек снести, только канун свести», лишь бы изловчиться совершить поминки по усопшим родителям. Зато водятся и такие скаредные люди, которые за чужими канунами своих покойников поминают; а иные, руководясь таким правилом, совсем забывают про то, что «если все кануны справлять, ин без хлеба стать».

ОПРИЧЬ

Подобно двум наречиям, потребовавшим наших объяснений, каковы: «чересчур, покамест и накануне», третье наречие (которое, однако, может быть и предлогом), —

именно «опричь, опрочь», старинное «опроче», замечательно тем, что в свое время послужило основой к составлению грозного смыслом и значением существительного имени — «опричины». В прямом смысле употреблялось слово исстари славянины для означения всего отдельного, обособленного в правах, в значении исключенной из общего счета единицы, поставленной вне правил, «что-либо на окроме». Например, после того, как низложен был вечевой город и на северо-востоке России разорен татарами стольный Владимир и заброшен Ростов, великие князья жили в своих «опричинах», то есть наследственных городах: то в Твери, то в Переславле, то в Костроме, то в Москве, и города перестают влиять на население, которое, как земледельческое, продолжает жить «опричь» их и само собою складывается и крепнет в государство. Так и во всем прочем. По старинным актам, от крестьян отписывали деревни и починки опроче; архиереям указывали «опричь святительского суда, не вступатися ни во что же». В духовных завещаниях писали прямо: «Даю я моей княгине два села в опришнину», то есть отдельно от детей, как прибавку к ее родовому наследству. Этим словом (с таким же прозрачным смыслом) подозрительный московский царь Иван Грозный назвал особое войско своих телохранителей и боярских карателей. В число их, как известно, он отобрал шесть тысяч молодых людей всякого звания и сословия и взял с них присягу в том, что они отказываются от отца и матери и что будут знать только его одного и доносить ему на изменников. Царь наделил их за такие клятвы поместьями и домами, отнятыми у опальных бояр, и отличил, сверх того, особыми наружными знаками: собачьими головами и метлами. Эти знаки отличия должны были понимать так, что верные царские слуги грызут его лиходеёв и выметают измену из государства. Мало того, Грозный все государство поделил на две части: земство и опришнину. Последняя подчинена была дворцовому правлению и пользовалась особыми правами. Сюда приписаны были, сверх богатых и населенных городов, ближних к Москве, те далекие залесские города, которые уберегли еще гордый дух и вековую вольность свободной и строптивой новгородчины. Всем этим непосред-

ственно ведал сам царь, а земщиной управляли бояре. Опричники, выметая измену и накидываясь на заподозренных, вели свое дело с таким усердием, озлоблением и дерзостью, что стали всем в тягость и возбудили к себе всеобщую ненависть. Измученный народ вынужден был прибегнуть к злему сарказму и в однозначном наречии — в слове, теперь совершенно заменившем его, — «кроме», «окромя», подыскал свое приватное прозвище, приличное по деяниям телохранителей, и высказался бранным словом «кромешники». Оно оказалось кстати именно в смысле исчадий ада, особенного, выделившегося из видимого мира царства сатаны, — внешнего места — во тьме кромешной, иде же есть плач и скрежет зубов. Грозный понял это ругательство по-своему, отнеся его к боярскому и народному нелюбию опричников за их преданность к нему. На самом деле прозванием этим, отнесенным именно к ратникам служилой опричнины, народ сумел различать «опричникцев», то есть жителей областей, вошедших в царскую собственность, и придумал тогда и до сих пор сохранил в памяти (теперь в шутливом смысле) поговорку: «Просим к нам всем двором опричь хором», что значит: иди сам угощаться и всех своих тащи — всем будет место. В те варварские времена, сидя на борзых конях с привязанными к седлам метлами, удалые опричники могли своевольничать, разъезжая по улицам, но не входить в дома. Сюда прятались все, кому попадались навстречу эти буйные ватаги, из опасения не только иметь с ними какое-нибудь дело, но даже и встречаться. Что же и делать? — надо покоряться: опричь худого, ничего хорошего не жди, — «вот тут бери, а опричного нашего ничего не тронь», — тех ищите, кто лучше нас, — думали и говорили русские люди. Сам царь поставил тоже правило отчуждения и для самих опричников, освобожденных им от суда и управы, и брал с них присягу в том, чтобы они не дружили с земскими людьми. И в свою очередь это новое государственное учреждение сам старался скрывать и прятать от сведения иноземных государей. В наказах гонцам, отправляемым к польскому королю Сигизмунду, давалось ясное наставление: «Когда у вас спросят, что такое опричина, — скажите: мы не знаем опричнины». Разрешая торговлю англичанам,

Грозный оставался последовательным: он освободил иностранных гостей от суда этих опричников. Семь лет было грозно это звание и страшно название: в 1572 г. земщина получила прежнее имя «России», а опричники стали именоваться «дворовыми», и то же название присвоено было городам и волостям, приписанным к царскому двору.

НИ КОЛА, НИ ДВОРА

Несмотря на то, что кол, в виде и смысле короткого шеста, с одного края заостренного, очень пригоден к употреблению для обрисовки крайней бедности («гол, как кол» — так и пословица говорит), в указанном нашим заголовком крылатом слове он употреблен не в том общепринятом значении, а в другом. На одно из очень оригинальных и неожиданных случайно натолкнулся г. Александр Борзенко. Он пишет в «Московских ведомостях» 1877 г., № 237: «Привелось мне летом нынешнего года идти вверх по течению небольшого ручья, впадающего в Волгу (в Ярославской губернии). Скоро очутился я среди местности, поросшей высокой бурьяноватою травой и мелким кустарником, изрезанной небольшими впадинами с болотистым дном. Вдали на пригорке чернелись крестьянские избы, за ними желтела нива, еще выше раскинулся лес, венцом зелени охватив склоны холма. С трудом выбрался я к деревне, постучался в первую попавшуюся избу, ища проводника. Вызвался крестьянин, по имени Иван Матвеевич. Вышли мы на пахотное поле.

— Вон мои два «кола», — сказал Иван Матвеевич.

— Где? — спросил я.

Иван шагнул с тропинки к пашне.

— Вот полоска — два сажня ширины — это один «кол», а вот другая такая же полоска — это другой «кол». В деревне у нас шесть дворов и на каждый двор два кола, — продолжал он.

— Стало быть, все живущие у вас в деревне имеют двор и кол?

— Все, кроме одного. Отставной солдат к нам вернулся, так у него нет «ни кола, ни двора», а кормится он сапожным мастерством».

Поговорка стала понятна. Кол — это полоса пахотной земли шириною в две сажени. «Следовательно, не иметь кола — значит не иметь пашни; не иметь двора — значит жить у других. Итак, «ни кола, ни двора» употребляется в крестьянском быту для означения человека, не имеющего недвижимого имущества и живущего личным трудом, а вовсе не в смысле дурного хозяина, как предполагает Даль». О дурном хозяйстве говорится вернее и прямее: «Сокóл хоть на кóл, да гол, что мосóл».

ГОРОХ ПРИ ДОРОГЕ

Незавидна участь людей богатых, но тороватых и тех смиренных бедняков и бедовиков, которых всякий готов обидеть, подобно участи всем известного, а русским людям любимого стручкового растения и плода (pisum), называемого горохом, когда он посеян подле проезжей дороги. «Кто ни пройдет, тот скубнет (ущипнет)». Тогда, ввиду очевидного соблазна, зачем же и сеять его на видном месте (он и так оттеняется в поле своею веселою и густою зеленью); зачем и оперять его, утыкая хворостом? Пройдет мимо один зоркий прохожий, нащиплет целую китину (охапку), прижмет левой рукой под мышкой, правой начнет пощипывать и шелушить.

Для разрешения вопроса приходится идти в давнюю старину, когда расселялся православный русский народ по лицу родной земли своей. С готовым запасом, на шитых плотках и в долбленных комягах, плыл он по рекам, но попадал в межиречьях на волока. По таким надо уже было тянуться сухопутьем, подвергаться опасностям долговременного безлюдья, испытывать тяжелые беды от захватов в пути неожиданно нагрянувшими холодами и видеть ежечасно впереди самую жестокую и тяжелую смерть от голода. Она, впрочем, и не медлила там, где сами на нее шли и доброй волей напрашивались.

Сколько же смертей постигло русских людей на то время, когда они клали тропы по непролазным северным лесам, торили пути по диким и совершенно безлюдным и обширным пустыням холодных стран и проложили такую длинную, неизмеримую дорогу, как та, которая увела в Сибирь! Она помогла от домашнего бесхлебья родины расселиться по тамошним девственным местам и на благодарной почве. Конечно, по людской молве, а в иных случаях на крик бирючей по базарам и торжкам, расхваливавших новые места и суливших всякую на них благодать, снимались охотники с родных насиженных гнезд семьями, артелями. В горячее время переселений (в начале XVII века), когда достигли обратные хвалебные зазывные слухи испытавших приволье вновь открытых мест, шел народ толпами, одна за другой. Передним рядам было худо, задним стало лучше: все приловчились, заручившись мудреным опытом и испытанною наукой. Стало так, как говорится в пословице: «передний заднему мост». Испытавший беды на самом себе сделался не только опасливым, но и жалостливым для других, еольно и невольно оставляя по дороге следы, приметы и разного рода памятки для руководства.

Указателем пути и вожакom в дороге прежде всего служит звездное небо, и на нем в особенности та звезда, которая раньше всех появляется и позднее других скрывается в той именно стороне, где лежат самые холодные места. Об них же можно наводить точные справки и на древесных стволах, которые с северной стороны всегда обрастают мхом, кутаясь в него, как в шубу. Помогают: и направление течения струй в попутной речонке, и следы ветра, намеченные на снежных сугробах, и множество других признаков, добытых долговременным опытом скитанья по лесам и указанных и доказанных и передовыми пришельцами из русских и давними насельниками тех стран, то есть инородцами. Выручило же главным образом доброе христианское чувство памятования о задних, несомненно неопытных и обязательно страждущих.

В Архангельской и Вологодской губерниях лесные избушки, названные образным славянским словом «кушней» (от куши), — в Сибири переименованные в «займки» —

великие, но мало оцененные пособницы при народных переселениях (особенно первые). Никому они не принадлежат, и неизвестно, кто и когда их срубил, а по заплатам на щелях видно, что их чинил тот, у кого нашелся досуг и топор. Изба стоит без хозяина, заброшенную в лесу, значит она мирская: забредшего в нее некому выгнать; к тому же она и не заперта. Вместо окон в ней щели, вместо двери — лазейка; печь заменяется каменкой; пазы прогрело солнышко и вытрусил ветер; углы обглоданы и расшатаны. Чтобы вконец не обездолили лютые бури, хижина приникла к земле: на потолки (крыш нет) накиданы камни и густо навален дерн, даже веселая травка там выросла, и завязались небольшие березки. В такой избушке на курьих ножках, пожалуй, и не выпаришься, хотя она и очень похожа на деревенские баньки. — и тепло она держит кое-какое. Нехороша она видом и складом, но зато хороша обычаем. Про бездомного случайного человека в ней всегда оставляется какой-либо припас — кадочка соленой трески, ведро с солеными сельдями, голая соль в берестяной коробочке, сетка с поплавками половить свежей рыбы в соседнем озере или речонке; вместо стакана — выдолбленная чурочка, и т. п. Вот и низенькие лавки, где посидеть можно и усталому человеку сладко выпасться. Вот в углу и полочка со старенькой иконой — богу помолиться. Отсиделся здесь некто из передних, ушел — и владей избушкой, кому надобно. Дай господи повладеть тому, кому доведется отсиживаться от лютых морозов, злых выюг и проливных дождей. Кто отсиделся, тот поблагодарил тем, что оставил здесь из своих припасов, какие оказались у него излишними и каковыми не жаль поделиться. Кому снова довелось испытать подобное, — поступай таким же образом по вековым примерам и по правилу, нигде не записанному, но всем известному по наслуху.

В Сибири эта забота об участии отсталых и задних до сих пор, как остаток старины очевидно, сохранилась в полках, приделанных снаружи домов, под кухонным окном. Сюда домовитые хозяйки ставят остатки из съестных припасов для нищей братии и для прохожего человека. В последнее время этим воспользовались беглые с каторги и мест поселения — и добрый обычай оказался

вдвойне милосердным и полезным: голодным бродягам нет нужды прибегать к воровству и грабительским насилиям: поешь и проходи мимо. Времена изменяют обычаи, из которых многие стали уходить в предание. Между прочими и горох сеют теперь подальше, особенно на больших и проезжих дорогах, но в глухих местах этот старозаветный прием не покинут. Его еще можно видеть воочию во свидетельство старинной загадки (на церковных богомольцев): «Рассыпался горох на четырнадцать дорог». Там еще поступают даже так, что к посеянному гороху присевают рядом репу, что называется сверх сыта. Пословица вопрошает прямо: «За репу кто хвалится?» — и сама же отвечает ясно: «Репой да брюквой люди не хвалятся». Да и что же, в самом деле, бывает на свете дешевле пареной репы?

ЧУЖОЙ КОНЬ

Понятие об этом и самое имя составилось также из юридических обычаев, на этот раз самых древних. Источник находим в первом письменном памятнике русского законодательства, замечательного небольшим количеством статей и мягким тоном при наложении взысканий за преступления. Они ограничивались по большей части денежными пенями (продажами) и вирами, определяемыми взносом ходячей монеты — гривны. Этот драгоценный памятник, известный под именем «Русской правды», составленный киевским князем Ярославом (Мудрым), относится к 1016 г. В нем-то и заключается буквальное объяснение пословицы, всем известной на словах и на деле: «с чужого коня среди грязи долой». В «Правде» написано: «Аще кто всядет на чуж конь, не прошав, ино ему три гривны» (то есть платить за конокрадство). Мимоходом скажем, что при разборе юридических терминов требуется чрезвычайная осторожность, не всегда соблюдаемая нашими исследователями. Встречаются ошибки при различении, например, таких двух общеупотребительных до сего дня выражений: «бить челом» — это значит просить о чем-либо, а «ударить челом» — поднести какой-либо подарок и т. п.

СВИН ГОЛОС

Говорят обычно: «Кричат в свин голос» (по объяснению Даля) — кричат не во-время, некстати, до поры или спустя пору, заранее, а особенно запоздно». Повод к этому выражению дали те грязные и глупые домашние животные, которые, в летнюю пору гуляя без пастуха, бегут с поля домой всегда поздно, когда уже подоили коров и загнали овец, нередко даже ночью, с ревом и хрюканьем. В отчаянии, что замешкались и загулялись по рассеянности и несмышлености и нашли ворота крепко закрытыми, свиньи разводят хрюканье до самого утра и визжат, как зарезанные. Кто помнит деревню, тот не забыл этих ежедневно и в разных местах повторяющихся сцен отчаяния и жалоб, где своя вина валится на чужую голову. Не соображает глупая свинья того, что вот и ворота крепко закрыты и хозяева сладко спят, — нечего больше делать, как ложиться спать на том самом месте, где стоишь. К чему же вопли и отчаяние, когда перед глазами пример: собака-жучка свернулась кольцом у завалинки и спит себе молча и крепко? Отсюда — по настойчивости применения и точности живых наблюдений — имеется в языке еще выражение: «в свины полдни», то есть тоже поздно, и при этом настолько поздно, как это могут делать люди, совершенно ленивые, рассеянные, непривычные не только ценить золотое время, но и соблюдать часы. К ним-то и обращается этот злой и насмешливый, но справедливый упрек, известный, однако, не только великороссам, но и белоруссам — «свинья полудня не знает».

ПОПРОСТУ — БЕЗ КОКЛЮШ

Сидит человек на лавочке, весело ухмыляется, перебирает ногами, болтает всякий вздор, что и понять невозможно, — это он «коклюши перебирает». Другой подошел, нахмурил брови, придал лицу не только серьезное, но и строгое выражение, старается говорить низкими нотами; временами урывками подсмеется, не говорит

прямо, а как бы прячась и крадучись, говорит одними намеками, что называется обиняками — это человек «коклюши плетет». Говорил бы лучше все прямо и просто — «без коклюш»! А иной придумал хитрость, подставил приятелю ногу, товарища обманул, «коклюшку подпустил». Малое слово, смешное для уха, не всякому понятное, в самом деле означает ничтожную, маленькую и простую вещицу: точеную палочку, утолщенную на одном конце и с пуговкой на другом; под пуговкой на ней обязательная шейка. Это и есть коклюха, или коклюшка, — название, обязанное своим корневым происхождением коке, то есть яйцу. Целыми десятками повисли они на нитках — бумажных, шелковых и золотых, ниспущаясь с мягкой подушки, как в старинные времена на лоб и виски русских круголицых красавиц свисали бисерные и жемчужные начелья. На одной подушке, называемой кутузом — именем, давшим, между прочим, прозвище родоначальникам героя отечественной войны, — висит этих коклюшек так много, что непрigлядевшемуся глазу невозможно разобраться — совсем лабиринт. Когда шевелит ими мастерица и издают они тупой деревянный звук, щелкая друг о друга, в глазах уже положительно рябит. Перебрасывает она теми, которые висят под носом; затем быстро перекидывает руку на другую, на третью сторону кутуза, откуда коклюшки подбрасывает к себе и опять кидает их вбок или снова назад. Понять невозможно здесь ни системы, ни плана и даже нельзя проверить наглазно, что выйдет от этой суетни рук. Там на кутузе лежит невидимый сколотый узор, и мастерица следует ему слепо и послушно, а зато и суетня рук и порча глаз: выходит у ней кружево, годное и на воротник и на чепчик. Это — очень хитрое и мудреное дело, а в умелых и привычных руках доводимое до изумительной виртуозности. Во всяком случае работы наших кружевниц замечательны отчетливостью, и беззастенчивыми продавцами выдаются (не без основания) за иностранные. Самые лучшие кружева плетутся во Мценске (Орловской губернии) тамошними мещанскими девицами; похуже в слободе Кукарке (Вятской губернии), но более известны и распространены кружева балахнинские (из города Балахны, Нижегородской губернии). Так и

говорится: «кутуз да коклюшки — балахнинские игрушки», а также: «балахнинские мастерицы плести мастерицы» — столько же (по двоякому смыслу присловья) кружева, как и сплетни. К последним особенно располагает совместная работа: чистая, тихая, молчаливая и очень скучная. Она опасна для глаз и плохо вознаграждается. Все мастерицы, с причислением сюда вологодских городских и подгородних, находятся в руках плутоватых и бойких скупщиц. Эти дают достаточно благоприятный повод, чтобы перемыть их косточки и на их счет и на очистку совести позлословить. При таких занятиях и самая работа хорошо спорится.

ПО-РУССКИ

Объяснить это слово с полнейшею ясностью и надлежащею точностью очень трудно и почти невозможно. Разобрать по частям немудрено и каждой дать толкование позволительно, но слишком вдаваться и в частные объяснения будет весьма утомительно. Жить и поступать, говорить и думать, одеваться и даже обуваться, причесываться и наряжаться, петь и плясать, бранить и бороться, и т. д. обязательно делать русскому человеку по-своему, и совсем не так, как принято другими народами чужих земель. Но и в своей земле не все из упомянутого делается так на Волге, как на Волхове, хотя тоже по-русски, в том и другом и десятом случае. А по-московски, например, совсем уже не так, как по-петербургскому. На это можно собрать целую кучу доказательств, а чтобы не легла она тяжелым камнем, коснусь здесь слегка и возьму на этот раз лишь подходящее.

Несмотря на строгую заповедь, нелегко человеку познать самого себя, то есть изучить нрав и сердце, а спознавши кое-что из прирожденного и приобретенного — еще труднее сознаться в недостатках. Не только из людей, но из целых народов не видим мы откровенных, знаем больше замкнутых в себе, или гордых, или хвастливых собою. Тем не менее народ наш пытался сделать над собою поверку и, по привычной откровенности и пря-

моте характера, покаялся в кое-каких случайных поговорах. Их, конечно, немного, как и быть должно. Сам в своем деле никто не судья — пусть лает собака чужая, а не своя. По такой причине за справками к соседям мы не пойдем (мало ли что люди болтают: всех не переслушаешь), но, ограничившись сделанными попытками домашней оценки из этого живого источника, возьмем наудачу более ходячие выражения.

РУССКИЕ СВАИ

Их три, и кто их не знает, и кто ими не тычет вопреки буквальному евангельскому изречению о бревнах, прямо в глаза, да и так часто, что пора бы и перестать? Ведь в самом деле, наше «авось» не с дуба сорвалось. В стране, где могучие силы природы свыше меры влиятельны и властительны, и в тысячелетней борьбе с ними мы еще далеко не смирили леса, не обсушили почву, не смягчили климат (как удалось это сделать, например, в тацитовской Германии), поневоле приходится на авось и хлеб сеять. По зависимости от этого на многие ли другие дела можно ходить спокойно, с верным расчетом на удачный исход и несомненный успех? Где нельзя бить наверняка, а работать все-таки надо, там поневоле приходится поступать очертя голову и закрывши глаза. Кто горьким опытом жизни беспрестанно убеждался в том, что заказной труд его непременно худо оплатится, а из десяти в девятое рабочий совсем не получит расчета, тот «обязательно исполнит заказ «как-нибудь», как тверские кимряки, которые шьют сапоги, пригодные лишь от субботы до субботы (их еженедельного базарного дня). И в личных интересах он поступит так же точно, с прямым убеждением, что на его век хватит. Работу, где не вознаграждается труд, а иногда еще требуют сдачи, то есть производят вычеты и штрафы, он сделает небрежно, чтобы поскорее подыскать другую и на ней наверстать испытанные и рассчитанные потери. Если со стороны скупщика и заказчика — стремление донельзя понизить цену, иногда прямые злоупотребления, то со стороны кустаря-мастера —

тоже желание сбыть товар похуже. В погоне за каждой копейкой, которых выручается так мало, о тщательной работе не много заботятся. Здесь, при крайней дешевизне изделий, «авосем» служит огромный навык в работе, а «небосем» — экономическая теория разделения труда. С голоду да с холоду приходится и на незнакомый и на непривычный труд ходить по вере, что смелыми владеет бог, а смелостью берут города. Одному любителю в Калужской губернии удалось развести канареек, а теперь там целые заводы и при них новое производство — клеточное. Приходится набрасываться на работу с отчаянным криком: «Не бось», то есть чего бояться, — выступай смелей, не трусь! Принимайся, благословясь: что-нибудь да выйдет.

Не для чего, стало быть, удивляться, если такие обычные выражения обратились в пословицы и поговорки:

— Небось дождь будет? — А ты небось этому рад.

Может быть, и все эти три сваи, на которых стоит русский человек, оттого глубоко вбиваются в землю, что самая русская почва мягкая, свежая, девственная и, стало быть, податливая.

Там пускай себе авоська вьет веревки, а небоська петлю закидывает. Пускай досужие люди в городах, в теплых и светлых покоях, при обеспеченной жизни умо-заключают о том, что эти три сваи суть живые силы, действующие будто бы даже как самостоятельные существа. Пускай охотливые люди, стоя в беззаботной сторонке и с безопасного края, строят на этом явлении свои отчаянные теории, — с них за это податей не берут, а еще самим за такой труд платят деньги. Обвиняемым самим видно яснее других, что эти три родные «набитые» братья всегда вместе, всегда друг другу помогают и живут в вековых и близких соседях, — никак с ними не развязаться и не разделаться: помогайте, пожалуйста, вы, умные люди! Самим никак не сладить, когда русаку и возра-стать приходится на авось, а придя в полный возраст и принявшись за свой ум, ежедневно видеть и убеждаться, что «авосевы города всегда стоят негорожены, авоськины дети бывают не рожены» и «авось да небось к добру не

доводят». Идите на подмогу с наукой и искусствами, а не с напрасным обвинением и насмешками. Сам народ давно сказал, что «немудрено жить издеваясь, мудрено жить измогаясь». Привычно винят больше и чаще всего в наглядном и доказанном несчастье и, пожалуй, пороке русского человека его задний ум.

ЗАДНИЙ УМ

По объяснению довольно известной пословицы — это то, что у немца наперед разум как высшая познавательная способность, помогающая изобретать и приводить в исполнение, развитая наукой нравственная сила, довольно очевидная в мастерствах и художествах. Конечно, за немца в народном представлении сходит тут всякий иностранец без разбора: механик-англичанин, француз-парикмахер, итальянец с шарманкой и обезьяной и настоящие германцы: «штуки-шпеки — немецки человеки», отсюда поголовно исключаются все азиаты. Но укрепилось убеждение, что «у немца на все струмент есть, и он без штуки и с лавки не свалится», конечно, без рассуждения о том, что иноземный мастер прилачился производить одну только известную работу, которую, не скучая и с постоянством, исполняет целую жизнь, оттого в ней силен и отчетлив. Русскому за скудостью специальных знаний, за неразвитием экономической теории разделения труда, когда одному рабочему всю жизнь приходится вытачивать одни только часовые зубчатые колеса, а другому пружины, — русскому велела судьба поспевать всюду, на всякую работу, о которой до того он и не помышлял. Особенно доставалось круто в походной жизни солдату и офицерскому денщику, которым доводится подвергаться ежедневным экзаменам по всем видам немецких ремесленных цехов. При таких условиях нечего удивляться тому, что развивалась низшая познавательная душевная способность: догадливость или находчивость, — то, что привычно называется сметкой. И впрямь выходит так, как образно подсказывает поговорка, основательно убеждающая в том, что до чего

доходит немец разумом, до того русский вынужден доходить глазами: первый изобретает, второй перенимает. Зато уже эта переимчивость, от долгого и частого употребления, в свою очередь доведена до изумительных и поражающих размеров. Она же, в ожидании чужих образцов и готовых примеров, и обленила. Выродился тот задний ум, в котором откровенно сознаются и говорят, что если бы он, как у немца, стал у русака наперед, то с ним бы тогда и не сладить. Без того только одни крупные утраты. Задний ум всегда рассчитывает на память и в ее запасах и приобретениях ищет уроков и руководства. При виде успехов новых изобретений он труслив и недоверчив, становится в тупик и, придя в себя, начинает разбираться в то время, когда требуется немедленный ответ. Дело не ждет, а задний ум все медлил, копался, осматривался — и упустил время. Не воспользовавшись благоприятным моментом, он многое потерял. Этот-то роковой случай и засчитывается в упрек, и задний ум подвергся насмешке, когда, по усвоенной привычке, ввиду неудачи и осязательных потерь, остается хозяину его развести руками, приклонить голову и всю пятерню запустить в волосы и почесать ею затылок. Сюда именно и поместило воображение наблюдателей этот задний ум, и за дурную привычку, усваиваемую с детства, нарекли ему такое характерное и остроумное имя.

В. И. Даль на эту же тему записал следующий народный анекдот: «Голодный татарин лег спать и видел во сне кисель с сытой. Проснувшись тотчас, он ощупался кругом — ложки нет. Почесав бритый затылок, он встал потихоньку, нащупал впотьмах ложку в поставце, положил ее за пазуху и лег опять спать — да уже киселя не видел. «Беда нашему брату, — сказал он на другой день, — кисель есть, так ложки нет; ложка есть, так киселя нет». К этому случаю и говорится пословица: «Кабы у цыгана тот ум наперед, что у мужика назади — то-то б богато жил».

Прожитым опытом, как оставленным богатым наследством, действительно обеспечен русский человек. Хотя он и утешается и оправдывается тем, что «заднее (то есть прошлое) — божье», но говорят сторонние люди, более наблюдательные и знающие: «бей русского — часы сде-

дает», — пора отставать от старых замашек замыкаться в правилах изжившей свой век прадедовской науки и браться за ум. «Мужик хоть и сер, да ум его не черт съел». Он только медленно работает, потому что мало упражнялся в отвлечениях, а под лежащий камень вода не течет. На что мы мастера и большие искусники — это *ругаться и драться*.

РУГАТЬСЯ И ДРАТЬСЯ

Не в исключительный упрек нашим газетам и загульным вечеринкам, в полную откровенность следует признавать эту дурную привычку за наше родовое и племенное свойство. Привычка эта доведена до сквернословия, в искоренении которого бессильны всякие меры, включительно до попыток современного благотворительного общества распространения духовно-нравственных книг и брошюр. Сотнями тысяч разносится, раздается даром, расклеивается и десятками тысяч покупается за семитку печатное на листе и за трешник в виде брошюры не говоренное Златоустом поучение, а русский человек тем не менее, что раз выговорил, на том и уперся. Он говорит: не выругавшись, и дела не сделаешь; не обругавшись, и замка в клетки не отопрешь. В первом случае не жаль бранных слов для других, во втором — нет пощады и самому себе. В обоих же, как и во всех прочих, на брань слово очень легко, дешево покупается! Ввиду опасностей, при горячке в спешных работах лучше затыкать уши тем, у кого они нежно устроены. Иноземный моряк в бедовое время плаванья становится смиренным, молчаливым и сумрачным, как те самые темные тучи, которые знаменуют опасность; в нашем старинном флоте на то же время нарождались такие в ругательствах искусники, что следует зачесть им это мастерство в богатство.

Везде чуется накипевшее на сердце недовольство, которое обуздано как будто лишь одними случайными обстоятельствами, но выжидает, однако, повода и пользуется им для срывания с сердца. Затем опять терпение

в молчании, мотанье на ус, видимое равнодушие и обманчивое безучастие к совершающимся событиям, то меланхолическое «себе на уме», которое также обращают в упрек и осуждение. Его все-таки побаиваются очень серьезно и основательно и уважают в то же время, зная, что это исторический продукт и законный способ действий. «Себе на уме» учится у решительных и умелых, выслушивает опытных и откровенных, выжидает своего времени, держит ухо востро и, выходя на дело, редко уже ошибается. В значении самозащиты и образа действий в жизни — это одна из самых характерных черт русского народного характера.

В старину (как свидетельствуют о том народные былины) соберутся, бывало, могучие богатыри к ласковому князю за почетный стол. Рассказывают о своих удалых подвигах, высчитывают, сколько побили злых поганых татар, сколько душ христианских из полону вывели, испивают чары зелена вина, истово ведут речи поученому, чинно чествуют гостеприимство, величают хлебосольство, пируют — проклажаются. И сидеть бы так до полуночи и до бела света. Да один через край выхвастался, не по-русски и не богатырским обычаем повыступил, — как стерпеть:

У нас, на Руси, прежде всякого дела не хвастают,
Когда дело сделают, тогда и хвастают.

Хвастуны — не в наших нравах среди смиренного житья и молчаливых подвигов. Таково у нас вековечное правило: собой не хвастай, дай наперед похвалить себя людям. Разрешается хвастать только при сватаньях, а смирение — всегда душе спасенье, богу угожденье, уму просвещение. Этою добродетелью русский человек многое выслужил и еще больше того получил на свой пай, в наследие и про обиход.

Не спускали богатыри вины виноватому, попрекали его насмешками, наказывали ругательствами, не смотрели на то, что княгиня Апраксеевна сама на пиру сидит. При этом не разбирали и старых заслуг и великих богатырских подвигов. На что были славны богатыри Алеша Попович и Чурила Пленкович, а ни тому, ни

другому, ни третьему не было ни прощенья, ни снисхожденья.

Говорили Алеше Поповичу:

Ты хвастунишка, поповский сын!
А живи во Киеве со бабами,
А не ездй с нами по чисту полю!

Упрекали Хотену Блудовича:

Отца-то у тя звали блудищем,
А тебя теперь называем уродищем.

Даже Настасья Романовна не утерпела, при женской скромности и смирении, чтобы не выбрать и братца родимого, почтенного старца Никиту Романовича:

Ай же ты, старая собака, седатый пес.

И даже богатырскому коню — безответному существу — нет прощенья. Едет Добрыня на подвиги, а конь спотыкается не у места и не во-время. Добрыня ругается:

Ах ты, волчья снеды! Ты, медвежья шерсты!

Чужих, пришлых хвастунов старые богатыри не только обрывали и обругивали, но и жестоко наказывали. Попробовал было татарский богатырь на пиру понежежничать: есть по-звериному, пить по-лошадиному и притом еще похвалиться и хвастаться, что у него косая сажень в плечах¹. На него за то напустили не какого-нибудь храброго богатыря, а мужичонку плохонького, ростом маленького, горбатенького, худенького, хромоногонького, в полное посмеяние и надругательство. Однако тот татарина из тела вышиб, по двору нагим пустил. Бились они и боролись всякий своим способом (какая же ругань без драки?). А русская борьба отличается:

¹ Впрочем, эта гипербола слишком сильна, особенно для людских плеч, и в живой речи ею злоупотребляют неосновательно: косую сажень исстари принято считать от большого пальца вытянутой левой ноги по диагонали человеческого тела до конца указательного пальца правой руки (или наоборот): тут около трех аршин. Более близкою к правде отчасти окажется маховая сажень раскинутых крестом рук от среднего пальца правой до такового же левой: тут два с половиною аршина. Да ведь и притом каков сам измеритель ростом.

На ножку перепадает,
Из-под ручки выглядит.
Бьет правой рукой во белую грудь,
А левой ногой пинает позади.

Русская борьба — на два манера, по условию и по обычаям: в обхват руками крест-накрест — левой рукой через плечо, правой подмышки или под силки, а затем, как усноровятся: либо подламывают под себя, либо швыряют на сторону и кладут на бок и на спину через ногу. По другому приему, с носка, вприхватку, берут друг друга одной рукой за ворот, а другой не хватать. Лежа-чего не быют — лежащий в драку не ходит; мазку (у кого кровь показалась) также не быют; рукавички долой с рук. В сцеплянке, то есть в одиночной схватке, бой бывает самый жестокий, потому что ведется врассыпную, а не стена на стену, где не выходили из рядов. В единоборстве иногда просто пытаются силу: «тянутся», садясь наземь и упершись подошвами ног, хватаются руками за поперечную палку и тянут друг друга на себя. Иногда палку сменяют крючком указательного пальца. Татарская и вообще степная борьба ведется также по-своему: татары хватаются за кушаки и левыми плечами упираются друг о друга; перехватывать руками и подставлять носки не разрешается. Другой способ (у калмыков) совсем дикий: сходятся в одних портах без рубашек, кружатся, словно петухи, друг около друга; затем, как ни попало, вцепляются и ломают один другого, совсем по-звериному, даже как будто бы по-медвежьи.

Иной и крепок, собака, не ломится,
А и жиловат татарин,— не изорвется.

С дикими ордами старинные русские люди иначе и не начинали, как единоборствами, и не кончали споров без драк врукопашную, стена на стену, когда еще не знали огненного боя, а ведались только лучным боем (стрелами из луков). Также стена на стену, на общую свалку хаживали предки наши, когда не устанавливалось ладов и мира между своими, как бывало у новгородцев с суздальцами, у южной Руси с северною, у черниговцев с суздальцами, у новгородцев с чудью и немцами, как теперь бывает на кулачных боях. И нынешние бои,

как наследие старины, представляют расчеты по поводу накопившихся недоразумений и неудовольствий двух противных лагерей. Они и бывают трудно искоренимыми исключительно в старинных городах, где борются два направления: жители, например, одной стороны реки, разделяющей город, — мелкие торговцы или пахари, живущие же по другую сторону — фабричные. Или правая вьет канаты, а левая торгует хлебом и фабрикует сукна, холст; в Казани одна стена — суконщики, другая — мыловары и т. п.

Если не удавалось в старину отсидеться за деревянными стенами в городках и надо было выходить в чистое поле, выбирали для этого реку и становились ратями друг против друга. Суздальцы против черниговцев стояли в 1181 г. на р. Влене таким образом две недели, смотря друг на друга с противоположных берегов, и переругивались. Припоминали старые неправды и притеснения, укоряли взаимно друг друга племенными отличиями, обращая их в насмешку и раззадоривая. Доставалось и самим князьям — предводителям. Южане обругали новгородцев «плотниками» и, похваляясь аристократическим своим промыслом — земледелием, выхвастывались силою, боевым искусством и богатством своим: «заставим-де мы вас себе дома строить», а по пути обозвали и новгородского князя «хромцем». Не оставались в долгу и эти. Собираясь на брань, они послали сказать врагам, также попутно посмеявшись над их князем: «Да то-ти прободем трескою (жердью) череву твою толстую» и т. п. Точно так же и под Любечем долго стояли новгородцы противу киевлян и не решались переправиться через р. Днепр, пока первые не выведены были из терпения обидами и грубыми насмешками. Киевский князь Ярослав точно так же в ссоре с тмутараканским Игорем счел необходимым бросить в него бранное и оскорбительное слово: «Молчи ты, сверчок!» Начали биться. Битва кончилась победою Игоря, а народ стал с той поры, в посрамление бранчивого, подсмеиваться над ним: «Сверчок тмутаракан победил».

Так поступил и Мстислав тмутараканский, сын св. Владимира, еще в 1022 г., согласившись побороться с Редедей, косожским князем, по свидетельству «Слова

о полку Игоре́ве». «Для чего губишь дру́жину? — го-
ворил Редедя. — Лучше сами сойдемся бороться, будем
биться не оружием, а борьбою». Боролись крепко, бо-
ролись долго. Мстислав стал изнемогать: Редедя был
велик ростом и силен. Взмолился «храбрый» Мстислав к
пречистой богородице, обещая построить во имя ее цер-
ковь, — собрал все свои силы и ударил врага об землю.
Потом вынул свой нож и «зареза Редедю пред полки
косожскими».

С тех дальних, первобытных времен переко́ры и вся-
кого рода переругива́нья, в дешевой форме вызова и
задоров, или собственно «брань», стали употребля́ться,
подобно слову «бита́ва», в переносном значении, для замены
слов «война» и «сра́жение». На самом деле существовал
издревле особый порядок. За бранью следовала или
«свалка» врукопашную, или «сшибка» на кулачки, или
даже прямо потасовка, как схватка за «свя́тые волоса́»,
и в этом удобном виде поволочка, лежа на земле или стоя
на ногах из стороны в сторону, с боку на бок, пока кто-
либо не ослабнет первым. Брань одна или оконча́тельно
решала спор, или разжигала страсти других вражду́ю-
щих до драки, когда они вступали в дело, принимая
участие и сражаясь всем множеством. Частные и отде́ль-
ные схватки переходили во всеобщую свалку, «завя́зы-
валось сра́жение», то есть сильное поражение насмерть
ударами или оружием. Таковое несомненно должно, с
разгаром страстей и общим одушевлением до самозабвения,
перейти в подлинный «бой». Побойище делается
повсюдным, раздражающим зверские инстинкты при
виде пролитой крови и увечий. В конце концов настоя-
щая «бита́ва» объе́млет все поле сра́жения. Здесь уже при-
нимают участие не только отдельные полки и отряды, но
целые армии, полчища¹ со всеми современными приемами
баталий включительно до батального огня, то есть такого,
когда ружейная и пушечная пальба производятся без
команды, непрерывно, пока не прогремит барабанный

¹ С переносом ударения это слово получает двоякое значение:
полчи́ще значит большой полк, имеющий число людей свыше опре-
деленного количества, и по́лчище — сильная рать, могучая сила —
армия.

отбой, либо не расстреляются из сумок все запасные патроны. А засим — и неизбежные последствия, то есть либо победа Петра Великого на Полтавском поле и «побой» Карла XII, которые вспоминаются до сих пор церковным празднеством — благодарственным молебном со звоном — 27 июня, в день Сампсона-странноприимца; точно так же — либо «Бородинское побоище», не указавшее с точностью перевеса сил сразившихся русских с французами на этом поле в Можайском уезде, Московской губернии; либо «Мамаево побоище», которое ввергло всю Русь в продолжительное рабство и оскорбительную зависимость от диких орд. Надо было пройти долгому времени, чтобы последнее великое несчастье народа могло благодушно превратиться в насмешливое выражение и шуточный укор. Он обращается в таком виде к тем людям, которые беспутно ведут в доме хозяйство и, производя ненужные перевероты, достигают страшной неурядицы и даже полного имущественного разгрома со ссорами, драками и следами боевых знаков в виде синяков, желваков, колотых ран с рассечкой и ушибных подкожных и легких царапин ногтями и т. п. Где вам с нами «биться-ратиться, мужики вы лапотники, деревенщина-засельщина, воры-собаки, голь кабацкая!» А тем временем по полям ходит ветер, все подметает и разносит: брань на вороту не виснет и в боку не болит, а бранят — не в мешок валят. Пьяный мужик и за рекой бранится, да ради него не утопиться; не кидаться же, в самом деле, в воду от лихого озорничества: собака и на свой хвост бредает.

Бывало так, что враждующие соседи досыта наругаются, отведут душу, да на том и покончат и разойдутся: так нередко случалось у новгородцев с суздальцами. Затевать долгие и большие бои было невыгодно: одни без других жить не могли, потому что жили частыми сбменами, вели живую торговлю. У новгородцев водились товары на всякую руку, вывезенные даже из-за моря, у суздальцев на зяблую и мокрую новгородскую страну заготавлился хлеб-батюшко. Закичатся новгородцы — суздальцы захватят их торговый город и складочное место Торжок, и запросят купцы у пахарей мира по старине, с крестным целованием. Тогда обходилось дело

и без драки, без рукопашных схваток, без лучного боя. Заломается Суздальская земля — новгородцы наймут рати, пакупят оружия, вызовут недругов с очей на очи, поругаются — отведут душу. Да надо же и подраться — «сердце повытрясти». Ругательствами подбодрились, охочих витязей на борьбу выпустили — еще больше разожгли сердца. Когда попятили богатырей на стену, дрогнула вся стена как один человек и закричала свой «ясаk» — обычное заветное слово (новгородское «за св. Софию», псковское «за Троицу» и т. п.), и пошла стена на стену. Произошел бой «съемный»: войска сошлись вплоть и сразились «врукопашную». Всякий здесь борется не силой, а сноровкой и ловкостью: схватясь с противником, старается валить его наземь и побоями кулаками и ударами дубиной или холодным оружием довести его до того, чтобы он уже не вставал на ноги.

И не слышно было в бухтанье да охканья!
И взял он шалыгой поколачивать,
Зачал татарин поворачиваться,
С боку на бок перевертываться;
Прибил он всю силушку поганую,—
Не оставил силушку неверную на семена.

В Липецкой битве, на берегах ручья Липицы, новгородцы не согласились биться с суздальцами на конях. Они спешили и разгорячились до того, что сбросили с себя порты (шубы, рубахи) и сапоги; стали сражаться налегке, врассыпную. Суздальцы побежали. Вопль и стоны изломанных, избитых и раненых слышны были за несколько верст. В другой раз, когда Александр Невский наказывал немцев за дерзкую выходку, тоже за похвальбу «покорить себе славянский народ», новгородцы смяли их с берега на лед, жестоко бились на нем врукопашную, поразили врагов наголову и потом гнали их по льду на расстоянии семи верст. Когда тот же Александр Невский бился со шведами на берегах Невы, витязи его так разгорячились в битве, что совершили богатырские подвиги. Один новгородец, преследуя неприятелей, спасавшихся на корабль, вскочил на доску, был сброшен с нее в воду вместе с конем; но вышел из воды невредим и снова ринулся в битву. Другой пробился к златоверхому шатру шведского предводителя и подрубил

его столб: шатер рухнул; это обрадовало русских и навело уныние на врагов.

Из взаимных бранных перекоров, разжигавших на битву или собственно бой (оттого они часто в старину назывались «бранью»: «броня на брань, ендова на мир»), остались многочисленные следы в так называемых приговорах, где одна местность подсмеивается над недостатками или пороками другой. Иные из этих насмешливых прозвищ до того метки и злы, что немедленно вызывают на ссору и драку современных невинных потомков за грехи или недостатки виновных предков.

Впрочем, собственно браниться, то есть в ссоре перекоряться бранными словами, по народным понятиям, не так худо и зазорно, как ругаться, то есть бесчестить на словах, подвергать полному поруганию, смеяться над незащищенным, попирая его ногами. С умным браниться даже хорошо, потому что в перекорах с ним ума набираешься (а с дураком и мириться, так свой растеряешь). Зато кто ругается, под тем конь спотыкается.

Хотя лучше всякой брани «Никола с нами!» — тем не менее забалованная привычка часто и говорить и делать с сердцов и даже не сердясь ругаться и без всяких поводов браниться — привычка, как видим, вековая, досталась нам от предков и укрепилась так, что теперь с нею никак уже и не развязаться. Еще в глубокую старину народ убедился в том, что брань на вороту не виснет, и это укрепил в своем убеждении так твердо, что уже и не сбивается. В позднейшие времена он еще больше утвердился на том, когда, по указу государеву (Екатерины II), и заглазная брань отнесена к тому же разряду. Сказано, что она виснет на вороту того человека, который ее произнес. Затем известно, что, не помутясь, море не устает, без шуму и брага не закисает, стало быть без брани, когда далеко еще не все у нас уряжено, скроено и сшито и приходится все перекраивать, а сшитое распарывать, без брани — не житье, как ни колотись, сколько ни мучайся. Соблюдай лишь при этом одно святое, неизблемое правило: «языком и щелкай и шипи, а руку за пазухой держи», хотя, однако, одною бранью и не будешь прав.

По-русски говорить — это не одно только умение изъясняться на своем родном языке, что не очень легко на таком богатом и поэтому очень трудном. Обыкновенно удивляются, откровенно сетуют и наивно высказывают жалобы наши матросы, например, когда во время плаваний при обращениях с туземцами требований их те не понимают и желаний не исполняют:

— А ведь я ему русским языком говорил!

Несмотря на глубочайший комизм подобных жалоб и, повидимому, необычайное простодушие темных людей, здесь в сущности заключается нечто более серьезное, оправдывающее призрачную наивность. Кругосветный матрос, сибирский казак, закавказский солдат глубоко убеждены в том, что, сказавши по-русски, они выразились точно. Это — не по самомнению, что только на русском языке можно выражаться таким образом, а по привычке, сделанной с малых лет — говорить прямо, решительно и коротко. Этот способ непривычным посторонним людям кажется грубоватым и неприятным именно потому, что простые деревенские люди говорят мало, не привыкли даром пускать слова на ветер. Не прибегают они к иносказаниям и не знают льстивых подходов, обходных приемов и подслащенных слов, предоставляя это городским людям. К словоохотливым из заезжих они прислушливы, но опасаются им вполне доверяться. Болтуны из соседей и своих не пользуются никаким уважением, считаются пустыми и бездельными людьми, зачастую подвергаются насмешкам и обидному презрению. Во всяком случае, по деревенским понятиям, болтуны, с неизбежною примесью хвастливости и рисовки собою, «бахвалы», по коренному народному выражению, — люди неумные, дураки: «Язык болтает, а голова не знает». Языком молоть спуста одно и то же, что день-деньской по базарам болтаться без всякого дела и в то же время другим мешать дело делать. Пословичные приметы ведут даже к таким решительным и смелым заключениям: «Коли болтун, так и врун; врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор». Между тем иначе, как просто, ясно и коротко,

по народному убеждению, и говорить по-русски нельзя. Образный язык роскошно снабжен для того всеми данными; старайся лишь ими пользоваться. В противном случае в глазах русского человека и по выражению тех же матросов и солдат будет уже «на манер французский» и, может быть, даже немножко и «погишпанистей».

Впрочем, не одни деревенские люди о родном языке такого строгого понятия.

— Кажется, по-русски я тебе сказал; кажется, русским языком я тебе говорю! — с сердцем и сильным упреком сплошь и рядом и ежедневно обращаются образованные люди к бестолковому или лентяю, не пожелавшему или позабывшему исполнить поручение или приказание. Чего уж хуже: стоит ли после того с таким человеком язык понапрасну трепать? Очевидно, что с ним нельзя вести никакого дела.

Отсюда же и «отрезать по-русски» значит сказать решительное и окончательное, прямое и бесповоротное слово, напрямки, начистоту, по всей голой правде. По правде русак хочет жить, но мало ее видит, про нее только слышит и целый свой век тужит о ней. Один из самых честных и умных князей сказал своему народу, что «не в силе бог, а в правде». Ему охотно поверили. Потом, немного осмотревшись, узнали правду Сидорову да Шемякин суд, затем познакомились с той, которую в Москве у Петра и Павла выбивали длинными прутьями из пяток, когда человек был подвешен за руки на дыбу. Мимоходом в то же время русские люди узнали правду «цыганскую», которая оказалась хуже всякой православной кривды, да «греческую» — еще страшнее («коли грек на правду пошел, держи ухо востро!»). А с тех пор как стали заводиться новые порядки, русак решил, что теперь вся правда — в вине, и попрежнему слезно горюет: «и твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет». Он охотно ее ищет и стал, однако, очень недавно находить — в суде. Последнее русское приобретение пришлось теперь кстати и, что называется, ко двору, тем более, что давно уже откровенно выговорилось: «За правду не судись: скинь шапку да поклонись». Недаром же и первый свод законных постановлений носит название «Русской правды» еще с 1016 г.

ПРИНЯТЬ И УГОСТИТЬ

Вот здесь наша слава, честь и хвала безраздельные и беспримерные. Если обойти весь свет и потолкаться у всех народов, даже между азиатскими, которые в особенности отличаются гостеприимством и у которых оно не только народный обычай, но и религиозный закон, — подобной русской готовности и умения обласкать заезжего и захожего гостя положительно нигде найти нельзя. Широко раскрыты наши ворота для званных и незванных, как бы подчас ни были неудобны последствия и как бы ни разнообразились причины, породившие подобное явление. Русское радушие оттого велико и сильно, что, породившись среди бесприветной природы и в бесприютной стране, выучилось ценить чужую нужду в посторонней помощи и понимать опасности тех, кто стучит в окно и просит приюта. Начало этому доброму и высокому чувству лежит во мраке далеких времен, когда заселялась русская земля и передние переселенцы, испытавшие суровую школу передвижения по дремучим необитаемым лесам, выучились помнить о задних. Десятки похвальных обычаев, обращенных на пользу бесприютных и заблудившихся, сохранились во всей целостности до наших дней, несмотря на то, что круто изменяется образ нашей великой земли. Житейские невзгоды в первобытной суровой стране, смирившие человека и научившие его одновременно общинному быту, артельному труду и круговой поруке, положили в основание характера беспредельное добродушие. С последним же, как известно, непосредственно соединяется великая христианская заповедь любви, проявляющаяся участием, состраданием и готовностью помощи не только тем, которые открыто просят, но и тем, которые неслышно страдают и гордо молчат. Так называемая тайная милостыня темною ночью, неслышной походкой, осторожно спрятанной рукой так же деятельна и распространена, как и подача на выходах из церквей, на базарных и ярмарочных площадках, и ранним утром, из домашнего окна при дневном свете, громко вымаливающим и выстукивающим просьбу в подоконья. Из-под них, как известно, ни один и ни разу не отходил еще без святой

Христовой милостынки. Если мы, между прочим, обратим внимание на разнообразие приветов, ласковых встречных слов, из которых, говоря по-книжному, составляется целый словарь, мы наглазо убедимся, сколь богато русское сердце и как роскошно разлито в нем, во всем своем разнообразии, благородное сочувствие и участие приветливым словом и делом. Не одному тяжелому, но и всякому малому труду посылаются встречным и мимоходным свидетелем добрые пожелания успехов и бога на помощь. Опасные моменты в жизни и все преткновения предусмотрены и взыскиваются словом живительным и подкрепляющим упавшую энергию. Во время сказанное слово умеет и плечам придать новую силу, и уменьшить боль в ноющей ране. Заявление теплого сострадания совершает великие чудеса там, где была потеряна всякая надежда и наступало время рокового отчаяния.

Складные и необычайно разнообразные приветствия становятся бесконечными в те времена, когда русский человек, вообще «гулливый» (по тому же пословичному признанию), распахнет душу и выставит праздничную хлеб-соль. Собственно праздничных пиров у русака меньше трех дней не бывает, словно и впрямь в честь святой троицы. «Добро жаловать» и «милости просим» получают такое разнообразие и оказываются в таком широком применении, что нет возможности уследить до конца. Русский человек вообще терпелив до зачина и всегда ждет задора, но лишь дождался помощи в товарищах — «ни с мечом, ни с калачом не шутит». Каков он в бою, таков и на пиру, где, по пословице, «пьют по-русски, но врут по-немецки». В таком случае выражение «принять по-русски» распадается на двоякий смысл: в бою и в недоброе время — это значит принять и прямо и грубо расправиться, пробрать, угостить так, что покажется солоно. В мирное время и на счастливый час — это значит принять с душой нараспашку и с сердцем за поясом и угостить до положения риз (по семинарскому выражению) и по крестьянскому: «Что было, все спустил; что будет — и на то угостил!»

Призыванием имени божьего во свидетельство сказанной правды и самою клятвою, как поличным доказательством, у нас на Руси зачастую злоупотребляют так, что божба потеряла подобающую ей силу. Тем не менее на нее предъявляют требования изверившиеся люди и в ней ищут успокоения совести и подкрепления своего убеждения, когда другие пред ними божатся и клянутся. Делается так или по дурной привычке, или из личных корыстных видов, но во всех случаях вопреки евангельской заповеди, повелевающей говорить только «да» или «нет» и в полном согласии с древними, далеко не покинутыми приемами и обычаями языческих времен. Проповедники слова божия запрещали употреблять в клятве имя бога, а у нас «ей-богу» стало равносильно евангельскому «ей-ей», простому «да», и идет оно мимо ушей и не вменяется уже ни во что. Не больше верят и таким тяжким заклинаньям, как «лопни мои глаза, развались утроба на десять частей», как «с места не встать — света белого (креста на себе) не видать»; как ссылка на телесную сухотку: «отсохни руки и ноги; всему высохнуть; иссуши меня, господи, до макова зернышка»; как базарное перед большими праздниками: «праздника честного не дожидаться, разговеться бы бог не привел, и куском бы мне подавиться». Не больше веры и тому, кто скажет: «вот бог видит» и при этом наклонится и сделает такое движение правой рукой, как будто берет горсть земли и затем подносит руку ко рту, как будто бы ест эту мать сырую землю (а иные даже, например, у белоруссов, и на самом деле едят ее). Бывают, однако, и такие клятвы, которые не признаются «малыми», но настоящими «тяжкими», судя по условным понятиям и местным вкусам. Иному верят, если он просто удостоверяет, что у него сегодня ни пито, ни едено, что у него крохи во рту не бывало, что у него только вода на лице была и т. п. Клятва своими детьми почитается везде одною из самых убедительных и строгих. Ее не вменяют в правду только в устах цыган, над которыми зато и подсмеиваются зло говоря: «цыган божится, на своих детей слыгается», или «шлется на своих детей».

Усердно божится и клянется купец за добротность товара, в котором он знает толк, перед тем бестолковым и слепым покупателем, которому понравился товар по внешности, но неизвестен по внутренним качествам. Тем охотнее божится продавец, чем больше покупатель обнаруживает готовности купить, не умея разобраться в добротности неотложно необходимой вещи. В торговле столько обманов в подделке, столько казовых концов, а стало быть, обширное поле для ошибок и промахов, что недоверие невольно ищет себе поддержки и оправданий в божбе и тяжких клятвах. Некоторые продажные вещи до того обманчивы и так подделаны, что на них может «обмишультиться» самый опытный глаз и привычная ощупь. Затем, чем темнее продаваемая вещь, тем больше недоверия покупателей и больше клятв от продавцов, которые «поневоле клянутся, коли врут». Так, например, нет ничего труднее купить хорошую лошадь (у цыган даже совсем не советуют их покупать). Не покупают коня деньгами, покупают всего чаще удачей. Кто бывал на конных торжках и ярмарках, тот легко вспомнит и вполне согласится с тем, что нет больше шума, отчаянной божбы и бессовестных клятв, как именно на этих местах, где действуют наглые и дерзкие на словах барышники. Они и язык особенный выдумали для своих плутней, и по конюшням держат целые аптеки и химические лаборатории. Вот почему случилось так, как подсказывает верно сложенная поговорка: если барышник «не божится, то и сам себе не верит, а если божится, то люди ему не верят». В старину будто бы купцы имели обыкновение божиться вслух, а про себя отрекаться от выговоренной клятвы. Теперь замечают, что совсем вывелась из употребления эта старинная «отводная» клятва, задняя мысль с отводом от себя по такому способу: «лопни глаза» (например, бараньи), «дня не пережить» (собаке), «отсохни (вместо «рука») рукав» и т. п. Теперь говорят: «Люди праведно живут: с нищего дерут, да на церковь кладут». Теперь стоит лишь пройти мимо мест продажи и купли, чтобы услышать самую разнообразную и беззастенчивую божбу на всякие лады, перемешанную с грубыми перекурами и сильной руганью.

Ввиду такой несостоятельности божбы и клятвы

при неверном расчете на то, когда правда себя очистит, придуманы разные способы острастки, чтобы добиться уверенности в зачуровываемой голой истине. Самоед никогда не согласится соврать, стоя на шкуре белого медведя и держа его голову в руках; он убежден еще, что за показную ложь съест его этот зверь при первой же встрече на Новой Земле. Старинные казаки боялись целовать дуло заряженного ружья, и теперь присяга на ружьице у донских казаков употребительна во многих станицах. Она считается вполне убедительною и страшною, если у ружья со взведенным курком поставлена будет святая икона. То же снятие со стены иконы и целование ее при свидетелях почитается еще клятвенным доказательством там, где ружье не играет такой большой роли, как у казаков, и где думают, что снимать для клятвы икону значит «потянуть руки на бога». Икона на голове, а кое-где, вместо нее, кусок свежего дерна также иногда служит бесспорным доказательством настоящей правды, как самая тяжкая божба (о чем я уже имел случай говорить в другом месте). У белоруссов до сих пор живо выражение «землю есць», то есть клясться землей — и не исчез обычай, в доказательство истины, класть в рот щепотку земли и жевать ее. Тверда и неизменна только та клятва, которую несут миром, когда идут круговой порукой, то есть стоят все заодно и каждый за всех.

ОДЕВАТЬСЯ

В наглядное доказательство того, насколько изменяется, даже на нашей памяти, не только внутренний смысл народной жизни, но и внешние отличительные этнографические признаки русского человека, достаточно остановиться на одежде и здесь, не уходя в дальнейшие скучные подробности, ограничиться, например, лишь одним головным убором. Не говоря об исчезнувших уже женских киках, кокошниках, повойниках и сороках¹,

¹ Последний женский убор, соро́ка — некрасивый, был особенно распространен; В. И. Далю еще удалось видеть сороку ценой в десять тысяч рублей.

более устойчивые мужские шляпы становятся теперь также большою редкостью.

До освобождения крестьян на глазах у всех было больше десятка сортов этой головной покрывки, носивших отличительный покрой и соответственные названия. По ним опытный, приглядевшийся глаз мог уверенно различать принадлежность их владельцев известной местности: шляпы, как наречие и говор, служили верными этнографическими признаками и точными показателями. Весьма многие, несомненно, помнят классические «грешневики» на головах московских извозчиков из подмосковных деревень, разъезжавших на зимних санках и на отчаянных клячах. Помнят и базарную общеизвестную «ровную» шляпу, где тулья была одинаково ровна около дна или верха и около полей на низу. Солидные старички и до сих пор ее не покидают, дорожа ее удобствами, именно потому, что «дело в шляпе» — в буквальном смысле поговорки: хранится синий ситцевый платок с завернутыми в нем деньгами, личным паспортом, нужными бумажонками, со счетами и расписками, с письмом от баламуты-сына из Питера и проч. Молодежь требовала на эту ровную шляпу цветную ленточку с оловянной раскрашенной пряжкой. Из этой шляпы выродилась «череповка» всей новгородчины — не слишком высокая, а середкой наполовине: стопочкой и коробочком. Некоторые местности у семеновских и макарьевских мастеров-кустарей требовали перелома этих ровных шляп по самой середине, другие делали перехваты ближе ко дну для украшения их в этих местах лентами и пряжками. В первом случае выходили шляпы «с переломом», во втором «с перехватом», где ленточка, пришитая ближе к верху, спускалась к полю наискось, как у рязанцев. Для Поволжья валяли из овечьей же шерсти, заваривали в кипятке и сушили на солнце, вместе с теплыми валяными сапогами, шляпы «верховки» и шляпы «срезок» (пониже и пошире). Сваляют покрепче, чтобы войлок стоял лубом, наведут поля пошире (у верховки узенькие), подошьют лакированную кожу и, вместо ленты, кожаный ремешок, наведут пушок или ворсу — выходит шляпа «прямая» или «кучерская», на потребу этим важным и гордым городским особам. Изготавливался в семеновских валяльных избах и ублюдок

среди шляп, называвшийся полуименем «шляпок», и настоящие уроды по форме и покрою: «ровный шпилек» (ибо был еще «шпилек московский»), «кашник и буфетка». Ровный шпилек похож был на опрокинутый кувшин, в каких до сих пор продают в Москве молоко, а кашник имел поразительное сходство с опрокинутым горшком, в каких обычно варят щи и кашу. Для поволжских инородцев изготавливаются особые шляпы: «чувашки», всегда черного цвета, и «татарки» — всегда белые и некрасивые: либо грибом, либо первозданным колпаком, наподобие скифских (или тоже белорусских) мегерок. Как под шляпами городского фабричного дела с широчайшими полями или крыльями всегда легко и просто можно было видеть священников, так из-под «бриля» глядит серьезное, усатое и мужественное лицо малоросса. Одним словом, во всех этих и других неупомянутых случаях воочию подтвердилась истина изречений: «по Сеньке и шапка» или «по Ереме колпак, по Малашке шлык».

В настоящее время за этими и иными разнообразиями народного наряда нашим ученым обществам, для пополнения музеев, приходится гоняться с трудом. Многие уже, как выражается сам народ, и прозевали, а что еще остается на виду, на все то надо, что называется, смотреть в оба. Всякие преобразования и улучшения последних десятилетий в самом деле всколебали коренную народную жизнь до самого дна, доведя ее даже до таких видимых мелочей. На смену старинных заветных шляп вышел даже в глухие деревни городской шеголькартуз с лакированным светлым ремешком и шелковой ленточкой. Вместе с ним появилась, вместо балалайки, гармоника в руках франта при жилетке, дождевом зонтике, серебряной цепочке красносельского изделия и в смазных скрипучих сапогах. Вспомнилась мужичья шляпа как раз в то самое время, когда «Спирьки», «Стрелочки» и самые плоские «частушки», коротенькие, но безобразные, выступили на смену смолкающей не во-время, но, повидимому, в очередь — бесподобной народной песни.

К изумлению, оберегается еще в обычаях прародительская стрижка волос «в скобку», на подобие буквы П, когда ножницы обрубают волосы в середине лба, а затем опять прямо по затылку кругом всей головы, обойдя уши,

для того чтобы они были закрыты волосами. Надо ушам быть прикрытыми, чтобы не зябли, если больше полугода стоит холодное время, точно так же как по той же причине выгоднее на рубахах и полушубках запахивать грудь косым воротом, чем распашным прямым (усвоенным малороссами и белоруссами). Впрочем, коренные русские люди, более дорожающие старинными обычаями и обрядами и придерживающиеся старой веры, стригутся все еще «под дубинку» в отличие от господской стрижки по-польски или по-немецки с косым пробором и висками от солдатской «под гребенку»: гладко, насколько захватят казенные ножницы. Под айдар — круглая казачья стрижка, обрубом, не в скобку, под чуб или верховку. Под Нижним по Волге, вопреки обычаю, макушки не стригут и самый способ называют «ардаром». Староверский способ требует обруба волос, ровного кругом всей головы и при этом простригают макушку, то есть «гуменцо», что делалось встарь на «постригах», когда отрокам княжеским наступал возраст возмужалости. Это производится до сих пор при посвящении священнослужителей. Староверы упорно веруют, что такой прием облегчает достижение благодати свыше при молитвенных возношениях и земных поклонах через открытое темя прямо в голову.

ПРИВЕЧАТЬ

Насколько цены и важности придается народом обычаю приветов и в какой мере они обязательны и требовательны во всем множестве подходящих, неожиданных и обязательных случаев, может служить резким доказательством обращение среди грамотных в народе особых записей в виде образцов и руководств. Их можно встречать отдельными статьями в различных письмовниках, издаваемых московскими книгопродавцами для обучения вежливости и хорошему тону. Некоторые записи представляют собою любопытные кодексы старинных прав, и в этом смысле они имеют большую этнографическую и историческую ценность. Жители городов, конечно, в особенности понуждались в этих указаниях для изъяс-

ления доброжелательства и ласковых слов, столь драгоценных для доброго соседства и дружелюбных отношений. На это досужая городская жизнь дает множество поводов и открывает широкий простор в различных бытовых случаях.

Один из таких сборников, как памятка про себя и заметки про свой домашний и общежительный обиход, написан был жителем ярославского города Мышкина еще в 1779 г. и случайно отыскан П. Н. Тихоновым. Он напечатал этот сборник в «Ярославских губернских ведомостях» 1888 г., и в нем четыре страницы принадлежат именно этому отделу «приветствий».

Иностранцам больше всего бросался в глаза обычай взаимных приветов и добрых пожеланий при встречах. Так, например, уже при Петре I живописец Бруэн, посетивший Москву, свидетельствует: «Русский, входя в дом другого, не переступит порога, не перекрестившись раз пять перед иконою и не прошептав: «Господи, помилуй меня», или иногда: «Даруй, господи, мир и здравие живущим в сем доме». После сего обряда начинаются обоюдные поклоны, а наконец, и разговор». И далее: «Когда они потчуют своих друзей, то таковое начинается обыкновенно с десяти часов утра и продолжается до часу пополудни, когда все расходятся для отдыха по домам» и т. д.¹

Этот же иноземец своеобразно засвидетельствовал и о русском гостеприимстве и хлебосольстве, которое равно было свято и в убогих хижинах, как и в царских палатах. «Чистосердечно думаю, — пишет этот Бруэн, — что в целой вселенной нет двора, особенно столь пышного,

¹ Следует заметить, что, по обычаям московского царского двора, в приветях царем подданных существовала разница. Так, например, желая оказать высокую милость ласковым словом, царь спрашивал светских людей «о здоровье», а духовных «о спасении». Царь Алексей приветчал протопопа Аввакума при встрече вопросом: «Каково, протопоп, поживаешь?» — и шапку-мурманку, бывало, приподнимал. А после того все бояре челом да челом: «благослови-де нас, и помолися о нас». Согласно мышкинскому сборнику, священника исстари приветствовали одним словом: «Священствуй!» Кто возвращался от него с исповеди, того встречали приветом: «Поздравляю, избавясь от греховного бремени!» А ему советуется (в сборнике) отвечать: «Грешен я, опять принимаюсь грешить. О, невоздержность!» и проч.

как российский, где бы частный человек мог найти такой хороший прием, о коем воспоминание глубоко врезалось в моем сердце». Петр поручил Меншикову представить этого редкого художника вдовствующей царице Прасковье и трем своим племянницам, дочерям царя Федора, с которых просил написать портреты. Вот каков был прием: «Когда я подошел к царице, то она меня спросила, знаю ли я по-русски, на что князь Александр ответил отрицательно. Потом государыня велела наполнить маленькую чарочку водкою и предложила оную собственноручно сему вельможе, который, опорожнив, отдал в руки прислужнице, а сия, наполнив еще водкою, подала царице, которая предложила ее мне. Она также поднесла нам по рюмке виноградного вина, что повторено было и тремя малолетними княжнами. После сего большой бокал был наполнен пивом, который царица сама подала князю Александру, а сей последний, отведав несколько, отдал его прислужнице. Та же самая церемония была и со мною, и я также, поднеся сосуд к губам, отдал его назад, ибо при сем дворе, как я узнал после, нашли бы весьма неучтивым, если бы кто осмелился опорожнить последний стакан пива, предлагаемый хозяином или хозяйкою». Впоследствии, когда художник начал работу, ему пришлось убедиться в полном радушии: «Каждое утро с усиленными просьбами мне предлагали различные напитки и закуски, а нередко оставляли обедать, угощая даже мясом, хотя это было во время поста. В продолжение дня несколько раз потчевали меня вином и пивом» и т. д.

Я принялся было в одно время собирать эти приветствия, как настоящие мимолетные крылатые слова, и всматриваться во все их разнообразие, но в том и другом случае и счет потерял и утомился в поисках и погоне. Впрочем, большую часть этого сборника я успел разъяснить и напечатать в десяти номерах детского журнала «Задушевное слово».

Вот, например, какие возможны сцены, когда употчеванные гости прощаются с хлебосольными хозяевами.

— На хлебе на соли да на добром здоровье! — заводит один.

Ему отвечают хозяева:

— Дай бог с нами пожить да хлеб-соль поводить.
Бойкий гость подхватывает:

— Что в Москве в торгу, то бы вам в дому.

Находчивый хозяин спешит отблагодарить:

— В долгий век и добрый час (то есть и вам-де тоже).

— Дай тебе господи с нашей руки да куль муки!

— Ваши бы речи да богу в уши!

— Прощения просим!

— На свиданье прощаемся. Живите божьими милостями, а мы вашими.

— Путь вам чистый!

— Счастливо оставаться!

Затем хлопнула дверь, и хозяева остались одни в доме, а гости разъехались.

В самом деле, подобное явление в народном обиходе и в живой речи чрезвычайно знаменательно, как неизменный вековой обычай, не имеющий подобий ни у одного из других народов белого света. Начинаясь в глубокой древности, добрые приветы встречают простого русского человека со дня его рождения. Забывались старые, перерабатывались на новые и придумывались свежие, сообразно новейшим обычаям, но не покидались вовсе и не ослабевали. К былинному привету, обросшему, так сказать, мохом: «Бог тебе помочь, оратаюшко, с края в край бороздки пометывать, пеньё-коренья вывертывать, пахать, да орать, да крестьянствовать!» — присоседилось: «Чай да сахар милости вашей!» Сказавши себе, что «ласковое слово лучше мягкого пирога», наш народ сумел разнообразить и подменять самое любимое и наиболее прочих распространенное, известное на всем лице православной земли русской, приветствие «бог на помочь».

Еще в самом раннем возрасте грудному младенцу сказываются эти ласковые приветы и добрые пожелания. Когда ребенок, освободившись от пеленок, потягивается и улыбается, ему спешат пожелать и сказать:

— На шутà потягуши, на тебя поростуши.

Когда моют ребенка в бане, обязательно приговаривают:

— Вода б книзу, а сам бы ты кверху.

Надевая рубашку, пришептывают:

— Сорочке бы тонеть, а тебе бы добреть.

И заговаривают заученным зарокотом, полученным от ворожей, когда спрыскивают водой от лихого взгляда — от сглаза:

— С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитяtko, вся худоба на пустой лес, на большую воду.

На ком видят обнову, тому говорят:

— Платице б тонело, хозяйюшка б добрела (или: «Дай бог износить, да лучше нажить!»).

Исходя из того простого практического убеждения, что добрый привет покоряет сердца, наш народ нашелся в ласкательных пожеланиях на всякий случай, где только видит труд, и, точно предчувствуя его неудачу, поощряет работающего намеком на то, откуда следует ожидать удачу. На починный добрый привет возвращается такой же благодарственный ответ. На то и другое требуется сметка, подготовка обучением не всегда по книжкам или писанным тетрадкам, а по общепринятому навыку, со слов и мимолетных образчиков. Про деревенский обиход из числа пожилых женщин и особенно из бойких вдов вырабатываются истинные профессора по находчивости в привете, — кажется, даже до настоящих импровизаций. Обрядовая нужда (крестильная, свадебная, похоронная и т. д. в бесконечность) предъявляет сильное и неизбежное требование на мастериц этого рода, которые и являются в форме свах для веселых и бойких приговоров, в форме повитух для руководства сложными приемами, обязательными для ребенка и роженицы, и в виде плачей или плакальщиц для горьких причитаний и воплей, по найму, на могилках по погостам.

Иная из таких, опытная, находчивая и, что называется, присяжная, выйдет на деревенскую или сельскую улицу и начнет ласкаться, показывать свое досужество и доказывать мягкое, доброжелательное сердце даже до излишеств болтливости языка. Встретилась с соседкой: «Легки ли, девушка, твои встречи?» — и ответу не ждет, не нуждается (бывают и такие приветы и не для одних ненаходчивых и неприспособленных). Идет дальше; тешет домохозяин сосновое бревно, ухнет, ударит топором и отрубит щепу: «Сила тебе в плечи!» — ответа также не требуется или довольно и «спасибо» (спаси бог и тебя, а славу богу лучше всего). Иному: «Бог на помощь!»

Другому: «Весело работать!» Навстречу гонят корову с поля: «Сто тебе быков, пятьдесят мерингов: на речку бы шли да помыкивали, а с речки шли — побрыкивали». На реке бьет вальком прополосканное белье младшая невестка из соседней избы. «Белёнько!» — услышит и она короткое приветствие. Детки ее тут же подле ловят рыбу на удочку: «Клев на уду!» и в ответ от них: «Увар на ушицу». Набежала досужая мастерица на легкое слово и на такую, которая шла белье полоскать: «Свеженько тебе!» Забежала в ближайшую избу присесть на лавочке и на ходу покалякать, рассказать про то, что сейчас видела и слышала; старшая невестка сидит за ткацким станом и щелкает бердами и челноком: «Спех за стан» (или «шелк да бумага»). Ответ: «Что застала на утёк, то тебе на платок!» В другой избе хозяйка печет овсяные или яшны блины и стряпает яичницу-глазунью (она же исправница и верещага) — и эту заласкивают пожеланием: «Скачки на сковороду!» Иная наелась блинов до икоты — ей: «Добром — так вспомни, а злом — так полно!» Хозяин вернулся из бани, помылся, попарился: «С легким паром!» — и ответ от находчивого: «Здоровья в голову!» Стали собираться и остальные домашние тут же: «Смыть с себя художества, намыть хорошества!» — и на это благодарный отзыв: «Пар в баню — чад за баню!» За нее благодарят: «На мыльце — белильце, на шелковом веничке, малиновом паре». Один наливает воду в чан: «Наливанье тебе!» Ответ: «Гулянье тебе! сиденье к нам!» Другой ест в день спаса первое яблочко — перекрестился и выговорил: «Господи благослови, — новая новинка, старая брюшинка». А тут на погосте же в церковных рядах деревенский откормленный торговец стоит у створов своей лавки с дегтем, солью, веревками и солеными судаками (твердыми, как березовые поленья) — человек нужный (верит в долг), как его не оприветить: «Бог за товаром!» или: «С прибылью торговать!» В ответ на первый случай: «В святой час да в архангельской!» На второй: «Дай бог в честь да в радость!» Особенно много сказывается ласковых слов у хлеба-соли, при полевых работах, и бесконечно неуловимы они при свадебных торжествах, где бывают и ласкательные, и бранные, и шуточные.

Шутливые приветы бывают такие, как, например, отдыхающему после работы: «Вашему сиденью наше почтение!» Чихнувшему говорят: «Сто рублей на мелкие расходы!» или: «Спица в нос, невелика — с перст». На чох, впрочем, чаще всего говорят: «Будь здоров».

Бывают и шутливые ответы: «Хлеб да соль!» Ответ: «Ешь да свой!» Привет охотнику: «Талан па майдан!» Ответ: «Шайтан на гайтан!» (черт на подпояску). «Каково бог вас перевертывает?» Ответ: «Да перекладываемся из кулька в рогожку». Шутят и такими приветствиями: «Поздравляю с плешью». И зазывают шутливо: «Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком!» Везде, по половице: «привет за привет и любовь за любовь, а завистливому хрену да перцу, — и то не с нашего стола».

Умелый замечать свои слабости и шутливо над ними острить и подсмеиваться, русский человек и в данном случае не воздержался от этой привычки. Он сложил целую песенку про «дурня-вальня», которого учила мать поклонам и ласковым словам на дорожные встречи. Он все говорил невпопад, а за то его «били, били-колотили». Сказочка эта в стихах известна всем воспитавшимся в деревне с детства и, судя по множеству разноречий, весьма распространена и многим известна.

Так как на всякие случаи жизни сложились у народа свои особые приветы, и кто хорошо знает их, тот зачастую может по словам приветов узнать, из какой губернии прохожий доброжелатель и даже из какой более или менее обширной местности. Иначе приветствует встречного русский человек из северных губерний, иначе — из южных, но везде и у всех одно сходство: поминать бога и желать добра. «Не помолившись богу — не ездить в дорогу», а святым именем его желать добра всякому трудящемуся — встречному и поперечному.

Той, которая доит корову, в Холмогорах говорят: «Море под буренушку!» (доильница благодарно отвечает: «Река молока!»). Таковым по Волге желают короче: «Ведром тебе!», а под Москвой нежнее и лучше: «Маслом цедить, сметаной доить!» Входя в лавку, привечают купца: «Бог за товаром!» — на Севере; «С прибылью торговать!» — по всем другим местам подмосковным и «Сто рублей в мошну!» — в Поволжье. По всей России отъез-

жающему: «Счастливым путем!», а на Севере: «Никола в путь, Христос подорожник!» — по тому исконному верованию, что Никола помогает и спасает не только в море и в реках, но и на сухом пути. В Сибири кое-что по-своему, а многое и по старой русской привычке.

В одно из путешествий моих по Тобольской губернии я попал с дороги в жарко натопленную избу, когда в ней собрались так называемые посиделки. Хозяйка избы, по сибирскому обычаю, созвала своих родственниц, старух и молодых, из своей деревни и из соседних — погостить к себе, посидеть и побеседовать. Ходила сама, просила:

— Всем двором опричь хором! Хлеба-соли покушать, лебедя порушать, пирогов отведать.

Пришла каждая с прялкой (гребней в Сибири нет) и со своим рукодельем. Работают здесь на себя — по сибирскому обычаю, а не на хозяйку — по великорусскому. Когда все собрались, у хозяйки уже истопилась печь. Когда гости немного поработали, накрыли стол и поставили кушанье всё разом, что было в печи. Отошла хозяйка от печи, отвесила длинный поклон в пояс, во всю спину, да и спела речисто и звонко с переливами в голосе:

— Гостюшки-голубушки! Покидайте-ко прялочки, умывайте-ко рученьки! Не всякого по имени, а всякому челом. Бью хлебом да солью, да третьей любовью.

Кушанье подали вдоволь. Тут были неизменные сибирские пельмени, которыми там заговляются и разговляются. Были пшеничные блины и оладьи, одни на яичных желтках, другие на яичных белках, блины гороховые, оладьи вареные, лапша с бараниной, пирог с осердием (или легким), пирог репной, пирог морковный, российская дракона, которая в Сибири называется каржовником, молоко горячее, каша яшная и просяная (гречневой в Сибири нет), репные паренки, грибы с квасом.

Угостивши «на доброе здоровье», меня проводили обычным всей святой Руси и вековечным напутствием:

— Счастливого пути!

— Добрых встреч! — подговорил кто-то сбоку.

Неровен час — на грунтовых дорогах всякая беда может случиться: настукает бедра и спину на глубоких

ухабах, которые в Сибири называются нырками; в ином месте выбросит из саней; в лесу нахлещет лицо сосновыми ветками. Летом колесо сломается, а починить негде; лошади пристанут среди дороги, а сменить их нечем; мост провалится, они все такие непрочные, и т. п. Я сел в кошеву. Ямщик оглянулся: все ли-де готово, ладно ли уселся, не забыл ли чего?

— С богом! — отвечаю я ему.

— С богом — со Христом! — проговорил он и ударил по лошадям.

— Скатертью дорога! — подговорил кто-то со стороны.

— Буераком пути! — подшутила разбитная девушка из гостивших и угощавшихся прях.

РУССКИЙ ДУХ

Нянина сказка «О царь-девице» восстает теперь в памяти, как вчера сказанная, а из походов «Ивана царевича» припоминаются такие картины.

Выехал он из дремучих лесов на зеленые луга и увидел избушку — и в ней старуха. Сидит она на лавке: шелков кудель точит, через грядку прósни мечет; в поле глазами гусей пасет, а носом в печи поварует.

Говорит она Ивану царевичу:

— Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне русский дух в-очью является, сам на дом ладом.

Вторая старуха на другом конце в новой избушке говорит по-новому:

— Фу, фу, фу! Досель черный ворон кости расейской не занашивал, а ноне кость в глаза копает (или: в очи вержет)!

Отвечает добрый молодец не очень вежливо, но зато прямо по-русски:

— Дам тебе поушину, будет в спине отдушина; дам в висок — посыплется песок! Ты бы, старушка, не училась много богатыря спрашивать, — училась бы кормить да поить, на постелю спать уложить.

Если мы этого доброго молодца сказки приравняем к Илье Муромцу былин, станет ясен нам образ русского

колонизатора, ведущего дело с недобрыми лесными силами. Вот смело пришел он и открыто заявил старинным языком о заветном обычае, — все то, что между прочим составляет народный характер и дух в переносном значении этого последнего слова. Не погрешим нисколько, если примем слово это и в том значении, которое придает ему одна поговорка. Она тоже в свою очередь выражает иносказание, говоря, что «от мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом». Не только внешняя обстановка, но и потребляемая известным народом пища имеет влияние на его животный, специфический запах. Поражают обоняние свежего человека все азиатские народы, страстные к употреблению чеснока и черемши, но между ними резко выделяются евреи от цыган, и всякий носит свой особый запах: китайцы и персияне, киргизы и самоеды — в особенности те, которые усвоили ношение шерстяного и мехового платья. В равной степени влияют и ароматические приправы к блюдам, и пахучесть господствующих растений страны и т. п.

Со своей верой, при своем языке, мы храним еще в себе тот дух-и в том широком и отвлеченном смысле, разумение которого дается туго и в исключение только счастливым, и лишь по частям и в частностях. Самые частности настолько сложны, что сами по себе составляют целую науку, в которой приходится разбираться с усиленным вниманием и все-таки не видеть изучению конца и пределов. Познание живого сокровенного духа народа во всей его цельности все еще не поддается, и мы продолжаем бродить вокруг и около. В быстро мелькающих тенях силимся уяснить живые образы и за таковые принимаем зачастую туманные, обманчивые призраки и вместо ликов пишем силуэты. Счастливы мы лишь энергией в усилиях и неустанным исканием той правды, которая, однако, составляет лучшее украшение художественных созданий текущего гоголевского периода литературы.

Если мы пойдем дальше в объяснении того, что значит «по-русски», то лишь с великим трудом можем свести концы: до того своеобразна и самобытна наша родина! И одеваемся мы не так, как другие, и едим не то, что прочие, и даже носим прическу, кланяемся встречному по-своему, а русская печь, в прямом и переносном смысле,

печет совсем уже не так, как до сих пор говорят и пишут. Не забудем при этом, что мы переживаем то трудное время именно теперь, когда освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жизни. Изменяется не один внутренний быт, но и внешний облик. Та самая прирожденная и коренная старина, которая совсем недавно, едва не вчера, была у нас перед глазами, стала бесповоротно уходить в предание. Даже самое консервативное явление, как народный костюм, сделался игрушкой прихотливой моды. Мы стоим теперь как раз на том круговороте и пучине, где встретились два противоположные течения, и очутились мы на том рубеже, где старая, изъезженная дорога начала уже затягиваться мохом и зарастать травой, а взрытая новая еще не укатана. Такие места, обещающие обилие материала для наблюдений, интересны, но самое время переломов и переворотов, увлекающее новизной явлений, нельзя считать особенно удобным. Еще не видать ничего определившегося и законченного. Лишь кое-где по стрежу реки рябят сильные струи, текущие в упор и навстречу, а на полотне дороги засветлели местами уже накатанные, но еще пока свежие колеи.

НЕТОЛЧЕНАЯ ТРУБА

Вместе с трубами, из которых выходит дым столбом и коромыслом, припоминается еще какая-то необычная «труба нетолченая», когда в самом деле бывают только: деревянные дощатые, битые глиняные да кладенные кирпичные трубы. Между тем упомянутое выражение довольно употребительно. Где много народу, говорят: «Народу — нетолченая труба!» — и хотя говорят так все, но тем не менее неправильно, скрадывая одну гласную букву и обезличивая ходячее выражение в повальную бессмыслицу. Впрочем, в живом разговоре такой прием — дело нередкое и бывалое. Говорят же вместо без «вымени» — «без имени овца — баран»; не до «обедни, коли много бредни» (вместо «обрядни» — от обрядиться, наряжаться; и к шапочному разбору не попадешь, если начнешь притираться да румяниться, передеваться да охорашиваться и проч.). Говорят: «Вот тебе, боже, что нам

негоже», перетолковывая по-своему коренную малороссийскую поговорку: «От тоби, небоже (убогий, нищий), що нам не гоже» и т. п. Таких примеров злоупотребления извращенным словом можно насчитать десятки.

Если мы в указанном слове восстановим скраденный скороговоркой гласный звук, поставив его на подобающее место между двумя согласными, то выйдет труба «нетолоченая». С этим словом уже можно примириться и его объяснить.

В народном языке «толочить» значит то же, что «торить» путь и дорогу, проход и проезд одинаково в людской тесноте и в сугробном или непроездном месте. Если, по обычаю и закону старины, узка в коренных русских городах улица, то с подручного и наглазного образца почему таковая не труба? Если кровь бежит ручьем, а привычно говорят, что она бьет из жилы трубой, то почему же, когда на улице праздник, народу, запрудившему ее так, что и конца края не видно, не валить навстречу той же трубой, шумной толпой? Сквозь нее не только не протискаться, да и не пробить ее, что называется, пушкой. Надо много труда и ловкости, чтобы проторить или «протолочить» себе сквозь народную стену путь! А затем уже, конечно, «где торно, там и просторно».

СЛОВО И ДЕЛО

Настоящая речь не о делах и поступках коварных и лживых или ленивых и рассеянных людей, у которых слово расходится с делом, и выходит из того или злонамеренный обман, или досадная неудача. Вспомнилось это «крылатое слово», некогда грозное в слитной грамматической форме, страшное своими последствиями, а теперь превратившееся в легкую и невинную шутку. В смысле юридического термина оно упразднено почерком царственного пера. Ненавистное слово перестали говорить, хотя «дело» еще долгое время оставалось в полной силе. Оно из рук страшного, жестокого и могущественного «князя папы Ромодановского» (при Петре) тайком передано было (Екатериною II) (по личному соз-

нанию того самого человека), — в руки, в надежные руки, «ничтожного, низменного человека» — мстительного и злого Шешковского. Лишь в самом конце прошлого столетия начали забывать это крылатое слово, и самые документы о нем заброшены на полки и валяются в углах государственного архива... Крылья подрезаны, хвост выщипан, острый и наносивший смертельные удары клюв сгнил и отвалился, но тем не менее оно господствовало в православной Руси около ста лет. Стало быть, об нем можно теперь к слову вспомнить и кое-что сполучно рассказать.

Вылетало грозное крылатое слово, как бы и в самом деле мелкая птичка воробей, там, где ему доводилось свободнее или казалось привольнее, но обычно предпочитало оно городские площади, бойкие торговые места, людные улицы — вообще всякие места народных сходбищ. Это во всяком случае выходило по той причине, что слову необходимо было на полете оглядываться и зорко высматривать, имеются ли налицо неглухие люди, лишние свидетели и притом в «достойном количестве».

Упадало крылатое слово на чью-нибудь бедную головушку, вцеплялось крепкими когтями, долбило стальным клювом, распускало из-под крыльев мелких пташек, милых детушек, оперенными и наостренными. Знали они, куда сесть и кого клевать, однако так, что эти жертвы валились на землю истерзанными трупами, изуродованными до неузнаваемого в человеческом теле образа и подобия божья.

До того это слово прижилось на Руси и приладилось к нравам, что, смолкнувшее здесь, по сю сторону Уральского хребта, оно продолжало орать во все широкое горло по площадям и бойким местам в Сибири. Тут и там оно выговаривалось озлобленными или непутевыми людьми, такими, кому нечем было поступаться и нечего жалеть. Выкрикивалось сдуру и спьяна, нередко от праздности и скуки, зачастую под влиянием личных неудовольствий, в виде мщения или вследствие безвыходно тяжелого житья, для развлечения и впечатлений.

«Слово и дело» до Петра проявлялось весьма редко и всегда по убеждению: из любви к царю, государству и

вере. Когда укреплялись разные нововведения и порождали собою недовольных, сказывались страшные слова на сочинителей и распространителей в народе подметных тетрадок, сочиняемых монахами и старовебрами, вроде посланий и толкований протопопа Аввакума с товарищами. Петровские преобразования увеличили число недовольных и усилили количество виновных, особенно к концу царствования Петра, когда возрастала и самая правительственная подозрительность, свидетельствуя о великих опасностях, мнимых и действительных. В народе воспиталась и окрепла страсть к доносам до такой степени, что указ 1714 г. принужден был ограничить значение «слова и дела», определяя их делами, касающимися государева здоровья и высокомонаршей чести, бунта и измены. Сказавшие или написавшие роковое выражение, обрекавшиеся до того на смертную казнь, застрачивались великим наказанием, разорением имущественным и ссылкой в Сибирь, на каторгу. В следующем году указ облегчал доносчикам подходы: они могли идти прямо ко двору государеву, объявлять караульному сержанту. Этот обязан был представлять челобитную самому царю. Однако доносчики продолжали во множестве докучать царю, «не давая покою везде, во всех местах» и несмотря на страх жестоких наказаний. В 1722 г. обязали священников объявлять об открытых им на исповедях преднамеренных злодействах, а челобитчиков с «государственными великими делами» дозволено принимать и во время божественного пения и чтения. С годами значение нашего крылатого слова возросло до тех крайних пределов, какие видим при Анне Ивановне, руководимой Бироном. В Сибири для ссыльных и каторжных оно явилось соблазном: выпустивших его с уст на вольный ветер освобождали на время от тяжелых каторжных работ.

Объявившего за собою «государево слово» немедленно отдавали сержанту и вели пешком за 400—600 верст в Иркутск; держали крепко и только в случае изнеможения сажали на подводку. Многие болтали из желания получить награду, иные рассчитывали во время пути на утечку в лес и неизвестность, иные прямо спекулировали с тех самых пор, как завелись первые

настоящие тюрьмы. Один солдат выкричал такое: «В бытность мою за окианом-морем нашел я место рождения крупного жемчуга и три места тумпазные». Монах говорит за собою такое великих государей и святительское дело: «Поставлена церковь без святительского благословения, и в ней убится человек; промышленный человек привез с моря руду серебряную и тое руду плавил и из той руды родилось серебро». На суде оказалось, что руда не серебряная, а старца побили шелепами, чтобы «впредь не повадно было иным такие затейные слова говорить и никаких великих государей дел не заводить». Один каторжный сказывал товарищам: «Неприятель идет на Россию: у китайцев войска собираются, мунгалы ружья готовят» (а монголы облаву делали на лосей). Другой каторжный болтает в кухне: «Поднимается на нашего государя иноземец; у того иноземца силы до шестисот тысяч, а у нашего до двухсот пятидесяти тысяч». Глупые речи праздных болтунов у каторжной печи приняты за «государево слово» и потребовали «дела»: допросов, пытки, суда и осуждения.

Наступил новый век, и повелись иные порядки. В 1817 г. крестьянин Ермолаев за непристойные речи приговорен был к наказанию плетьюми. Решено было вырвать ему ноздри, поставить повеленные знаки и сослать на каторгу. Император Александр вырыванье ноздрей отменил для всех, а приговоренного простил по объявлении ему приговора. Ссылный на работе приказанном зимовье, придя в избу, бросил топор, рукавицы и шапку и изругался. Будучи спрошен: «Кого ругает?» — отвечал: «Тех, кто безвинных ссылает». Государь решил оставить этого ссылного «в нынешнем положении, но без наказания». Третий ссылный забыл в руднике лопату, товарищ стал помогать разыскивать ее, приставник заметил: «Ты исправь прежде государеву работу, а потом ищи мужичью лопату». У оговоренного сорвалась с языка брань, за которую его посадили под строгий караул в оковах и стали ждать приговора из сената. Государь Александр I повелеть соизволил: «Освободить от законного наказания, подтверждая ему, чтобы впредь постарался исправиться» и т. д.

Когда бродил я во Владимирской губернии, в Вязниковском уезде, по офенским деревням, для изучения быта и для сбора искусственного словаря этих бродячих торгашей, пришлось недели две прожить в селе Хóлуе, где пишут иконы яичными красками. Меня начала там одолевать скука. Я повадился ходить на мельницу на реке Тезе, где молодой парень мельник, проторговавшийся на мелком товаре, охотливо за штоф пива сказывал офенские слова новые и исправлял прежде пойманные и записанные. Раз он пожалел меня:

— Ты что в кабак не зайдешь? Скучно тебе! А там чудесно «песни играют». Теперь офени, перед Нижегородской ярмаркой, домой поплелись: каких только песен они из разных-то местов не натааскают! Друг дружку перебивают, друг перед дружкой хвастаются. Расчет получили — им весело. Сходи в кабак!

На этот раз впервые остановилось мое внимание на странном выражении «играть песни», когда они в самом деле поются. Слышалось это выражение и прежде, но по обычаю бессознательно пропускалось мимо ушей, хотя в этой упорно неизменной форме оно настойчиво повторялось всюду в иных местах.

Когда архангельский Север развернул свою многообразную и многострадальную жизнь и потребовал вдумчивых наблюдений, напросилась и песня, тогда еще там не совсем испорченная. Местами, в виде обрывков, она была на устах и в действии, вызывая игру и требуя движений. Хотя к балалайке успела уже, для голосовой поддержки, пристроиться привезенная с Апраксина рынка гармония, но еще можно было слышать в перебое ее хриплых тонов сиповатые звуки извековой дуды — «сипоши», которая в Поморье так и называлась («сиповкой»).

Первая «игра песен», которую довелось наблюдать, были «вечерковые» или, по времени года, святочные. В тесной и душной полутемной избе разыгрывался «заинька», сохранившийся с глубокой старины, заман-

чивый своей классической простотой, повсюдный и любимый до докучливости, немудреный напевом, небогатый вымыслом: «Где ты был-побывал?» Что бы ни рассказывал про него ответный хор, взявшиеся за руки пары молодых и девушек неустанно кружились; при конечном стихе кружились еще быстрее, подпевали возможно скорее и живее, почти бормотали. За «зайнкой» играли «старицу». На сцену выходила девушка и садилась в кругу хоровода. Парень ходил кругом и пел: «Вкруг я келейки хожу, вкруг я новья хожу,— младу старицу бужу: спасенная душа, встань, встань: к заутрене звонят, на сход говорят». Старица отвечает с целым хором: «Не могу я встать, головы поднять: голова моя болит, грудь-сердечушко щемит».

А вот когда певец рассказал ей, что миленький идет, гостинцы несет, она вскакивает с места и поет вместе с хором: «Уж и встать было мне, поплясать было мне». Затем снова быстрое кружение и веселый припляс в виде новгородского «бычка», подмосковной «барыни», малороссийского «журавеля» и всероссийской «камаринской». И эта «старица» кончалась поцелуями. Таков же и «голубь», с одним различием, что стоящие друг против друга пары целуются все вместе одновременно. Да такова и почтенная более глубокой стариной «Как со вечера цепочка горит». Эта песня начинается плавным пением, а кончается круженьем, щелканьем языком, свистами и топаньем каблуками, когда девица решилась сойти с терема, соблазнившись тем, что «на улице сушохонько, в переулочке темнехонько, что башмачки не стопчутся и чулочки не смажутся».

С такими любовными играми, как с самыми поцелуями, на которые по пословице, «что на побои нет ни весу, ни меры», можно было бы не кончить, если бы эти самые обрядовые и открытые знаки любви и привета не приводили прямо к своей цели. Близость мясоеда, пригодного, по досугу своему, для свадеб, объясняет и оправдывает старинный обычай. На смену его выступает целый ряд настоящих «действ» со сговора до венца, полное сценическое представление с начала до конца, когда «играют свадьбу». Здесь только одними песнями и объясняется символическое значение свадебных обря-

дов, а зато и эти самые песни не столько разнообразны, сколь чрезвычайно многочисленны. И здесь уже ясно видится несомненный, бережно сохраненный, след дохристианского обряда, потребовавшего так же, как и все, песенной помощи. Воспевают любовь в весенних хоровах, и в старинных (теперь полузабытых и даже изуродованных) можно было видеть представление полной деревенской свадьбы с выбором невесты и отдельно жениха, с последующими семейными раздорами и расчетами. И «сеяли просо», чтобы разыграть заключительную сцену похищения, «умыканья» невесты, как драматический бытовой эпизод; он до сих не утратил во многих коренных русских местностях своего доисторического значения. И «плавала по морю белая лебедушка, пленяя сизого селезня», чтобы справлял весенний хоровод свою вековую службу для выбора невесты, заплетался бы плетень на союз да любовь, и завершался, запечатывался невинными и откровенными поцелуями, это согласие суженой на зимних вечорках, чтобы вступить затем в целый ряд «свадебных игр». Для этих предвечечных действ на родном языке и нет уже иного названия. Безуспешно истомились здесь благочестивые ревнители веры, искоренявшие языческие обряды, проповедники живого слова и составители Кормчей книги, воспрещавшей дьявольские песни и бесовские игрища¹. Тем не менее свадебные недели и теперь заключаются языческой масленицей, с катаньем целыми поездами и заключительным сожиганием чучелы. Таково положение песенного дела в Великороссии. Когда привелось перенести наблюдения в более древний и совершенно противоположный русский край, какова Белоруссия, оказалось не только то же самое, но и в более целостном

¹ Известная, даже слишком популярная игра песни, или, вернее, сочиненного романа «Вниз по матушке по Волге», с хлопаньем в ладоши сидящих друг против друга на полу, в подражание ударам весел, с атаманом, расхаживающим между рядами и прикладывающим кулак к глазу при разговоре с есаулом о погоне, доказывает то же стремление к изображению песенного смысла в лицах. К сожалению, излюбленная песня эта — не народная, и самое представление, приделанное к ней, вышло из солдатских казарм по следам «Царя Максимилиана».

и обширном развитии. Оказались в лицах и «женитьба Терешки», и выдача невесты за немилую, и мак на горе, требующие сценического представления, или что называется там «танок» (пляска, танец). Когда зажинают хлеб и когда отжинают его, совершаются полные священнодействия, сопровождаемые переодеваниями и целым циклом пьес, которые и приурочиваются к обычному времени и играются только тогда и ни за что ни в какое другое. Там даже и письменные записи со слов знающих чрезвычайно затруднены именно тем, что белорус становится в тупик при требовании песни в сухом пересказе. Он понять не может, чтобы песню можно было снять с голоса и вести ее рассказом, как сказку, да притом еще так, что при этом отсутствует вся приличная и обязательная обстановка: хоровая поддержка и образное пояснительное представление в лицах. Доводится не выслушивать с глазу на глаз, а прислушиваться, выжидая поры-времени, когда вживе и въяве развертываются живые картины в движении и действии в той веселой обстановке, которая обрисовывается словами великорусской поговорки: «Песни играть — не поле орать».

С ХОЗЯИНА НАЧИНАТЬ

Таков обычай при угощениях водкой и всякими крепкими напитками на всем бесконечном протяжении православной Руси,— похвальный обычай, требуемый вежливостью и приличием. Русская подлинность его и вообще древность происхождения сомнительны, как и обычай чокаться, заимствованный у европейцев. В старину на Руси пили круговую: из одной чаши мед, из одной чарки зелено вино, причем как будто даже вежливо было доказывать небрежливость и побратимство, подобное «из одной печи хлеб есть, из одной чашки щи хлебать» и т. п. Чокались, то есть постукивали, тихо поколачивая хрупкими вещами, чокались кружками с давней старины, а со введения христианства чокались пасхальными красными яичками. Начали постукивать рюмками, стаканами и бокалами, когда принимались

пить за здоровье друг друга, за присутствующих и отсутствующих, за умерших и имеющих родиться, «за всех и за вся православные христиане». При этом чокнутся и поцелуются, а стало быть, и побратаются, то есть подружатся по-братски на век. По этим поводам и та большая стопа и та ендова, из которых поочередно пили, называлась «братиной» и «побратиной».

Побратимство в старину и в нашем народе делалось не шутя и обставлялось важными обрядами: обыкновенно молились в избе — перед иконой, в чистом поле (как сказывают былины про богатырей) — на восход солнца, либо на тельник (шейный крест). Затем обнимались и давали друг другу зарок на вечную дружбу и клятву на взаимную помощь во всех подходящих случаях жизни. Затем менялись крестами и делались «крестовыми», как бы родными братьями. Обычай этот твердо держался не так давно и был свят и нерушим, как мы уже имели случай доказать и рассказать.

Обычай чокаться, между прочим, объясняют тем желанием, чтобы все пять чувств принимали участие при дружеской выпивке и пожелании здоровья и всяких успехов. Четыре чувства обязательно участвуют, как зрение, обоняние, вкус и осязание. Недостаёт места для участия с товарищами пятому живому чувству — слуху. Чок в бочок его выручает, примиряет с прочими и оправдывает перед ними.

Удобно чокаться и побратимить в тех случаях, когда каждый свою чарку держит, из своей чашки пьёт (как староверы-федосеевцы). Как же поступать, когда на всех одна чарка и наливает ее сам хозяин и подносит первому гостю? Всегда этот упирается, зная обряд и порядок, и охотно чванится, и притворно ломается, отстраняя наружной стороной кулака правой руки налитой сосуд, кланяясь и прося «начинать с хозяина». Только старинные остряки улавливали тот момент, когда уламывался спесивый и протягивал уже руку: неожиданно и быстро опрокидывали они на лоб себе «стыдливую рюмку», рассчитывая на скрытное, но несомненное легкое неудовольствие от шутливости обмана. Конечно, при этом всякий счел бы себе в обиду и в лучшем случае нашел бы неприличным, если бы хозяин

наливал и потчевал его «через руку», то есть оборотя кулак пальцами кверху (что неприлично).

Хотя «чокаться» и коренное русское (по звукоподобию) слово, но есть основание предполагать, что обычай «начинать с хозяина» — не старинный русский, а произошел в более поздние времена, по крайней мере в народе подслушана нижеследующая историческая легенда.

Петр Великий сидел раз в одной незнакомой компании и спросил соседа справа:

— Ты кто такой?

— Я — дворянин такой-то.

— А ты? — спросил он соседа слева.

Тот оказался таким же дворянином. А как спросил он третьего, то и получил в ответ, что этот не только не дворянин, а даже вор. Царь Петр отозвал того вора и сказал ему:

— Будь ты моим братом и поедем вместе.

— Куда же нам ехать?

— Поедем в государев дом: тут казны неведомо что. На возах ее не увезешь.

Вор рассердился и сказал:

— Как же ты, братец, бога не боишься? Кто нас поит и кормит и за кем мы слышем, и хочешь ты на него посягнуть. Я знаю, куда лучше ехать: поедем к большому боярину. Лучше взять у него, а не у государя.

Пришли они к «большому» боярину, богатому и спесивому.

— Постой,— говорит вор,— я пойду во двор и послушаю, что там говорят.

Вернулся он и рассказывает:

— Нет, брат, дурно говорят: хотят звать завтра царя кушать и хотят водку дурную и злую подносить. Не хочу никуда ехать, домой пойдем.

Царь и спрашивает:

— Где же, братец, нам с тобой видеться?

— Увидимся завтра в соборе.

Как они пришли в собор, так и увидел вор, что царя просят кушать, и услышал, что он велел просить и того человека, побратима своего. Его стали просить, и неспесивый поехал со всеми вместе.

Говорит вор царю:

— Первую чарку станут подносить, — ты ее без меня не пей.

Когда стали подносить, то царь и сказал:

— Я прежде хозяина умирать не хочу: пушай прежде хозяин сам попробует — выпьет.

Как только хозяин выпил, то его и разорвало.

«Знать, с этова-то первые-те чарки прежде хозяина и не пьют».

Таким образом попробовал заключить свой рассказ воронежского гарнизона Елецкого полка бывший сержант Михайло Первов, в 1744 г., на тему: «Первой чарки прежде хозяина никогда не пьют: какову чашу нальешь и выпьешь, такову и гости». Слышал он от старых людей то, что мы сейчас также услышали, а самого Первова, за такие продерзостные слова, били кнутом и, с вырезанием ноздрей, послали в Сибирь на житье вечное. Не слушай народных легенд, а тем паче не пересказывай их. Сказалось крылатое горячее «слово», и свершилось мучительное кровавое «дело».

Екатерина II сказала запретительное слово на «слово и дело» и одним этим подвигом могла бы заслужить историческую память и уважение потомства. 19 октября 1762 г. объявлен всенародно всемилостивый указ, в котором, между прочим, было сказано: «Ненавистное выражение, а именно «слово и дело», не долженствует значить отныне ничего, и мы запрещаем не употреблять оного никому. А если кто употребит отныне в пьянстве, или в драке, или избегая побоев и наказания, таковых наказывать тотчас так, как от полиции наказываются озорники и бесчинники».

ПОДАВАТЬСЯ ПО РУКАМ

Брат брату головой в уплату.

Пословица.

— Подавайся по рукам! — скажет один в смысле доброго совета и утешения человеку, потерпевшему какую-либо неудачу, впадшему в беду или в особен-

ности испытывавшему горе. Что же делать: надо было сообразоваться со своими силами, предвидеть печальный исход и быть осмотрительным и т. п.— подавайся по рукам (чужим).

— Легче будет волосам (твоим)! — доскажет другой, либо сам советник, либо за него (невольнo и непременно) свидетель выговоренной жалобы и сетований.

Цельная пословица в указанной форме известна всем, прошедшим суровый искус прежнего воспитания со школьной скамьи, как руководящее наставление на те случаи, когда озлобленный учитель или строгий инспектор хватал за чуб и начинал таскать из стороны в сторону за волосы. Облегченному способу «подаваться по рукам, чтоб легче было волосам», научил, конечно, школьный опыт, а пословица все-таки дошла из глубокой отечественной старины, откуда и взята напрокат. Между прочим, в семинариях, ремесленных мастерских и других заведениях, включительно до трактиров, где вообще производится выучка деревенских мальчиков, эта наука так и называлась «натаскиванием».

Во времена младенчества народа, при разбирательстве споров и тяжб, для выяснения темного смысла исков, прибегали к первобытному способу по закону: «кто сильнее, тот и правее». Противники хватали друг друга за волосы, и кто первым перетягивал, тот и признавался правым (отсюда и поговорка: «В поле две воли— кому бог поможет»). В Москве сохранилось предание, и указывается место на берегу речки Неглинной (скрытой теперь в трубе), где соперники, при свидетелях (послухах) из добрых или лучших людей и под наблюдением судных мужей (вроде присяжных заседателей), решали спор проявлением физической силы в потасовке. Один становился на правом берегу узенькой речки, второй на левом. Наклонив головы, они хватались за волосы. При этом, по преданию, побежденный обязан был взять соперника на спину и на закорках перенести его через речку; этим и кончались всякие претензии и прямые взыскания. Противники должны были выходить на битву рано утром, натошак, как бы на присягу, надев на себя доспехи, то есть железные латы и шишаки.

Они обязаны были сражаться одинаковым оружием: большею частью ослопами или дубинами. Людям слабым или неумелым в боях дозволялось приглашать наймитов или наемных бойцов, не разбирая того, что боярину доводилось биться с каким-либо холопом или купцу с черносошным мужиком или скоморохом. Так и говорят пословицы: «в поле съезжаются, так родом не считаются» (а дерутся), и «коли у поля стал, так бей наповал», а судебный устав указывал: «а досудятся до поля (если нечем решить тяжбу, как божьим судом, то пусть и дерутся), да не став у поля помирятся» (то есть допускается и мировая). Так выражается и поговорка: «до поля воля, а в поле по неволе» (то есть если вышел на место поединка, то уже и дерись, хотя бы только даже и за святые волосы). Если кто был убит на поединке, то его противник получал лишь одни доспехи убитого и лишался всякого другого удовлетворения. Стало быть, в исках было прямое побуждение щадить жизнь своего противника, что доказывается и указанным выше старанием уравновесить силы соперников. Для соблюдения законных условий при поединках всегда обязаны были (по Судебнику Грозного) присутствовать: окольныйчий, дьяк и подьячий. В пользу их, как и в пользу казны, взималась пошлина.

Еще псковская Судная грамота доказывает стремление законодательства по возможности ограничить и смягчить судебные поединки. Потому более легкая форма, кажушаяся нам теперь забавною и едва вероятною и выразившаяся потасовками, имела основание удержаться в обычаях народа. Она сумела просуществовать даже до того времени, когда отменены были (в 1556 г.) поединки, а дела велено решать по обыскам. На месте московского «поля» построена была боярином Салтыковым каменная церковь Троицы в 1657 г., существующая до сих пор в так называемом Китай-городе, у Никольской улицы, и именуемая в церковных актах «Троицею в Старых Полях». Предполагая, что если были старые поля, то должны быть и новые, то есть другие места, отведенные для поединков, стараются искать их в названиях других церквей, забывая, что

через сто лет по уничтожении поединков место их уже имели полное право называть «старым полем». При этом, конечно, впадают в ошибки, увлекаясь и смешивая места судебных полей с действительными полями, то есть пашнями, засеянными хлебом, или безлесными незастроенными равнинами, лежащими за городом. Те и другие присущи были обширной Москве, сложившейся из множества слобод и деревень. Такова церковь Георгия, названная «на Всполье» за то, что очутилась как раз на окраине, на выгоне, где начинались околица и поля и кончалась группа жилищ за Москвой-рекой, на Ордынке. Такова же и по той же причине и там же улица Полянка. Другой — Георгий на Всполье за Никитскими воротами, где теперешний Арбат, еще во времена царя Алексея скудно населенный и отделявшийся от города огромным пустырем, носил прямое название «Поля». Третья церковь Екатерины на Всполье, близ Серпуховских ворот, тоже была на выгоне. Затем ни о каком храме в новых полях ни в актах не упоминается, ни в народных прозваниях не указывается. Некоторые исследователи подозревают еще место поединков в Белом городе, у церкви Пятницы-Параскевы, что в Охотном ряду. Может быть, это и так (хотя и не имеется на то прямых доказательств). Для кулачных боев, как особого вида забав, восходящих до глубокой древности, в Москве отведено было также отдельное место на Старом Ваганькове. Бились же на кулачки (один на один, стена на стену и сцеплянкой — свалкой) в Китае, в Белом каменном городе и в Земляном городе (в последнем даже на нашей памяти у Яузского моста). Царь Михаил Федорович прогнал отсюда бойцов и указом запретил народу ходить на Старое Ваганьково смотреть, как бьются знаменитые бойцы казанские, тульские и калужские. Из их среды выделились и прославились: Алеша Родимый, Тереша Кункин, Никита Долговязый, братья Подходкины и Зубовы. Замечательно, что и самое название местности, в противоречие нынешнему ее назначению, как кладбища, происходит от слова ваганиться (сохранившегося на Севере), что значит: играть, шутить, шалить и проч.

ПРОЮРДОНИТЬ И ПРОЮЛИТЬ

Точно так же затребованное для объяснения слово *проюрдонить* в смысле (согласном и с толкованием Даля) проиграть (либо в карты, либо в кости) и вообще беспутно промотать не является выражением без смысла, корня и почвы. Вероятно, корень слова лежит в азартной игре юрдон, которая в веселое царствование Екатерины Второй сначала появилась при дворе, а затем распространилась повсюду вместе с макао, што-сом, мушкой (а ля муш: кто первым поймает), марьяжем (отсюда выражение «марьяжиться») и проч. Был ли юрдон похож на нынешнюю юрдовку, за давностью лет теперь определить трудно. Наш авторитетный толковник Даль сомневается в иноземном происхождении этого выражения, находя в словах юрить, юра и юр сродство с юлить, юла, и заподозрил участие в слове чудского корня юр (башка). Говорят в одинаковом смысле и безразлично проюрдонить и проюлить, что указано и Далем со ссылкой на костромской говор. Во всяком случае, если слово «проюрдонить» остается в подозрении, то «проюлить» уже не подлежит сомнению в своем русском происхождении, будучи хорошо известным в смысле игорного занятия даже в Сибири за Байкалом, в тамошних каторжных тюрьмах. Здесь на досуге, за глазами сторожевого бдительного надзора, людьми сильных страстей ведется бесконечная и азартная игра самодельными картами и костями. В играх второго сорта играет главную роль юла, вертушка с гранями по ребру и цифрами, вместо костей. Ее вертят двумя пальцами, играя на деньги (по объяснению самого же Владимира Ивановича Даля). Не так давно, на нашей памяти, эти юлки вертелись, юлили гранями одна за другой, пущенные сильной и опытной рукой на столиках в восемь клеток майданщиками или мошенниками на всероссийских ярмарках. Теперь, расчистив на тюремных нарах место от казенных полушубков и собственной рвани, бросают эти юлы тюремные люди, загадывая просто на чет и нечет по самому простому способу: надо торопиться и оглядываться. С картами больше возни и опасностей, и притом, когда их отберут, делать новые и долго и

трудно. Юлу не так жалко и отдать надзирателю и легче ее спрятать, к тому же и сделать новую не велика хитрость. Попадется в праздничном приварке для арестантского стола говяжья кость, либо принесет ее со стороны сердобольный человек,— ее распиливают крученой суровой ниткой, постоянно смачивая ее в растворе золы и березового угля. Один пилит, другой подливает щелок, чтобы нитка не загорелась и не разорвалась. Садясь с готовой юлой за игру, ведут ее, как и все гуляющие на свободе азартные игроки, особенным счетом, с условными выражениями, как и у клубных игроков в лото и бостон: у юлки 9 очков — это лебедь, 11 — лебедь с пудом, 5 — петушки, 4 — чеква и т. д. Там же, в этих же каторжных тюрьмах на Карийских золотых промыслах за Байкалом, мне рассказывали следующее (что я и записал в свое время, в 1860 г., и напечатал в своей книге «Сибирь и каторга»): «Здесь деньги на вино и вещи сбываются тем бывалым тюремщикам, которые вышли из тюрьмы на так называемое пропитание и на краю заводского селения, в особой слободке, обзавелись домком-лачужкой, а в ней и *юрдовкой*, то есть заведением, удовлетворяющим всем арестантским нуждам и аппетиту на вино, харчи и игру. Вещи, сбываемые сюда всегда в наличности, уходили, хотя и на наличные деньги или на обмен ухо на ухо (товар за товар), уходили, разумеется, далеко ниже своей стоимости, например шинель, ценимая в казне в два рубля семнадцать копеек, отдавалась в юрдовках за семьдесят пять копеек и самое большое за полтора рубля». Вообще следует сказать, что где только ни производились работы каторжными, везде имелись обязательно на выгоне, где-нибудь в овраге, эти слободки. Им, по установившемуся повсеместно обычаю, непременно присваивалось название «юрдовок», по тем же законам, по каким придается имя всяким городским улицам, переулкам, площадям и т. д. Некоторым юрдовкам удалось превратиться в целые селения с сохранением этого названия, к сожалению неизвестного В. И. Далю и, вследствие этого, не занесенного им в его изумительно полный и точный словарь. Еще одна коротенькая заметка. Известно, что игры в карты стали входить в моду при дворе в царствование

Анны Иоанновны. Любимцы государыни, Бирон и Остерман, играли на крупные суммы с иностранными послами. Играли в то время преимущественно в «фаро» и «квинтич». При Петре III упоминаются: «ломбер» — игра, выдуманная в Испании и называвшаяся в сущности «гомбер» (hombrе — тень), так что только «по ошибке» мы до сих пор говорим «ломберный», а не «гомберный стол» — «кадрилия», «пикет», «контра», «панфил» (в простонародии — «филя», «простофиля» или «дурачки»).

ДЕНЬГИ В СТЕНУ

В архангельских краях, именно около Холмогор, известно выражение «давать в стену деньги», везде во всех прочих местах давно исчезнувшее, да и здесь более памятное лишь в начале текущего столетия. Оно упоминается в грамоте, писанной полууставом на пергаменте и хранившейся в соловецкой монастырской ризнице. Этот акт выдан был около 1470-х годов третьему преемнику преподобного Зосимы, игумену Ионе (Ивону) от господина государя Новгорода, от всех пяти концов на вече, на Ярославовом дворе, за восемью вислыми свинцовыми печатями: владыки, посадника, бояр, степенных тысяцких и проч. Этим документом предоставлялось обители преподобных Зосимы и Савватия право на вечное владение всеми Соловецкими островами, в предупреждение обид от новгородских боярских людей и «корельских детей» (то есть жителей). В грамоте, между прочим, сказано: «А кто имеет наступитися на те острова через сию жалованную великого Нова-городу грамоту, и той даст великому Нова-городу сто рублей в *стену*». По объяснению автора «Описания Соловецкого монастыря», изд. архимандритом Досифеем в 1836 г., «древнее присловье давать в стену деньги или собирать деньги в стену не вышло еще из памяти холмогорских поселян-старожилов около посадных волостей. Сими словами означает у них оклад денежный или тягло, относимое на счет государственной казны, что надлежит взыскать без упущения и заплатить непременно». Полное доверие

к этому объяснению несколько поколеблено в прошлом году сообщением нашего известного ученого деятеля и неутомимого исследователя Севера, основательно изучившего быт лопарей, нашего консула в норвежском Финмаркене, Д. Н. Островского, в одном из заседаний этнографического отдела Географического общества. У лопарей, издавна считающихся христианами, в их погостах, в стенах церквей и часовен, наш любознательный консул находил вбитыми в бревна серебряные монеты, по большей части рубли и полтинники, сохранявшиеся нетронутыми, повидимому, с очень давних времен. На одном строении он насчитал приблизительно до четырехсот рублей. Обветшалость целого часовенного строения и прогнившие стенные бревна в труху и пыль указывали время, когда следовало свободно и без труда вынимать вбитые деньги и на них сооружать новые дома молитвы. Такое буквальное и наглядное осуществление древнего выражения прямее всего указывает на специальное назначение известной подати в пользу исключительно одних церковных зданий,— и это в целой тысяче верст от города Холмогор.

Совершенно противоположное значение указанному очень старинному выражению имеет то, которое недавно придумано и, как новое крылатое слово, вылетело оперенным лишь в последнее время, почти вчера. Оправдывает себя полтиной за рубль и меньшею единицею плут-купец, припрятавший капитал и мошенническим ловким способом желающий расплатиться со своими обманутыми кредиторами. Этот прием в настоящие дни настолько общеизвестен, что не обязывает ни на какие дальнейшие толкования, которые в достаточном избытке дают разбирательства дел гражданских и уголовных в наших окружных судах и палатах. О нашем старорусском способе взыска долгов посредством «правежа» упомянуто в другой статье.

ПОД БАШМАКОМ

Подчинение мужа жене, характеризуемое этим выражением, очевидно, заимствованным с чужого языка (как думали, с одного из западных), в форме переводного

(«под туфлей»), в настоящее время разъяснено известным профессором Д. И. Иловайским иным путем и способом. «Башмак», — пишет нам историк, — слово татарское и обозначает вообще обувь, сделавшуюся у нас в известном своем виде принадлежностью специально женской обуви. В дополнение к этому объяснению напомним обычай восточных, то есть азиатских, деспотов повергать на землю побежденного и пленного государя и предводителя и наступать на него ногою в знак своей полной над ним власти. Откуда и у нас сохраняется выражение «быть под пятою», то есть «быть под игом»,

ПОД ИГОМ

Иго — собственно перекладина вроде виселицы, употреблявшаяся с древнейших времен и, говорят, применена была впервые римлянами к побежденным самнитянам. Обезоруженные побежденные, снявши доспехи, вереницею подходили под перекладину, утверждаемую у кресла торжествующего победителя, который восседал на нем в это время, любясь позором врагов. С них впоследствии, в ближайшие и нынешние времена, взамену ига, начали брать контрибуции в разных формах, начиная с денежной. В древней Руси иго татарское требовало также денежных податей, но знаменовалось также еще так называемою ханскою «басмою», присылавшеюся из Орды на Русь, которую князья наши должны были встречать с почетом и знаками особого внимания. Что такое была эта басма, нашим историкам до сих пор не было в подробностях известно... Карамзин знал только то, что это была ханская грамота с печатью. Д. И. Иловайский говорит, что нашим историкам осталось неизвестным сообщение польского историка Нарбута, сделанное еще в 1840 г.

Нарбут сообщает, что какой-то любитель старины, знакомый с письменностью литовских татар, нашел в одной их рукописи, написанной арабскими буквами на татарском языке с примесью литовско-русского наречия, следующее объяснение интересующего нас пред-

мета: «Ханская басма была не что иное, как деревянный ларчик двенадцати дюймов в длину и пяти в ширину, наполненный растопленным воском, который окрашивался в тот или другой цвет, смотря по желанию хана. На этой восковой массе, пока не совсем застывшей, оттискивалась ханская стопа прямо давлением босой ноги. На такой оттиск клалась подушечка, сшитая из дорогой материи и набитая пропитанною запахом мускуса хлопчатой бумагой. Ларчик закрывался высокою крышкою и завертывался в шелковую материю, затканную золотом и серебром. Для пути его вкладывали в кожаный мешок, который выучился на богато убранного и покрытого пурпуровою попоною верблюда. Этого верблюда вел осobo для того назначенный чиновник, а для стражи и почета его окружали двенадцать ханских знаменосцев или уланов».

В СОСЕДЯХ

Пословичное правило советует жить миром с теми людьми, которые поселились домами рядом, бок о бок, двор о двор, стена об стену или межа с межей и зовутся в более частых случаях соседями (или, вернее, суседями, соседящими вместе) или шабрами (по испорченному старинному летописному от сябер, сябр). Применение похвального правила обеспечивается давними законами, нигде не записанными, но всеми обязательно соблюдаемыми. Чтобы быть и слыть добрым соседом, конечно, не следует нарушать границ чужой собственности, не захватывать своими строениями или огородными грядками соседской земли. Это прежде и главное всего. Затеявая на своем участке новые постройки, всякий обязан помнить святое правило — не стеснять соседа ничем. Для этого каждый огораживается забором или плетнем; устанавливает грани и кладет на них клейма, которые служат и знаками собственности и знаками происхождения. Не только нельзя зарыть вырытую им, для просушки земли, канаву, но и свою надо направить так, чтобы она не подмыла амбара, не затопляла соседского огорода.

Опытный и совестливый человек не решится прорубить дверь не только из своей избы, но и из сарая во двор к шабру и не дерзает не только прогонять здесь свой скот на пастьбу или водопой, но и сам осмеливается проходить по чужим владениям, ради сокращения пути и иных уважительных причин, не иначе, как с разрешения. Он вправе требовать места для прохода только в таком случае, когда другого пути нет. Когда надобятся для общего пользования дороги, улицы и переулки, всякий обязан от своего участка отрезать требуемое количество земли и притом соблюдать, чтобы проездное или прогонное место не было тесно. Можно закрыть этот путь, если он никому не нужен и если нашелся другой, который может удобно его заменить. Хозяевам из давних времен указано не бросать сору на чужой участок и не позволяется даже ссыпать золу под соседским забором. Кто проведет к себе воду из общественного источника и этим его изубожит, тому, по мирскому приговору, достанется плохо: велят все переделать из нового по-старому и заплатить денежный штраф. Что каждый выбрал себе и огородил свое излюбленное место, тем и владей, как знаешь, но без сторонних ущербов, помня одно, что если сосед дрова рубит, то нас не разбудит. Святое правило, изжитое веками и добытое долговременным опытом, прямо говорит: «Не купи двора, купи соседа». Он не запретит брать из своего колодца воду для питья даром и разве на случай порчи сруба или журавля попросит пособить починкой, из совести. Он вообще явится первым на помощь с топором или могучим плечом во всех тех случаях, где одному невозможно справиться, и т. п. Конечно, эти коренные и другие подобные им и многочисленные правила установились не сразу, а после множества ссор и пререканий, следы которых в обилии встречаются в старинных актах юридического характера, открывая обширное и любопытное поле для ученых исследователей. Жалобами и спорами устанавливалось то могучее начало общинного права, которым сильна и крепка наша Русь. Каждый при своем является вместе со всеми, на общем деле, неодолимою силою.

Входя в область так называемого обычного права,

соседские права занимают в нем одно из обширных мест и по разнообразию своему представляют благодарный материал для обширных ученых изысканий и бытовых народных картин. Понадобятся объяснения межевых законов обычного права и земельных порядков, скажется разница между забором, изгородью и пряслом, обнаружится удивительное искусство крестьян невооруженным глазом, при помощи одного топора, проводить, например, через леса межевые линии, чуть ли не верстовые, и притом с поразительной точностью, и т. д. Соседят русские люди не только с деревенскими свояками и сватами, а «суть князи муромские и рязанские (татары) в сусу-дех», говоря летописным выражением. Покупая же соседа, то есть приселяясь к инородцам, наши переселенцы действуют в этом случае с осмотрительностью и осторожностью: так, например, при заселении богатых оренбургских степей в конце прошлого века наши, привычные и повадливые без разбора ко всякому соседству, неохотно соседились с башкирами, у которых господствует племенная страсть к конокрадству. С другими, как с лопарями и вотяками, охотно братались наши люди, меняясь тельными крестами и называясь крестовыми братьями, сестрами, с зарокom вечной дружбы и взаимной помощи при нужде и т. п.

Если углубиться больше в этот живой вопрос, выяснится крупная разница в крестьянских хозяйствах: великорусских общинных и белорусских подворных. В последних запахивание чужих полос продолжается годами и представляется явлением заурядным, вызывающим множество тяжб. Каждый домохозяин из племени кривичей, дреговичей и древлян заботится всецело о своем лишь благосостоянии. Желание одних привести в известность межи разрушается всегдашним несогласием других. Вопреки всероссийскому общинному строю деревенской жизни, здесь не только в обществе, но и в семьях все стремится к отдельному, независимому друг от друга, самостоятельному быту. Община давно здесь исчезла, и слабые следы ее лишь тускло выражаются в единственном остатке славянской старины — в толоках, или помочах — обычае, применяемом в тех же случаях, как и в Великороссии. Ни о круговой поручке, ни о

каких земельных переделах и прочем здесь не имеют ни малейшего понятия, после продолжительных стремлений к обезземелению крестьян местными панами.

ОТ НАВАЛА РАЗЖИВАЮТСЯ

В торговле (московской по преимуществу) слово «навал» получило особенное своеобразное значение: зовут довольно обычный купеческий прием в сделках с иногородними оптовыми покупателями, состоящий в том, что, сверх заусловленного, стараются навязать лишнее, по большей части залежалое. Такой расчет основан на том, что в глухих местах на темных людей всякий товар разойдется, если приложить к тому старанье и уменье. Весь товар идет на кредит, а навалной уже сверх сыта, а чтобы оптовый покупатель не упрямылся приемом, для этого имеются в Москве давно приспособляемые приемы в разнообразных угощениях по трактирам, загородным гулянкам и иным увеселительным местам, чтобы затуманить глаза в то время, когда лавочные молодцы накладывают и упаковывают товар. Многие от этого навала успели разориться, о чем в особенности отлично помнят, точно и подробно знают сибиряки и указывают имена. Опуская значение постановленного в заголовке выражения в московском смысле, Даль дает свое, говоря: «Навал (в пословице) понимается в значении навала покупателей, а не товара; коли толпа — народ валит валом, — разживаются от бойкого сбыту, почему и бойкое, торное место купцу дорого, а насиженное на бою, куда заборщики валят по привычке, вдвое дороже». Припоминая, что собирателю пословиц приходилось отбиваться от таких строгих судей, по приговору которых весь сборник не был допущен в печать, смягченное толкование было вынужденно (в оправдательном ответе оно и приведено). На самом же деле оба явления очевидны и действительны в практической жизни, а стало быть, в равной степени надобятся и годятся обе приведенные причины наживы от навалов.

Во всех тех частых случаях, когда на малое много охотников, желающих приобрести предлагаемое или продажное, и потому представляются затруднения разойтись по миру,— по согласию, издавна установился своеобразный обычай. Зародился он на деревенских базарах и вообще на местах торговых сходов и сделок, где зачастую, говоря книжным термином, спрос превышает предложение. На привозный товар, особенно на самый ходовой и верный, как, например, хлебное зерно, набирается целая толпа покупателей. Большею частью это продувные, опытные и ловкие барышники, за многочисленностью и разнообразием получившие множество прозваний. Они устанавливают цену, усердно торгуясь и безжалостно притесняя продавца. Наиболее ловкие до такой степени сбивают цену, что всякому чрезвычайно выгодно дать ее и нажать барыши. Как извернуться, чтобы не обидеть соседей и товарищей по промыслу? С ними, по пословице, доведется детей крестить. Придумали так, чтобы решение вопроса, без раздражения до брани и драки и без неизбежных последующих упреков, предоставить судьбе или жребию. Последний и является в форме ломаного гроша или другой медной монеты, с натиснутой зубом щербинкой и т. п. Жребий каждого бросается в шапку, в ней встряхивается и вынимается. Чей первым попался под руку, тот и указал на счастливого владельца: за ним или товар при купле, или тот подряд на какую-нибудь наемную работу, которая соблазнила сотни людей, но понуждалась лишь в десятках. Удачник обязан откупиться от товарищей, которым не посчастливилось, чтобы не было им напрасного и обидного разочарования: он должен от себя внести условленную сумму. Последняя определяется еще раньше где-нибудь в кабаке и даже выдается на руки тому, кто окажется опасным либо по задорному нраву, либо по толстому карману, либо по упрямству и стойкости в своих намерениях. Его необходимо отвлечь от торгов, чтобы отстал, не набивал цены или, в крайнем случае, готов был охотно передать, по жеребьевому обычаю, взятую им работу или порядок.

Эта мошенническая сделка, зародившаяся на грязных сельских площадках, перенесена была даже в высокие и светлые залы здания правительствующего сената и не так давно практиковалась там, когда сдавались с торгов питейные откупа, быстро обогащавшие многих и ловко спаивавшие народ. В этих случаях отсталое достигало до десятков тысяч рублей, особенно когда охотились на дело люди с огромными связями, титулованными именами и сильными денежными залогами. Этот способ устранения опасного и лишнего соперника от соблазнительного подряда или даже и просто от такого дела, которое дает голодному хотя малые средства к пропитанию, называется различно — именно потому, что он многообразно и повсюду применяется. Говорят: «дал отсталого», «взял отступное», получил «слам», дал «слаз». Последнее слово (то есть слаз) наиболее употребительно, хотя, повидимому, и наименее понятным образом объясняет внутренний смысл свой. Но это только повидимому. В сущности это слово действительно родилось на постоянных дворах, в ямщицких кругах, но на сенатских торгах оно предпочиталось всем другим, однородным и более вразумительным. Оно же понравилось и современным подрядчикам на всевозможные казенные и общественные работы, когда являются на торги зачастую люди без гроша в кармане, особенно евреи, составившие из этого дела особый мошеннический промысел. Теперь без них уже ни одни торги не обходятся, и иные юркие люди этими плутовскими приемами не только кормятся, но и наживают изрядные деньги.

Густой толпой накидывались извозчики-троешники на пришедшего седока, желавшего ехать в длинную путину от места до места так, чтобы больше уже нигде не торговаться и не искать новых желающих везти, не подвергаться неожиданному, безвыходному и обидным притеснениям. Один из толпы выделялся — это рядчик: он и торговался, запросивши вперед невероятную цену. Сбавляя с нее с упорством по четвертаку и по полтине, он истощал терпение нанимателя и достигал того, что последний платил двойную сумму против попутчика, сидевшего с ним рядом в том же тарантасе. Сам ряд-

чик не ездил,— он только устанавливал цену по общему закону во всех сделках подобного рода «торговаться одному, а конаться (метать жребий) всем». Поедет с седоками тот, кто ухватился последним за самый конец палки и веревки, а всем остальным привелось «слазить» с козел, уступать свое место, и за то получать отступное, «слаз», всегда деньгами и никогда выпивкой. Эта последняя сделка на вино не будет уже отступным, а зовется «срывом», взяткой, именем литок (литка), старинного могольца (могорец), переименованного теперь в магарыч (чаще употребительный при продаже лошадей). Магарычи обычно пропиваются, и если они выпиты, то и дело покончено; если же кого после них взяло раздумье, тот уже опоздал. Говорится также: «кто о барышах, а кто о магарычах» и «барыш барышом, а магарычи даром», потому что и здесь, как и при других крупных сделках, иные наметавшиеся в ярмарочных и базарных торгах «с магарычей так же расторговываются», а иные только лишний раз напиваются. Этот же самый слаз брал ямщик и в тех случаях, когда являлся единственным соперником, но имел перед собою товарища, которому везти сподручнее, так как он обратный, а потому сговорчивый. Выгоднее для этого охотника «дать слазу», оставить себе хоть что-нибудь: все равно надо ему возвращаться порожняком, и притом совершенно даром. И маленькая рыбка на этот раз — по пословице — лучше большого таракана.

ЧТО НИ ПОП, ТО И БАТЬКА

Если суеверный народный обычай при встрече со священниками, почитаемой дурным знаком, указывающий на некоторые предосторожности, вроде бросания щепок на след и другие приемы, родился во времена глубокой древности, то доказанное и выписанное выражение несомненно позднейшего происхождения, хотя также старинного ¹. Толковники объясняли нам, что во

¹ Дурным предзнаменованием служат также встречи с девкой, со вдовой, с монахом, вдовцом, холостяком, с пустыми ведрами и т. д.

времена язычества на Руси священник, как представитель новой веры, проповедник христианства и креститель, мог быть грозным для тех, которые еще коснели в идолопоклонстве. Когда встречный снимал перед ним шапку, складывал руки так, что правая рука приходилась на ладонь левой, и подходил под благословение, значит, прав человек: получи благословение и ступай своей дорогой. В противном случае скажи: кто ты, и во что веруешь, и умеешь ли крест класть на лоб; если же ничему таковому не навыв и не научился, ступай ко властям гражданским. Эта власть «отдаст за приставы» и пособит духовному клиру приобщить к стаду верных новую овцу более надежными и внушительными средствами, чем устная убеждающая проповедь. Наше крылатое слово относится уже к тому времени, когда священство сделалось в народном быту настолько обыкновенным и обязательным явлением в значении отдельного сословия, что народ почувствовал некоторые неудобства и тяготы, стал поговаривать «от вора отобыюсь, от приказного откуплюсь, от попа не отмолюсь». Тогда уже спознали, что у последнего «не карманы, а мешки», привыкли к поповским обычаям, которых оказалось очень много. «Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньги отдавай», — говорилось с сердец и запечаталось в пословичном выражении. В свое время узнались поповские глаза завидующие, руки загребущие и поповы детки непутные, редко удачливые, и поповские замашки и норы, который на кривой не объедешь. Дошли и до таких тонких наблюдений, что выучились узнавать попа и в рогоже; стали отличать не только поповых дочек, но и поповых собак и куриц. Познакомились и со вдовой-попадьей, которая всему миру надокучивает, и с замужней, которая обычно на всех деревенских пирах требует себе почетного места, тискается вперед, толкает под бока локтями и, не глядя, наступают на ноги, ищет места задом.

С самых древних времен крепостничества и до последних дней его издыхания выработались такие взаимные отношения рабов к властям и начальствам всякого вида: общая покорность в помещичьих вотчинах земским властям, беспрекословное и быстрое повиновение

приказам земской полиции, робкое и льстивое обращение с начальниками разных статей, как, например, с лесничими, с так называемыми «водяными» инженерами и прочими чиновниками по многочисленным специальностям. Чиновник видоизменился в имени: стал зваться всем крестьянством без различия «барином». Не только помещичьи, но удельные и государственные крестьяне начали отличаться, например в лесной России, именно тою мягкостью и податливостью в обращениях со всеми властями, которая породила характерную народную черту лукавства, выраженную столь определенным и коротким сказом: «Что ни поп, то и батька». Тогда народ вполне был убежден в том, что он «есть барский», и свободно позволял «вить из себя веревки». Выходило во всяком случае так, что при множестве властей, не обузданных в определенных границах в своем значении и влиянии, всякий оказывался барином: кто раньше встал, палку взял, тот и капрал, или, что ни поп, то и батька. В новейшие времена, для кого безразлично служить в том или другом месте, работать, угождать и льстить все равно кому бы то ни было, для такого человека, конечно, то же самое, что ни поп, то и батька, и т. д.

НАЧАП

Я просил наборщика набрать, а корректора не исправлять этого слова, стоящего в заголовке, на том основании, что чувствуется в нем такое плотное слияние начального предлога с управляемым существительным, каковое слияние замечается и в самом обычае с народною жизнью. Из двух частей речи родилась одна. Это нарицательное имя, означающее всем известную и для каждого обязательную установленную подать, родственно, по внешней форме и внутреннему смыслу, например, со словами настол (русский калым или плата, полагаемая на стол за невесту), наславление — сбор в руках духовенства, вещественный знак благодарности за духовное славление при посещении домов со крестом и св. водою, нахрап и нахрапы — взятые насильем

взятки и жадно наgraбленные состояния вымогателей, нарост — деньги, даренные крестным отцом, или то же, что общеупотребительный на зубок и прочее. Все эти старинные слова, подобно приданому, подушному и т. п., издавна склоняются по всем падежам обоих чисел. Говорят, например, смело и не оглядываясь на свидетелей, таким образом: не жалел кум на́ростов крестникам — ударение на первом слоге, чтобы не смешивать с болезненным возвышением на живых телах, — не жалел этих подарков: без на́роста никогда не подходил к купели, рассчитывая этим привлечь любовь крестного сына и на щедром на́росте достигал того же и у кумовьев. На том же основании и наше составное слово, удалившееся смыслом на неизмеримое расстояние от своего корня (чай — растение, а нача́й — мелкая взятка, плата сверх условия или за небольшой труд), начинает в живой речи подчиняться всем грамматическим правилам. Кое-где уже дерзают говорить во множественном числе; примерно так: пошли поборы, да взятки, да разные нача́и; всем праздникам бывает конец, а нача́ям конца нет и в год приходится раздать на нача́й столько, что карман трещит. Хотя от начаев богат не будешь, однако иные семьи давно уже помаленьку живут этими самыми нача́ями. Стало быть, и нам не только обязательно выдать нача́й, но можно остаться при этом без карманных денег от выданного сегодня нача́й и быть по праву всегда недовольным частным нача́ем¹. Если, в

¹ В купеческих счетах на Волге давно уже значатся «нача́йные» деньги, стоящие рядом с наводочными и на хлебными. В указанном же примере следую тому же образцу, который указан давно установившимся обычаем, приложенным к слову «завтра» (заутро, завтра́не), как существительному среднего рода. Родительный падеж будет, по желанию, или завтра́я, или завтра́го, или завтра́ва (не далее до завтра́ва). А затем дательный — день к вечеру, а работа к завтра́му, — к тому же времени можно теперь из Петербурга и в Москву попасть, — к завтра́ю, завтра, заутру. Когда завтра́ будет? (винительный) — ответ: никогда. Сегодня не сработает — завтра́ем не возьмешь (творительный). В творительном говорится и так: завтра́м, заутром; в предложном, стало быть, о завтра́е, о завтра́м, о завтра́е. Вообще у завтра́ нет конца, между прочим нет конца и предела той свободе обращения с родным языком простого народа, не стесненного грамматическими правилами, навязанными в школах. Своеволье (если только имеем право так выразиться) доходит до изуми-

самом деле, кажется странным склонение этого слова в единственном числе, то, минуя бытовое явление, когда эти поборы часты, многочисленны и мелки, мы все-таки не должны забывать, что это слово новое, создавшееся почти на нашей памяти. Оно еще не обдержалось так, чтобы могло гнуться и склоняться по грамматическим правилам подобно тому, как, с явною смелостью и решительностью, проделывает то же и с таким же составным существительным «заграница», когда стали туда почаще ездить и интересоваться ею даже и те темные люди, которым известна была до тех пор лишь одна Белая Арапия. Свободные в обращении с родным языком, как ветер в поле, коренные русские люди с природным, старинным давно уже не церемонятся. Например, молоко в нынешней форме своей проводится на севере России по всем падежам множественного числа, вопреки запрету всех наших грамматик, прославившихся противоречиями, недописанными законами и недоделанными правилами. Там твердо уверены, что молоки бывают разные, друг на друга мало или совсем не похожие: пресное и квашеное или кислое, топленое и парное, простокваша и варенец, творог, сметана и сыры,— вообще все молочные продукты, имеющие одно общее название «скопов». Вот почему и едет смело и решительно на архангельский базар подгородная баба и дерзко и бессовестно кричит на всю площадь, предлагая свой товар в разнородных сортах и во множественном числе любому учителю и ученику гимназии.

тельных дерзостей. Укажу на один курьезный пример. Знакомое нам со школьной скамьи из уст учителя русского языка личное местоимение в родительном падеже множественного числа во многих местах, среди мещанского, купеческого и крестьянского люда, принято за существительное имя и дерзостно склоняется на разные лады, конечно, в значении «не моего, чужого», принадлежащего другим. Говорят: иха, ихо, а потому, ихова, ихой, ихому, иху, ихи, ихим, ихих, ихими. Затем, конечно, по последовательности усвоенного привычкою правила: ихини, ихна, ихно, ихнова, ихному, ихну, ихни, ихних, ихним, ихними и т. д. Это, впрочем, то же самое, что «эный» петербургских кухарок, у которых замечается особенная склонность уродовать родной язык — говорить: «уседчи», вместо ушел, то есть в замену прошедшего времени всех залогов глагола говорить причастиями и деепричастиями прошедшего времени.

Слово «начай» действительно новое, но составленное по тому же старому закону, как хлеб-соль, да еще и с челобитьем ради спасибо. Оно лишь в середине нынешнего столетия дерзнуло счастливо посоперничать и с притворною ласковостью и с обманом подменять заветную и старинную «наводку, наводочку, навино». Год, когда началось повальное московское чаепитие, с точностью определить трудно: говорят, что вскоре «после француза» получила свое начало трактирная жизнь и дикие, домоседливые купцы начали посещать театры, отдавшись обоим развлечениям с неудержимым увлечением и охотою. Изменились люди до того, что давно уже в Великороссии сложилась поговорка, что «ныне и пьяница наводку не просит, а все начай». Исключение представляют два родственные народа: белоруссы и малороссы, за которыми, в числе многих древних привычек, осталась и эта просьба, высказываемая откровенно и напрямик,— «на горилку». На больших дорогах, вблизи племенных границ, эта просьба ямщика, обращаемая к проезжему, смело засчитывается в число этнографических признаков таковых границ. Так, например, по Псковской губернии все просят «начаек». В Витебской и Смоленской тот же почтовый ямщик, почесывая спину и в затылке, выпрашивает на прощанье «навино». Почтовая «наводка» сделалась даже обязательною, законом установленною, прибавкою (от пяти до десяти коп.), для едущих даже по казенной надобности, освобожденных от платы шоссейной и за экипаж (по двенадцать коп.). Право это до того всосалось в плоть и кровь ямщиков на всем пространстве русской земли, что отказ считается невероятным и вызовет неприятные сцены. Обещанная прибавка к наводке, наверное, обещала ускоренную езду, а приведенная в исполнение по пути натурой тешила и веселой песней и острыми прибаутками и приговорами. Насколько скудна деревня и велика деревенская нужда, можно видеть из того разнообразия указаний, которым наскоро и счет подвести нельзя. Со всех ног мчатся босоногие ребятишки отворять проезжим ворота, выходящие на деревенские поля, а если ворота из деревни на выгоны остаются незапертыми и даже сняты с петель, и нет даже такой работы, те же ребята

гурьбой стоят у верей и ждут подачки, что сбросят: пряники, баранки, медные копеечки, орехи. Не догадался запастись всем этим проезжий, — смелые бранятся, малые во всю глотку ревут и все-таки бегут следом вподпрыжку, пятки сверкают.

В одних местах, как в той же Новгородчине, прямо, без всяких обиняков, просят на хлебушко; подавайте этим, ради Христа самого подавайте; своего хлеба не хватило им далеко до Николы зимнего, а привозный и продажный купить совсем не на что. В местах посытнее просят на калачики — на сладкий кус, на пшеничные баранки; на Кавказе и за Кавказом — на кишмиш. Красным девицам дают на орешки, горничным — на помаду, барышням либо на булавки, либо на перчатки; солдатам на табачок и т. д. Складывают правую руку в горсточку и вытягивают ее во всю длину навстречу прохожему малые дети, прося на орешки, где их нет, и на пряники, где их пекут, да не дают даром. Суют руку и взрослые, говоря еще проще: «Прибавь на бедность». Часто услышишь: «Подайте на погорелое», хотя последнее бывает двух сортов: правдивое и лживое. А иной «Абросим совсем не просит, а дадут — не бросит»: ему, пожалуй, уж и не такая великая нужда в милостыне, да от дарового не велят отказываться, если уже расходилась милостивая и не оскудевающая рука дающего.

Степенный старик с окладистой бородой, с подвешенным на груди планом храма и со внушительным видом, выпекает: «Будьте вкладчики в церкву божью, на каменно строенье» (на кабацкое разоренье — подсмеиваются остряки). Молодой парень с длинной палкой от собак и с блюдечком, накрытым шелковой тряпицей, для добротных даяний, просит «на благовестное колоколо». Подачки или подарков просят даже на свадьбах: «на шильце, на мыльце, на кривое веретено». Выражение «шильцем и мыльцем» вошло даже в поговорку о тех людях, которые, по бедности, пробиваются кое-как, но не выпускают из рук ничего подходящего и ничем не пренебрегают. Малые нищие молят «на хлебец копеечку», большие «для праздника господня — телу во здравие, душе во спасенье от своих трудов праведных». Это очень длинно и нараспев, и в таких местах, где надо надокуч-

чать, чтобы разжалобить, надо долго петь, чтобы обратить внимание. В архангельской тайболе, в самых глухих и совершенно безлюдных местах, ветхие старики-кушники, не способные за увечьем или старостью к работе и от долгого житья в пустынном одиночестве даже разучившиеся говорить, мозолистую правую руку, сложенную корытцем, протягивали мне со словами: «Не сойдет ли что с твоей милости?» Тут уже нет определенного вида нужды, ибо все нужно, ничего нет, кроме общественной курной избы. Этому что ни дашь — все ладно: яичко ли, недоеденный пирог. Здесь, пожалуй, за деньгами не очень гоняются, ничему они не послужат, потому что и купить негде и нечего в этой мертвой лесной пустыне. Остался один, не помнящий добра желудок, который и просит хлебушка, а в прочих желаньях не на чем остановиться, все неизвестно, а бывшее забыто и замерло. Тут все ясно, а потому и коротко. В населенных местах нужда болтлива; она просит, распевая и длинными стихами и коротенькою складною речью, всегда уныло и протяжно. Придуманы праздники и с ними установлено, когда и о чем просить: яичка и сыров на пасху, ветчинки и колбаски на рождество, блинов на могилах. К этим временам прилажены длинные стихи, распеваемые в Белоруссии особыми артелями так называемых волочечников, в Великороссии мальчишками, разными нищими и т. п. Во всяком случае здесь нужда мудрена: пошла на все выдумки, хотя на самом деле истинная нужда скромна и молчалива.

ИЗ КУЛЬКА В РОГОЖКУ

Мужик надрал лык с липовых деревьев в мае, когда поднимается древесный сок, а кора сидит слабо, и сделал надрез сверху вниз. Соком отдирается кора от ствола и в июле сама отпадает. Собранное лыко до октября кладут в речки или ямы, где оно очищается от верхней коры и клейкого вещества. Связал мужик надранное лыко вязками, сложил на воз и свез на базар. Нашлись у него покупатели. Здесь, по давнему обычаю, ждут этого

доброго и трудолюбивого человека лиходеи затем, чтобы запутать простоту и сбить на его товар цену. Сами ткачи не торгуются, а подсылают бойких молодцов. Когда эти установят бессовестную цену, покупщики, стоявшие в кучке и в стороне с тем видом, что как будто вся эта плутня не их дело, начинают бросать жеребий. Кому вынется, тот и принимает покупку, остальным выдает он отступного, каждому по пять, десять, пятнадцать копеек. Промышленный человек роздал это лыко подручным рабочим из вольных охотников, а то и сам принялся за выделку, если есть у него своя зимница — большая холодная изба с небольшими окнами, заложенными соломой. В ней стоит пыль столбом, жар, духота и смрад, каких поискать в иных мастерских. Тут едят и спят, и время проводят так, что, выспавшись немного в сумерки, в десять часов вечера встают на работу до рассвета, когда завтракают, потом с час отдыхают и снова работают. Труда много, но изделия идут на базарах за бесценок. Наживаются, как и всегда и везде, кулаки как скупкою и перепродажею рогож, так и торговлею мочалом. Из коры стволов готовится луб, из коры ветвей выделяется мочало, для чего оно раздирается на мелкие ленты. Из них на станах, стоящих посредине зимниц, ткут рогожи разных сортов и наименований тем же способом, как и шелковые материи (с основой и утком): через большое бердо снуются мочалочные ленты, концы которых связываются в один узел и натягиваются на деревянную раму; уток продевается иглой в три четверти аршина длины, которая имеет на обоих концах дыры для вдевания лент. Из двух рогож большой иглой, согнутой в дугу, шьется куль; лучший сорт — верхи — идет в нем на покрывку, испод составляет внутреннюю сторону куля. Это кулье с хлебом в бунтах покрывается таевкой, вытканной гораздо длиннее и несколько шире. Если из прорванного крюком или из худо сотканного, и потому всегда легкого на вес, куля высыпался хлеб на покрывку, то не все ли равно: на ту же рогожу, но лишь с худшим исходом и лишним трудом для рабочих. Лежал хлеб в зашитом куле — хорошо ему было. Высыпался он — и испортил все дело. От непогоды, под дождем спрятался по случаю один находчивый возчик

в распоротый куль; ему стало немножко ловчее, да подняли на смех товарищи. Насмешки обидели, он прикрылся таевкой, но выиграл немного: рогожа стоит коробом, защищает спину, но не прикрывает головы, вода течет за ворот, да притом надо постоянно запахиваться, потому что тяжелая рогожа лезет себе с одного плеча на другое. Сделалось не только не лучше, но даже несравненно хуже, хотя и приличнее, по крайней мере теперь некому насмеяться, потому что все товарищи облачились таким же образом. Ошибся в чем-либо иной человек (не рогоженный возчик, а, например, городской щепетильный житель), рассчитывал поправиться, изловчиться, придумал новый способ и снова неудачно: «поправился из кулька в рогожку». Это еще хорошо или так себе, все около того же, ни хуже, ни лучше, одинаково. Но бывает невыносима неудача в тех случаях, когда приходится сказать и самому себе (и посторонние люди с этим вполне согласны): «попал как кур во щи», или «от дождя да в воду», или «попал из огня да в полымя» и т. д.

НЕ ВСЕ — ОДНО

Это ответное указание тому, кто обычно путается не только в понятиях, но путает и смешивает самые употребительные и привычные слова. В последних от замены даже одной только буквы, одного звука выходит совсем другое и вовсе не похожее ни в представлении, ни по наружному виду. На это имеется прекрасный пример в очень распространенном на нижней Волге и в Оренбургском крае с чужого языка коротеньком выражении, усвоенном русскими поселенцами: «То ишак, а то ишан». И в Сибири, и на Кавказе, и в том же Оренбургском крае ишаком называется животное конской породы, *equus asinus* — известный всем осел (в его прямом, а не переносном на людскую породу смысле). Впрочем, местами зовут ишаком плохую лошаденку, особенно малорослую (маштак), да местами он же и «лошак» и «мул» (европейский), хотя и здесь большая разница, зависящая от помесей. От конского жеребца и ослицы —

осляк, он же и мул, от ослячьего жеребца и конской кобылы — полуконь, или лошак; обычно сами по себе животные эти неплодные, плодлив из них один осел — ишак, про которого русские люди говорят (в загадке): «Родился — не крестился, умер — не спасся, а Христа посыл». Значит, выходит так, не ради остроумия или на брань; то осел, а то иман — мусульманское духовное лицо, пользующееся в своей среде полным и глубоким уважением и достаточно доказавшее русским властям и деревенским соседям особенно стойкий фанатизм в своей вере и издревле прославившийся возбуждением такового же в других святошах. Нередко могилы таких иманов служат местом поклонения пилигримов, как священные, и украшаются прочными каменными памятниками, веселящими утомленный взор иногда среди самых глухих и отчаянных пустынь в песчаных степях.

ОТВОДИТЬ ГЛАЗА

В том значении, в каком понимается это выражение в городском быту и осуществляется на практике более видимым образом в чиновничьем, младшими над начальством, есть уже переносное. Корень его скрывается в народном суеверии. Прямой смысл — морочить, зачаровать; леший, например, отводит так, что обойдет кругом, заведет в трущобу и заставит безвыходно плутать в лесу. Колдуны и даже знахари (колдун — чародей и волшебник, знается с нечистой силой, знахарь-ворожей или самоучка-лекарь может прибегать к помощи креста и молитвы) — оба эти молодца умеют напускать наваждение или мару на глаза. Никто не видит того, что стоит перед глазами, а все видят то, чего нет вовсе. Довольно известен такой забавный пример.

Неведомые мужики едут на базар и видят толпу, глазеющую на какое-то диво. Остановились они и присмотрелись; не уразумели сами — стали других расспрашивать. Отвечают им:

— Вишь ты, цыган сквозь бревно пролезает, во всю длину. Бревно трещит, а он лезет.

Проезжие стали смеяться:

— Черти-дьяволы! Да он вас морочит: цыган подле бревна лезет и кору дерет. Так и ломит ее,— вон, глядите сами.

Услыхал эти слова цыган, повернулся боком к проезжим да и говорит:

— А вы чего тут не видали? Глядите-ко на свои возы — ведь горят. Сено на них горит.

Оглянулись проезжие и в самом деле видят, что горит на возах сено. Бросились они к своему добру — перерубили топором гужи, отхватили лошадей из оглобелей и слышат, как позади их вся толпа, что стояла около цыгана, грохочет раскатистым хохотом. Повернулись проезжие опять к своим возам, — как ни в чем не бывало: стоят возы, как стояли, и ничего на них не горит. Точно таким же образом в народных суевериях и предрассудках следует искать объяснения и других крылатых слов, например

НЕ КО ДВОРУ,

равносильное не к рукам (не к роже кокошник, не к рукам пироги). Выражение это происходит от приметы, что не всякая лошадь удастся, идет впрок, годится. Глубоко убеждены все, что, например, сивая лошадь черно-волосому покупателю не ко двору. Соловых и буланых стараются обегать, их не любит домовый и обижают. Любит он особенно вороных и серых: чистит скребницей, заплетает гривы и хвосты, холит, гладит, подстригает уши и щетки. На нелюбимую садится, ездит всю ночь и ставит ее в стойло всю в мыле, после чего животное начинает спадать с тела. Когда очень осерчает, то перешибает у ней зад, протаскивает в подворотню, забивает под ясли, даже закидывает ее в ясли вверх ногами, — лошадь вертится и мотает головой. Это злой кучер насыпал ей несколько дробин в ухо, зная, что лошадь от этой операции должна околеть: ушной проход у животного устроен с таким изворотом, что дробь не может высыпаться обратно. Эти мошеннические про-

делки кучеров, в зависимости от стачки с барышниками, применяются всегда в тех случаях, когда хозяева не соглашаются обменять или продать лошадь, оказавшуюся не ко двору. У таких домовый заплетает колтун, расчесать который невозможно, а остричь — опасно. Иная бьется всю ночь, топочет и хралит — это опять домовый, то есть кучер, ворующий корм. На плохом корму и не в холе и без домового образуется колтун. Против проказ этой нежити, обыкновенно совершаемых ночью (днем неизвестно где домовый бродит), суеверные люди подвешивают в конюшнях убитых сорок: он их не терпит. В богатых хозяйствах держат козла; любит ли его домовый, умеет ли задабривать, или просто боится, неизвестно. Известно только то, что в конюшни забегает иногда маленький зверек ласочка (ласка, норок, *mus-tella nivalis*) из хорьковой породы, зимою вся белая. Она бежит по стенам, залезает в уши и мучительно щекотит — лошади потеют и болеют. Она не любит козла и от него уходит, а козел — верный слуга ведьме, да к тому же еще никто не видал, чтобы домовый, который на всех ездит, даже на людях, когда-либо взнуздывал рогатого козла. Он и на конюшне служит по подобию человека, который всю жизнь шатается без дела, то есть служит, по пословице, за козла на конюшне. И таким людям точно так же всегда недосуг: «надо лошадей на водопой проводить».

ЧУЖОЙ КАРАВАЙ

Старинная пословица говорит: «На чужой каравай рта не разевай», иногда с прибавкой, кажется позднейшего вымысла: «а пораньше вставай, да свой припасай». Смысл руководящего правила первой половины внушителен и без объяснительного совета второй. Является здесь отчасти странною ссылка на непечатый печеный хлеб, а не на иную снедь, более вкусную, заманчивую и соблазнительную для всякого любящего поесть на чужой счет и незаслуженно. Не из одного же поползновения к созвучию и складной речи выдумалась эта

общеизвестная поговорка. Каравай в бытовом смысле имеет особенно важное значение, несомненно восходящее к древнейшим славянским временам и сохранившееся в свадебных обрядах малороссов и белоруссов (в Велико-россии только кое-где в южных губерниях, например в Воронежской, Тамбовской, Курской, на Дону).

Выпила девица вина из бутылки, принесенной женихом, сняла с себя пояс, обмотала им ту бутылку и в таком виде возвратила сосуд принесшему, — значит согласна на брак, сделалась невестой, подписала контракт и, за безграмотством, узелком пояса указала место печати (в Великороссии этот обычай заменен посылкою жениху белого полотенца невестина рукоделья). Теперь она ни в каком случае не имеет права отказать жениху, который начинает производить затраты, готовясь к свадебному пиршеству. Белорусские волостные суды, в случае отказа невесты, приговаривают ее родителей к денежному вознаграждению жениха в размере произведенных им трат: на пропой (угощение) родственников; «посажную (свадебную свинью) жених заколол, обручальные кольца купил» (не принимают лишь подлежащими возврату те деньги, которые употреблены были на подарки самой невесте). Со дня заручин начинается стряпня «каравая» в обеих семьях — невестиной и жениховой. Здесь-то сосредоточивается главнейшим образом вся мистическая часть обряда, до сих пор отстаивающая себя от всех прочих церковных обрядов. Эти — сами по себе, но языческие символы прежде всего и впереди прочих. «Расчистенье» каравая (растворение теста) имеет вид особого священнодействия, где жреческие обязанности возлагаются на какую-нибудь, непременно замужнюю, женщину, причем все мужчины удаляются вон из хаты. Мальчик бежит по соседям и собирает гостей¹. Сажает каравай в печь, не иначе как с общего благословения, мужчина, голова которого повязана бабьим платком. При этом поют соседки, «каравайницы», особые «кара-

¹ На Дону, когда сажают каравай в печь, то все собрание держится за лопату; свахи освещают печь, и эти свечи, обвитые лентами, на другой день вручаются жениху и невесте пред алтарем. Теперь все это стало там забываться и не везде исполняется.

вайные» песни, между прочим о том, как бояре печь затопили железными дровами, как шелковые дымы вышли и выпекся каравай, как колесо. А затем все это для того, что «у нашего господаря кудрявая голова, ён кудрями потрясе, нам горелки унесе». Так как это бывает в субботу, всегда накануне венчанья, то на следующий день каравай становится главным символом и выступает на первое место. В обоих случаях (и у жениха и невесты) каравай выносится из чулана или с гумна на веке (крышка на квашне), несется двумя девочками, ставится на стол перед сговоренными. Каждый из них должен приложить к караваю лицо свое и поплакать. Только после того начинается благословение родителями. Перед отъездом под венец жениха и невесту три раза обводят кругом стола, и они целуют свои караваи, берут их в руки и с ними выходят из хаты. Священные хлебы эти увозятся в церковь, кладутся на аналое, а по возвращении домой обрядовая возня с ними все еще не прекращается. Молодых встречает мать невесты, обязательно в надетом навыворот кожухе (шерстью вверх) и в мужицкой шапке для богатой жизни. Начинают расплетать косу, надевают наметку — убор замужней женщины, — делят каравай так, что первые два куса даются новобрачным, а остальные непременно каждому из свидетелей и участников брачного пиршества. Режет каравай ребенок, а куски раздает гостям сват.

Для последней цели этот пшеничный пирог печется большим: на верхней корке делается крест и украшения в виде птичек, свернутых из теста. Украшают также маленькими венчиками, золочеными бумажками; на веточки вешают ягоды калины и проч. Калине приписывается также мистическое значение, и она воспевается в песнях в применении к невесте: «Пришел час, пора и годиночка, — зацвела калиночка». «Сгибаю каравай (как поется в песне) с цветами, с перепелками, с дорогими маковками». В прежнее время с этим караваем, завернутым в холст, ходили к пану, к священнику и к иным почетным лицам на поклон.

Не без намерения привелось остановиться на подробностях обычая именно в силу его символического значения и притом замечательного своею обязательностью во

всех местностях Белоруссии, где мне ни доводилось расспрашивать и прислушиваться к описанию свадебных обрядов. Везде они поразительно одинаковы; везде каравай, подобно именинным пирогам, масленичным и погребальным блинам, родильной каше, святочным колбасам и пасхальным яйцам, играет роль священного хлеба. Обязательно его расчленение с таинственными обрядами и песнопениями и дележ также со священнодействиями, подобными переходу от венца в хату через огонь, подобными поджиганию невестинной косы двумя свечами, сложенными накрест, и сиденью на деже, приему молодых в вывороченной шубе, выходу новобрачных после отдыха с полотенцем, которое держат они за оба конца, и т. п. В таком смысле и религиозном значении каравай мог быть принят, в исключение перед прочими яствами, в пословицу, упрекающую тех, кто любит и привык поживляться чужим добром, не запасшись собственным трудовым. Белорусский каравай (по песне) «сам бог месит, пречистая святит, ангелы воду носят, Христос приступает, хустою (платком) накрывает». Во всяком же случае обряд «каравая», перешедший в обычаи христианские, с ними смешавшийся и ими освященный, не утрачивает значения древнейшего языческого обряда доисторических времен. Он исчез в Великороссии под известным влиянием наиболее энергического и усердного давления проповедников христианства и насадителей православных обрядов, но сохранился вместе со множеством других старинных в Белой и Малой Руси под шумок долговременной борьбы двух исповеданий, выразившейся унией ¹. Народ предпочел вековую старину и дорожит ею до сих пор, как наследием предков тех «дзядов» (дедов), которых признает олицетворенными, живыми духами и в честь их повсеместно установил особые праздники, обставленные многообразными мистическими обрядами.

¹ В. И. Даль в своем «Толковом словаре» привел приговор на свадебном пиру, когда вынимают каравай: «Мой каравай в печь перепелкой (небольшой птичкой), из печи коростелкой» (то есть с припеком, значительно покрупнее). Указан также старинный свадебный чин каравайника, обязанного во время свадебного домашнего священнослужения посить каравай.

По-белорусски выходит таким образом, что после символического закрепления договора поясом жених и невеста получают право жить до венчания между собою брачно и они уже называются теперь молодыми, то есть новобрачными. В Малороссии требуется еще отбывание «весилля» — угощения, которое также не совпадает с церковным венчанием, так как обычай не считает необходимою одновременность двух актов, принятую великорусским крестьянством. В этом обстоятельстве для Малороссии заключен тот важный смысл, что брак признается целым обществом, и это признание важнее церковного. Малороссийскому караваю в данном случае придается более глубокое значение, чем первоначальному договору при сговоре — значение к тому же и окончательно решающего права на законное сожительство. В Малороссии так и толкуют: «Хоть по чарци выпить, да караваю зъисты, а усе-таки треба».

ПРИХОДИ ВЧЕРА

В указанном смысле насмешки выпрашивающему заветную или себе нужную вещь действительно слышится чаще. В виде же ответа должника займодавцу — редко, разве в форме сарказма при жалобе последнего на первого, которого он и не видал, и не застал дома, и ответа такого слышать не мог. Так как завтра все равно, что вчера, то займодавцев обыкновенно потчуют должники «завтраками». У такого завтра обыкновенно нет конца, и от таких угощений еще никто, как белый свет стоит, не бывал сыт. Собственно же совет «приходить вчера» имеет более глубокое и знаменательное значение, если углубиться в беспредельное море народных суеверий и примет и припомнить изумительную доверчивость и пристрастие народа ко всему необычайному и чудесному.

Здесь все дело в том заключается, что проклятый царь Ирод имел «двадесять поганных дщерей во едино время. Шествие творяще святии отцы по горе Синайской и сретошася им двадесать жен простоволосых и вопросиша святии отцы проклятых: «Что вы есте за жены, и куда

грядете?» Отвечали проклятии: «Мы есмы дщери Иродовы, идем род человеческий мучити и кости ломати и зубы скрежетати». — «Что имена ваши?» Они, проклятии, отвечали (это по Нижней Волге): «Имена наши — царапея, цепонея, скучая, дулея, ищея, шатушка, колея, камнея, чихнея, тандея, знобея и тряска». Надо отбиваться от нападения, а чем? — умываться на заре на шептанной водой, отписывать на пряниках и есть ведомые знахарями слова (отнюдь нельзя их развертывать — хуже будет), можно и на кресте на бумажке привязывать. Змеинный выползок целый месяц носить — помогает; засохшая лягушка способит, кусок свиного сала на том же кресте целит: она, проклятая дочь Иродова, свиньи боится. Прибегают и к сильным, решительным средствам: уносят больного в лес, завязывают над головой два сучка березы (боятся Иродовы дщери и этого дерева) и велят больному кричать: «Дома нет, — приходи вчера!»¹ Сам знахарь приговаривает: «Покинешь — отпущу, не покинешь — сама сгинешь».

— Стало ли больному лучше, помогло ли?

Планетчик сказал:

— Находка не спроста. Вишь, эта болезнь не ему сделана; да он случайно набрел на нее: с болотной кочки она, знать, в него и заскочила. Видно уж, сердешный, с тем в землю пойдет.

Видя, что ничто не помогает, стали больного «жалеть», оказывать любовь свою: кто принес соленых огурцов, кто кислой капусты, столько, что здоровому молодцу в три дня не съесть. Начали угождать больному: в сенцы на холодок вынесут — горит он, так прохолодиться; помогут ему составить ноги на пол и дверь настежь откроют — очень уж пот-то его одолел: пущай обсохнет!

— Впоследние ведь! Одна нога у него уж, видимое дело, в гробу. Лекарь-то бог, что ли; вложит он душу-то, когда она вылетать собралась?

Бывает и так, что проказник домовый, который любит щипаться, толкать под бок и будить ночью, гладить

¹ Такой же заговор применяется и к чуме во время скотского падежа, и во всех болезненных случаях, где предполагается действие живой злоехидной силы.

рукой и проч., но неохотлив говорить, вдруг что-нибудь скажет, обычно позовет по имени. Кому это покажется, тот обязан сказать ему (мысленно, чтобы не рассердить этого вообще доброжелательного старика) любимое его слово, владеющее для всех нечистых великою силою:

— Приходи вчера!

ПУСТОБАЙКА

Выражение «приходи вчера», взятое в прямом его смысле, без применения в качестве зарока и заклинания,— не что иное, как бессмыслица, без толку и значения. Ею пользуются, между прочим, балаганные шуты, рассчитывая на то, что, в числе прочих шуток-прибауток, она сойдет за острое словцо, вызовет к себе внимание толпы и возбудит в ней смех, а может, на счастье, и хохот. В сущности, «приходи вчера» относится к разряду «пустобаек», составляющих вместе с пословицами, поговорками, присловьями и загадками особый отдел народных изречений, довольно богатый материалом, но скудный смыслом и потому стоящий ниже всех и стоящий дешевле всех соседей. В отдел пустобаек следует отнести и все те изречения, на которые потребовались от меня объяснения. Их дать нельзя либо потому, что за поисками красного слова или яду на острие насмешки они оказались бессмыслицами (как «сивый мерин», который «врет»), либо выхваченные из иностранных языков, они там и корни оставили и жало завязили. Такова — «свинью подложить», как недавно заимствованная для обогащения языка и крадучись пробирающаяся в народ наравне с родственными ей дворянскими, господскими и взамену устарелых или набивших оскомину и сильно надоевших от частого оборота на житейском базаре. Таковы — «подсыпать кому перцу, запустить шпильку, поставить горчишник, задать закуску, подвести под сюркуп» и проч. В деревнях взамен этого слова давно уже пользуются не менее бессмысленными. Есть и гораздо лучшие, хотя бы потому, что домашние, а не бременская фальшь, не

гамбургская гаванская сигара, не прусское настоящее шампанское из Берлина (например, «влисть кому щей на ложку» или однородное с заимствованным: «всучить щетинку»). На своей родине эти крылатые слова несомненно имеют источник и указывают то место, где они родились и откуда, как вольные птицы, вылетели в мир божий, стали порхать и перелетывать по белому свету. Такова, между прочим, первая пришедшая на память: «навязать медведя», несомненно заимствованная с немецкого и употребляемая в смысле «одурачить». Сдин путешественник уверял немцев, что он видел в Польше, как два медведя съели друг друга дочиста. А в Польше знаменитый враль, пане Коханку (Радзивилл), рассказывал о том, как сам он изобрел для ловли тех же медведей повозку с острым железным дышлом, которое намазывалось медом. Охотливый до этой сласти зверь приходил и лизал, все дальше и дальше, налегая на дышло до тех пор, пока конец последнего не проходил целиком сквозь медвежью тушу и не показывался наружу. Тогда гайдуки, спрятанные в повозке, выходили, навинчивали на острие гайку, чтобы зверь не соскочил, запрягали лошадей и отвозили добычу в местечко Сморгоны.

В число домашних, коренных русских пустобаек (или, что то же, «пустоговорок» и «приговорок») относятся, между прочим, те прибаутки и присказки, которые ищут только склада или замерли в своей первоначальной форме, давно утратившей смысл. На такие прибаутки охочи были наши недавние удалые ямщики, помахивавшие кнутом с веселым покриком на лихую тройку, вроде: «по всем по трем! коренной не тронь, а кроме коренной, и нет ни одной». Мотай-де себе на ус и смекай про себя, сколь мой обиняк остроумен и замысловат, сколь в нем много скрытого под иносказанием глубокого смысла и сколь я сам удал и весел, чтобы воспользоваться перед другими правом получить прибавку в казенной наводке, — не на косушку, а на весь полуштоф. Мастера были на такие «художества»-досужества сбитенщики, которых в наше время заставили примолкнуть и не орать по городским улицам и площадям с припевом и вприпляску: «Ульяна! Ульяна! садись-ко ты в сани, поедem-ко с нами, во нашу деревню, — у нас во деревне много див увидишь:

курочку в сапожках, петушка в сережках, утку в юбке, козу в сарафане, корову в рогоже» и т. п. Горласты и самодовольны были господа-пирожники, тоже известные остряки, любимцы толпы, находчивые на встречные вопросы поперечными ответами. И эти молодцы «с лавочкой на животе» также смолкли и шатаются с легким приговором козлиным голоском: «пироги горячи!» (холодные-то!), или «с пылу, с жару!» (в обеденную пору после ранней утренней заготовки). Остряки балаганные старики осматриваются; раешники приговаривают сонными голосами и не действуют так, как бывало в недавнюю старину. Благопристойность сохранена, и городское благочиние соблюдено, но язык потерпел большой ущерб, потерявши источник обогащения. Всем известно, что из подобной болтовни многое поступило в обиход в значении пословиц и поговорок и также стало нравственной притчей, руководящим житейским правилом и поучением в подлинной форме народного закона. Конечно, «иная пословица не для Ивана Петровича», потому что, по опыту, «не всякая пословица при всяком молвится».

Существуют в соседстве и недалеком родстве и такие прибаутки (пустобайки), которые уцелели, как дорогое достояние веков, и с той самой поры свободны и правы перед самой строгой цензурой. Они когда-то, в незапамятные времена, выдуманы, затвержены и обязательны до сего дня. Таковы сказочные прикрасы: «в некотором царстве, не в нашем государстве», «я там был — мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало». Конечно, и эти «присказки, когда сказка будет впереди», получают пословичное значение, когда умело приспособляются к тому или другому бытовому случаю и житейскому событию. Все равно, исходят ли они от местных обычаев, или зависят от личных привычек людей, — их принимают в живую речь, как приятных гостей. Народный вкус умеет гостеприимно обмыть их, очистить, наскоро принарядить и посадить рядом с испытанными друзьями и давно ведомыми знакомыми. В кучах складных слов, как в мусоре, умеют отобрать то, что годится и про домашний и про общественный обиход. Иные пустобайки прямо входят в тот разряд и вид крылатых слов и мимо-летных изречений, на которые так способны и счастливы

французы и которые, под названием каламбура, имеют большой успех в обществе. Эта игра слов, с двояким смыслом, является, например, в такой народной прибаске: «я в лес (влез), и он в лес, я за вяз (завяз), и он за вяз (за то же самое дерево)».

Именно в этом отделе «пустословий» следует искать место того множества выражений, которые, при всех стараниях в поисках, при всем напряжении в догадках, совершенно не могут быть объяснены, потому что говорятся спуста, прямо с ветру и вздорно.

СКАНДАЧОК

Иногда, вместо того чтобы сказать про человека, поступившего опрометчиво, сделавшего что-либо на авось, как ни попало, или, проще, намах, говорят, что он отпустил скандачка, — и попался в беду. В редких случаях пользуются этим словом в ближайшем к настоящему значению смысле про таких людей, которые придумают ловкий оборот в разговорной речи или остроумный прием на выход из запутанных обстоятельств в общественном быту. Тогда говорят: «Он поступил с кондачка», и при этом пишут слово в том виде, как оно теперь у нас напечатано. Здесь ошибка явная, по силе тех же укоренившихся обычаев, — давать превратные толкования окончательно определившимся в языке словам и выражениям. Особенно страдает слово «нарочито», которым сплошь и рядом заменяют слово «нарочно», где прямо подсказывается и прилаживается оно в смысле умышленно, с намерением, тогда как нарочитый всегда сохраняет свое древнее значение (вышедшее из обычая) чего-либо отличного, значительного и даже именитого. Так же точно ошибочно при описаниях в газетах каких-либо народных гуляний, благотворительных торжеств, детских елок и т. п. употребляют вместо «сласти» (как лакомства и сладкие закуски, покупные вещи фабричного изделия) — «сладости». Забывают, что последнее слово обозначает исключительно лишь качество всего сладкого на вкус и то ощущение его с последствиями услады и наслаждения,

то есть всего приятного не только одним чувствам, но и душе. В слове, вызвавшем эту мимоходную замечку, некоторые усмотрели происхождение слова от названия духовной песни «кондака», всегда сопровождающей, как продолжение и разъяснение другой церковной песни в честь спасителя, богоматери и св. праведников, тропаря. Ничего общего здесь нет, и ни в каком случае даже самого отдаленного смысла заподозрить невозможно. Тропарь есть такая церковная песнь, в которой или излагается образ жизни какого-либо святого, или указывается в общих чертах на образ совершения какого-нибудь церковного праздника. В соответствии тропарю в кондаке воспевается в кратких выражениях христианское значение подвигов святых, славословится спаситель или богородица.

Значение нашего слова не потребует никаких натяжек и чрезвычайных поисков, если обратимся к картинам народного быта, и на этот раз прямо-таки к русской пляске, во всем разнообразии приемов. Можно плясать чинную великорусскую и разудалого казачка, ходить голубца и делать малороссийскую метелицу, то есть становясь попарно в круг, каждой паре плясать на три лада бурно. Можно, с присвистом и вскриками, пуститься вприсядку, то есть, опускаясь внезапно на корточки, также быстро вскакивать навтыжку во весь рост. По пословице «и всяк пляшет, да не как скоморох», потому что бывают изумительные мастера выбивать ногами штуки и откалывать разные колена. Вот такие-то добрые молодцы и делают «скандачок», то есть, ловко и сильно ударяя пяткой в землю, немедленно затем скидывают носок вверх. По этому начальному вступительному приему уже сразу видать сокола по полету, который, несомненно, и расшевелит стариковские плечи и потешит глаза товарищей и молодцов. Он сумеет за скандачком и ударить трепака, то есть пустить дробный топот обеими ногами с мелким перебором. Разуважит он подгулявших зрителей всласть, по самое горлышко, и артистическими коленами вприсядку с вывертами и прискоками, для которых, впрочем, еще не выработано определенных приемов и точных законов, по примеру бальных или театральных танцев.

ИГРАЙ НАЗАД

Известно, что в нашем богатейшем языке существуют десятки названий иносказательного смысла, нежных — ласкательных и грубых — укорительных, которые усвоены любимому народному напитку. Напивается также каждый по-своему, сообразно с характером, званием и даже ремеслом. Говорят: сапожник настукался или накуликался, портной наутюжился или настегался, купчик начокался, приказный нахлестался, чиновник нахрюкался, музыкант наканифолился, немец насвистался, лакей нализался, барин налимонился, солдат употребил либо нагрелся. Если всякий другой разночинец может наторопиться, то солдат, в должное и дозволенное время, имеет право и подгулять. С одной такой компанией служивых один раз так и случилось. После приятельского угощения она набрела на скрипача-цыгана и заставила его играть. Играл он долго — устал. Пришло время гулякам расплачиваться. Самый богатый дал гривну. Музыканту показалось мало, и он варом пристал к нему, чтобы прибавил еще пятак, объявляя, что:

— Один камаринский больше стоит, а я сыграл его десять раз.

— Нет у нас ни гроша, хоть все карманы вывороти. На вот — испытай сам! А коли лишку сыграл, так сам давай нам сдачи: играй камаринского на пятак назад!

СТАРЫЙ ВОРОБЕЙ НА МЯКИНЕ

Князь Кутузов молвил слово,—
Хоть нескоро, да здорово:
Старый воробей!

Из патриотической песни Отечественной войны.

Опытную птичку воробья, пожившего год-другой и налетавшегося по божьему свету, не приманишь на те кучи, где сложена ворохом мякина (она же пелева и полова, древнеславянское и евангельское плевелы), не обмануть птички этим призрачным видом сжатого и

сложенного в скирды хлеба. В мякине нечем воробью поживиться: это — хлебный колос, избитый цепами в мелкую труху, от которого самым усердным образом отваяно съедобное зерно хлебных злаков. За последним именно и гоняется эта маленькая домашняя птичка, отличающаяся кратковременною жизнью и торопливостью истратить свой жизненный порох. Этим хлебным зерном она и жива. В Сибири, до прихода русских, воробей был неизвестен; с покорением же этой страны земледельческим русским народом и с заведением в ней пашен, прилетел и этот повадливый вор, вооруженный опытом и острым глазом, привыкшим отличать хлебные скирды от мякинных ворохов. В хлебородных местах этот вор притом же докучлив и настолько многочислен, что потребовал мистических заклинаний, признан проклятой птахой, породил особую легенду о своем происхождении от чертей и в Малороссии приравнен к жидам. Тем не менее воробей счастливее многих людей, которым приходится — по пословице — «сеять хлеб, а есть мякину», «ходить по солому, а приносить мякину», примешивая ее в опару в таком избытке, что выпеченный хлеб кажет комком грязи, поднятым на проезжей дороге, а потребленный в пищу производит у непривычных людей острые желудочные колики и другие болезни. Такова, между прочим, судьба белоруссов, питающихся так называемым «пушным» хлебом, который колет рот, язык и горло, но скудно питает. «Все едино — что хлеб, что мякина», — в отчаянии говорят там и в других бесхлебных местностях русского Севера в те времена, когда совсем нечего есть и стучится в дверь и лезет во все окна настоящая голодовка. «Чем бы ни обмануть, только бы набить брюхо».

Голодный молодой воробей на мякину, по неопытности, сядет, — старый пролетит мимо. Старая крыса почти никогда не попадает в мышеловку. Редкий счастливец излавливал старого ворона и даже старую форель. «Старого моржа-казака не облукавишь», — уверяют архангельские поморы, промышляющие на Новой Земле. Причина чрезвычайно прозрачна и может остановить внимание лишь по нижеследующему обстоятельству.

ЛИСЫ ПРОЙТИ

Так говорят про хитрого, изворотливого человека, с неожиданною ловкостью умеющего обойти явную и неминуемую беду.

Все старинные путешественники по полярным странам в одно слово, как будто сговорившись, рассказывают о глупости, даже столь всем известного по своей хитрости зверька, лисицы. Рассказы их основаны на тех наглазных фактах, что лисицы всегда попадали в руки из самых незамысловатых, грубого устройства, ловушек. При этом попадала не одна, а по несколько; зверек смотрел любознательно во все глаза, когда перед ним охотник налаживал пасти и сетки и клал съедобную приманку. Как только он уходил, лисица тотчас попадала в западню либо головой, либо быстрыми и сторожливими мягкими лапами. Бывали случаи, что в течение четырех часов в одной ловушке находилось до пятнадцати лисиц. Однако те счастливые времена прошли давно, остались едва вероятные предания, — в нынешние времена (как говорят) «народ хитер стал». Не столько человек успел изловчиться в измышлениях хитрых западней и в заметании своих живых и пахучих на чуткий нос зверя следов, сколько выучилось быть осторожным всякое животное. Много пало искусившихся зверей, как искупительных жертв прежде, так что оставшимся в живых теперь осталось одно только — очень поумнеть. Так и сбылось.

В самом деле, для чего же и лежит приманка, как не для того, чтобы ее съесть? Для чего же протянута эта проволока, прилажены стойком и накось щепки и палки, на какие и глазам смотреть страшно? Вот в одном месте навешаны сети, болтаются по ветру концы толстых и тонких веревок. Сколько лет и зим приходилось бегать по этим дремучим лесам, по веселым и светлым перелескам, а таких невиданных диковинок никогда не приходилось примечать. Все кругом внушает сильное подозрение, и зверь бежит прочь, как бы говоря про себя: «Хоть я вижу и чую, что ты зовешь меня в гости и угощение выставил напоказ, — и я очень люблю мясо и есть

хочу до тошноты, а не пойду: поймаешь, задавишь и шкуру сдерешь».

Лиса, в самом деле, на ходу постоянно держит нос против ветра, знает переулки и закоулки, входы и выходы; все это она твердо удержала в памяти по наследству или с тех пор, как довелось однажды подвергнуться опасности. Теперь, когда и самые дикие захоластья облюбили и ожили, этот ценный зверь к неизвестным предметам приближается медленно, что называется — на цыпочках, и недоверчиво обнюхивает издали, по ветру: каждый шаг для него подозрителен. Лису теперь можно поймать только на незнакомую ей приваду. Если же какую она раз попробовала, — к той не подойдет никогда. Она доучилась до того, что умеет притворяться мертвой: охотник думает, что положил лисицу на месте, а между тем она у него на глазах вильнула хвостом и — улизнула.

КАНИТЕЛЬ ТЯНУТЬ

Из нагретой штыковой меди, — да и из благородных золота и серебра, — вытягивают проволоку и из нее, ухватив клещами и плавно подергивая, не спеша и с великим терпением позывают силою на себя, волочат нити и бити: и тонкие проволочки, вытянутые в длину и кругло утонченные (это — нити) и затем сплюсненные, до возможной тонины, а потому плоские (это — бити). Последние-то и называются канителью, которая, с равным блеском и успехом, навивается в фортепианах и арфах на басовые струны и употребляется на офицерские эполеты и для вышивания по сафьяну, сукну и бархату. Так как в последнем случае канитель погodi-лась на церковные ризы, то и надо полагать, что искусство тянуть ее перешло к нам, вместе с Христовой верой, из Греции, по крайней мере мастерили ее в тех городах, где много было святыни, монастырей и церквей, как в Киеве, Новгороде, Пскове и Москве. Когда Москва победила и ослабила все города на Руси, канительное дело перешло все сюда. В первопрестольной и в ближайших к ней шести селах четырех уездов (Московского, Брон-

ницкого, Подольского и Богородского) оно свило себе прочное гнездо. Малые кустарные заведения ручными воротами тянут проволоку мелкими нумерами, а плющат большие фабрики. Работают обыкновенно конным приводом канитель крупных нумеров.

Фабричному производству этих изделий минуло уже сто лет (первая фабрика, основанная около 1770 г., существует до сих пор), и, в сравнении с иностранным, наше далеко превосходит, да и самые изделия широко распространяются. В особенности большое требование на московскую канитель заявляют на Нижегородской ярмарке азиатские купцы и серебряную в большом количестве завозят в самую даль — в Индию. Стало быть, и в самом деле тянули канитель столько лет и не зевали. Впрочем, десять лет тому назад оборвались те именно нити и бити, которые шли в дальнюю Индию: спрос страшно упал и перепугал. Давай справляться по всем землям, по всем ордам — и г. Алексеев, первый московский канительный фабрикант, дошел до корня беды, ни ближе, ни дальше, как у французов в Лионе и у немцев в Нюрнберге. Придумали там новый способ и довели канитель до сороковой пробы и непомерно удешевили, а наружный вид сохранили такой же. Купил москвич новые машины и наладил дело. Теперь не только восстановился прежний спрос, но и несколько поднялся. С той поры клещи и ворота остались только у кустарей, и медленная работа, при которой волочебным нитям, кажется, и конца края нет, скоро перестанет служить притчею во языцех и стоять в числе насмешливых поговорок. Довольно, на замену его про обиход, и того уподобления, чисто деревенского и народного, которое применяется к человеку, медленно говорящему или вяло работающему, что он делает это так, «как клещами на лошадь хомут натягивает».

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ

По объяснению И. М. Снегирева («Русские в своих пословицах») на славяно-германском севере четверг был посвящен Турову или Громову дню (Thurstag). В этот

день этому суровому богу, называемому славянами Перуном, молились о дожде. Проповедь Христовой веры обезличила языческую святость самого дня и обесцветила верования в старинного бога. Обо всем несбыточном стали говорить в смысле вышеприведенного выражения.

ЗАТРАПЕЗНЫЙ

Еще на нашей памяти, вплоть до пятидесятых годов, обучавшиеся в духовных училищах и семинариях дети бедного провинциального духовенства ходили в халатах, носивших название «затрапезных». Эти халаты представляли собою узаконенную обычаем и, кажется, обязательством форму для всех семинаристов, исключая лишь тех, у которых родители были побогаче. Те имели возможность одевать детей или в шинели, или в нанковые длиннополые сюртуки до пят, или, как острили сами семинаристы, «по сие время». Это обстоятельство пришло мне на память в виду недавно встреченного объяснения слова «затрапезный» именно тем, что подобные хламиды всего чаще можно было встречать за монастырскими обедами в трапезах. Отсюда же и самое название перенесено на всякое платье из материала самого дурного качества, поношенное, измятое и истрепанное, дозволительное только в монастырских стенах и терпимое лишь в семинарских классах, на плечах бедных учеников или же мастеровых мальчиков. Известный М. М. Сперанский в подобной затрапезе пришел в ворота Александро-Невской лавры учиться, а потом в ту же лавру в торжественной процессии привезен был на погребение графом, знаменитым сановником, как крупная историческая личность, обесмертившая свое имя огромными трудами, каковы: «Полное собрание законов Российской империи» и систематический «Свод законов». Эта резкая противоположность в его замечательной жизни послужила, между прочим, темой для надгробного напутственного слова.

Как бы то ни было, объяснение слова «затрапезный», несмотря на указанную легкость в изыскании корня, в этом смысле неверно. Произошло название вовсе не

от того платья, которое носили семинаристы или в какое одевали бывшие помещики своих крепостных, содержа их в затрапезных или застольных покоях. Это — просто материя, пестрядь или пестрядина, или прямо «затрапез, затрапезник», получившая свое название от фамилии купца Ивана Затрапезникова, которому Петр Великий передал основанную им фабрику в г. Ярославле. Передал ее царь в поощрение способностей и полезной деятельности, подобно тому же, как это сделал с Никитой Демидовым, получившим от него уральский Невьянский завод, и т. п. Фабрика изготовляла пеньковую грубую и дешевую ткань, пригодную для тюфяков, рабочих халатов, шаровар и т. п.

Столь различное применение пестряди в общежитии вызвало и разнообразные ее сорта. Эта пестрая или полосатая, чаще всего с синими полосами, ткань в торговле до сих пор носит разные названия от ниток основы: третная, где одна нитка основы белая, а две синие; половинчатая — две нитки синие и две белые; погоняйка — в одну нитку редкими полосками, самая грубая; путанка — вся в полосатых крапинках; тяжина, в которой уток идет наискось, не образуя прямой решетки, как вообще принято. Есть еще скворцовая (по цвету), наволочная, рубашечная и проч. С этой тканью отчасти соперничает и ее подсменяет голландский тик с косыми нитками и тоже полосатый, повидимому образец и родоначальник нашего прославленного православного затрапеза.

Интересна судьба самой фабрики, живописующая нравы того времени. По смерти хозяина ею управлял зять, майор, до совершеннолетия наследника. Муж сестры этого мальчика возымел намерение воспользоваться его состоянием и оттеснить свояка. С этой целью он украл шурина от учителя, купил ему голубей и стал всячески развращать его всеми пороками праздности. Мальчик бегал по улице в шутовской одежде, играл с фабричными в бабки, а когда этого недоростка управляющий-зять отправил в Ригу учиться, интригующий зять опять его выкрал. Для пущего успеха он склонил на свою сторону тещу, полоумную, вздорную бабу, постоянно пьянствовавшую со своими фабричными до того состояния, что приходила в неистовство — бросалась ножами, кусалась.

Дошло дело до властей. Коммерц-коллегия приняла сторону того зятя, который имел свою шелковую фабрику и, конечно, средства, чтобы подкупить судей. Сенат перерешил дело и наказал коллегия неожиданым, редкостным по тем временам, способом: определил взыскать штраф в пятьсот рублей.

ДЕНЬ ИНОХОДИТ

Эта пословица, «день иноходит, да два не ходит», применяемая к хорошим, но загульным мастерам, требует некоторого пояснения, так как самое выражение очень метко и образно.

Первое слово взято от ходы лошади, то есть ее выступки и побетки, которые бывают, как известно, разных видов. Это либо шаг, то есть простой переступ ноги, равный шагу человека, самая тихая побетка; либо это рысь, когда конь поднимает ноги накрест, левую переднюю и затем тотчас же правую заднюю и так далее в очередь; либо впритруску — мелкой рысцой; либо часто и размашисто — большой крупной рысцой; либо, наконец, лошадь ходит иноходью, когда обе ноги одного бока заносит вместе, выкидывает разом, иногда с перевалом и перебоем, в три ноги, — ни в тех ни в сех, ни рысь ни иноходь. С такой ходой, как иноходь, — красивой перевалкой с боку на бок, — знатоки не мирятся и говорят: «Иноходец в пути не товарищ». Это не всегда годная к работе лошадь, а чаще всего щегольская, то есть совершенно такая, что «день ходит, а два со двора не сходит», то есть в точь как говорят о пьяницах, в трезвом виде всегда исправных и работающих. Да и к одним ли пьяницам применимо это выражение? Не заключается ли в нем отчасти знакомая черта характера вообще всякого рабочего человека, особенно по сравнению с мастеровыми из немцев?

ЗА ПОЯС ЗАТКНУТЬ

Несмотря на всем известную простоту и ясность этого выражения, употребляемого иносказательно в смысле быть доточником или мастером своего дела, самое

значение пояса невольно останавливает нас для кое-каких замечаний. Мы не историю пишем, а потому не будем говорить о том, как в отместку за позор и бесчестье по поводу сорванного пояса на свадебном великокняжеском пиру (с Василия Косого) поднялась война, имевшая следствием свержение с престола побежденного великого князя Василия Васильевича Темного. Словом, мы не будем объяснять исторического значения русской подпояски, так как за нею есть и другие достоинства. В самом деле, можно ли найти и указать, даже в настоящее время, хотя бы на одного простого русского человека, вышедшего из деревенской среды, который не имел бы на себе подпояски или пояса? Даже в тех случаях, когда городские обычаи заставляют надевать немецкое платье, деревенская привычка, скрытно для посторонних наблюдательных глаз, остается нерушимой и святою. Святым считается это неперемное обязательство в силу того, что при святом крещении всякий православный младенец опоясывается, при молитве о препоясании силою, ленточкой или шнурком по рубашке. Ходить без пояса по рубахе считается основным и тяжелым грехом, хотя и допускается в некоторых редких случаях неимение опояски сверх кое-какой мужской верхней одежды, например кушака или подпоясника, то есть ремня с набором или пряжкой. Отсутствие этой туалетной принадлежности возбуждает у самых простых людей серьезное недоумение и вызывает искренние насмешки. Ни одна догадливая и любящая мать не пустит своего парнишку, рассеянного и необрядливого, без пояса на улицу в силу издавна укоренившегося поверия о порчах сглазу. И по пословице: «Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясывала бабушка». У русских людей, наиболее преданных заветам старины, как, например, у раскольников, этот обычай получает даже строгое мистическое значение. Так, при молитве, налагая истовый размашистый крест во всю длину вытянутой руки, нельзя класть этого знамени поперек, то есть опускать ниже пояса. За крестным знаменем следует и малый начал или поклон святым иконам опять-таки поясной, то есть во всю спину. Уверяют при этом, что в старых людях, особенно принадлежащих беспоповщинским сектам, сохранилось

поверие о делении человеческого тела на две половины: верхнюю — чистую, где помещается душа и сердце, и нижнюю — нечистую, где орудие плоти; «все мы по пояс люди, а там — скоты». Во всяком случае каждая русская женщина имеет пояс, шерстяной, шелковый, бумажный или плетеный нитяный домашнего дела, поверх сарафана, а в жаркое летнее время, при спешных работах в поле, пояс переносится прямо на рубаху. Заткнувши за этот пояс полу рубахи, сбоку, работающая, как вол, и сильная русская женщина еще с большою легкостью, с усердием и без помехи, отправляет свой честный труд поистине в поте лица своего. Даже и самая крестьянская нужда и деревенское горе являются в наглядном представлении не иначе, как подпоясанными, хотя бы на этот раз и лычком. По длинной до самых пят белой рубахе подпояска, на левом плече серп, в руке ведро с квасом, под правой мышкой охапка сжатых колосьев — вот и жнея. Обе рукавицы, заткнутые обоими большими пальцами за кушак спереди, и кнут, круто заткнутый с боку, немного взад, — вот и удалый ямщик; поблекший уже на красивом фоне картин русского быта, стираемый с лица земли обер-кондукторами и изгоняемый кочегарами в засаленных и чумазных блузах. Топор назади, наискось по спине, закрепленный в петле кушака, означает плотника, приметного и Петербургу ранним утром, с восходом солнца, и вечером, перед закатом его: нарубился, натесался, заложил топор за пояс так, что лопасть с лезом и обух с проухом прились снизу кушака, острием к земле, а деревянное топорище просунулось вверх к левому боку, — плотник теперь пошел спать и отдыхать. Обязательный обычай и прием при употреблении подпоясанного одеяния, конечно, вызвал и такие промыслы, которые удовлетворяют этим насущным потребностям. Не говорю о кушаках, для которых на Руси — в разных местах мастеров очень много, но и такая мелочь, как узенькие пояски, обратила на дело ремесла очень многих. Очень славятся пояски тагайские, из симбирского села этого имени, и прѣмзинские, той же губернии Алатырского уезда (указаний на другие местности мы не имеем). Богатые семьи покупают шерсть, прядут, красят и потом раздают бедным женщинам на

дом для плетенья. Такой шерстяной пояс продается не дороже двух копеек. Но ничего не может быть приятнее покупки на монастырском празднике или ценнее подарка знакомой богомолки, удостоившейся сходить к соловецким угодникам или киевским чудотворцам,— именно в виде подобного пояса, изделия монашеских чистых рук. Как известно и видно из вышеприведенного указания, эти руки отбили от мирян промысел изделиями столь нужного и распространенного предмета. В больших монастырях продажа поясов составляет изрядную статью дохода, крупнее всех для киевского Михайловского монастыря с мощами Варвары-великомученицы. Эти пояса в особенности почитаются в народе вместе с медными и серебряными колечками, полежавшими у мощей в раке святой; ими богомолки в свою очередь весьма с выгодой поторговывают, не без обычных обманов подделками. Особенно заманчивы и прекрасны на девичий взгляд шелковые пояски с вытканными молитвами — рукоделье женских монастырей: «По поясу-то пояски, а по пояскам-то поясочки (полоски) и слова молитовки нанизаны! И сколько тут много всякой благодати и спасенья!»

СПУСТЯ РУКАВА

Таким чрезвычайно распространенным выражением либо хвастаются ввиду легкой и хорошо знакомой работы, либо исполняют обыкновенную или трудную неохотно, небрежно, кое-как, чтобы только сбыть ее с рук и убежать. «Бегать же с засученными рукавами» — совсем уж ничего не делать, а просто суетиться, зачастую мешая настоящим делателям. Не попало для разъяснения это изречение в ряд других, потребовавших по личному убеждению или по подсказу посторонних лиц,— не попало в первое издание этой книги по своей простоте и очевидному смыслу. Рецензент ее указал на это обстоятельство, как на существенный пропуск, предупредив замечанием, что выражение обязано своим происхождением истории и что здесь подразумевается «древняя одежда с длинными, спускавшимися до земли рукавами,

заимствованная от татар»¹. На это могу сказать в тоне самого рецензента: «пора перестать верить» или, лучше сказать, злоупотреблять ссылками на татар и их влияние в разнообразных заимствованиях, воплотившихся в русскую речь и народный быт. «Отошла пора татарам на Русь ходить», — говорит историческая пословица, применимая в настоящее время, когда позднейшие исследования отбили у татар не только много слов, якобы от них полученных, а между ними оказались половецкие, а кнут даже немецким, но еще большее число обрядовых особенностей в жизни, до затворничества женщин включительно. Длинные рукава мы видели в зимнее время и на Амуре у манчжур и китайцев, выдумавших меховые маленькие наушнички, но еще не знакомых ни с рукавицами, ни с перчатками. Озябли руки — китаец спустил загнутый рукав и греется. Неужели нужно было прийти татарам на Русь, чтобы научить бороться с лютыми морозами, оберегая зябкие конечности? Старинные «теплуги», хотя бы в виде шубы, а в особенности полушубка, наиболее удобного для работ, сшитого в обхват и покороче, имеют в рукавах ту особенность, что они кроются узкими, но длинными или, говоря обычным выражением народным, долгими. Делается так с расчетом на запас для набора в сборки к плечам (в полушубках) или чтобы засучивать, отвертывая края (в шубах). Накатанные и засученные рукава не мешают работе ни в лесу с топором, ни с ухватом у печки. Отработал, спустил рукава, стал отдыхать. На рукавицы (кожаные голицы с шерстяными варежками) нет прямых указаний в древних актах, но «перстатые» рукавицы (перчатки) привозились из-за границы, как видно из договоров с ганзейскими немцами. Коренной русский сарафан (встарь бывший мужскою одеждою) у женщин потребовал на рубахах длинных рукавов во весь стан и тоже для набора в сборки ради удобств, а для красоты женские рукава шьются

¹ А терлик (несомненно монгольское слово) — самая употребительная и обычная одежда удельных князей и московских царей? Кашинский князь пробежал мимо Твери в одном только таком терлике — халате, похожем на узкий кафтан, почти без сборов. Но он был узкий и имел короткие рукава, даже и впоследствии в одеждах московских царей из дома Романовых.

широкими. Таковою изображена на картине, приложенной к Святославову сборнику, сама княгиня и та женская фигура, которая изображена на новгородской иконе в часовне Варлаама Хутынского. Такие же вздутые рукава рубах при безрукавных телогреях и шугаях на борах сзади, представляют бесспорное русское одеяние, какого нельзя уже нигде больше встретить. При всей склонности к подражаниям под увлечением модой, при всей слабости к заимствованиям, исторически доказанной борьбою духовенства и властей с нововведениями в обычаях и одежде, не все взято у татар, не все можно им приписывать. Даже крутой и настойчивый Петр Великий принужден был уступить. Так, например, одевая Русь в немецкое платье голландского покроя, сибирским жителям, «ради их скудости», дозволил он оставаться в прежнем платье.

ТУРУСЫ НА КОЛЕСАХ

Про иных ловких людей говорят так, что они умеют подъезжать «турусами», «подпускать турусы», то есть подправлять лестью медоточивые, искательные речи, пристигать ими неприготовленных и неосторожных враг. «Нести же турусы на колесах» — значит уже гордить всякий вздор и болтать попустому, потому что «турусами» называется также сонный бред, обыкновенно бессвязный и пустячный. В первом же значении это слово для объяснения своего отправляет нас в те стародавние времена, когда еще не был изобретен порох и на войне не были приспособлены огнестрельные оружия. Действовали стрелами в открытом поле и стенобитными машинами, когда защищающиеся уходили отсиживаться в города, окруженные рвами и огороженные бревенчатым тыном, сверху заостренным. В чистом поле против вражеских стрел русские витязи надевали доспехи, состоявшие из железной кольчатой брони (кольчуги), а иногда из дощатых лат (папорзи). Головы охраняли железными шлемами в виде воронки, а шеи — кольчужной сеткой. Про всякий случай имели они на руке большой

деревянный щит, окованный железом и обтянутый сыромятной кожей — широкий сверху и суженный книзу и притом окрашенный в любимый русский красный («червлёный») цвет. Когда расстраивались и ослаблялись неприятельские ряды войск тучами стрел и затем следовал неизбежно рукопашный бой, пускались в дело обоюдоострые мечи, даже «харалужные» (то есть из восточной вороненой стали), копья или сулицы, секиры или боевые топоры и, наконец ножи, которые даже у всяких из простого народа открыто имелись всегда при себе либо за поясом, либо припрятанными за голенища. Когда неприятели облагали осажденный город и прекращали самую возможность сообщения его с окрестностями, пускались в ход стенобитные машины, или «пороки». Из одних метали большие камни и бревна, из других зажигательные снаряды, чтобы теми и другими производить в городе разрушение и пожар. При неудачах против стойких прибегали к хитрым машинам в виде дощатых башен с отверстиями на боках, поставленных на низких и толстых колесах. Эти-то туры, или турусы, столь известные средневековой рыцарской Европе, знакомы были и монголам, завоевавшим Русь. Точно так же темною ночью, после непрерывных во все сутки приступов, подкатывали они их под самые стены, и еще с большим успехом пускали в осажденных тучи стрел, и еще с вящим удобством приставляли к стенам лестницы и лезли прямо в город. На деревянные русские города монголы пришли уже тогда, как выучились брать большие азиатские, укрепленные глиняными и каменными стенами, а не удобосгораемыми бревнами, как все наши русские. «Устремившася к монастырю со всех сторон, с лестницы, и со щитами, и с тарасы на колесех». Против этих подвижных укреплений придумано было особое орудие. Вот что мы прочитали в «Ковенских губернских ведомостях»: «Месяца три тому назад, во время дождей, оползла часть возвышающегося над Неманом громадного кургана, известного под названием «горы Гедимины». В размытой дождями глинистой почве найдено любопытное средневековое железное орудие, редко встречающееся даже в музеях. Это — железный болт, весом около двух фунтов, яйцевидной формы, с пирамидально выкованным острым

концом и выровненным квадратным тупым. Самый болт имеет в длину около двух вершков, в диаметре — более полутора вершка. Из тупого конца идет железный стержень длиною около четырех вершков. Болт этот, по определению некоторых знатоков средневекового военного быта, предназначался для метания и разбивания подвижных дощатых укреплений, применявшихся преимущественно при осаде замков, а также при полевых военных действиях».

НИ ДНА НИ ПОКРЫШКИ

является в значении шуточной брани в России; в Сибири же советуют принимать пожелание это не за легкую шутку, а в самом строгом смысле — зложелания. Там разумеют под дном гроб с неотъемной крышкой, будет ли он сколочен из досок, как у православных, или окажется выдолбленной колодой, как у беспоповщинских староверов, или «домовиной» — такой же однодеревой долбленной колодой, которую любят и православные в северных лесных губерниях, несмотря на то, что употребление колод запрещено законом. Эту домовину, в шутку называемую там деревянным тулупом, привычно сулят вору или обидчику («возьми себе на домовину»). Разумея завет всегда думать о смерти, верующие люди, особенно старухи, заранее шьют себе саваны и запасают гробы; саваны прячут на дне сундука, гробы — на чердаках или подволоках. Соблюдают при этом лишь то поверье, чтобы гроб был в меру, по росту, ибо если окажется не в меру велик — быть в доме новому покойнику. Таким образом, заданное выражение, по сибирскому толкованию, оказывается самым злым пожеланием — именно быть похороненным без гроба, умереть без покаяния и возвратиться в лоно матери-земли без обрядового честного погребения. У малороссов заменяется оно одинаковым по смыслу: «Щоб тебе поховали на растаньках». А расстани, или распутье, то есть перекресток, где сходятся несколько дорог, и в Великороссии недоброе место: на нем любят шалить черти (в Белоруссии они играют здесь в виде особых духов, вихрей). Здесь в старину хоронили само-

убийц, казненных преступников и злодеев всякого рода, по словам одной старинной песни: «промеж трех дорог, промеж тульской, рязанской, владимирской».

АЛЛИЛУИЯ

«Несет такую аллилуйю, что уши вянут», — говорят по привычке и по завету от прежних людей и удивляются неприличию выражения. Между тем в Тамбовской и Пензенской губерниях сохранилось слово «алала, алалуя», что означает всякую чепуху, бессмыслицу и даже сонные грезы, ночной бред спящего. В ходу также глагол ала-лыкать — невнятно говорить, картавить, то есть объясняться либо с пригнуской, либо с переживкой — мямлить; «алалуить» же означает в прямом смысле болтать вздор¹. Ясно, что здесь в говоре спутаны совершенно различные понятия, — явление, нередко замечаемое в живой речи, основанное на соблазне созвучий. Но как объяснить бранные слова «халдей» и «халда» — однозначные и в равной мере обращаемые бранные прозвища (в первом случае к мужчинам, во втором — к женщинам), вообще к людям бесстыжим и грубым, горланам на миру и наглецам в компании? Приписывать ли случайности, основанной на одном лишь необъяснимом созвучии, или отправляться за поисками в исторические справки? Известно, что греки и римляне, спознавшись с жителями междуречья Тигра и Евфрата (Месопотамии), именно занятого издревле Ассирийским и Халдейским царством, невзлюбили их и слово «халдей» обратили в бранное и укоризненное. Это слово у цивилизаторов древнего мира обозначало понятие шарлатана — звездочета и кудесника. Халдеи — изобретатели астрономии, как искусства по звездам предсказывать будущее, в то же время держались веры в демонизм, и последний вызвал сильное развитие в Халдее колдовства, или магии.

¹ Вместо аллилуйя, говорят еще и «ахиною», что означает тот же вздор, чепуху, бессмыслицу, нелепицу, бредни, чушь, аллу — в прямом значении (по объяснению В. И. Даля) и пошлости, глупости — в переносном.

ХАЛДЕИ

В России слово «халдей» сделалось всенародно известным и ненавистным и обратилось в крепкоругательное, вероятно от того обычая, личным свидетелем которого был иностранец Олеарий (Адам, голштинец, известный ученый), имевший случай два раз посетить Московию. Он записал, между прочим, такой странный обычай: за восемь дней до рождества Христова и до крещения по улицам бегали люди и подпаливали прохожим бороды тем особенным огнем, который получается от вспылчивого корешка травы плавуна (*Lycopodium*). Особенно нападали они на крестьян, приезжавших в Москву в торговые дни. Впрочем, кто хотел, мог за копейку откупиться от подобного ущерба и великой обиды. «Их зовут халдеями (пишет Олеарий), потому что они изображают тех служителей царя Навуходоносора, которые разжигали печь вавилонскую для трех еврейских отроков. В крещение их окунали в прорубь и таким образом очищали их от халдейства (и осквернения себя масками и костюмами)». В пояснение известия Олеария следует заметить, что это, очевидно, были добровольцы, а не те певчие, которые в это же самое время принимали участие в церковном чине, называвшемся «Печным действием», происходившим на утрени в неделе св. отец (за неделю или две до рождества) в Москве — в Успенском соборе, в Новгороде — у Софии.

«Халды-балды и халды-балды», как пустословие и одновременно праздношатательство, с наибольшею охотою относит наш народ и посейчас к тому бродячему племени, которое старается прославить себя и тем и другим (ворожкой и брехней) и которое явилось к нам из той же южной Азии и живет под именем цыган. Еще при патриархах халдеями назывались потерянные и бесшабашные люди, которые потешали толпу и в святочное время надевали хари, не считая позором для себя бесовские действия. Их, как сказано уже, по окончании святок всякий год крестили в иордани, как вновь вступающих в число православных. Отсюда и не исчезнувший до сих пор обычай наряжавшимся насвятках окунаться в крещенских прорубях, а в старину самое право наряжаться получалось не иначе, как с патриаршего благословения.

Ленивый школьник ни «бельмеса» не смыслит очень часто, то есть в прямом переводе на русский язык — «ни аза в глаза», и еще прямее и точнее — «ничем ничего», то есть даже самой первой азбучной буквы: «аз, да увяз, да не выдрахся», как привычно острили старинные семинаристы. Хотя к слову «бельмес» и прилажена настоящая поговорка: «Не смыслит ни бельмеса, а суется бесом», тем не менее слово не наше, а заимствовано от татар, где этим именем чествуют всякого неуча-дурня и болвана, ничего не смыслящего. В Турции это слово также целиком годится в ответ не говорящему по-турецки, когда из слов его ни одно не понятно. Там «бель-мес» прямо значит — «не понимаю». В план настоящей работы, по множеству уважительных причин, не могло войти объяснение тех вращающихся в языке слов, которые взяты с иностранного целиком или, по требованию русского языка и народного вкуса, перестроены так, что потеряли свой прирожденный облик. Вот хотя бы, например, слово шарманка. Кто бы мог думать, что название этого музыкального инструмента зависит не от тех ширмочек, из-за которых обычно выскакивает пресловутый хохотун и драчун Петрушка, а от немецкой песенки. С нею явились заморские нищие впервые, и незатейливый романсик так пришелся по вкусу нашим бабушкам и дедушкам, что потребовался русский перевод, до сих пор пользующийся всероссийскою известностью. Немецкая песенка известна под заглавием «Scharmante Catherine» (почему во всей Польше и на юге России самый инструмент называется еще проще — «Катеринкой»). На русском языке эта песня томно и нежно докладывала о том, что «во всей деревне Катенька красавицей слыла, и в самом деле, девушка, как розанчик цвела; прекрасны русы волосы по плечикам вились, и все удалы молодцы за Катенькой гнались» и т. д. В этой области исследований интересны не только сами передатчики и распространители, но и самый способ передачи и переделки чужих слов. Подобная задача иного характера, и ее, несомненно, исполняют другие, могущие и знающие. Попробую, впрочем, сделать несколько указаний из этой области «чужеземных переводных крылатых слов».

КРАСНОГО ПЕТУХА ПУСТИТЬ,

в смысле совершить поджог, объясняется заимствованием. У немцев этому выражению буквально соответствует «den rothen Hahn aufstecken» и малороссийское «червоного пивня пустить». У нас «подпускают» или прямо-таки «сажают» красного петуха на кровлю из мести за донос или преследование преступных деяний уличенные, или пойманные, или наказанные злодеи. Обещанием поступить так держат в страхе и вынуждают молчание целых селений, например, шайки конокрадов и других мелких воров. Поджигают селения беглые с каторги и мест поселения в Сибири, когда переполнится чаша терпения мирных жителей от частых набегов, краж и грабежей этих придорожных бродяг. За пойманных передних мстят поджогами задние, еще гуляющие на свободе. Первым делом проявляет свое существование на земле и в близком соседстве обвиненный в Сибирь арестант, проскользнувший мимо глаз тюремных дозорщиков на лесную волю и прогулку, и т. п. Петух издревле у славян и скандинавских народов служил символом бога огня, в умиловивление которого и приносился он в жертву. Остатки этого обычая приношения, обезличенные и растерянные, говорят, существуют еще у некоторых славянских племен и у финнов. У древних германцев петух также был посвящен громовержцу Тору.

КАК КАМЕНЬ В ВОДУ

(по-польски и по-украински так же точно, слово в слово), бросает дело неудачный и вышедший из терпения, после тщетной борьбы с препятствиями, и ежедневно погружается в глубокий и живительный сон сильно истомившийся рабочий человек. Он опускается на ночное ложе, как ключ или топор на дно. Иной человек, от всяких неудач в жизни и от своих прегрешений и личных недостатков «пропадает, как камень на дно упадет». Нужно ли этому образному выражению искать начала (как уже сделали некоторые) в языческих временах и

вести его от символического обряда бросать камень в воду при заключении мира с врагами? Так по крайней мере объясняли ученые наши. Да и вообще следует ли делать напряженные усилия для объяснения таких слов, которые ясны сами по себе? ¹

ГАЛЛИМАТЬЯ

Жил себе в Париже врач, обладавший необыкновенным даром смешить своих больных в такой степени, что вынужденный смех служил освежающим и зачастую целительным лекарством. Приедет он, насмешит и уедет, не оставив ни клочка рецептов. Между тем больной уже почувствовал облегчение, обрадовался, похвастался перед знакомыми, всех удивил и соблазнил. Доктор — по имени Галли Матье — вошел в моду и получил обширную известность и практику. Его стали приглашать на расхват и, конечно, затруднили ему личные посещения: надо было придумать новый способ. Он стал вместо себя рассылать своим пациентам печатные листки, в заголовке которых стояло его имя, а под ним разнообразные остро-ты и каламбуры. Отсюда производят обычай называть бессвязный и бессмысленный вздор, словесную чепуху именем и фамилией оригинального и счастливого целителя душ и телес. Впрочем, у народа для пустословов, вздорных болтунов, умелых городить такую чепуху, от которой вянут уши, алалой (по звукоподражанию, как уже сказано раньше, от алалыкать или картавить, нечисто произносить буквы и слова), имеется и на это слово,

¹ Другое дело такие выражения, как, например, употребительный в г. Болхове (Орловск. губ.) такой совет: «без козла с узла»; это значит в покупке или при продаже будь решительнее, чтобы другой не подвернулся и из-под носу не унес бы вещь, тебе очень нужную, или сам купец не раздумал бы и не попятился. Попадают и такие поразительные случаи, как в Архангельске, где поговаривают до сих пор: «День ушел между чахи и ляхи», то есть и не знаю куда, ни в тех ни в сех, без дела, ни туда ни сюда, и не видал, как ушел, и в самом деле, как древний киевский князь Святополк Окаян-ный, про которого говорит летопись, что он «ушел между Чехи и Ляхи» и в Киев больше не возвращался.

подобно многим другим, потускневшим от долговременья, иное толкование. Оно зависит от анекдота о французском адвокате, отличавшемся рассеянностью и скороговоркой. Защищая, по обычаю того времени, на латинском языке какого-то Матьяса, у которого украли петуха, он называл самого клиента петухом, говоря вместо *Gallus Matthiae* — *galli Matthias*. Предлагается желающим на выбор любое толкование.

ЧЕРЕЗ ПЕНЬ В КОЛОДУ

Кто побывал в охранных или удаленных глухих лесах ради охоты или кто попадал в них случайно заблудившимся, тот припомнит такие трущобы, в которых не только не поставишь ноги, но с понятным страхом, ввиду явной опасности затеряться и завязнуть, поспешишь обратиться вспять на намеченную и оставшуюся назади тропинку. Вот вырванные с корнем деревья, костром навалившиеся друг на друга. Это — ветровалы. Они давно уже валяются тут без призора, так давно, что, обманчиво прикрытые корой и обломанными сучьями, представляют собою гниль стволов, превратившихся в труху, в которой вязнет по колена и с трудом вытаскивается нога. По этому лесному кладбищу без изнеможения нельзя сделать десятка шагов. В иных местах невозможно даже поставить ноги: на ветровалы навалились, переломленные пополам яростным налетом ураганов, березы и сосны. Это — буреломы. Вершины их уже начали превращаться в гниль и такую же пыльную и вязкую труху, но стволы от корней продолжают проявлять некоторые признаки жизни в редких случаях. Вообще же, заглушенные окрестным ломом и хламом, они безнадежно, как кости скелета, простирают к свету свои высохшие и обессиленные ветви. И эти непролазные трущобы, и все такие сорные и неопрятные леса, эти торчащие дуплистые пни буреломов и сваленные колоды ветровалов, дром да лом, доступны лишь всемогущей силе и непреоборимой власти напускного огня. Для заблудившегося охотника, для потерявшегося грибовника один

исход: мучительно шагать, следуя примеру умелого и привычного медведя, через дуплистый пенё и попадать непременно и обязательно в трухлявую колоду. Захотел отворотить от пня — налез на колоду: другого пути нет, как и для тех, кто привык вяло и неумело вести дела, тяжело и неохотно приспособляя свою силу к работе, «валять через пенё колоду». При всем старании и напряжении у них остается, что и в лесу, тот же дром и лом, дрязг и хлам.

ХОТЬ ТРЕСНИ

Хоть разорвись, ничего не поделаешь; хоть тресни, хоть лопни, а дело заканчивай!— внушительно велит судьба злосчастному и приказывает подневольному и подчиненному суровый хозяин или строгий начальник, зачастую сами непривычные и неумелые производить заказанную работу. Этому суровому приказанию выучил едва ли не тот хвостун, который, посмеиваясь над чужими пчелами, хвалил своих:

— Ульи те же, а пчелы ростом в кулак.

— Как же они попадают в улей, как пролезают в узенький леток (или лазок)?

— Пищит, да лезет. У нас строго: хоть тресни да полезай.

НА-ФЫРÓК И НА-ПОПА

На голом персте, именно на большом пальце правой руки, сгибая его взад, делают между обоими сухожилиями ямку; это — соколок. Привычные к употреблению нюхательного табаку этой ямкой пользуются как табакеркой, насыпая туда чихательного зелья ровно на две понюшки и на добрый прием за один раз. Те, которые носили табак в рожке, нюхали его не иначе, как с этого «соколка», другие же с ногтя того же большого пальца, прижатого к указательному, и этот способ назывался уже нюханьем «на-фырóк».

В последнем слове в грамматическом смысле вышла особая часть речи, наречие, столь своеобразная и заме-

чательная в нашем богатейшем языке, действующем с большею правильною и свободою, чем все наши казенные и учебные грамматики. В данном случае характерно слитие союза не только с существительным именем (в именительном, винительном и предложном падежах), но и с наречием. Образовавшиеся чрез такое слияние наречия бывают не только поразительны, но и знаменательны своею неожиданностью. Так, например, «на-попа», столь употребительное и известное в среде рабочих всякого рода, значит: стойком поставить хоть что-нибудь, торчмя, например товарный тюк или квасную бочку. Натощак едят пироги и ставят их на-попа: начинкой к себе на вид, с намерением сдобрить ее сверху подливкой из рыбной ухи или мясного супа. Ставят на-попа или тем же торчком рюху уличные мальчишки в игре «городки или рюшки», выбитую из кона деревяшку.

ПИРОГ С ГРИБАМИ

У императрицы Елизаветы Петровны был любимый стремянной, человек атлетического сложения, крепкий телом и духом, Гаврила Матвеевич Извольский, которого она иногда навещала в его уютном жилище, угощалась любимой своей яичницей-верещагой, блинами, домашней наливкой и проч. Она позволяла ему говорить прямо правду, веря тому, что Извольский предан был ей душой. Это придавало Извольскому известную смелость, которая не могла нравиться придворным и могла при случае простирались до обидных дерзостей и незаслуженных оскорблений. Елизавета любила также награждать Извольского. Раз, заметив, что он нюхает табак из берестяной тавлинки, она подарила ему серебряную вызолоченную табакерку устюжской работы с чернью. Гаврила поклонился до земли, но, взглянув на подарок, промолвил, что лучше бы когда царица пожаловала золотую. Елизавета благосклонно выслушала просьбу и хотела уже идти и переменить, но стремянной заметил, что эта серебряная будет у него будничною, а та, золотая, праздничною.

Другой раз на именины этого Гаврилы императрица прислала ему пирог, начиненный рублевиками. Когда он благодарил за подарок, она спросила его:

— По вкусу ли пирог с груздями?

— Как не любить царского пирога с грибами, хотя бы и с рыжиками?

Завистливым придворным как-то раз удалось словить этого невоздержного на язык и зазнавшегося баловня на каком-то неосторожном слове. Вследствие доноса он попал не только в опалу, но, как водилось в оно строгое время, по выговоренному «слову и делу», прямо в страшный Преображенский приказ. Там он высидел несколько времени и был прощен лишь по особому ходатайству своей жены.

С той поры, когда хвастались перед ним близостью ко двору, особенно те женщины, которых царица допускала к себе временами, когда, лежа на софе или в постели, любила слушать старинные сказки или городские новости, всем таковым хвастунам Гаврила Извольский стал советовать обычным своим выражением:

— *Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.* Не разглашай, что бывал во дворце и говаривал с государыней. А не то жилы вытянут, в уголь сожгут, по уши в землю закопают!

«Такие угрозы, заимствованные из Преображенского и Константиновских застенков, нередко тогда употреблялись, когда хотели кого-либо припугнуть» (по свидетельству московского археолога и бывшего цензора Ивана Михайловича Снегирева). Стало быть, едва ли не здесь, в этом анекдотическом случае, следует искать наречение нашего, столь всем известного, мудрого пословичного совета, и теперь строго предлагаемого на подходящий час и в опасное время.

ПОД КРАСНУЮ ШАПКУ

Только в недавнее время, как запугивающее, выражение это стало забываться ввиду всесословной воинской повинности. Дрожь и трепет наводило оно, когда обра-

шалось в особенности к тем, которые не освобождены были, как дворяне, от тяжелой солдатской лямки. Надевали шапку не красную, а лишь такую, которая не имела козырька, но в старину действительно всякий сдатчик, ставивший за себя рекрута, обязан был снабдить его красной шапкой, бердышом и прочим.

Совсем еще бодрые с виду и словоохотливые старики даже и теперь рассказывают про недавние времена рекрутчины, когда от суровых тягостей двадцатипятилетней тугой лямки солдатчины бегали не только сами новобранцы, но и семьи их. Из «дезертиров» составлялись в укромных и глухих местах целые артели дешевых рабочих и целые деревни потайных переселенцев (например, в олонецкой Корелии, в Повенецком уезде близ границ Финляндии).

В земских домах водились стулья в ширину аршин, в длину полтора; забит пробой и железная цепь в сажень. Цепь клали на шею и замыкали замком. Однако не помогало: бегали удачно, так что лет по пятнадцать и больше не являлись в родные места.

Объявят набор, соберут сходку с каждого двора по человеку, поставят в ширинки на улице.

Спрашивает староста у десятников:

— Дома ли дети у этих отцов?

— Нету,— скажут,— в бегах.

— Искать надо в завтрашней день.

Ищут день, ищут два, ищут три — найти не могут.

Спрашивает у домохозяев:

— Где дети?

— Не знаем. Не находятся рекруты дома, сбегли.

Не знают родители, где они хранятся.

Спросит сам голова у этих отцов и рыкнет:

— Служба — надо.

— Не знаем, где дети,— в бегах.

— Ступайте ныне домой, а завтра приходите все в земскую: я с вами распоряжусь.

Приходят эти отцы через ночь.

— Ступайте на улицу и сапоги разувайте и одежду скидайте с себя до одной рубашки.

И босыми ногами выставят отцов на снег и в мороз.

— Позябните-ка, постойте — скажете про детей. А если не скажете, не то еще будет.

— Не знаем, где дети!..

Пошлют поснимать на домах крыши; велят морить голодом скот на дворах. Через три дня посылали какую-нибудь соседку скот покормить.

— Не знаем, где дети,— в бегах!..¹

Прорубали на реке пешней прорубь. Отступя сажен пять, прорубали другую. Клали на шею родителям веревку и перетаскивали за детей из проруби в прорубь, как пронаривают рыболовную сеть в зимние ловли, в «подледну» (удочки на поводках по хребтине с наживками или блеснами, на навагу, сельдь и проч.).

«И родители наубег. И бегают. Дома стоят пустыми. И скот голодом морят».

Эту пытку можно бы, в отличие от подноготной, назвать «подледною», но, кажется, уже об этом довольно.

ТУРУ НОГУ ПИШЕТ

Бессмыслица одной очень старинной песни и другой таковой же сказки, смущавшая нас с детских лет и со слов нянек, останется таковою, если отправиться за объяснением к слову тур, дикий бык, зубр, некогда водившийся по всей Руси (теперь только на Кавказе в горах и в Беловежской пуще Гродн. губ.), воспетый в былинах и упомянутый в известном завещании Владимира Мономаха детям. Поется в «старинах»: «Что царь делает?»— «Туру ногу пишет. Стул подломился, царь покатился». Коза пришла. «Где коза?»— «В горы ушла».— «Где горы?»— «Черви выточили».— «Где черви?»— «Птицы поклевали» и т. д. Когда же вспомним, что на Севере издавна, а в Архангельской губ. до сих пор, «турок» и «тур» означает печной столб, основание которого, называемое ногой, всегда расписывается красками очень пестро, то выражение становится совершенно понятным. Печка обыкновенно складывается из необожженных кирпичей на деревянном фундаменте, этом самом турке,

¹ Из книги г. Барсова «О причитаниях Северного края».

который и обшивается у богатых крестьян досками и раскрашивается всего чаще красной краской фута на два или на полтора от пола. Этот обычай до сих пор также сохраняется в Малороссии. Там женщины не только белят свои хаты еженедельно внутри и снаружи, но иная искусница еще обводит оконца каемками охрой или синькой. По печке особливо она выводит узоры, петушков и такие цветы, каких еще никто не видел.

НАСТОЯЩИЙ КАВАРДАК

Сытая, обеспеченная жизнь досталась на долю уральских казаков, но зато невеселая и тяжелая служба. Не будем говорить о несчастных походах в Хиву и туркменскую степь, кончавшихся измором целых отрядов. Достаточно упомянуть о казачьей службе на сторожевых постах внутри киргизской и туркменской степей, чтобы понять тяжелые невзгоды жизни и походов в необитаемых пустынях. Это большею частию степи, покрытые толстым слоем сыпучих песков и отдельными песчаными холмиками, называемыми барханами, или те же пески вперемежку с твердыми солончаками и солеными грязями. С трех сторон облегли эти унылые мертвые пространства Землю Уральского войска, вдоль которой протекала богатая рыбой река Урал, — по-старому Яик — золотое донышко. Он-то и кормилец всего войска. Из-за него в течение двухсот пятидесяти лет казаки не нуждались в обработке полей и хлебопашестве на землях, которые оказались чрезвычайно плодородными, производящими наилучшую во всей России пшеницу.

Придя сюда вот уже триста лет тому назад, казаки расположились селениями преимущественно на берегах Урала с притоками. Здесь отсиживались они от хищных кочевников и отсюда производили удалые набеги в степь для устрашения и наказания туркмен, хивинцев и киргизов. Тревожная боевая жизнь научила отваге, переезды по необитаемой голодной степи — осторожности не только против живого и дерзкого врага, но и против того, который подкрадывается незаметно и тихо, но бьет

так же наверняка и кладет насмерть после долговременных и мучительных страданий. Этот враг — голод, от которого не всегда в силах спасти и гостеприимный киргиз, будучи сам полусытым и круглый год в проголоди.

Отправляется ли казак на долгий срок сторожевой службы в степь, едет ли он разыскивать скот, который либо сам отшатился, либо отогнали киргизы, — во всяком случае уралец без съестных запасов не пускается. Между этими припасами едва ли не главное место занимает неизменный кавардак — ломти красной рыбы (всею чаще осетра), просоленные и провяленные на горячем солнышке и имеющие большое подобие с балыком. Они нарезаются ремнями исключительно для домашнего потребления и в продажу не поступают. Тем не менее, несмотря на свою глухую неизвестность, в своем месте и в нужное время кавардак служит великую, неоценимую службу. Запихнет его казак на походе в рукав и, не слезая с коня, сыт и доволен. Кавардак — пища и лакомство и веселый собеседник неграмотного человека, лучше всякой газеты, подобно тем, которыми являются для оставленных дома казачек арбузные и подсолнечные семечки. Он же служит за газету и книгу и подсменяет беседу, когда все переговорено и в глухой степи нет ни малейших поводов к обмену мыслями. Едет казак — и грызет кавардак. Он же, да еще разве песня про удалые подвиги, коротает и докучное время и томительный путь, но, очевидно, не он, в своем настоящем невинном значении, принят в разговорный язык в известном условном смысле.

Мы (не казаки, а городские жители) привычно называем этим неподходящим словом всю ту бестолочь, раздоры и ссоры, которые развели и замутили искусно пущенные в оборот сплетни и всю ту хлопотливую суетню от бестолковых и опрометчивых распоряжений, которая кончается такими пустяками, что в них и не разобраться. Как бы в пояснение такой мути и путаницы в делах человеческих, во многих местах варят настоящий кавардак вроде болтушки. В нее, как в солянку, годится всякая всячина, и чем больше, тем лучше, наудалую, что выйдет: лук и толченые сухари, соленый судак и свежая рыба. В густой и мутной болтушке, когда станешь есть,

ничего не разберешь, кроме хруста на зубах песку, который также полагается в числе приправ и принадлежностей этого невзыскательного бурлацкого варева, невкусного и сваренного в расчете лишь на привычные и голодные желудки. На Волге кавардаком зовут ловцы пшеничную кашу, которую, к нашему великому удивлению, варят там с рыбой, в явное доказательство, что русское горло, что бердо: долото проглотит.

СБУХТЫ-БАРАХТЫ

Кто поступает так, как понравилось ему на первый взгляд, без всякого предварительного обсуждения, не имея никакой надобности и без всякой определенной цели, у того, конечно, очень часто выходят бестолочь и неудачи. Смысл таких поступков объясняется коротким словом «зря», сокращенным из «назря», на глаз, на зрение, как глянул или глянулось, или как понравилось, так и сделал. Впрочем, в нашем языке, богатом на всякого рода эпитеты до поразительной роскоши, существуют и для объяснения того же понятия другие однозначные выражения человеческих дел и поступков. Таковы: наобум, опрометчиво, как ни попало, бестолково, ни с того ни с сего и т. д., — все-таки выходит «зря», что головой в «копну» и «спустя рукава». Но если уже очень силен порыв «наобум» и слишком печальны последствия, то говорят о поступке: «сбухты-барахты». Кто-то придумал какую-то бухту, назвал ее Барахтой, но до сих пор мы не встречаем еще такого знатока и бывальца, который указал бы нам, где находится и какого моря часть представляет собою эта бухта Барахта. Никому, как и первому автору этого выражения, не отказано в праве и возможности необдуманно говорить «сдуру, что с дубу», или, что одно и то же, поступать «сбухты-барахты» и в самом деле, при несчастном случае, биться руками и ногами, как упавшие в воду: «бух и барахты». «Не поглядел в святцы да бух в колокол», а потом и барахтайся, возись, оправдывайся и оправляйся. Для барахтанья достаточно подручной и сподручной речонки, а грудные дети умеют это делать, на утешение родителям, и на мягкой перинке.

СИЛА СОЛОМУ ЛОМИТ

Под соломой мы привычно разумеем остатки в виде стеблей от обмолоченного хлеба всяких сортов и представляем ее себе не иначе, как целым ворохом, непременно кучей, сгребенной лопатами в горку, в рыхлую грудку. Отсюда охапками или теми же ворохами солома берется на подстилку и на крыши, на шляпы и другие плетенья разного рода, на поташ и даже на подпояску снопов. Вынутый из «соломы» одинокий сухой стебелек, от которого отбит колос и годится лишь в зубах поковырять, называется «соломиной». Для надлома ее не требуется никакой силы, и смешно было бы вспоминать это слово и говорить об нем. Ни в каком случае мы не имеем права подозревать нелепицы или темного смысла в изречении, которое народ твердо установил в пословицу, обычно выработанную житейским опытом. Если бы он желал выразить смешную бессмыслицу, то сказал бы точно и правильно: «Сила соломину ломает». Между тем говорится вековая правда, равно известная и испытанная всеми народами мира: «Ломит сила солому», то есть могучее и властное побеждает слабое, хрупкое и ломкое. «Сила все ломит» (а не ломает), — говорит общеупотребительная поговорка. Ломать, переламывать может и слабая рука новорожденного младенца, но ломить и ломиться в состоянии лишь уверенная в себе крепкая сила, она напирает, валит, налегая, опрокидывая и руша в сборе, скопом. К тому же следует помнить о том, сколько надобится человеческих усилий, чтобы, пройдя все степени земледельческого труда, добыть, про домашний обиход, ворох соломы. Сколько мужественного, геройского терпения требуется для того, чтобы после трудов праведных иметь возможность и право подостлать соломки, чтобы на ней отдохнуть, поваляться и выспаться. Силою одного человека это можно сделать, но обычно требуется на такие работы соединенный труд, помочь, или толока. После работы испытываются и ломота в спине, особенно когда жнут на корню выспевший хлеб и сажают его для просушки в овинах, и едкая боль в руках и плечах, и истома во всем теле, когда на токах отбивают спелое зерно и добывают

солому и мякину, то есть высохшие стебли и избитые цепами колосья. «Нивка, нивка! отдай мою силку!»—отчаянно кричат суеверные бабы, катаясь по жнивью, когда кончат вязать последний сноп и завязывают ему бороду.

Некуда больше идти за объяснениями: если и жил-был на свете известный царь-горох, то про царицу-солому еще нигде не слышать, ни в сказках, ни в песнях, ни даже в загадках. Ни мифологические и исторические, ни бытовые и юридические, ни всякие другие справки не представляют выхода для толкований заподозренного в бессмыслице изречения иного, кроме приведенного сейчас.

ДО ПОЛОЖЕНИЯ РИЗ

Это выражение известно было еще в начале прошлого столетия. Так, посланный в Московскую губ. при Екатерине I в 1726 г. граф Матвеев на ревизию для выяснения вопроса о том, сколь тяжела для крестьян подушная подать, писал, между прочим, что в Суздале он пробыл долго, 24 ноября, в день именин императрицы, угостил всякого чина людей семьдесят человек «до положения риз». Выйдя, по всему вероятно, из-за монастырских стен, за которыми не были редкостью крайности такого рода после грубых развлечений, для мирян изречение это было понятно по тем двум праздникам положения риз: богородичной (2 июля) и господней (10 июля), которые чествовались сооружением храмов этого названия.

НЕ БЫВАТЬ СКОРЛАТОМУ БОГАТОМУ —

тому щеголю, который изысканно и богато, не по средствам наряжается, тратится на дорогую одежду. Эта очень древняя поговорка получила начало в то время, когда на Руси сукна были редкостью и очень дороги,—особенно это французского дела сукно красного цвета. Платье из него было в таком почете, что его передавали по

завещанию и заносили в духовные записи. Так поступил Иван Данилович Калита, оставивший сыну «скорлатное портище», и Иван Иванович — «опашень скорлатен». Владимир Василькович, купив в 1286 г. село Березовичи, дал, между прочим, пять локот такого же скорлата. Опашень же был не иное что, как долгополый широкий кафтан с широкими, но короткими рукавами. У московских царей шит он был из золотной материи, надевался поверх станового кафтана у мужчин. Нашивали его и царицы. Слово это сохранилось кое-где и доньше. Это собственно *scarlatum*, *éscarlate*, *scharlach* или так же по-русски — «шарлах», яркий багрец.

«Скурлатами немилостивыми» (по знакомому созвучию) называются в русских былинах шайки разбойников, палачи,— и последние несомненно по искаженному имени Малюты Скуратова и со времен неистовых деяний опричнины.

ЕМЕЛИНА НЕДЕЛЯ

Болтуна и вряля, принявшегося за свое привычное и досадное ремесло, слушатели останавливают, когда он сильно и бойко развяжет язык, выражением: «Ну, мели, Емеля, твоя неделя!» Породил ее, очевидно, обычай, издревле установившийся в крестьянских хозяйствах, особенно во многосемейных, держащихся старинных уставов и прадедовских порядков — работать по очереди, в сроки, всем бабам-невесткам и взрослым дочерям-невестам. Эти занятия уряжает либо свекровь, либо, за ее смертью, старшая невестка, занимающая в семье должность большухи-заказчицы. Большею частию каждая из младших работает по-недельно. По-недельно бабы стряпают, мелют крупу и зерно на ручных жерновах. «Вот ты, баба, зерна мели,— говорит муж жене,— а много не ври, а мели хоть день до вечера!» По-недельно бабы смотрят за коровами, доят их и сливают молоко и т. д. Это объяснение, конечно, не отрицает права и не отнимает возможности искать его и в очередях отправления церковных служб и духовных треб соборными священниками в городах и больших селах. Издревле они правят

требы недельными «чредами». В самом слове «треба», по толкованию В. И. Даля, не только заключается смысл отправления таинства и священного обряда, но предполагается связь со словом «требити», то есть очищать от всякия скверны плоти и духа, как трепятся плевелы, когда веют хлеб. Что же касается до значения очереди в смысле чреды, то она обязательна не только священникам, но и архиереям для заседаний в святейшем синоде. Собственно же для священников, по давнему народному обычаю, нет чреды только лишь на мельнице: когда священник или дьякон привезут свой хлеб, мельник старается поставить их на очередь прежде всех других, ожидающих помола. Для этих установлен другой закон, точно и беспрекословно соблюдаемый в деревнях и ясно высказанный пословично: «не попал в свой черед, так не залезешь вперед»; «жить на ряду — вести череду» и «чей черед, тот и берет». Эти правила неохотно соблюдаются лишь в больших городах и особенно в столичных, против чего недавно придуманы и приняты так называемые «хвосты» в театральных и железнодорожных кассах и т. п.

НИ В ЧОХ, НИ В ЖОХ (НЕ ВЕРЬ)

1. ЧОХ

«На чох здравствуй!» — поздравляй, желая доброго здоровья тому человеку, который, невольным образом, напряженно чихнул: таков обычай, повсеместный в России. Он исчез лишь в больших городах и в среде интеллигентных обществ, где не только выговорено, но и применено к делу твердое убеждение, что «на всякой чих не наздравствуешься». Свято соблюдаемый в селах и деревнях обычай старины применим не только к людям, но и по отношению к животным, например к лошадям, вызывая оригинальное исключение. Чихнувшему коню следует поздравствовать, но тотчас же и обругать, например, так: «Будь здорова, черт бы тебя драл».

С глубокой древности чиханье считалось известного рода знамением. Полагается чихать во-время и кстати.

Чихание с полночи до полудня признается вредным. Точно так же нехорошо чихать за столом. С полудня до полночи, напротив, чиханье — хороший знак. Особенно же много обещает оно, когда при совещании оба собеседника чихнут одновременно.

У нас этот непокинутый обычай успел уже подвергнуться насмешке, выразившейся непонятными приветами и ответами. Чихнувшему говорят: «Салфет вашей милости!» Находчивый привычно отвечает на это: «Красота вашей чести!» В прошлом веке, когда в язык ворвалось множество странных выражений, даже в среде высшего и фешенебельного общества говорилось там серьезным тоном, — теперь этот привет посылается в шутку. Удерживался этот язык и этот привет, по заимствованию, в среде лакейского сословия, когда еще прокармливалось оно богатыми барами, во время крепостного права. Охотнее теперь желают после чиху так: «Сто рублей на мелкие расходы!» Теперь более убеждены в том, что «в чох, да в жох, да в чет нельзя верить», а потому и придумано такое бранное пожелание: «Чох на ветер, шкура на шест, а голова — чертям в сучку играть!»

2. ЖОХ

Жох — это в детской уличной игре положение бабки, или козанка (части ноги животного под щеткою, так называемый путовой сустав), хребтиком кости вверх, противоположное конке (бабка, подброшенная с руки кверху и упавшая на землю правым боком, называется ницка, а левым — плоцка). Этим способом подбрасывания костей гадают не только на очередь игры (конаются), но и на счастливую удачу и несчастный случай, как в чет и нечет, в орлянку и т. п. азартные игры. В последнем случае счастье говорит надвое: орел и решетка, или, по другим условным выражениям, кóпье, когда монета ляжет личной стороной (тот выиграл и берет деньги с кону), и решето, когда ляжет никой, ничкой вверх (проиграл всю ставку). Эта любимая игра простого народа, обычная на всех базарах, полицейскими мерами мало-помалу вытеснена с площадей и заперта в темных

закоулках и на задворьях. В старину, и притом в самую отдаленную, борьба с жохом и чохом велась духовными лицами с церковных кафедр и при помощи рукописных посланий и поучений. Суеверный обычай причислен был к кощунским и строго преследовался наравне с чернокнижьем верующих «в рождение месяца, и в наполнение (полнолуние) и в ветох (ущерб) и в преходня звезды, и во злые дни и часы». Известно одно из малых поучений второй половины XVI века, когда вера в звездозаконие и планеты особенно развилась на Руси одновременно с натиском латинских новизн в русскую жизнь, литературу и искусство, когда появились альманахи, планидники и другие гадательные книги астрологического содержания.

Почтение, обличающее более древнюю веру в жох и чох, сопоставляет ее с верою в недобрые встречи по пути и во птичий грай («встречная и чеховая прелесть неверных язык»). Почиталась недоброю встреча со священником, и дьяконом, и с нищими еще гораздо ранее, чем появились поучения, и осталась таковою до наших живых времен. Встреча с духовными лицами почиталась несчастною с тех времен, когда языческая Русь, не всегда увещанием, а чаще насилием, обращалась в христианство и принудительно крестилась в воде и сгонялась в церкви. Несмотря на то, что, по словам поучений, во священный чин посвящались делатели непостыдные, правящие слово истины, неразумные люди гнушались встреч с таковыми, отворачивались и даже бранили «в то время многим поношением». Впрочем, время, видимо, изменило это последнее суеверие, как и относительно нищих: встреча с монахом теперь полагается в числе счастливых, а с нищим и того более, может быть оттого, что первая случается реже, а последняя так часта и обычна, что притупляет внимание и ослабляет всякую опасливость. Также исчезло в народе и суеверное значение встреч со свиньей и конем лысым, то есть имеющим долгое белое пятно в шерсти на лбу (круглое называется «звездочка»). Встречи со свиньей опасаются только продавцы раков, убежденные опытом в том, что запах свиной их убивает, то есть они засыпают.

ПО СХОДНОЙ ЦЕНЕ

Г. Никольский накоротке и как бы мимоходом объясняет это изречение, производя его от сходней. «Сходни в лавке (говорит он), с которых запрашивающий втридорога торговец ворочал набивавшего цену покупателя». Это остроумное объяснение было бы убедительно, если бы при лавках действительно существовали неизбежные и обязательные сходни. Пока известны в торговых помещениях, где по многу раз в день сходятся в цене и расходятся, полки и прилавки — держать запасные и раскладывать напоказ затребованные товары, да необходим еще разве навес, чтобы не выгорали от солнца крашенные материи. Впрочем, из Москвы вышли на Русь самые мудреные выражения, начало и корень которых только и можно найти там. При очистке грязного и запущенного Китай-города, во время пребывания императрицы Елизаветы, у торговых рядов оказались скамьи, *каменные приступки* и другие постройки, загромождавшие пространство и препятствовавшие проезду. Их велено сломать, а погреба засыпать. Не на этих ли приступках при уходе покупателя, чтобы не упустить его, купец сказывал крайнюю цену? Она получила наименование сходной, не всегда такой, которая была для купца подходящей, а такой, что была покупателю по карману, не то чтобы и дешевая, а скорее безобидная: пришелся товар по вкусу, и плата за него не дороже прошлогодней и за такую именно цену покупали знакомые люди. В настоящее время в Москве домовладельцы называют «сходом» доход от квартир, а торговцы, передающие насиженное торговое помещение другим, продолжают платить «за выход», то есть выдают известного размера премию. У Даля в словаре ни этого слова, ни схода в указываемом значении нет, но есть объяснение столь употребительных на всех морских и речных пристанях «сходней» — подвижных мостков, сколоченных из досок с перилами и набитыми брусками.

ГЛУПАЯ БАБА И ПЕСТУ МОЛИТСЯ

Пословица на́родилась от побасенки, как одна старуха вздумала помолиться богу в церкви. На селе она сроду не бывала и, встретив на пути мельницу, приняла ее за храм божий: к тому же и на мельницах она сроду не бывала. Знала только попов, которые наезжали, по указным праздникам, «со славою». Приводилось и ей давать им «отсыпного»: мукой, крупой, пшеном; откупалась и печеным хлебом, свежими яйцами и т. п. Спрашивает она бородатого старика, всего выпачканного мукой: «Не вы ли попы будете?» — «Мы». — «А где у вас тут богу помолиться?» Он ей указал на толчею: «Вот тут!» А в ней, по обычаю, ходят на рычагах деревянные бойцы — песты да постукивают и все себе толкут, не уставая и не останавливаясь, по указанному издревле закону: «Пест знай свою ступу». Глупая баба и помолилась песту: больно уж он сильно ворочает и словно бы и сам шепчет какую-то молитву, подсказывает и облегчает.

Такой же путь для розысков объяснения темных пословиц в народных сказках, притчах, рассказах и побасенках указывают и прочие родственные нам племена. Между прочим, мне привелось встретиться в Белоруссии с очень распространенной пословицею, очень непонятной с первого раза, но нашедшею полное и ясное объяснение в сказке. Говорят: «Пускай тот середит, кто вверх или на небо глядит». Оказывается, что шла себе путем-дорогой лисица и нашла поджаренную говядину, а подле налаженную железную пасть. Догадавшись, что это ловушка, она не притронулась к мясу, а дождалась медведя. Спрашивает его: «Куманек-голубчик, ел ли ты что-нибудь сегодня?» — «Нет, кумушка-голубушка, не случилось». — «Ну, пойдем, я сведу тебя в такое место, где хорошая пища лежит. Сама бы я съела, да сегодня середя: ведь я католичка». Подвела лиса медведя к той говядине. Лишь только он сунулся к ней, как железо обхватило его поперек и подняло кверху. Лисица взяла кусок и съела. Медведь с навесу говорит: «Кумка-голубка, ведь у тебя сегодня середя». — «Эх, кумок-голубок, нехай той серадзиць, кто у гору (вверх) глядзиць!»

НЕ ВО-ВРЕМЯ ГОСТЬ

Извековный прадедовский закон велит всякого пришедшего в дом, хотя бы и незванным, посадить и зачесть дорогим гостем, а если найдутся в доме запасы, то и угостить. Запасливость, впрочем, не обязательна; требуется лишь радушие, ласковое слово, добрая беседа: «Не будь гостю запаслив — будь ему рад». Конечно, приятно, если пожаловал добрый человек в то время, когда в доме скопились запасы, и обидно и досадно, если он посетит в то безвременье, когда скопленное и храненное все до остатка истреблено. А то недоброе, с сердец выговоренное изречение, что не во-время (пришедший) или незванный гость хуже татарина, явно народилось в живой речи в те времена, когда Русь находилась под татарскою властью. Покорители не щадили побежденных, и еще Плано Карпини, посещавший татарские улусы в XIII веке, заметил в этом народе непомерную гордость, ярко высказывавшуюся презрением ко всем другим народам, страшную жадность, скупость и свирепость: убить человека им ничего не стоит. Всякий татарин, если ему случится приехать в подчиненную страну, ведет себя в ней, как господин: требует всего, чего только захочет. Наши летописи полны рассказов о притеснениях татарских баскаков и о жадности ханских придворных. Вообще насилие у них преобладало над обманом даже в торговле. При встрече и столкновении с такими степными нравами Монголии, какие сохранились в татарах до конца их исторического поприща, русские люди невольно, с грозным принуждением, привыкли всякого татарина, пришедшего в дом, считать властным гостем, всегда незванным и всегда не во-время. Извратилось понятие о госте, и самое хлебо-сольство утратило добрые черты, когда, с появлением татар, во многом изменились самые условия жизни и произошло огрубение нравов. Дикому произволу и неудержимой разнузданности этих новых хозяев Русской земли некоторыми нашими историками (как К. Н. Бестужев-Рюмин) приписывается небывалое явление в бытовом строе народной жизни — затворничество женщин, и у достаточных классов постройка теремов. В условия, на которых татары принимали в подданство какой-нибудь

народ (по завещанию Чингиз-хана), входило, между прочим, брать, десятого отрока или девицу, отвозить их в свои кочевья и держать в рабстве. На этом же сильном праве, конечно, основались и злоупотребления. Вот почему зажиточные люди стали запира́ть жен и дочерей, будучи вынуждены обычаями самих татар, считавших все на Руси своим, увозить чужих жен и похищать девиц. С извращением и порчею нравов, об руку с ними, естественным образом охладели мягкие отношения к гостю и резко изменились самые представления о нем. Стали говорить: «Гость на двор — и беда на двор; гости навалили, хозяина с ног сбили; и гости не знали, как хозяина связали; краюшка не велика, а гостя черт принесет — и последнюю унесет» и т. д., почти все в этом смысле.

В ЧУЖОМ ПИРУ ПОХМЕЛЬЕ

С первых князей русских идет слава о пирах и наклонности весело проводить время, пить и пировать. С княжеских съездов для замиренья после споров и распрей за удел, со свадебных пиршеств доносится до нас веселый отклик старины, как живой и вчерашний, со вспышками на ссоры и перебранки и с полною готовностью идти в драку, драть бороды и ломать ребра. В своем месте об этом было говорено с достаточною подробностью; на этот раз останавливаемся здесь собственно ввиду такого старинного обычая. Гости, приглашенные на пир (именно на пир, а не на обед, после которого обычно и начинались пиршества), обязаны были платить за честь быть приглашенными. Самому хозяину угощение, при дешевизне съестных припасов, было недорого, а у воевод и это было приносным или даровым. Они-то в особенности и отличались подобным гостеприимством (действовавшим, например, для московского купечества до дней гр. Закревского). «Если немецкий купец приглашается на такой пир (пишет С. М. Соловьев), то знает, как дорого обойдется ему эта честь». Это «похмелье» в переносном смысле значения тягостного состояния духа, как болезненного явления после чрезмерного злоупотребления крепкими

напитками, усугублялось, кроме траты здоровья и сил, еще и материальными лишениями. Заздравные чаши, как и до сих пор на крестьянских свадьбах и на крестинах чарки, требуют денежного вклада на румяна молодой, на зубок новорожденному и т. п., а на это и почтенная старина была изобретательна: «Первую пить — здраву быть, вторую пить — себя веселить» и т. д. По пословице: «Не всякому Савелью веселое похмелье; ваши пьют, а у наших с похмелья головы болят». Да так и в песне поется: «Что не жалко мне битого-грабленного, только жаль-то мне доброго молодца похмельненького!»

ВЗЯТКИ ГЛАДКИ

От воевод и подьячих невольно навязывается этот прямой и легкий переход к недоброму обычаю, с которым ведется борьба еще со времен Судебника Ивана Грозного, когда современная взятка называлась еще «посулом», по старинному смыслу этого слова, а не по нынешнему¹ — словом, когда взятки еще не были гладки, то есть можно было их брать. Для просителя они были посулом, для приемлющего — взяткой, за которую еще царь Борис сек дьяков и возил по городу с повешенным на шею незаконным приносом: деньгами в мешке, мехом, соленой рыбой, с чем виноватый попадется. Другой иностранец видал, как, во избежание подозрений, подвешивали взятки к иконам, а деньги всовывали в руки вместе с красным яйцом при христосованье. Обязательно сложилась на Руси поговорка, что «на Москве дела даром не делают». А сюда шло все, что подойдет и, конечно, чем сами богаты. Монастыри несли и везли пироги, цельные рыбыны, ведра рыжиков, маканые сальные свечи и даже резные гребни («да с молодым подьячим да с дьячим племянником в погребе выпоено церковного вина на семь алтын»). Устоялся обычай издавна и стоял на своем основании крепко именно потому, что всякий служащий продолжал

¹ На нынешнем посуле, по народной поговорке, «что на стуле: посидишь да и встанешь».

смотреть на свое дело как на кормление. Выработался даже способ давать взятки: «Придя к дьяку в хоромы, не входя (наказывал взяточник-стольник своему слуге), прежде разведай весел ли дьяк, и тогда войди, побей челом крепко и грамотку отдай. Примет дьяк грамотку прилежно, то дай ему три рубля да обещай еще. А кур, пива и ветчины самому дьяку не отдавай, а стряпухе». «А к Кириле Семенычу не ходи: тот, проклятый, все себе в лапы забрал. От моего имени Степки не проси (а сходи к нему); я его, подлого вора, чествовать не хочу. Понеси ему три алтына денег, рыбы сушеной да вина, а Степка— жадушая рожа и пьяная». Лучшей характеристики старинным взяточникам придумать нельзя. И затем зачистую писали все: «И чем мочно, хотя займи, а подьячего почти», а остаются и поныне взятки гладкими у тех, кому дать нечего и для тех, кто не дает ничего.

ТОЛК В МОЛОКЕ

Известную поговорку, адресуемую к невеже, самоуверенному и самонадеянному, но не способному разуть истину в ее настоящем смысле,— поговорку: «знаешь толк, как слепой в молоке», Даль объясняет такой прибауткой или анекдотом. Вожак покинул на время слепого. «Где был?»— «Да вот молока похлебал».— «А что такое молоко?»— «Белое да сладкое».— «А какое такое белое?»— «Как гусь».— «А какой же гусь?» Вожак согнул локоть и кисть клюкой и дал ему пощупать. «Вот какой!»— «А, знаю!» И по этому слепой понял, какое бывает молоко.

ХОРОШО-ТО МЕД С КАЛАЧОМ

Эту хвастливую поговорку Даль объясняет также побасенкой, или «прибаской» (как он называет). Один хвастался: «Хорошо-то мед с калачом», а другой спрашивает: «А ты едал?»— «Нет, не едал, да летось брат в городе побывал, так там видал, как люди едят».

РАССУДИ — ТОПОРОМ РАЗРУБИ

Судились кузнец с мясником: один другого чем-то обидел. Придумали каждый задобрить судью: один сковал топор, другой быка отвел.

Пришли на суд. Первым заговорил кузнец:

— Господин судья, рассуди нас, как топором разруби.

А мясник свое говорит:

— Нету, брат, тут дело быком прет.

ТРЯСЕТСЯ, КАК ОСИНОВЫЙ ЛИСТ

Осина или дрожащий тополь, в исключение с прочими деревьями, снабжена некоторою особенностью в строении листового черешка. Черешок листа длинный, часто длиннее, чем пластинка, и широко сплюснут. У места соединения черешка с пластинкой находятся большею частию две железки, как это бывает и у многих из прочих видов тополя. Такое устройство листового черешка причиною, что от малейшего ветерка или движения в воздухе лист начинает дрожать. Так объясняется это явление ботаниками. Народ твердит свое, слепо веруя преданиям предков и не наводя справок о том, растет ли в св. земле этот вид из подсемейства ивовых и большого отдела сережчатых растений, — народ упрямо верует, что на этом дереве повесился Иуда-предатель. С тех пор осина, со всем нисходящим потомством, во всех странах света была несправедливо проклята. При этом забыли, что она приносит сравнительно с другими древесными породами наибольшую человечеству пользу, особенно нашему русскому. В деревнях из нее вся домашняя посуда, а в городах даже и та бумага, на которой печатаются эти строки.

ДОРОГО ЯИЧКО К ХРИСТОВУ ДНЮ

Все хорошо во-время, и едва ли стоит надобность объяснять эпитет яичка тем мелким историческим фактом, что в XV веке во Пскове архиепископский наместник

брал с крестьян, игуменов, попов и дьяконов по новгородской гривне за великоденное яйцо. Если уже соображать старинную ценность не материальную, а нравственную, то несомненно дороже стоило не псковское, а московское яйцо времен царских, когда этого рода пасхальные дары жаловались по выбору: иным золоченые, другим простые красные; иному по три, другим по два и по одному (младшим). Немногие бывали очастливлены яйцами, расписными по золоту яркими красками в узор или цветными травами, «а в травах птицы и звери и люди». Московскому патриарху каждогодное великоденное яйцо стоило, кроме разных материй, три сорока соболей и ста золотых. Подешевле обходились лишь «принос» или «дар» именитому человеку Строганову, представителю целого края России: он обыкновенно подносил государю и царевичу по кубку серебряному, по портищу бархата золотного, по сороку соболей и, наконец, каждому члену царского семейства известное число золотых.

Для задачи объяснения ходячих выражений и крылатых слов гораздо важнее значение, например, «новоженой куницы» — платы за венчание, по необыкновенной живучести с первых веков истории доныне. Название ценного пушного зверька в этом смысле кое-где сохранилось до сих пор, что очень знаменательно. Учреждение этой подати в казну удельных князей — очень древнее, одновременное с «полюдьем» и «погородьем», теми даяниями и дарами, которые собирали князья во время объездов своих волостей для вершения судных дел. Эти дани упоминаются еще в XII веке. Потом это название исчезает, но куница до сих пор не забылась в народе. В Белоруссии всякий жених, кроме свадебных угощений, обязан «годзиць куницу», то есть платить священнику за венец. Это исполняют сваты, обязанные, сверх того, непременно поднести матушке-попадье петуха. Может быть, в очень отдаленную и глухую старину, когда меха пушных зверей заменяли деньги и были «кунами» — ходячею разменной единицею, куница или ценность ее полагалась мерою при покупке в дом работницы. И это могло быть повсеместным обычаем. Теперь же в Великокороссии куница вспоминается еще при свадебных обрядах, но старинный прямой и безраздельный смысл ее совершенно

утрачен. По-старинному, например, на нашей памяти величали новобрачных пожеланием (около Галича):

Кунья шуба до полу,
Божья милость до веку.

Сваты приходят в невестин дом «не за куницей, не за лисицей, а за красной девицей». Кое-где просят выкупом за невесту куницу да еще и лисицу (по пристрастью к созвучиям) с придатком золотой гривны да стакана вина. Дружки, в приговорах своих, также безразлично приплетают сюда еще соболя («повар — батюшка, повариха — матушка, встань на куньи лапки, на соболюшки пятки» и т. д.). В северо-западной России народ гораздо последовательнее и тверже в старых памятях и заветах. Так, например, там везде значение куницы перенесено и на самое заявление священнику о желании венчаться. «Куницу мириць или годзиць» являются целой гурьбой и потом хвастаются: «Уж хвала тебе, господи, куницу помирили и запывидза (запойны, пропойны невесты) пошла». Во время крепостного права куницей исстари назывался также выкуп у пана-владельца невесты вольным человеком, избравшим крепостную девицу, которая, таким образом, выходила в чужую вотчину, и за нее давали деньги. Священнику за венец не всегда платят наличными деньгами, а иногда рассчитываются и работой. В некоторых местах (например, в Витебской губернии) слово «куница» также забыли (говорят: «попа мириць»), но смысл сохранился, и сейчас можно слышать это старинное выражение цельным на окраинах той же губернии, смежных с губерниями Смоленской и Могилевской. Надо надеяться, что изречение это и здесь затеряется, когда окончательно исчезнут все следы крепостного быта и потускнеет о нем представление.

ИЗ ПОЛЫ В ПОЛУ

Передается ли старшинство в семье, старейшинство или главенство в деловом предприятии, право на расправу и всякого рода распоряжений и приказаний непосредственно из рук в руки, из полы в полу, в последнем

буквальном смысле поступают на основании обычного права, вместо подписи контракта и нотариуса, при купле-продаже. Покупщик и продавец ударили по рукам, хлопнули ладонями — значит, установили цену. Остается передать проданное (например, корову, лошадь и т. п.) в руки покупателя. Накрывают правую руку углом подола и берут за поводок (веревку у коровы, недоуздок у лошади — узда не продажная как у русских людей, так и у кочевников в особенности). Прикрытую рукой сдает продавец, таковою же принимает покупатель. Акт купли-продажи вошел в полную силу. Затем следует обычный магарыч — спивки, слитки со счастливого или удачливого покупателя.

ПУСКАТЬ ПЫЛЬ В ГЛАЗА,

или, что одно и то же, мотать из тщеславия приобретенное или наследственное имущество, жить шире наличных средств, хвастаться, надувать и морочить, щеголяя всякими способами,— московский археолог И. М. Снегирев пытается объяснить это выражение историческим примером. Он приводит его из сочинения Рафаила Барберини, бывшего в XVI веке свидетелем в Москве одного тяжёбного поединка, когда соперники бились в поле (у церкви Троицы, что «у старых поль», — нынче просто «в полях»). Бились, как известно, в доспехах: и тот, кто дал займы деньги, и тот, который отрекается и не хочет платить. При этом Барберини сообщает, что очень смешон был способ вооружения тяжущихся: «Доспехи их так тяжелы, что, упавши, они не в силах бывают встать». В таком-то вооружении оба сражаются до тех пор, пока один из них не признает себя потерявшим поле. «Мне рассказывали, что однажды случилось литвину иметь подобный поединок с москвитянином. Литвин никак не хотел надеть на себя все вооружение, а взял только нападательное оружие, да еще украдкой захватил мешочек с песком и привязал его к себе. Когда дело дошло до боя, он бегал легко и прыгал из стороны в сторону около москвитянина, который, по причине тяжелого оружия, едва мог медленно двигаться. Улучив

время, литвин искусно подскочил к нему и пустил в отверстие наличника щепоть песку (как у немцев по пословице: «Sand in die Augen zu streuen»), так что ослепил его, и в это самое время железным топором начал ломать на нем оружие. Москвитянин, не могши ничего видеть, признал себя побежденным, и литвин остался победителем. После этого случая москвитяне не стали уже позволять иностранцам вступать с ними в подобные поединки».

ЧЕРТУ БАРАН

Во всех концах России, не исключая Белоруссии, самоубийцам приурочивается вековечное прозвище «черту баран», в котором чувствуется и то презрение, какое глубоко вкоренилось в народном убеждении по отношению к этим преступникам, и сказывается та основа поверья, из которой выродилось это живое крылатое слово. На самоубийство, как и на множество других преступлений, помимо доброй воли и порченной природы, натравливает нечистая сила или дьяволы, черти всякого рода и всегда нежить. В этом случае черт творит зло в личных расчетах, но по особому приказу и прямому указанию верховного своего начальника — сатаны, несмотря на то, что иногда цель наущения, повидимому, ничтожна. В данном случае покусившийся на свою жизнь наказывается как бы временным превращением в животное для того, чтобы черти на том свете до сорокового дня могли ездить на нем неустанно или возить на нем воду. Человек, таким образом, доброхотно сам себя принес, вместо обетного и обрядового барана, в жертву подземным богам, злой и нечистой силе. По глубокому народному верованию, она одна является здесь основной причиной немолимого греха, толкая в воду, накладывая на шею петлю и подвешивая трупы на деревья в укромных лесных местах и на балках холостых строений по задворкам: бань, овинов, амбаров и проч. В Белоруссии при этом твердо укоренилось даже такое повсеместное верование, что того человека, который вынул из петли удавленника и хотя бы оживил его, всю жизнь во время сна будет

преследовать таинственный голос, нашептывая: «Зачем ты его спас; зачем ты его увел от нас?» Зато принято народом за правильный закон всюду хотя и хоронить самоубийц на кладбищах, но где-нибудь в углу и поодаль от прочих могил. «Черта потешил — из себя барана сделал,— говорят в Новгородской губернии, — сунул голову в петлю, а черт и затянул ее; он и натолкнул на греховную мысль и пособил привести ее в исполнение». Сорок дней умершая душа всякого человека ходит по мытарствам; непогребенная душа скитается по миру; самоубийца отдает душу черту и не допуская ее до мытарств.

УБИТЬ БОБРА

Выражение это, обращаемое к неудачливому человеку как насмешка, ввиду приобретения им дурного, вместо хорошего, например товара и других разных предметов, до жены включительно, произошло, конечно, от того зверька, который дает на воротники густой мех. Такая горькая неудача предполагается равносильною тому, как если бы, намереваясь убить ценного зверя, хотя бы и речного (*castor fiber*), не говоря уже о драгоценном морском (*lutra*), довелось убить свинью. Так, между прочим, поступили калязинцы: они свинью за бобра купили, и зато эту неудачу, как забавный случай, обратили им в вековечную насмешку, в виде присловья. Обман темных людей поставлен, таким образом, в зависимость от тех серебристых волосков, которые увеличивают ценность морского зверька, но ничего не стоят в виде щетины домашнего животного. Известен анекдот, как глупый денщик, из усердия и услужливости, выщипал из воротника своего барина-офицера эту красивую особенность меха на том соображении, что сам барин выщипывал такие же сединки из своих волос на голове и бакенбардах. В доказательство того, что именно речной бобр дал повод к сочинению выражения, служит то обстоятельство, что некогда в России бобры водились почти везде и о бобровых гонах упоминается во всякой владенной записи. Теперь их нет нигде, за самыми ничтожными исключениями кое-

каких рек в белорусских и пинских болотах, как в свою очередь сделался редкостным драгоценный камчатский бобр, особенно тот, который ловится около мыса Лопатки, у камня Гаврюшкина. Цена ему на месте, в невыделанном, а лишь просоленном виде, в последние года была очень высока, начинаясь с шестисот рублей, и ввиду того, что бобр того же вида, но пойманный на Командорских островах, на северной оконечности острова Медного, у так называемого Бобрового камня, стоит всего сто пятьдесят — двести рублей.

ХОТЬ СВЯТЫХ ВОН ВЫНОСИ

Иногда говорится так при случаях совершенно противоположного и непохожего смысла, а «святыми» в полное согласие весь русский народ называет те иконы, которые ставит на тябле (особой полочке) и держит в киотах, чтит и бережно охраняет. Староверы, несомненно по обычаю предков, почтение к этим живописным изображениям спасителя, богоматери и святых угодников довели даже до крайности, например прикрепляя занавеси и задерживая лики от всех проходящих православных. Впрочем, во многих местах завешиваются иконы во время пиршеств, пляски и других развлечений; нельзя сидеть в шапке, свистать: все это большой грех.

Иконопочитание во всей Руси простирается с древнейших времен до того, что если и существовал (еще до Грозного) иконный ряд в Москве и ими «торговали», продавая на деньги, тем не менее этот термин к иконам неприменим, а заменен словом «менять, выменивать». Когда в 1540 г. псковичи усомнились в приобретении принесенных на продажу «старцами-переходцами из иных земель» изображений Николы и Пятницы «на рези в храмах» (изваянных из дерева в киотах), новгородский владыка сам молился на эти иконы, перед ними молебен пел, проводил до реки Волхова на судно, а псковичам наказал эти иконы у старцев «выменять» и встретить их соборно. Понятие о божестве и купле, очевидно, не совмещается в уме нашего народа, как не совмещалось оно и во

времена язычества. Исстари же ведутся и особые приветы и приспособлены разные приемы в соответствие почитанию икон, называемых и «святынею» и «божьим милосердием». «Честь да место — господь над нами — садись под святые!» — привечают гостя и «кладут» под святые умирающего, вживе обмытого и одетого в саван. Если таковой больной поправляется, выздоравливает от тяжелой болезни, про него говорят, что он «из-под святых встал». Зато говорят также и надвое: «Хоть святых вон выноси» — про тех, которые врут не в меру, «и святых выноси и сам уходи», и про бестолковый гам и крик на миру в замену обычного «поднялся содом»: пусть святые иконы не видят греховных людских развлечений и не слышат свиста пустодома. И действительно выносят прежде всего святые иконы на случай пожарного бедствия в деревнях, и при переходе из старой избы во вновь построенную и т. д. Объединявшая Москва, забирая под свою высокую руку обессилевшие удельные города, этим же способом пользовалась, как чрезвычайно ловким политическим приемом. Все нижнее тябло в иконостасе большого Успенского собора украшено таковыми иконами-палладиумами из разных русских стран, как победными трофеями. К числу таковых относятся также и колокола, о чем я уже имел случай упоминать в своем месте. Здесь, вероятно, и начало вышеприведенному и повсюду распространенному изречению.

НЕ В БРОВЬ, А ПРЯМО В ГЛАЗ

Общеизвестное изречение можно было бы обойти без разъяснения, тем более, что и пословицы наши на большую часть имеют недоброе свойство «колоть не в бровь, а прямо в глаз». Не столько личная привычка искать начала в исторических событиях, сколь требовательность со стороны вынуждает иногда останавливаться на таких намеках, которые могут быть и сомнительны, но более или менее освещают самый предмет и придают жизненный смысл ходячему выражению. Такова, между прочим, на указанную тему легенда, сохранившаяся у казаков и

разъясняющая так называемый «второй паек». Вот как записана она в «Терских ведомостях»:

«В стародавнюю пору у Грозного царя Ивана Васильевича была война с татарами. Долго воевали они, но война ничем не кончилась. Вот татарва и говорит Грозному царю:

— Не будем больше воевать, а вот мы вышлем бойца, а вы, русские, своего высылайте. Если наш богатырь побьет вашего, то все вы наши рабы, а коли ваш победит, то мы будем вечными рабами русских.

Подумал Грозный царь и согласился. Выходит с татарской стороны великан саженого роста и хвалится над русскими.

— Кто, мол, такой явится, что со мной вступит в бой великий: убью его, как собаку поганую.

Глубоко вознегодовал Грозный царь за такую похвальбу нескромную и решил примерно наказать злого татарина. Сделал он клич по всей рати... Долго не находилось охотника. Грозный царь начал уже сердиться. Но вот нашелся один — так, небольшой казакишка. Идет к государю, в ноги кланяется и говорит:

— Царь-батюшка, не прикажи казнить, дозволю, государь, слово вымолвить.

Приказал Грозный царь встать, приказал слово сказать.

— Я даю свое слово,— говорит казакишко,— великий царь, что убью этого поганого татарина каленой стрелой, прямо в правый глаз; если ж этого не сделаю, то волен ты, государь, в моей жизни...

Вышел он на поле ратное, навел тетиву на тугом луке и угодил стрелой татарину, чуть повыше глаза правого, прямо в бровь. Повалился злой татарин, а казакишко бросил лук и стрелы и пустился в бег... Царь послал гонцов за ним... Привели его к государю.

— Ты что же бежишь, ведь ты же убил врага лютого,— говорит Грозный царь.

— Да, царь-батюшка, врага-то я убил, да слова своего не выполнил: попал не в глаз, а в бровь, и стыдно стало мне явиться пред твои очи государевы.

— Я прощаю тебя,— говорит Грозный царь,— и хочу наградить тебя за такую услугу немалую.

— Спасибо, государь, что ты хочешь дать радость твоему рабу недостойному. Вот моя просьба к тебе. Я не буду просить многого, а коль возможно, то пусть жене моей, когда я на службе, идет второй паек, а коли будет твоя милость, то и всем женам казачьим.

Возговорил тогда царь-батюшка, повелел давать второй паек всем женам казачьим да прибавил:

— Пусть будет паек этот на веки вечные неизменным, поколь будет стоять земля русская.

С тех пор и получают казаки второй паек».

КОНЦЫ В ВОДУ

Это изречение стараются объяснить также историческим путем, приписывая Грозному новый способ казней, смиравших заподозренных в измене новгородцев. Толкуют так: с камнем на шее велел царь бросать граждан в реку Волхов и, стало быть, на дне его хоронил концы мучений жертв и успокаивал свою мятежную совесть. Играли ли камни тут какую-либо роль — сомнительно. Точные известия показывают лишь то, что обреченные на потопление жертвы отвозились привязанными к саням к Волховскому мосту. С него и бросали в реку мужчин. Жен и детей со связанными руками и ногами свергали с другого какого-то высокого места. Младенцев привязывали для той же цели к матерям. Камней, очевидно, на шеях не было, потому что дети боярские и стрельцы обязаны были ездить на челноках по Волхову и прихватывали баграми, кололи копьями и рогатинами и усиленно погружали таким способом на дно реки. Так делалось ежедневно в течение пяти недель. Несмотря на такую доступную справку, один из толковников счел нужным сослаться еще на времена бироповщины и на основе преданий повторил рассказ о таком же способе казней, производимых, однако, втайне, чтобы скрыть следы. Сообщение вероятное, но оно не имеет за собою точно проверенных исторических данных, хотя бы по мемуарам иностранцев.

КОНДРАШКА ХВАТИЛ

Постиг внезапный, даже роковой, смертельный удар, по предположению историка С. М. Соловьева, как обиходное выражение господствует со времен Булавинского бунта на Дону в 1707 г. Бахмутский атаман «Кондрашка» Булавин (Кондратий Афанасьев), избрав себе в шайку Ивашку Лоскута, Филатку Никифорова и иных гулящих людей (человек с двести), убил князя Долгорукова, офицеров и солдат. И «старшин также хотел побить, но не застал, потому что, в одних рубашках выскочив, едва ушли. И они, воры, за ними гоняли и за темнотою ночи не нашли, потому что розно разбежались».

СНЯВШИ ГОЛОВУ,

пѣ. вѣлѣсам нѣ плачут в смысле, что если стряслась большая беда и посетило крупное горе, то уже излишне тосковать о мелочных неприятностях. Впервые будто бы применил это народное изречение, в свое утешение, Петр Великий, убедившись, фактом измены Мазепы, в невинности казненного им доносчика на гетмана полтавского полковника Искры. Царь скорбел и раскаивался, и когда убедился в справедливости доносов Кочубея и Искры, приказал Мазепу проклинать. Митрополит киевский с двумя архиереями первым исполнил это повеление в Глухове. Затем в московском Успенском соборе Стефан Яворский, в сослужении архиереев и в присутствии высших чинов, трижды возгласил: «Изменник Мазепа за клятвопреступление и за измену великому государю буди анафема!» Прочие архиереи пропели трижды: «Буди проклят!»

МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ

То мучительное или томительное состояние, когда затруднен человеку выход из стесненного и затруднительного положения, также стремятся оправдать историче-

ским путем, уподобляя равносильному унижительному положению удельных князей в Орде. Их приводили к хану не иначе, как очищенными и освященными всемогущим стихийным началом — огнем. Проходил князь к ханской ставке между двумя зажженными кострами. Но насколько основательно и требовательно и в этом случае искать исторического объяснения здесь, а не в обиходных случаях, например лесных пожаров, когда опыт учит для их обессиления и прекращения напускать встречный огонь? Иметь неосторожность попасть между двумя огненными стенами — тоже не из веселых положений.

С такими усердными розысками, основанными на легкой подозрительности, можно дойти до сомнительных толкований (и это на лучший конец), если не до простой и бесцельной забавы (на худший). В числе подобных толкований могут оказаться и такие:

«Праздновать трусу» — не какому-нибудь злому духу (или подчиняться беспокойному, неестественному настроению души), а уподобляться польскому полковнику Струсю, которого разбил наголову Минин с Пожарским 22 октября 1612 г.

Конечно, «в чужой монастырь со своим уставом не пойдешь», — это всякому понятно из практики жизни, и для того вовсе не нужно старинным монастырям получать свои судебные права. Довольно знать, каким уставом направляется жизнь: живет ли инок своим особым хозяйством, или общежительным, иначе «богорадным». Во всяком случае объяснение подобных общепонятных изречений можно сделать и скучным и приторным.

При других объяснениях можно в самом деле очутиться меж двух огней: кого, например, следует разумеать под куликом, которому далеко до Петрова дня: болотную ли птицу, или пьяницу-работника, который любит куликать, то есть не кричать куликом, а опиваться вином? Как здесь разобраться?

«Согнуть в три погибели» — значит не иначе, как таким мучительным способом, который практиковался при пытках и прямо доводил до смерти: привязывали к ногам голову; в веревку ввертывали палку и начинали накручивать ее до такой степени, чтобы голова пригнулась к но-

гам бесповоротно и вплотную. Тут можно добиться только того лишь, чтобы сосчитать действительно три «погибели» в смысле «погибов» тела, а не доказать неизбежность архивных справок на всякие подходящие случаи, где приходится опираться на сходстве слов или на созвучиях.

С превращением важной работы в праздную забаву достигнешь того, что вопреки пословице у всякого словца не дождешься конца.

Конец

ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕДОВЕСОК К «КРЫЛАТЫМ СЛОВАМ»

ГОСТИТЬ

Не дорога гостьба, дорога дружба.
Пословица.

Русский человек всегда гостю рад, и хотя и говорит, что «незванный гость хуже татарина», однако и незванного принимает всегда сердечно и гостеприимно, а званного и желанного принимает с душой нараспашку и с сердцем за поясом и угощает его «до отвала», отдавая иногда последнюю копейку на угощение. «Что было — все спустил; что будет — и на то угостил», — говорят в народе. «Каков гость, таково ему и угощение!» Но в общем гостю всегда рады, говорят даже: «Пошли бог гостей — и хозяин будет сытей!» Принять гостя «по-русски» — значит принять его всем добром. Но самая главная особенность в приеме гостей — это разнообразие приветствий. Уже в другом месте было отмечено, что разнообразие приветствий у нас на Руси так велико, что, собирая их, и счет потеряешь (см. книгу нашу «Крылатые слова»). Там же было приведено и многообразных форм приветствий, прилагаемых к бесчисленным житейским случаям, все по тому же святому завету древнейших предков на бесконечные, грядущие времена к исполнению, как евангельская, непререкаемая истина: «Не будь гостю запаслив, а будь ему рад». Богатство языка в этом отношении

велико и доходит до замечательного избытка, до роскоши. Известная склонность к шутке и насмешке, природный народный юмор и в данном случае не замедлили проявиться чисто неожиданным образом и нередко в грубой форме. Подобные пожелания совершенно в противоположном направлении настолько характерны, что о них нельзя не упомянуть, хотя бы и мимоходом, в заключение нашей заметки.

Переступая через чужой порог, обычно русские люди молятся иконам, кланяются в пояс хозяевам: первый поклон богу, второй хозяину с хозяйкой, третий всем добрым людям. Затем желают всем доброго здоровья. Спрашивают: «здорово ли спали-ночевали все крещены?» Или так: «спали-ночевали, весело ль вставали?» (прямого ответа не требуется). Если находят за работой, то говорят: «помогай бог» или «благослови, господи». Если видят на отдыхе — «беседуйте!» или «сидеть бог помочь!» Если сидят за столом и, прикусывая хлеб, хлебают все из общей чашки, каждый своей ложкой, — «хлеб да соль!» Когда сидят кругом самовара и, прикусывая сахар, ведут мирный разговор свой около дому и хозяйства и про добрых соседей, говорят вошедшие и прибылые: «чай да сахар!» Всем таким в ответ от хозяев иногда в одно слово и разом: «милости просим!» со всем разнообразием приветов и согласно времени и занятиям: «добро жаловать!», «хлеба кушать!», «чем бог послал!», «гости пожалуй!», «гостите-жалуйте!», «садись — гостем будешь!» и т. п.

Совестливый человек не сразу сдается на приглашения. Иной и на ногах замнется и не сядет ни на лавку, ни за стол. На таких имеются убедительные любезные остротки, при просьбе садиться. Один начнет:

— За постой деньги платят.

Другой подхватит и доскажет:

— А посиденки даром.

Или еще короче:

— В ногах правды нет (в воспоминание старинных казней, когда подвешивали подозреваемого и били по ногам толстыми прутьями, допытываясь правды, и, конечно, не добивались настоящей, а слышали лишь вымученную).

Старики любят потчевать такими словами:

— Хлеб-соль на столе, а руки свое (свои).

Когда сами хозяева зазывают гостей и все они собираются на беседу и ради угощения, добрые пожелания и ласковые приветы складываются в целые складные речи. С трудом приходится следить за всеми такими приговорами, которые требуются, например, на свадебном пиру и полагаются для чествования каждого гостя в особину. Свадебные празднества все состоят из приветствий. По привычке северного новгородского говора с растяжкой и нараспев, эти складные приговоры и приветствия, точно песенные куплеты, звучат странно, но приятно. В легких и мягких тонах они напрашиваются прямо в душу и ласкают ухо. Трудно бывает забыть потом эти добродушные распевки и их милые и приятные тоны.

Радуюсь приезду гостя и приветствуя его, — обыкновенно русским обычаем, подавая руку и говоря: «права рука, лево сердце», «сколько лет, сколько зим» (не видались) — ставят доброе здоровье выше и дороже всего. Его желают и об нем спрашивают:

«Здорово! Как живешь-можешь?» или: «Здоровенько живешь, все ли можешь?»

Отвечают: «слава богу!» или: «под богом».

— Слава богу, лучше всего! — в подкрепление сладкой и благодушной уверенности договаривают вопрошавшие.

На всех вообще путях жизни и при всяких встречах «без бога — ни до порога» всякий православный человек.

С пыльной дороги и после тяжелого пути гостя охотно угощают жаркой, паркой банькой, предлагая выпариться, словами: «смыть с себя художества, намыть хорошества». Гости входят в баню со своим приговором: «пар в баню, чад за баню!», а выйдут с обязательною благодарностию гостеприимным хозяевам: «на пару, на баньке, на венчиках!» «Здорово попарился? — скажет, в свою очередь, хозяин и тут же поздравляет гостя: С легким паром».

Пожеланием «спите-почивайте», или «покойной ночи, приятного сна» проводят гостей, когда усталые путники расположатся на полатах или на лавках соснуть с дороги. Отпуская их снова в дальний путь, снабдят новым ласковым душевным желанием: «день днествовать — ночь почивать», то есть то и другое желают провести счастливо.

Совсем не из глубины души, а прямо-таки с кончика языка, избалованного способностью и склонностью к насмешке, которая иной раз не разбирает заветного и важного, родился в родном языке новый отдел игривых ответных приветов. Судя по внешней форме, при скоро-спелом заключении кажется, что они рассчитывают нанести обиду, — в самой же сущности оказываются просто мимолетною шуткою досужих зубоскалов. От них, например, на привет «хлеб да соль» иные слышат: «ем да свой» или: «поодаль стой!» Или так: «милости прошу к нашему грошу со своим пятаком». Чихнувшему обычно говорят: «будь здоров!», а нередко шутливо замечают: «спичка в нос, невелика — с перст» причем чихнувшему разрешено отшучиваться ответным: «спасибо, пес,» или так: «здравствуй на два дни, — на третий на дровни». Спокойной ночи, приятного сна с прибавкой «целовать козла», или «не спать до полночи, выпуча глаза», и т. п. (но в большинстве, однако, в такой форме, которая совсем неудобна для печати).

ЩЕЛКОПЕР

Щелкопер — довольно известное укоризненное или бранное слово, недавно лишь утратившее живой корень своего происхождения. Оно, ввиду многих однозначных и новых, начинает выходить из употребления с тех пор, как перестало быть и казаться совершенно понятным даже до очевидности. По объяснению Даля, это — пустой похвальбишка (бахвал) и обирало, а по Гоголю — достойный презрения ничтожный человек, шатающийся без дела, скалозуб, занятый на полном досуге пересмеиваньем чужих недостатков, но сам владеющий в то же время избытком собственных, непризнанный обличитель, в некоторых случаях даже опасный, друг Хлестакова, душа Тряпичкин, бумагомаратель. В бессмертной комедии оба бранные слова недаром вместе и рядом вылетели из уст городничего, возмущившегося до бешеного раздражения; в его время щелкоперы и бумагомаратели уживались в близком соседстве, даже сидели рядом, будучи одной семьи, кровнородственными. До второй половины

истекшего столетия, пока еще мало были известны и вообще не вошли еще в общее пользование стальные перья, а перья машинного очина доступны были лишь губернским и торговым городам, — казенное и частное письмоводство производилось гусиными перьями. Этот сорт и существовал в продаже пачками, круто перевязанными крепкой бечевкой красного цвета, наподобие сахарной. Каждый писец обязан был выработать в себе умение чинить перья, и, конечно, не всякому оно давалось, но зато иными достигалось до высокой степени совершенства и поразительного искусства, чему доводилось не только удивляться, но и любоваться. Ловко срежет он с комля пера ровно столько, чтобы можно было надрезать расщеп, и оба раза щелкает. Повернет перо на другую сторону и опять щелкнет, снова срезавши из ствола или дудки пера именно столько места, чтобы начать очин. Прежде всего, конечно, он вынет из дудки сердцевину, прикинет перо на свет, прищурит глаз, поскоблит обушком ножа цепкую пленку, на ногте большого пальца левой руки отщелкнет в последний раз с кончика расщепа ровно столько, сколько нужно по вкусу любого писца. Перо теперь окончательно излажено «по руке». Отмахнувши кончик бородки, иной для доброго приятеля из той же бородки сделает елочку — и получается готовое оружие для прицелов. Скрипит оно в руках другого умелого мастера, который действует так же, склонив голову набок, откинув глаза в одну сторону, а пожалуй, даже и язык на отброс. До сих пор перо только щелкало под перочинным ножом на весу и на свету — теперь оно закрипело в упор по белой бумаге. Стало, словом, так, как предлагается досужей загадкой: голову срезали, сердце вынули, дали пить, стало говорить. А затем бумага терпит, перо пишет — на темные глаза деревенского люда, приученного не верить тому, у кого перо за ухом, — пишет про то, что не стешешь или не вырубишь потом топором, и зачастую недоброе на чужую голову. Бывало, старый подьячий — по пословице — «за перо возьмется, у мужика мошна и борода трясется». В эти-то, теперь уже далекие, времена в том многочисленном сословии, которое было вспоено чернилами, в гербовой бумаге повито, концом пера вскормлено, всегда выделялись особые мастера для изго-

товления готовых чиненых перьев, особенно для сварливых и капризных начальников. Подбирался сюда народ ни к чему другому не способный, обычно грамоте мало разумеющий и даже в писцы-копиисты не годившийся. В эти самые нижние слои чернильного царства по большей части оседали сыновья местных влиятельных лиц, так называемые матушкины, умственно бессильные, нуждавшиеся в покровительстве сильных и сами охотливые до коренной льготы, предоставленной обычаем всем этим щелкающим, а не скрипящим перьям, быть свободными от занятий далеко прежде других. Они уходили из судов и приказов тотчас, как все требуемое для чернильной фабрики количество чиненых перьев было ими изготовлено. Всякий из таких счастливцев-пустозвонов был свободен снова идти гранить мостовую, зубоскалить в общественных садах и на городских бульварах обижать невинных, задевать бессильных и т. п.

ДАЛЕКО КУЛИКУ

Далёко кулику — до Петровáдня ¹. По глубокому народному убеждению, на день сорока мучеников (9 марта) знаменуется начало весны. Обязательным прилетом первой птицы — жаворонков, для которых достаточно любой проталинки в поле, а особенно около церквей на пустынных и тихих погостах. Издревле этот прилет чувствуется в глухих местах старинными людьми, первую жертвою в честь «весны красны», выпекаемыми из теста булочками, имеющими форму птиц. С ними малые ребята влезают на крыши, бегают по улицам, вертятся на перекрестках и поют веселыми голосами коротенькие, немудреные приветные припевы в честь весны (веснянки) и заывают ее в гости. По поверью, одновременно с жаворонками прилетают сорок других птиц, в числе которых обязательно и кулик-невелик в свое болото, на любимую

¹ Петровáдня (ударение на ва́), уцелевшее в некоторых северных местах Великороссии, подобно «велика́дню» белорусскому и малорусскому наименованию дня св. пасхи, светлого воскресенья Христова дня.

кочку: он, по закону, общему всем прочим перелетным птицам, — и чужую сторону знает и свою любит. Так, впрочем, все и говорят, уверенно думая: «Прилетел кулик из-за моря, выводил весну из затворья». На самом же деле, в силу этих же вековых верований со дня сорока мучеников начинаются сорок утренников: все еще нет настоящего лета, да и до конца весны еще очень далеко. Таковым всегда и обычно почитается Петров день, и в некоторых местах до сих пор уберегается торжественный обычай проводов весны. На святых Петра и Павла перестает куковать кукушка и замолкает соловей. Начинается «красное лето — зеленый покос». Пришло охотникам разрешение стрелять всякую перелетную и пролетную птицу, а в том числе и вкусных, хотя и маленьких куличков. От встречи весны (9 марта) до проводов ее (29 июня) довольно было безопасного времени: шагал кулик по трясинам, вспархивал над озерами, пел по-своему — плакал в своем болоте, а из него, как выражаются пословицы, вон не шел; свое болото всегда хвалил, хотя, конечно, убегал не в него (по пословице же), а берег свою голову. Вот это-то время между двумя определенными, по народным приметам, днями почти в четыре месяца времени и выражает собою то «далеко», которое изживает кулик в полной беспечности и безопасности.

ПОДКУЗМИТЬ И ОБЪЕГОРИТЬ

Подкузмить и обжегорить — одинаково зло поступить с соседом с некоторою разницею в приемах и последствиях: в первом случае обмануть, исподволь подготавливаясь, поддеть исподтишка и неожиданно надуть в деле не столь значительной важности, как во втором случае, когда поход на соседа оканчивается полным его разорением или очень чувствительными утратами. Происходят оба слова от имени христианских праздников¹, с приспо-

¹ Не первый случай заимствования ввиду уже объясненных нами: просавиться, проварвариться и т. п. В настоящем случае предлагается дополнительное объяснение к тому, которое дано уже в книге «Крылатые слова».

соблением к ним собственно доисторических и дохристианских обычаев, какими сопровождаются важные поры в крестьянском домашнем хозяйстве: сытое и богатое осеннее время, следующее за уборкой хлебов, и тяжелое голодное весеннее, предшествующее петровской настоящей голодовке.

Подкузмить в буквальном смысле и в прямом значении слова можно лишь в определенное время, для чего в старорусских деревнях полагаются около 1 ноября (или в самый этот день) так называемые «кузминки» — девичий праздник. Девушки устраивают между собою складчину и собираются в какую-нибудь избу. В северных лесных губерниях (например, Вологодской или Костромской) обязательно воруют петухов, отвертывают им головы и жарят. На ворованное жаркое приглашаются парни, которые в свою очередь являются со своим угощением — и всего охотнее с вином. Ловкими подходами, сладкими ласками, игривыми, задорными частушками новейшего изобретения и, по последней моде, четверостишиями, с подыгрываньем гармонике, умеют пленять и угощать девиц до того, что удастся их подпойть. Редкая из них устаивает, когда тушатся огни, в подкрепление пословицы, что «пьяная баба себе не принадлежит». Не всякой девушке удастся отбиться, редкому парню не доводится «подкузмить» ту, которая ему больше всех нравится. Обыкновенно такие пиры — явный и яркий осколок седой старины — братины, — засвидетельствованный начальной летописью, кончаются браками. Помимо даже и таких местных грубых обычаев и решительных приемов, время кузминок, когда начинаются супрядки — сходбища девиц для совместных работ и бесед при нередком деятельном участии ребят, — такое удобное для сближений молодежи время, когда той или другой стороне представляется возможность завлечь в свои сети для брачных уз избранное и облюбванное лицо. Конечно, и красные девушки стараются выбрать себе женихов, спешат завлечь, подкузмить доброго молодца в свою очередь. Таково, может быть, прямое толкование, как первобытного источника, из которого истекло все разнообразие применений этого вида выражений в переносном смысле. Подобный же корень следует подразумевать и в происхождении слова.

Объегорить — безжалостно и нахально обобрать, лишить самого важного и необходимого в житейском быту, подобно, например, продовольствию, запасов пищевых для себя и домашнего скота. Не только у ленивого хозяина достает сена лишь до Егорья (23 апреля или вообще до последней недели этого месяца), но вообще бедным людям приходится терпеть до спаса (1 августа), и весенний Егорий недаром зовется «голодным» (второй Егорий, наш русский ноябрьский — «холодным»). На весеннего или первого Юрья в сусеках хлеб на исходе, скот в хлевах доедает свои же огрызки, наступило законное время выгонять скот на траву, а в лесных местах в иные годы и после Егорья бывает еще двенадцать морозов. На эту пору редкий деревенский хозяин не захудал и не занищал до того, что сделался дешевым и скоросговорчивым рабочим. Недаром с древнейших времен вешний Егорий считался начальным сроком торговцев для разного рода сделок и всякого рода наймов (по недавним обычаям, по Семен день — 1 сентября, либо по покров). Маклаки и мироеды, пользуясь временем и обстоятельствами, налагали тяжелые путы на приниженных нуждой и безвременьем, давали цены и обещали плату не страдной летней или осенней поры, а именно этого егорьевского безвременья, объегоривали. Опытным и удачливым удавалось так, что спохватившийся наемник лишь потряхивал досадливо головой да похлопывал руками по бедрам. На худой конец сбегал с работ без оглядки, сам объегоривал, на лучший — тянул до конца ярмо, впрягаясь в оглобли, — благо с Егорьева дня и богатые наниматели приступают к полевым работам, а в самый «Егорий — ленивая соха» запахивают пашню ранними яровыми даже незначительные.

ХУДАЯ ТРАВА

Худая трава — из поля вон, подобно тем членам товариществ, которые нарушили основные правила или не желают им подчиняться, тому офицеру, который за предосудительное поведение, марающее мундир, исключен из военного общества судом сослуживцев, подобно члену

сословия, мещанского или крестьянского, совершившему такой проступок, за который полагается, по суду и мирскому приговору, ссылка в Сибирь на житье или поселение и т. п. Выражение это взято от народного обычая, столь же древнего, как сама Русь, и лишь в недавние, нам памятные, времена покинутого по сю сторону Уральского хребта. Обычай этот, по завету предков и по их указаниям, практиковался обязательно 5 мая (а в Белоруссии 16 апреля) на Ирину (по христианскому календарю) — на Рассадницу (по простому народному книжному прозванию). Тогда зеленая травка забрала уже силу; из свежих и нежных листьев крапивы можно сварить зеленые щи; пришла явная пора подумать о посадке, прежде всего и охотнее прочего, капусты, а за нею и о посеве прочих огородных овощей. На это налагаются даже особые молитвы, не пригодные для церковных святцев и в них не попавшие, но укладистые в живой памяти и скороспелые на легком языке. Перебравшись через Уральский хребет в сибирские страны, обычай этот, под названием «напуска палов», укрепился и повсеместно сохранился до наших дней. Пускают палы на луга и покосы, с целью истребить огнем прошлогоднюю сухую траву — перезимовавшую ветошь, чтобы не глушила она свежих всходов, да кстати для того, чтобы истребить попутно зародыши и яички всяких вредных насекомых, которых сибиряки характерно прозвали гнусом. И настолько в самом деле гнусны и вредны они в этой первобытной стране и настолько докучливо-мучительны, что, будучи истинным бичом людей, и всю богатую и обширную страну делают пригодною к заселению и обитанию только при чрезвычайных усилиях и изумительном терпении.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
И
ПРИМЕЧАНИЯ

О КНИГЕ С. В. МАКСИМОВА

Автор книги, предлагаемой вниманию читателя, Сергей Васильевич Максимов (1831—1901) — беллетрист-этнограф. Еще в студенческие годы он испытал сильнейшее идейное влияние кружка молодой редакции «Москвитянина». Всеми мыслями этого кружка, возглавляемого А. Н. Островским, руководила, — как писал в воспоминаниях о нем Максимов, — любовь к народу, «перлы народного творчества здесь получали живое художественное толкование». В этом кружке, которому Максимов, по его выражению, обязан своим «литературным воспитанием», окрепла в нем любовь к родному народу и стремление к всестороннему изучению народного быта. Он исколесил едва ли не всю Россию, усердно собирая сведения о разных сторонах народной жизни, записывая песни и сказки, пословицы и поговорки, меткие, ходячие слова и присловья. На основе огромного материала, собранного в странствиях по родной земле, Максимовым были написаны книги: «Лесная глушь», «Год на Севере», «Поездка на Амур в 1860—1861 гг. Дорожные заметки и воспоминания», «Бродячая Русь Христа ради», «Нечистая, неведомая и крестная сила» и другие многочисленные очерки народного быта. Не обладая высокими художественными достоинствами, произведения Максимова, несмотря на идеализацию патриархального быта, до сих пор не утратили своего значения в историко-бытовом и этнографическом отношении.

В книге «Крылатые слова», состоящей из небольших очерков и заметок, Максимов поставил своей целью объяснить различные ходячие выражения, употребляемые в живой разговорной речи в неизменяемой форме, смысл которых всем понятен, но происхождение

их и почему они произносятся так, а не иначе, известно очень немногим.

Выражение «крылатые слова» Максимов мог заимствовать у немецкого ученого Георга Бюхмана (1822—1884), выпустившего в 1864 г. под таким названием свою книгу: «Geflügelte Worte» — сборник пословичных выражений, вошедших в немецкую речь, но отличающихся от народных пословиц и поговорок тем, что они восходят к определенному литературному источнику. В таком значении выражение «крылатые слова» стало термином языковедения. Но Максимов расширил содержание этого общепринятого термина. «Крылатыми словами» он называл пословицы и поговорки, присловья, устойчивые словосочетания, идущие не только от литературных источников, а возникшие в быту, объяснения которых следует искать в народных обычаях и верованиях, в терминологии различных профессий, в старинном судопроизводстве, в памятных исторических событиях. «От живого слова, на просторе выбора всевозможных эпитетов, — писал он, — немудрено дойти и до крылатого, свободно, как птица, летающего окрыленным по белому свету» (С. Максимов, По поводу «Крылатых слов» — «Новое время», 1891, 12 февраля). Еще Гомер часто называл слова «крылатыми», разумея слова, быстро слетающие с уст говорящего, но Бюхман придал гомеровскому выражению значение термина. Разумеется, однако, что Максиму и самому, как он выразился, было немудрено дойти до создания выражения «крылатые слова».

Широко пользуясь термином «крылатые слова», Максимов наряду с выражениями, действительно имеющими широкое распространение, называет крылатыми и такие, которые когда-то имели хождение, ограниченное какой-либо одной местностью, и давно, как он сам отмечает, вышли из употребления, как, например, «Деньги в стену», «Корельский верстень». Мало того, в категорию крылатых слов он включает не только устойчивые речения, но и отдельные слова («опростоволосить», «очуметь», «проклясть» и др.), что едва ли может быть оправдано даже при слишком расширенном толковании термина «крылатые слова».

Первое издание книги Максимова, вышедшее в 1891 г., вызвало резкие отзывы в журналах, посвященных вопросам языкознания: Д. Никольского в «Филологических записках» и акад. А. И. Соболевского в «Русском филологическом вестнике». Отметив, что труд Максимова по своим заданиям очень полезен, Никольский указывал, что, «наскодько основательно автор знает живую речь и современный быт нашего народа, настолько же мало, не в обиду будь ему

сказано, знаком с историей языка и с теми сторонами прежней жизни народа, к которым ему пришлось обращаться при толковании крылатых слов». В упрек Максиму рецензентом поставлено еще то, что он не воспользовался всеми необходимыми источниками и пособиями, «если же некоторыми и пользовался, то не вполне и притом употребляя самый неподходящий для исследователя прием: он брал в этих случаях только то, что казалось ему более подходящим, умалчивая об остальном, или же брал на веру первое попавшееся ему на глаза объяснение, без всякой критической оценки. Оттого, наряду с некоторыми удачными толкованиями, в разбираемой книге встречаются толкования малоубедительные, не совсем верные и вполне ошибочные». Кроме того, рецензент упрекал Максимова в балагурности речи, в чрезмерном пристрастии к анекдотам и в необоснованных домыслах, относящихся к орфографии. Еще более резок краткий отзыв акад. А. И. Соболевского, который писал, что толкования Максимова «объясняют крылатые слова очень мало и в большинстве случаев состоят из кстати и некстати рассказанных анекдотов, а его исторические и филологические сведения отличаются сомнительным достоинством».

Приведенные отзывы компетентных критиков нельзя не признать чрезмерно суровыми и в известной мере несправедливыми, однако нельзя во многом и не согласиться с ними, как отчасти согласился и сам автор: во второе издание своей книги (1899) он внес ряд поправок, основанных на замечаниях Никольского, и вступил с ним в полемику относительно тех, с которыми не был согласен; сократил он и анекдоты, переполнявшие книгу; кроме того, ряд крылатых слов, вошедших в первое издание, он не включил во второе («Лысый бес», «Не сами — по родителям», «Мир — дурак», «Свинья в апельсинах», «Искры из глаз» и др.).

Разумеется, далеко не все толкования крылатых слов, предложенные критиками, можно признать бесспорными — иные из них также вызывают сомнение. Но некоторые толкования Максимова действительно основаны на малодостоверных источниках, этимология его нередко сомнительна, объяснения происхождения многих выражений малоубедительны, особенно это относится к объяснениям, основанным на анекдотических рассказах. Приводимые им анекдоты, конечно, сами возникли на основе этих непонятных выражений, вызванные желанием осмыслить их первоначальное значение, и несколько не помогают установить подлинную историю их происхождения. Нельзя также не признать, что толкования Максимова перегружены излишними бытовыми подробностями, едва ли

необходимыми для понимания крылатого слова, что, балагурия с читателем, он иногда уклоняется от нужных объяснений. Все это, конечно, снижает научное значение книги.

Но «Крылатые слова» Максимова, как отмечено одним из критиков,— «не научное исследование, не справочная книга, не толковый словарь... Это своеобразное художественное произведение, пестрый калейдоскоп безыменных суждений, в котором без всякого плана группируется множество разрозненных фактов и сведений, наблюдений и заметок, научных догадок и двусмысленных уверток, чужого ума и своего таланта». Толкования крылатых слов для автора «являются не столько темой, сколько предлогом заговорить с читателем и увлечь его невидимкою в перекрестный шум народного говора» («Новое время», 1899, 25 августа).

Конечно, книгу Максимова нельзя поставить в один ряд с таким выдающимся трудом, как «Пословицы русского народа» В. И. Даля, но, как первый опыт свода толкований темных и непонятных ходячих выражений, она заслуживает внимания.

Уводя читателя «в дремучий и роскошный лес родного языка», Максимов нередко, сбиваясь с пути, плутает по этому лесу. Однако ошибки, неточности, спорные объяснения, допущенные им в толковании крылатых слов, неизбежные в работе такого рода, искупаются горячей любовью к родному языку, щедрым показом его неисчерпаемых богатств. Чуждым покажется советскому читателю сочувственное отношение Максимова к «коренной старине», будь то церковный обычай или патриархальный быт дореформенной деревни. Он только бегло касается того, что «освежается и изменяется весь налаженный строй нашей жизни», но обходит при этом историко-социальные причины, порождающие эти изменения, с сожалением замечая, что старинные крестьянские наряды вытесняются городскими, модными, а русские хороводы — французской кадрилию, которую привезли в деревню «из европейской столицы досужие питерщики». Однако привязанность Максимова к «коренной старине» не мешает ему, наблюдательному исследователю русской жизни, отмечать и ее темные стороны. Его народолюбие чуждо тому официальному культу русского народа и русской старины, который искусственно насаждался бюрократическим путем сверху. Советский читатель пройдет мимо высказываний Максимова, сожалеющего об уходящей старине, внимание его будет привлечено разнообразным историко-культурным материалом, использованным автором для объяснения всем знакомых фразеологических сочетаний, наглядным показом применения их в живой речи. И если объяснения происхождения некоторых крыла-

тых слов у Максимова ошибочны или спорны и другие исследователи толкуют их иначе, то все же книга его, показывая читателю, сколько сложных явлений раскрывает изучение языка, может содействовать повышению культуры речи.

Сказанным оправдывается переиздание этой книги, предназначенной автором для широкого круга читателей.

Книга печатается по второму, последнему, изданию, вышедшему при жизни автора (1899). В приложении к ней даны пять статей, опубликованных автором после выхода этого издания. Примечания не претендуют на исчерпывающую полноту пояснений. Они даны только к некоторым толкованиям крылатых слов; в них указаны допущенные автором неточности, приведены дополнения и пояснены выражения, упомянутые в тексте попутно, но оставленные без объяснений. В алфавитный указатель, которым, в отличие от прежних изданий, снабжена книга, включены не только слова и выражения, являющиеся заглавиями статей, но и те многочисленные речения, которыми эти статьи насыщены.

Н. АШУКИН

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 8. Огонь пона жжет

П р и т к а — болезнь, по суеверным представлениям причиненная колдовством.

Стр. 12. Впросак понасть

В ь ю х а — барабан, снаряд для производства версвож.

Стр. 17. На улице праздник

В дополнение к сведениям, сообщаемым Максимовым, можно еще отметить, что в некоторых областных диалектах слово «улица» имеет значение проезда к каждому дому со стороны главного бокового фасада; таким образом, у каждого лома — своя улица; на Севере так и говорили: «Ефимова улица», «Ванькина улица», «наша улица» (М. Б. Е д е м с к и й, О крестьянских постройках на севере России, «Живая старина», 1913, кн. I—II, стр. 95).

С и б и р к а — короткий кафтан в талню, со сборами, часто с меховой опушкой и стоячим воротником.

П о н и з ь, или **р я с к а** — жемчужная или бисерная повязка на лбу.

Р ы б н и к — пирог с рыбой.

Стр. 22. Встать в тупик

Другое выражение о тупике — «поставить в тупик», то есть поставить кого-нибудь в безвыходное положение, возникло из терминологии железнодорожников, у которых «тупик» имеет значение:

железнодорожный станционный путь, соединенный с другими путями только одним концом, а с другого конца не имеющий продолжения.

Стр. 23. *Баклуши бьют*

Б у т ы з к а, или бутылка — толстая деревянная ложка, употребляемая бурлаками.

Б л о н ь — слон молодой, еще не отвердевшей коры.

Д о т о ч н и к — искусник, мастер своего дела.

П о к р о в — церковный праздник 1 октября по старому стилю.

Стр. 29. *Слоняться и лодырничать*

Объяснение, что слово «лодырь» присходит от фамилии доктора Лодера, который в 1823 г. впервые познакомил русских со способом лечения искусственными минеральными водами, основано на случайном созвучии; рассказ о кучерах, якобы создавших выражение «лодыря гонять», анекдотичен и является осмыслением непонятого слова. Оно известно в областных диалектах, в украинском, белорусском, польском, чешском и других славянских языках в значении: бездельник, лентяй (А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, вып. 7, М. 1913, стр. 463).

Предположение, что слово «шерамыга» происходит от французского *cher ami* — милый друг, любезный — фразы, с которой бежавшие из России в 1812 г. голодные и замерзавшие французы обращались к крестьянам прося о помощи и приюте, основано на том, что крестьяне сблизили по созвучию французские слова с русскими «шарить» и «мыкать» (М. П. Савинов, Народная этимология на почве языка русского, «Русский филологический вестник», 1889, кн. 1, стр. 34). В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова (т. IV) этимология слова «шаромыга» (или «шеромыга») иная: «от слова *шаром* с суффиксом *ыга* из народного (первоначально арготического) выражения *шаром-даром* (откуда *шарма-дарма*) — даром, ни за что, без всякой затраты».

Стр. 31. *Лясы точат*

Приводим более обстоятельное, научное объяснение этого выражения, принадлежащее акад. В. В. Виноградову:

«Эта идиома — профессионального происхождения, так же как и слово *балаусы*. Слово *балаусы* представляет собою славянское видоизменение итальянского слова *balaustro* — столбик, точеные

перильца (первоначально — формы гранатового цветка; ср. греческое *balaustion* — цветок гранатового дерева). В русский язык слово *балясы*, вероятно, попало из польского (ср. польское *balas*, множ. *balasy*). Во всяком случае в XVII в. слово *баляса* в русском языке было широко распространено. Оно зарегистрировано уже в «Лексиконе треязычном» Ф. Поликарпова (1704, стр. 5 на обороте) с указанием его этимологии. На основе профессионального термина *точить балясы* (то есть вытачивать узорные, фигурные столбики перил) сложилось не позднее XVIII в. переносное выражение *точить балясы* со значением: заниматься шутливой, праздной болтовней, городить веселый вздор. (См. «Словарь Академии Российской», 1789, ч. 1, стр. 92—93.)».

«Можно в качестве семантической параллели сослаться на происхождение разговорной идиомы *бить баклуши* из профессионального термина ложкарного производства. Наличие терминов *балясы*, *балясина*, *балясник* и т. п. усиливало экспрессивную остроту и жизненную силу переносного выражения *точить балясы*. Кроме того, тут могло играть роль и каламбурное созвучие с такими словами, как *балакать*, *балаболка*, *балагур* и т. п. Выражение *точить балясы* влекло за собою и поддерживало живучесть своего синонима и частичного омонима — идиомы *точить лясы*. Что такое *лясы*, не совсем ясно. Акад. А. И. Соболевский высказал предположение, что *лясы* возникло путем сокращения из *балясы* (ср. *шлык* из *башлык*). Но это невероятно (см. «Русский филологический вестник», т. 66, стр. 345. Ср. также «Этимологический словарь русского языка» А. Преображенского, стр. 499). В областных крестьянских говорах русских встречаются слова *ляс* (со значениями: 1. Вздор, шутки, пустословие; 2. Лысец, пустослов) и *лясить* (балагурить)».

«Можно думать, что и *лясы* представляют собою профессиональное слово токарного и строительного дела, заимствованное из польского языка (ср. польское техническое слово *laza* — решетка, сетка; в строительном деле — грохот). Таким образом, развитие значений в выражении *точить лясы* протекало совершенно аналогично семантической эволюции термина *точить балясы*. Во всяком случае, выражение *точить лясы* проникло в литературный язык очень поздно, не раньше середины XIX в., из народных говоров. Оно отмечено в «Опыте областного великорусского словаря» (СПб. 1852, стр. 109). Тут же указано и на широкое распространение слова *лясы* (со значениями: 1. Лесть, ласкательство; 2. Шутка) в областных русских говорах». (В. В. В и н о г р а д о в, Из истории русской лексики — «Русский язык в школе», 1941, № 2, стр. 18.)

К о н о в о д к а — двухпалубное судно, применявшееся до введения пароходства для «завозного» способа тяги, который состоял в том, что с судна завозили вперед на особой лодке якорь с привязанным к нему канатом; якорь бросали в воду, а конец каната, оставшийся на судне, выбирали на вороте и тем двигали судно вперед; ворот приводили в движение лошади, помещавшиеся на нижней палубе.

Р а с ш и в а — большое плоскодонное судно.

П л а ш к о у т н ы й м о с т — мост, сооруженный из плашкоутов — плоскодонных беспалубных судов.

П о в а л у ш а — летняя холодная спальня.

Стр. 33. Сыр бор-загорелся

Из описания лесного пожара, которое дано Максимовым, все же остается неясным, почему это выражение употребляется тогда, когда говорят, что «поднялся шум из пустого». Между тем поговорка «откуда (или отчего) сыр-бор загорелся» уясняется пословицей, из которой она возникла: «разгорелся сыр-бор из-за сосенки», то есть одна загоревшаяся сосенка, малость, стала причиной большой беды.

Максимов имеет в виду книгу Н. С. Толстого «Заволжская часть Макарьевского уезда Нижегородской губернии», М. 1857.

Стр. 34. Лапти плетут

Так как лапотная «строка» в поговорке «Невсякоелыков строку» у многих ассоциировалась со строкой письменной, печатной, стали говорить: «Не всякое слово в строку» («Труды Я. К. Грота», т. II, СПб. 1899, стр. 188).

О б о р ы — завязки у лаптей.

Стр. 36. В дугу гнут

И л и м — дерево, похожее на вяз.

Ч е р н о л е с ь е — лиственный лес.

З а б о л о н ь — молодые, еще не отвердевшие слои древесины.

Стр. 38. Колокола льют

Б а л к а н ы — так в просторечии называли в Москве одни из городских районов за Сухаревой башней.

С т о г н ы — городские площади и улицы.

О б о к о н к и — ставни.

Стр. 42. На воре шапка горит

Устьцилемы — жители села Усть-Цильма на берегу реки Печоры.

Стр. 47. Вора выдала речь

Порато — очень, сильно.

Стр. 48. Поповские глаза

Покучился — попросил, пристал.

Втора — беда, напасть, неудача.

Стр. 56. У черта на куличках

«Погибоша ак обри» — пословица, приведенная в древнерусской летописи, так называемой «Повести временных лет», в которой рассказывается, что обры (авары), покорив одно из славянских племен, дулебов, стали творить насилия над женщинами, запрягали их в телеги и заставляли возить себя. И тогда, рассказывает летописец, бог истребил их, «и не остался ни один обрин. И есть притча <пословица> на Руси до сего дне: погибоша яко обри <погибли, как обры>, их же несть племени ни наследка».

Кереметь — злой дух у чувашей и марийцев (прежнее название черемисов).

Чистобай — чисто, правильно говорящий (баить — говорить).

Калугер — старец, монах.

Стр. 58. Сор из избы

По мнению А. Н. Афанасьева, переносное значение пословица «не выноси сора из избы» получила в силу звуковой близости слов *сор* и *ссора* (А. И. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. I, М. 1865, стр. 570).

Выдающийся русский филолог XIX в. А. А. Потебня переход буквального значения этой пословицы к переносному объяснял рядом ассоциаций. «То, что переносится из избы, — писал он, — есть речь, а речь есть шум, а слово шум имеет двоякое значение, например: шумящая вода производит звук и пену, а пена есть сор. Возможна и другая ассоциация, дающая другой результат. То, что выносится из избы: кляузы, сплетни и т. п., это в некотором роде

отбросы, щепки. В избе дерево рубят, а вне избы щепки летят, то есть сор. Я встретил в Псковской летописи такой пример ассоциации: там рассказывается, что жители разламывали свою городскую стену и *звук* выносили в реку Великую. Здесь *звук* значит сор, щебень. Мысль перешла не от слова шум к сору, а наоборот от щебня, сора к звуку». Подобные ассоциации и облегчили переход прямого значения к переносному». (А. А. П о т е б н я, Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица, Поговорка, Харьков, 1894, стр. 106—107.)

Стр. 59. Семью прикинь — одна отрезь

В поговорке об очень умном человеке, «семи пядень (или пядей) во лбу» разумеется широкий лоб, считающийся признаком большого ума. П я д ь — старинная мера длины, равная расстоянию между концами растянутых большого и указательного пальцев.

С е м и б о я р щ и н а — период 1610—1612 гг. в России после свержения с престола Василия Шуйского, когда управление государством захватил боярский кружок, состоявший из семи человек.

Стр. 63. Семь пятниц

Не касаясь вопроса о связи выражения семь пятниц с семью «пятницкими церквами», следует отметить, что Максимов, отвергая указание рецензента на существование пятнадцати церквей на Красной площади, не прав. Известный знаток московских древностей И. М. Снегирев сообщает, что при Иване Грозном «на костях казненных и убиенных и на крови», на Красной площади, близ кремлевского рва, от Спасских ворот до Никольских, на протяжении 91 сажени стояло 15 церквей, показанных на так называемом Годуновском плане. Из приведенных Снегиревым названий этих церквей, правда, видно, что только одна была во имя «Параскевы-Пятницы». На «Сигизмундовом» плане Москвы (1610) показано уже не пятнадцать, а только пять церквей «на крови». По сообщению И. Е. Забелина, церкви эти были разобраны в XVIII в. (И. М. С н е г и р е в, Москва. Подробное историческое и археологическое описание города, т. I, изд. 2-е, М. 1875, стр. XXVI; П. В. С ы т и н, История планировки и застройки Москвы. Материалы и исследования, т. I, М. 1950, стр. 74; И. З а б е л и н, Опыты изучения русских древностей и историй, ч. II, М. 1873, стр. 165). Можно еще добавить, что в слове Даля поговорка «На неделе семь пятниц» (приведенная под словом «пять») снабжена объяснением: «На Красной

площади в Москве было семь обетных пятниц, церквей во имя св. Параскевии; по обету же народ иногда не работал по пяткам, празднуя ей».

Р а д у н и ц а — день поминовения умерших на первой неделе после церковного праздника пасхи.

Д м и т р и е в а с у б б о т а — между 18 и 26 октября.

П я т и д е с я т н и ц а — пятидесятый день после пасхи, церковный праздник троицы.

С е м и к — народный праздник поклонения душам умерших. Справлялся в четверг на седьмой неделе после пасхи, в рощах, лесах, на берегах рек; девушки в этот день плели из цветов венки, бросали их в воду, гадая о замужестве.

К о л я д а — народный праздник в честь возрождения солнца, справлявшийся в канун рождества, сопровождался ряженьем, зажиганием костров, обходом односельчан с пением обрядовых песен, «колядок», содержащих пожелания благополучия, плодородия и изобилия в хозяйстве в наступающем году.

К у п а л о, или Иван-Купало — народный праздник, справлявшийся в ночь с 23 на 24 июня, сопровождался различными обрядами — сжиганием соломенной куклы, прыганьем через костры, пением особых, «купальских», песен. Цветы и травы, сорванные в эту ночь, считались особенно целебными.

Названные народные праздники являются пережитками древних религиозных верований.

З а л о м — скрученный колдуном, знахарем пучок колосьев с целью навести порчу на хозяина поля.

Л а т к а — глиняная сковорода, плошка.

Стр. 74. Ильинская пятница

В с т о л и ц е Б е л о р у с с и и... — Максимов называет Смоленск столицей образно, как древний культурный центр этого края. В удельный период Смоленск был стольным городом Смоленского княжества.

Ч е т ы р е д е с я т н и ц а — великий пост перед пасхой в течение сорока дней, кроме страстной недели.

М ы ч к а — очес льна, пеньки, приготовленный для пряжи.

Б о ж е д о м к а — место погребения неизвестных бродяг, казненных, самоубийц, вообще погибших неестественной смертью, которых по церковным правилам не разрешалось погребать на кладбищах при церквях.

Скудельница (или убогий дом) — сарай, амбар, в котором до погребения находились трупы умерших неестественной смертью.

Стр. 87. Два девяносто

Этимология числительного *девяносто* от «девять до ста», как доказывает Ф. Ржига, спорна (А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, вып. 3, М. 1910, стр. 176—177). Числительные двадцать, тридцать, сорок, пятьдесят слились из два десяти, три десяти, четыре десяти, или сорок. «Числительное сорок первоначально было специализированным количественным словом для обозначения сорока шуток, составляющих комплект для пошивки шубы... То обстоятельство, что число 40 было каким-то рубежом в ряду чисел первой сотни, занимая какое-то особое место в этом ряду, способствовало замене названия *четыредесяте* особым названием *сорок*. Образование числительного *девяносто* вместо ожидаемого *девять десят* — неясно» (Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М. 1953, стр. 223).

Стр. 91. Подлинная и подноготная

Л. А. Булаховский, выражая сомнение в правильности обычного объяснения значения слова *подлинный*, возникшего из того, что при допросах, допытываясь истины, били подлинниками, длинными палками, высказывает возможность другого объяснения, — «что самые подлинники получили свое наименование от уже существовавшего слова *подлинный* в смысле «точно соответствующий по длине» (Л. А. Булаховский, Деэтимологизация в русском языке, «Труды Института русского языка Академии наук СССР», т. 1, М.—Л. 1949, стр. 178).

Старинное народное название застенка, помещения с толстыми каменными стенами и сводами, чтобы вопли пытаемых не были слышимы, — *немшоновая баня*; обыкновенные бани были деревянные, «мшоновые», то есть конопаченные мхом («Русские пытки. Историч. очерк» — «Русский архив», 1867, стлб. 1155). В воровском арго *баня* — телесное наказание (В. Ф. Трахтенберг, Блатная музыка. «Жаргон» тюрьмы. Под ред. И. А. Бодуэн-де-Куртене. СПб. 1908, стр. 5).

Правёж — так в древнерусском судопроизводстве называлось битье батогами несостоятельного должника как способ принудить его к уплате долга. См. «Правда в ногах».

У р о ч и щ е — местность, чем-либо отличающаяся от окружающей, например болотом, холмистостью, лесом и т. п.

Стр. 98. Четвертая правда: «У Воскресенья в Кадашах»

А. А. З а к р е в с к и й (1783—1865), бывший московским генерал-губернатором с 1848 по 1859 г., отличался необычайным депотизмом.

Стр. 100. Нужда заставит калачи есть

А. С. Пушкин в заметке «Старинные пословицы и поговорки» смысл пословицы «Нужда научит калачи есть» объясняет: «Нужда — мать изобретения и роскоши» (Полн. собр. соч. в десяти томах, т. 7, Изд. Академии наук СССР, М.—Л. 1949, стр. 534).

Стр. 102. Москва — царство

П а л л а д и у м ы — здесь имеются в виду «чудотворные иконы», служившие, по мнению верующих, защитой от врагов (*палладииум* — защита; по названию статуи Афины-Паллады, охранявшей, по верованиям древних греков, безопасность города).

С о б р о к с о р о к о в — то есть 1600; такое число церквей было, по преданию, в Москве. Выражение это возникло от старинного счета сороками (четырьмя десятками). В 1604 г. московский патриарх повелел «для церковного благочиния и всяких ради потреб церковных учинить восемь старост поповских», чтобы под началом каждого из них было *по сроку попов*, которых они должны были поучать «благочинию и порядку церковному». С этого времени и установилось распределение московских церквей на сороки, которых в 1604 г. было основано восемь. «Таким образом, счет сороков не относился к числу церквей, а относился к числу попов, которое вместе с тем обозначало и количество храмов. Восемь сороков попов обозначало 320 церквей» (И. З а б е л и н, История города Москвы, изд. 2-е, М. 1905, стр. 632—633). На сороки были распределены только приходские церкви; многочисленные домовые церкви, монастырские храмы и соборы в сороки не входили. По словам немецкого путешественника и ученого Олеария, посетившего Москву в 1633 г. и 1643 г., почти всякий сколько-нибудь знатный господин имел при своем доме церковь. Всех церквей в городе и предместьях с монастырями считали тогда больше двух тысяч. Другие иностранцы-путешествен-

ники указывают три тысячи и около четырех тысяч пятисот (В. К л ю ч е в с к и й, Сказания иностранцев о Московском государстве, М. 1916, стр. 200).

Стр. 106. Во всю Ивановскую

В своем толковании происхождения этого выражения Максимов следует словарю Даля, в котором (под словом «Иван») сказано: «Звонить во всю ивановскую, во все колокола и во весь мах, откуда: скакать, валять, кутить во всю ивановскую». По другому толкованию выражение это связано с тем, что в старину на Ивановской площади в Кремле глашатаи, оповещая жителей о различных правительственных распоряжениях, кричали «во всю Ивановскую». Д. Никольский, который привел это объяснение, неправ только в том, что ошибочно указал не существовавшую Ивановскую площадь за Москвою-рекою. Максимов решительно отвергает объяснение Никольского на том основании, что кричать «во всю Ивановскую, площадь или улицу, нельзя», так как «это не в законах живого языка: такой расстановки слов не допустит строгое и требовательное народное ухо», добавляя к этому, что для объявления указов была удобнее Красная площадь. Однако такой знаток «старой Москвы», как И. Е. Забелин, пишет: «Ивановская площадь всегда бывала многолюдна, а потому на ней, как и на Красной площади Китай-города, возглашали иногда *клич*, своего рода публикации, по поводу каких-либо дел, касавшихся всенародного множества». К этим строкам Забелиным сделано примечание: «В Москве в простом народе ходило присловье — кричать *во всю Ивановскую*, которое может относиться если не к упомянутым кличам, то, может быть, и к колокольному звону — *во вся*» (И. Забелин, История города Москвы, М. 1905, стр. 315). Таким образом, выражение «кричать во всю Ивановскую» в значении: во всю силу, очень громко, — вопреки уверению Максимова, — «народное ухо» допускает: оно употребительно в народных говорах (см. «Словарь русского языка», сост. вторым отделением Российской Академии наук, т. III, выпуск 1, П. 1922, стлб. 18). Выражение «во всю Ивановскую» употребляется при глаголах (кроме кричать): кутить, пить, шуметь, скакать, спать, храпеть и проч., например: «Растянулся себе на подушках барин любезный, спит во всю Ивановскую» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Невинные рассказы). «У входа, на траве, раскинувшись на войлоке и прикрывшись полушубком, лежал человек, который храпел «во всю Ивановскую» (Д. В. Григорович, Пахотник и бархатник). «Иван

Петрович, хохоча во все горло, рассказывал им <гостям> анекдоты, рассказывал во всю Ивановскую, так что всем дачам слышно было» (А. П. Чехов, Живой товар, гл. 2).

Примеры искажения пословиц Даль приводит в предисловии к своей книге «Пословицы русского народа»: «Не до обедни, коли много бредни»; здесь слово *бредни* попало вместо северного *обрядни*, которое произносится *обредни* и имеет значение: «бабий обиход в доме, стряпня, хозяйство у печи», что подтверждается другой пословицей: «Либо к обедне ходить, либо обрядню водить». (Об искажении этой пословицы Максимов упоминает в статье «Нетолченная труба». См. стр. 271.) Пословица «Нам не гоже, вот тебе, боже» является искажением украинской пословицы «Нам не гоже, от тобі, небоже», то есть нам не гоже, не нужно, вот тебе, убогий, бедняк, нищий. Пословица «Не у детей (или не при детях) и сидни в честь», то есть у кого нет детей или у кого они умирают младенцами, тот рад бы и *сидню* — безногому, калеке; «на безлюдье и сидни в честь»: ведь и Илья Муромец был много лет сиднем. Но, не поняв слова *сидни*, его обратили в *седни*, в старца с сединой, и стали говорить: «Не у детей и седни в чести», то есть взрослый, разумный человек уважает стариков».

Любопытные примеры искажения пословиц даны В. И. Чернышевым в «Разысканиях и замечаниях о некоторых русских выражениях» («Доклады и сообщения Института русского языка Академии наук СССР», вып. 1, М.—Л. 1948). В словаре Даля приведена странная пословица: «Будь жена хоть *коса*, лишь бы золотые рога» (под «словом косой»). «Естественнее,— пишет Чернышев,— читать *коза*, чтобы оправдать выражение *золотые рога*. Так действительно мы и находим в романе Мельникова-Печерского «В лесах»: «Хорошей жизни Алексею все хочется, довольства, обилия во всем; будь жена хоть коза, только б с золотыми рогами, да смиренная, покладистая» (ч. II, гл. 10). Под словом «красный» Далем приведена пословица: «Красную жену в стенку врезать (не картинка)». «Очевидно, следует читать: *не* в стенку врезать, потому что *не* картинка, то есть и красивая жена должна работать; или же: *в стенку врезать*, так как она *картинка*, то есть ее не следует считать работницей в доме мужа».

Стр. 108. Во вся тяжкая

Тяжкая — так в древней Руси назывались колокола, от «тяжких», то есть сильных, густых звуков больших колоколов. Выражение «во вся тяжкая» первоначально в прямом смысле

означало: звон во все колокола (Н. О л о в я н и ш н и к о в, История колоколов и колокололитоное искусство, изд. 2-е, М. 1912, стр. 23).

С т о м а х (греч.) — желудок.

Стр. 110. Попосу собаку не батькой звать

Э т о к у л ь м у к и и щ е п о т ь м ы ш ь я к у — эта «уголовная», по выражению В. И. Даля, поговорка сочинена протоиереем И. С. Кочетовым, академиком по отделению русского языка и словесности. Он употребил ее в своем резко отрицательном отзыве о рукописи книги Даля «Русские народные поговорки», присланной в 1853 г. на рассмотрение Академии наук. В это время печатание поговорок не было разрешено. Не называя Кочетова, Даль приводит его поговорку в предисловии к своему сборнику поговорок, изданному только в 1862 г.

Стр. 111. Дороже Каменного моста

Как установлено позднейшими исследованиями, Ягану Кристлеру, приехавшему в Москву в 1643 г., приступить к постройке Каменного моста не удалось, так как он был послан в Троице-Сергиев монастырь и Новгород для «городового дела» и вскоре умер. Он успел только дать указания дворцовым плотникам, которые изготовили деревянную модель моста. Но мысль о постройке Каменного моста не была оставлена. Постройка его началась в 1687 г. и закончилась в 1692 г. Строителем моста был, как предполагают, «мостового каменного дела» мастер старец Филарет. К участию к постройке были привлечены иногородние русские мастера («История Москвы», т. 1, Изд. Академии наук СССР, М. 1952, стр. 512—513).

Стр. 122. Курам на смех

Происхождение выражения «избушка на курьих ножках» имеет еще иное объяснение. В старину, чтобы предохранить деревянные срубы от загнивания, их часто ставили на пеньки с обрубленными корнями. В Москве на Молчановке существовала деревянная церковь, поставленная на пеньки вследствие топкости места и называвшаяся «Никола на курьих ножках». От этих пеньков, похожих на «курьих ножки», и возник сказочный образ жилища Яги — «избушка на курьих ножках», которой приписывается чудесное свойство обращаться в желаемую сторону (А. И. Н е к р а с о в, Рус-

ское народное искусство, М. 1924, стр. 40—41). Переносно выражение это употребляется в значении: небольшое ветхое строение, например: «Это что за избушка на курьих ножках? Да это сарай!» (А. И. Островский, Горячее сердце, д. 4, картина 2, явл. 1).

Вблизи на курьих ножках хаты

И с огурцами огород.

(П. А. Вяземский, Очерки Москвы.)

Распространенное выражение «попал как кур во щи», упомянутое Максимовым в сноске, к сожалению оставлено им без объяснения. По объяснению Г. Ильинского, первоначальным, основным значением слова *щи* было: похлебка, приготовленная из отвара каких-либо растений. «В настоящее время щи нередко готовят на мясном наваре, но прежде они представляли, кажется, исключительно постную пищу; этим, быть может, и объясняется смысл поговорки — кур (петух) неожиданно попал во щи. Теперь, когда исконное значение слова *щи* забыто, мы должны бы говорить в духе этой старинной пословицы: «Попал как кур в уху» (Г. А. Ильинский, Славянские этимологии, «Русский филологический вестник», 1915, II, стр. 307). Интересно отметить, что в 1812 г. возникла новая пословица, аналогичная старинной о кура. В журнале «Сын отечества» (1812, ч. 2, стр. 44) была напечатана следующая заметка: «Очевидцы рассказывают, что в Москве французы ежедневно ходили на охоту — стрелять ворон, и не могли нахвалиться своим *soupe aux corbeaux* . Теперь можно дать отставку старинной русской пословице: «Попал как кур во щи», а лучше говорить: «Попал как ворона во французский суп». К этому номеру журнала была приложена карикатура И. Теребенева «Французский вороний суп», изображающая четырех голодных и оборванных французских гренадеров; один из них разрывает ворону на части, другой тащит ее к себе за лапу, третий посылает ей воздушный поцелуй, а четвертый вылизывает котел, в котором она варилась. Вероятно, в связи с этой заметкой И. А. Крыловым тогда же была написана басня «Ворона и курица», в которой рассказывается о том, как ворона, которая осталась в Москве, занятой неприятелем, в надежде поживиться чем-нибудь, попала в суп изголодавшихся французов. Басня заканчивается сентенцией:

Так часто человек в расчетах слеп и глуп.

За счастьем, кажется, ты по пятам несешься:

А как на деле с ним сочтешься —

Попался, как ворона в суп!

В вышедшем в 1822 г. «Полном собрании русских пословиц и поговорок» Д. Княжевича приведена пословица «Попался как ворона в суп», вероятно, взятая из басни Крылова.

Стр. 126. Где куры не поют

П л е б а н а д л я п а н а , а п о п а д л я х л о п а — польская поговорка (плебан — католический священник, ксендз): «Плебана нужно посылать к пану, а к хлопугу попа». Поговорка противопоставляет панскую, католическую религию православной, «мужицкой».

Стр. 129. Казанские сироты

Ч е р в ч а т ы й — багряный, яркомалиновый.

К а м к а к у ф т е р — шелковая, не линяющая, цветная ткань с узорами.

К а р м а з и н — ткань темнокрасного цвета.

С у к н о н а с т р а ф и л ь н о е — сорт тонкого сукна.

З а п о п — занавес.

Стр. 131. Хлебай уху

Ч а с т и к о в а я р ы б а — рыба, лов которой производится частиком, частым неводом: судак, лещ, сазан, окунь и др.

Стр. 136. Синиц ловить

З а т р и д е в я т ь з е м е л ь — выражение, часто встречающееся в русских народных сказках, значит: очень далеко. Т р и д е в я т ь в старинном счете девятками — двадцать семь. Т р и д е с я т о е — тридцатое.

...есть и такая речушка, которая обесславлена именем этой самой невеликой птички — ручей Синичка, приток реки Яузы.

В Москве торговля птицами, собаками и другими мелкими животными производилась до 80-х годов XIX в. в Охотном ряду, затем была переведена на Трубную площадь, где просуществовала до 1924 г. На Собачьей площадке такого торгового не было. Название свое площадка получила в XIX в. по бывшему здесь в XVI—XVII вв. двору, на котором держали собак для царской охоты (П. Н. М и л е р и П. В. С ы т и н, Происхождение названий улиц, переулков, площадей Москвы, М. 1938, стр. 81).

В первом издании в начале статьи после слов: «Тронцко-Сергиева лавра была помещицей более чем ста тысяч душ чудотворцевых», следовало: «У ее настоятелей и соборных старцев было правилом: не носить иных ряс, кроме бархатных либо шелковых; каждому рядовому монаху полагалась ежедневно бутылка кагору и штоф пекнику, меду и квасу по целому кувшину. В Киеве было не хуже: там тоже покупались виноградные вина бочками, засаливалась рыба чанами; лавра одинаково славилась и стоялыми медами и крепкими густыми пивами.

Потрапезовавший инок, грузно опускаясь в смиренные пуховики и утопая в них, ласковым, тихим голосом зывал к прислужнику:

— Гей, хлопче!

Являлся как шест высокий послушник.

— А ну, перекрести меня! Да вже ж я сам започию.

В Соловках монахи обленились до того, что не хотели даже петь на клиросах и предоставляли это дело тем крестьянам, которые работали на монастырь либо по обету, либо по силе крепостного права. Служба по обиходу, знание устава, гласов и напевов все-таки требовали напряжения памяти и траты времени, а штатные мужики были к тому делу такие охотливые и дотошливые! Зато сергиевские монахи этим занятием не брезговали: там были другие обычаи и иные порядки.

По живым преданиям, в московской лавре, перед всенощной, приносились ведра с квасом, пивом и медом прямо в алтарь. «Правый клирос поет, а левый в алтаре пиво пьет» — так и говорилось в народе открыто. После благословения хлебов служащим неромонахам подносилось в алтаре красное вино в чарах серебряных. Выходили они «на величанье» веселыми ногами, сановито покачиваясь, что называлось острыми и злыми языками завистников, «нахвалитех».

С к а р е д н ы е р е ч и — гнусные, мерзостные.

Н е к л ю ч и м ы й — неисправимый.

К а м л о т н ы е р я с ы — из камлота, плотной шерстяной ткани.

Стр. 162. Глас народа — глас божий

С к а л а — сколотая кора.

...з а б р а н ы д о с к а м и в б р у с ь ё — стены крыльца и лестницы из вертикальных брусьев, обшитых наискось досками.

Д в е р и с п о л о т е н ц а м и — с резными наличниками.

Стр. 165. Где рука, там и голова

Руки тяжелые, легкие... — По суеверным представлениям, у некоторых людей «легкая» или «тяжелая» рука; первые приносят счастье; в старину их приглашали, чтобы ввести только что купленную лошадь или корову во двор, выставить ульи и т. д.; выражение «с легкой руки» — обычное пожелание при передаче чего-либо другому лицу; вторые, с «тяжелой рукой», приносят несчастье («Этнографическое обозрение», 1890, III, стр. 96). Поэтому «тяжелая рука» говорится о том, чье участие в каком-либо деле сопровождается неудачей. Помимо этого значения, связанного с суеверием, выражение «тяжелая рука» в значении «наноси́щая сильные удары», применяется как характеристика того, кто любит бить, драться.

Стр. 173. Покамесст

С в а й к а — см. «Не в кольцо, а в свайку», стр. 170.

Б а г р е н н о е р ы б о л о в с т в о — лов красной рыбы (белуги, осетра, севрюги) на реке Урале баграми в зимнее время, когда она бывает полусонная. Багренье, которое производили уральские казаки, начиналось с Уральска; в назначенный день, по сигнальному выстрелу из пушки, все казачье войско бросалось разом на лед и спускалось вниз по реке, по определенным рубежам, участкам.

П л а в е н н о е р ы б о л о в с т в о — осенний лов красной рыбы на Урале, производимый уральскими казаками. День лова ежегодно назначался войсковым правлением. Река разделялась на пятнадцать рубежей, из которых каждый участник лова вылавливал рыбу в течение одних суток. По сигнальному выстрелу из пушки казаки бросались в бударки (лодки) и неслись по течению Урала, стараясь обогнать друг друга. Орудием лова служила «ярыга» — сетяной мешок в семь сажен длины, который тянули по дну реки с двух лодок.

О б в о л е ч н о е с е н о к о ш е н и е, или обволька — у уральских казаков ранний сенокос, когда каждому позволялось выкашивать степь, но не луга.

Н а в о л о к — пойма, луг, заливаемый во время половодья реки.

Стр. 184. Камень за пазухой

Объяснение, что данное выражение возникло в Москве во время пребывания в ней польских интервентов, следует отвергнуть как

неубедительное. Приурочивание возникновения подобных метафорических выражений к какому-либо конкретному случаю едва ли возможно.

Стр. 194. Собаку съел

Анекдотический рассказ о щенятах, попавших в варившиеся щи, несколько не объясняет, почему данное выражение употребляется в применении к тому, «кто изучил до тонкости или искусства какую-нибудь науку, ремесло, торговый промысел, мастерство и т. п.». Не объясняет этого и предположение, что выражение возникло в связи с бойким и громогласным чтением дьячков. А. А. Потебня считал это выражение крестьянским и возникновение его связывал с земледельческой работой. Свое толкование он основывал на следующем услышанном им рассказе:

«Идет парень в первый раз косить, за ним бежит собака.

— Куда идешь?

— Косить (громко и бойко). Прими телегу, а то перескочу.

(Столько в нем прыти.)

— А что в мешке несешь?

— Пироги.

— Что так много?

— А не съем, собаке отдам.

Возвращается тот же с косовицы, за спиной пустой мешок, собаки нет.

— Откуда идешь?

— Косил (вяло, чуть слышно). Прими веревку, не переступлю.

(Веревка лежала поперек дороги.)

— А пироги где?

— Съел.

— А собака где?

— И собаку съел (то есть так есть хотелось)».

Смысл этого рассказа, по объяснению Потебни, в том, что тот, кто искусился в этом труде, «знает, что такое земледельческая работа: устанешь, с голоду и собаку бы съел» («Русский филологический вестник», 1882, I, стр. 74). Но, как справедливо замечает акад. В. В. Виноградов, «этимология Потебни несколько не уясняет современного значения этой идиомы и очень похожа на так называемую народную этимологию» (В. В. Виноградов, Об основных типах фразеологических единиц в русском языке, «А. А. Шахматов». Сб. статей и материалов под ред. С. П. Обнорского, М.— Л. 1947,

стр. 345). Действительно, если таково первоначальное значение поговорки «собаку съел», то совершенно неясно, почему она, утратив его, получила иное.

И. Е. Тимошенко в исследовании «Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок» (Киев, 1897, стр. 152) пишет, что наше выражение «собаку съел» по своему первоначальному значению «сродни латинской поговорке *linguam canipam comedit* [съел собачий язык], которая употреблялась о человеке, способном долго болтать без устали; отсюда же другая наша поговорка: «Когда он заговорит, то и собаке не дает слова сказать»; затем наше выражение «собаку съесть» получило более общий смысл и значит: быть докой, мастером; поэтому «собаку съел, только хвостом подавился» значит: он в этом деле опытный мастер, а на пустяках провалился».

Стр. 199. Печки и лавочки

В о л о к о в о е о к н о — маленькое узкое задвижное окно; в курных избах в такое окно выволакивался дым.

Т я б л о — полочка для икон.

Стр. 209. Шиворот-нашиворот

По предположению акад. А. И. Соболевского, первоначальной формой слова шиворот могло быть: *шив ворот* и *шивворот*. В областном диалекте (Рязанск. губ.) шиворот — название армяка с большим расшитым воротом («Русский филологический вестник», 1908, IV, стр. 364).

Стр. 211. Задать карачуна

К и р к о р А д а м (1812—1886) — литовско-польский ученый, археолог и этнограф.

Дополнение к статье «У черта на куличках», на которое ссылается Максимов, стр. 57—58 (наст. изд., о черте и старце Илардоне), было напечатано только во втором издании.

Стр. 221. Чур меня

О с т а ш — житель города Осташкова.

Стр. 225. Накануне

Л а с а я — лакомая.

Стр. 243. Ругаться и драться

Объяснение, что слово «брань» в значении «перекоры и всякого переругивания» употребляется «с дальних, первобытных времен», неверно. Первоначальное значение этого слова: война, борьба, вражда, ссора. Значение ругани оно получило позднее. Переход значения «от мускульного действия битвы», борьбы к действию словесному — ругательству, которым обычно сопровождается драка, вполне понятен (Г. Дьяченко, Полный церковнославянский словарь, М. 1900, стр. 902).

Стр. 258. Одеваться

Подробное описание различных форм шапок, по которым можно «различить принадлежность их владельцев известной местности», все же не объясняет, почему поговорка «По Сеньке шапка» или «По Еремке колпак» употребляется пренебрежительно, в значении: достоин не больше того, что имеет, получил как раз то, что заслужил. Можно предположить, что поговорка эта возникла в старинном быту, когда бояре в торжественных случаях надевали высокие «горлатные» шапки, обшитые лисьим, куньим или собольим мехом с горла зверя (откуда их название); чем знатнее и древнее считался боярский род, тем выше была шапка. «Простолюдины» носить такие шапки не имели права (Н. И. Костомаров, Очерки домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI—XVII ст.—Собр. соч., т. 19, СПб. 1906, стр. 59).

От солдатской стрижки «под гребенку» возникло выражение «стричь всех под одну гребенку», употребляемое в значении: подгонять всех под один уровень.

Стр. 261. Привечать

Скатертью дорога.— В фольклоре дорога уподобляется разостланному холсту. Загадка «Ширинка — всему свету не скатать» означает дорогу; в святочном гаданье, кому вынется платок, тому скоро в путь ехать; в подблюдной песне: «Золота парча развивается, кто-то в путь собирается». Была примета: перед отъездом к венцу невеста, желавшая, чтобы сестры ее поскорее вышли замуж, должна была потянуть за скатерть, которою накрыт стол, то есть как бы потянуть за собою в дорогу и своих сестер. Доныне сохранился обычай, когда провожают уезжающих, то остающиеся машут им платками, чем символически выражают пожелание, чтобы путь им «лежал скатертью, был ровен и гладок». Поэтому выражение «ска-

тертью дорога» первоначально употреблялось только как пожелание счастливого пути, но затем стало употребляться иронически, в значении: иди куда угодно, убирайся (А. Н. Афанасьев, Поэтические воззрения славян на природу, т. I, М. 1865, стр. 40).

П о р у ш а т ь — разрезать.

Стр. 269. Русский дух

Г р я д к а — шест, переключина в избе, на которую вешают одежду, вязки луку и пр.

П р о с н и м е ч е т — кидает пряжу.

Стр. 272. Слово и дело

Т у м п а з н о е — вместо топазное; топаз — полудрагоценный камень.

Стр. 276. Песни играть

Для Максимова с его любовным отношением к быту дореформенной деревни характерна отрицательная оценка, данная им знаменитой песне «Вниз по матушке по Волге», которую он пренебрежительно называет «сочиненным романсом», тогда как песня эта, возникавшая, вероятно, в купеческом быту, давно вошла «в золотой фонд русского национального песенного творчества» («Русские песни XIX в.». Составил проф. Ив. Н. Розанов, М. 1944, стр. 33, 35). Характерно для него и пренебрежительное отношение к народной драме «Царь Максимилиан», как вышедшей из солдатской казармы. Между тем эта пьеса, разоблачающая «внешнее благолепие царизма и показывающая его жестокость и бессердечие», пользовалась в народе большой популярностью. А в игре «Вниз по матушке по Волге» (эта игра известна под названием «Лодка») ярко выражены симпатии народа к активным выразителям его стихийного протеста против социального и экономического гнета («Русская народная драма XVII—XX веков». Тексты пьес и описания представлений. Редакция, вступит. статья и комментарии П. Н. Беркова, М. 1953, стр. 21, 35).

Стр. 286. Проюрдонить и проюлить

Д. Никольский отрицает русское происхождение слова «проюлить», утверждая, что *юла* — слово «не чисто русское», а заимствовано от казахов, у которых *юлос* значит часть, доля, жребий, *юлмек* —

делить («Филологические записки», 1891, IV—V, стр. 18—19). В «Этимологическом словаре» А. Преображенского указано, что этимология слова *юла* неясна («Труды Института русского языка Академии наук СССР», т. I, М.—Л. 1949, стр. 138).

Стр. 290. *Под иглом*

Источник сообщения Нарбута об оттиске ханской стопы на воске — по мнению специалистов — «в высшей степени подозрителен». Татарское слово *басма* «означает оттиск, отпечаток, и ничего более. Какого же рода оттиск — вопрос, открытый для разного рода более или менее вероятных предположений». Вероятнее всего *басма* — тонкая металлическая (золотая, серебряная или медная) дощечка с рельефным рисунком. Под басмой, которую монгольские ханы посылали русским великим князьям, следует понимать, как установлено изысканиями археологов, *байсу* или *пайдзу* — особую пластинку с надписью, требовавшей повиновения предъявителю ее. Такие пластинки монгольские ханы вручали посылаемым ими с различными поручениями официальным лицам, в том числе и послам. Повидимому, такую байсу, по летописному известию, растоптал Иван III (К. Иностранцев, К вопросу о «басме», «Записки Восточного отделения имп. Русского археологического общества», т. 18, СПб. 1907, стр. 171—175; А. Спицын, Татарские байсы, «Известия имп. Археологической комиссии», вып. 29, СПб. 1909, стр. 131 и сл.).

С а м н и т я н е — сабиняне, древнеиталийское племя.

Стр. 297. *Что ни поп, то и батька*

У д е л ь н ы е к р е с ь т ь я н е — особый разряд крестьян, состоявших крепостными членов царской семьи и населявших принадлежавшие им удельные земли. Управление этими землями находилось в ведении чиновников удельных контор, назначавшихся департаментом уделов.

Г о с у д а р с т в е н н ы е к р е с ь т ь я н е — особое сословие крестьян, отличное от крестьян помещичьих, состоявшее из различных групп свободного сельского населения — крестьян черносошных, сидевших на казенных («черных») землях, однодворцев, прежних служилых людей (копейщиков, пушкарей и т. п.), крестьян бывших монастырских вотчин и т. д. К государственным крестьянам было причислено и свободное сельское население местностей, присоединенных к России — Прибалтики, Польши, Бессарабии и проч.

Рассуждение Максимова о слитном написании слова *начай*, основанное на том, «что чувствуется в нем такое плотное слияние начального предлога с управляемым существительным, каковое слияние замечается и в самом обычае с народною жизнью», вызвало резкую критику Д. Никольского в «Филол. зап.» (1891, IV—V, стр. 19—20). «Автор, — писал Никольский, — дает, таким образом, новый и преоригинальный способ правописания: если в каком-либо обычае чувствуется слияние с народною жизнью, то и слова, которыми выражается этот обычай, следует писать вместе, если же не чувствуется слияния — отдельно... Беря в пример вполне правильную форму «на́рост» (от глагола нараста́ть), автор хочет подчинить тому же правилу и правописание слова «на чай», уверяя, что оно склоняется по всем падежам обоих чисел. Точно так же автор советует писать вместе «начаек», «наводку», «наводочку», приводя в доказательство такие выражения, будто бы им слышанные, как «ямщикам давал я по две наводки». Чтобы быть последовательным, автор должен был бы писать вместе и такие выражения, как «нагорилку», «напряники», так как обычай просить на горилку и на пряники у деревенских девок так же силен, как и приведенный выше; между тем он почему-то для этих слов делает исключение и пишет их по общепринятому способу. Затем, по уверению автора, уже и теперь, наперекор грамматике, будто бы все говорят «пошли поборы да начай»... Но слышать — одно, а считать правильным — другое. Не всё, что слышится в разговоре, должно признаваться правильным».

Белая Арапия. — Старинные русские книжники отличали от «черных арапов» (негров), которые упоминаются в русском фольклоре, представителей Аравии, арабов. Так, один из путешественников XVII в., Ф. А. Котов, писал, что живущие в Арапской земле «арапы нечерны» (В. И. Чернышев, Темные слова в русском языке — сборник Академии наук — академику Н. Я. Марру, М.—Л. 1935, стр. 396—397). Фантастические рассказы о Белой Арапии долгое время ходили в народе. В романе И. С. Тургенева «Новь» старая няня «рассказывала... про всякие новости: про Наполеона, двенадцатый год, про антихриста и белых арапов». Рассказы о Белой Арапии особенно были распространены в среде малокультурного купечества и мещанства. В комедии А. Н. Островского «Праздничный сон — до обеда» (д. 2, явл. 3) сваха Красавина рассказывает купчихе: «...Говорят, белый арап на нас подымается,

двести миллионов войска ведет». И на вопрос: «Откуда же он, белый арап?» — отвечает: «Из Белой Арапии».

Кушник — живущий в кушне, лесной хижине; такие хижины ставили в архангельских лесах для отдыха проезжих по безлюдным дорогам.

Стр. 304. Из кулька в рогожку

Хлебный бунт — хлеб (зерно или мука) в кулях, сложенных в виде скирда и укрытых рогожами.

Стр. 308. Не ко двору

Щетка у лошади — часть ноги над копытным сгибом и пучок волос на этом сгибе.

Колтун — болезнь волос, которые спутываются и образуют сплошную массу, похожую на войлок.

Стр. 313. Приходи вчера

Планетчик — народное название знахаря; ходила поговорка: «планетчики-доктора — великие мастера» (И. Переспелов, Планетчики-доктора... — астраханская газета «Восток», 1866, № 24).

Стр. 315. Пустобайка

Сюркуп — термин карточной игры: перекрышка старшей картой.

Сбитенщик — продавец сбитня, горячего напитка из меда с пряностями.

Стр. 318. Скандачок

О человеке, действующем опрометчиво, как ни попало, без знания дела, чаще говорят, что он действует с *кандачка* (а также: *скандачка*, *скондачка*). Происхождение этого выражения неясно. Предполагают, что так гогорят вместо *скандачка*, основываясь на областном слове *скандачок* — один из приемов выступки в русской пляске, в терском говоре — прыжок в воду через голову («Толковый словарь русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова, т. 1, М. 1936, стлб. 1434). Но если это выражение пошло от приема, которым ловкие плясуны начинали пляску, или от ловкого прыжка в воду, то переносное значение его могло быть: ловко, умело, остроумно; почему возникло другое переносное значение: опрометчиво, на авось, остается тогда неясным.

Стр. 323. Канитель тянуть

Переносно выражение «тянуть или разводить канитель» применяется ко всякому медленному и наводящему скуку своим однообразием делу, разговору и т. п. Отсюда слово «канитель» получило вообще значение: 1) проволочка, досадная потеря времени, 2) скучное однообразие. Очень редко выражение «плести (или взводить) канитель» на кого-нибудь употребляется в значении сплетничать, например в романе П. И. Мельникова-Печерского «На горах»: «Что, Сергевнушка, говорю, сирота, так ты думаешь, что на нее всякую канитель можно плести».

Стр. 327. За пояс заткнуть

Л е з о — острие топора.

П р о у х — дырка, проем.

Стр. 339. Галиматъя

Этимология слова «галиматъя» неясна. Предполагают, что оно происходит от французского *galimafrée* — кушанье из остатков различного мяса (А. Преображенский, Этимологический словарь русского языка, вып. 2, М. 1910, стр. 117).

Стр. 340. Через пень в колоду

Д р о м — хворост, валежник.

Стр. 342. Широко с грибами

Я и ч н и ц а - в е р е щ а г а — яичница-глазунья, которая верещит, шипит на сковородке.

Стр. 343. Под красную шапку

П е ш н я — тяжелый железный лом с деревянной рукояткой.

Х р е б т и н а — бечевка, к которой прикреплены рыболовные крючки.

Б л е с н а — маленькая металлическая рыбка с крючком, употребляемая для ловли щук, окуней, белорыбицы.

Стр. 345. Туру ногу пишет

В рецензии на книгу Максимова, напечатанной без подписи в «Вестнике Европы» (1891, № 1), критик (вероятно, А. Н. Пыпин) отмечает, что объяснение этого выражения, данное в книге, не вполне доказано, так как в контексте детской песенки говорится, что царь пишет «на золотом блюде». Можно еще напомнить, что

такой знаток русского языка, как А. Н. Островский, «туру ногу» понимал, как «турью ногу». Во втором действии «Снегурочки» царь Берендей, расписывая красками один из столбов в своем дворце, говорит:

Палатное письмо имеет смысл:
Небесными кругами украшают
Подписчики в палатах потолки
Высокие; в простенках узких пишут,
Утеху глаз, лазоревы цветы
Меж травами зелеными; а турьи
Могучие и жилистые ноги
На притолках дверных, припечных турах,
Подножиях прямых столбов, на коих
Покоится тяжелых матиц груз.

Стр. 346. *Настоящий кавардак*

В дополнение к толкованию этого выражения Максимовым приводим историю слова «кавардак», исследованную действительным членом Академии наук Литовской ССР Б. А. Лариним:

«Это слово с эпохи татарского ига изустным путем начало проникать в народные говоры. В деловом приказном языке оно прослеживается только с конца XVI в., в XVIII в. почти не употребляется, а в XIX—XX вв. широко известно в крестьянских диалектах; со второй половины XIX в. довольно часто встречается в художественной литературе, но в особом от народного значении. По мнению акад. Корша, оно заимствовано из киргизского *куурдак* — «мелко искрошенная и зажаренная в прокипяченном масле баранина». Древнее значение этого слова сохранено в нерчинских говорах: «жаркое из печени и сердца барана, мелко искрошенных, одетое брюшинной рубашкой того же барана» (см. «Словарь русского языка» Акад. наук, 1907, т. IV, вып. 1, стр. 42). Вариант этого исходного значения слова сохранился в говоре уральских казаков: «вяленые кусочки спины красной рыбы. Теперь кавардаков совсем уже не делают» («Сборник слов и выражений, употребляемых уральскими казаками», Уральск, 1913, стр. 26). Богатый материал по двоякому применению этого слова в XVII в. дают дела Приказа тайных дел... «Велено наготовить на стрелецкие кормки *кавардаку ветчинного*...», «Велено отпустить для государства походу 5 ведр *кавардаку постного*...», «По указу великого государя развезено в девичьи монастыри и роздано старицам в Вознесенской... *ковардаку* астраханского белужья пластинчатого и мелкого по ведру, сомовья пластинчатого и

мелкого по ведру ж, сазанного пластинчатого и мелкого по ведру ж...» В кладовой росписи боярина Б. И. Морозова читаем: «...взято с Москвы с Борисом Ивановичем столовых обиходов... кадка икры паюсной, кадка икры лукошная, кадка *кавардаку*, галенок лимонов...»

От степняков мы переняли способы консервирования мяса и рыбы для дальних походов проявлением и заливкой жиром. Доведя это изготовление *кавардака* до высокого совершенства, придворные и боярские повара превратили этот вид походной пищи в лакомство, которым царь угощает и одаряет в знак особой милости, а бояре, отъезжая в свои поместья, не забывают захватить с собою кавардаку наряду с лимонами и паюсной икрой. Но когда это блюдо указано было готовить для казенной «кормки» низшего войскового состава, оно быстро утратило все свои достоинства. Можно представить себе, каким кавардаком стали кормить солдат подрядчики-казнокрады, если прочитать историю этой реалии в народном предании, в показаниях крестьянских говоров XIX в.: 1) «Жидкое кушанье, дурно приготовленное» (москов., симбирск., тамбовск. «Опыт областного словаря» Акад. наук, СПб. 1852, стр. 62). 2) «Кушанье из различных припасов» (из щей, сухарей, луку и проч. Там же). 3) «Во многих местах варят настоящий кавардак вроде болтушки...» <цитируется текст Максимова>. 4) «Боль в животе, сопровождающаяся ворчаньем и поносом» (псковск., тверск., осташковск. — «Дополнение к «Опыту обл. словаря» Акад. наук, СПб. 1858, стр. 75). Понятно, что это слово, своего рода обвинительный документ против администрации, не попало в словари Академии Российской; нет его и в «Лексиконе трехязычном» Ф. Поликарпова 1704 г., нет и в словаре Ив. Гейма. К тому же его реалия — кушанье вышло из обихода высших классов».

В литературный язык слово «кавардак» со второй половины XIX в. вошло как «ходовая загложшая метафора»: «А тогда и прочие начнут выдумывать, и выйдет у нас *смятение* и *кавардак*» (С а л т ы - к о в - Щ е д р и н, Помпадуры и помпадурши). «Иначе он, зная все старые глупости, *может наделать черт знает какого кавардаку*, так как он способен удивить свет всею подлостью» (Л е с к о в, Соборяне).

«Самым критическим моментом в истории слова *кавардак*, — пишет Б. А. Ларин, — был переход от предметного значения к абстрактному. И здесь недостаточно было общей закономерности метафорического применения, так как уже появление названия «постный кавардак» было обусловлено метафорой (по сходству способов приготовления). Только резкое усиление эмоциональной окраски (вследствие изменения самой реалии) создало предпосылку для того осо-

бого вида метафоры — по эмоционально оценочному ореолу значения, — который позволил применять это слово к вызывающим неодобрение явлениям общественной жизни. Закономерной в этом семантическом скачке является утрата предметного, конкретного значения еще в силу того, что из узкой среды, из солдатского языкового обихода, в котором оно имело конкретное значение, слово перешло в общий язык буржуазного общества, где сохранен только эмоциональный тон его и расплывчатый контур значения: мешанина... и прескверная» (Б. А. Ларин, Из истории слов — «Памяти акад. Л. В. Щербы», сб. статей, Л. 1951, стр. 198—200).

Стр. 350. До положения риз

Одно название церковных праздников «положения риз» все же не уясняет, почему это выражение шутливо применяется к пьяному до бесчувствия. В «Толковом словаре русского языка» под ред. Д. Н. Ушакова объяснение дано более убедительное. Буквально значение выражения «напиться до положения риз»: напиться до того, что снять с себя одежды (церк.-слав. ризы), — намек на библейский рассказ о Ное, который, опьянев, обнажился (снял и положил свои ризы). Отсюда понятна игра слов, связанная с названием двух церковных праздников «положения риз», установленных в память того, что в Успенский собор в Москве были положены ризы, якобы принадлежавшие Христу, а в одну из церквей в Царьграде — ризы, якобы принадлежавшие матери Христа.

Стр. 361. Дорого яичко к Христову дню

И. М. Снегирев в исследовании «Русские в своих пословицах» (ч. III, М. 1833, стр. 730) говорит, что пословица эта происходит оттого, что хотя взятки и были запрещены законом, но в XVI в. приказным дьякам дозволялось в «светлый день», то есть на пасхе, брать вместе с красным яйцом и деньги. О том, что в царствование Бориса Годунова взятки вместе с красным яйцом всовывали судьям и дьякам, упоминает также историк С. М. Соловьев («История России», изд. «Общественная польза», кн. 2, стр. 730).

Стр. 364. Пускать пыль в глаза

Такое же значение, как наше выражение, имеет латинское: «pulverem ob oculos adspargere», возникшее, по объяснению некоторых исследователей, «во времена олимпийских игр, так как пыль-

ный (мелкий) песок от впереди мчавшейся колесницы застилал дорогу следовавшим за ней и вообще мешал ясно смотреть вперед» (М. И. М и х е л ь с о н, Русская мысль и речь, т. II, стр. 157). И. Е. Тимошенко, касаясь вопроса о происхождении этого выражения, пишет, что произошло оно «от олимпийских ли игр... или от обычая в драке и на поединках бросать противнику горсть земли в глаза, или от чего-нибудь другого, трудно сказать. Но,— замечает он,— ведь всегда на всех немощенных дорогах (не только на олимпийских играх) приходилось и приходится испытывать то же неудобство от едущих впереди экипажей. Кроме того, мы имеем другую, почти тождественную по смыслу поговорку: «пустить туману в глаза», которую нельзя производить ни от олимпийских игр, ни от судебных поединков» (И. Е. Т и м о ш е н к о, Литературные первоисточники и прототипы трехсот русских пословиц и поговорок, Киев, 1897, стр. 129—130). Можно предполагать, что выражение «пускать пыль в глаза», так же как и «напустить туману», возникло на почве народных поверий о колдунах и ведьмах, которые морочат людей, появляясь в вихрях пыли (А. Н. А ф а н а с ь е в, Поэтические воззрения славян на природу, М. 1869, т. III, стр. 448).

Стр. 366. Убить бобра

Эта поговорка, первоначально употреблявшаяся в значении: сделать выгодную аферу, возникла из пословицы: «Не убить бобра — не видать добра», то есть его шкуры. Еще в XVII в. на Руси и на Украине всюду водились бобры, ловля которых была важным источником дохода, поэтому и пословица и возникшая из нее поговорка употреблялись в значении приобрести что-либо ценное. Но позднее, когда изобилия бобров уже не стало, первоначальный смысл пословицы забылся, и она подверглась искажению: «Убить бобра — не видать добра». Эта искаженная пословица и была осмыслена в анекдотическом рассказе о калязинцах, купивших вместо бобра свинью, отчего и произошло насмешливое присловье: «Калязинцы-бобровники, свинью за бобра купили» (А. А. П о т е б н я, Из лекций по теории словесности. Басня. Пословица. Поговорка, Харьков, 1894, стр. 110; словарь Даля, т. 1, под словом «бобр»).

Стр. 371. Меж двух огней

В чужой монастырь со своим уставом не ходят. — Выражение это в переносном смысле употребляется в значении: нужно подчиняться установленным правилам, обычаям

в обществе, доме и пр., если есть необходимость присутствовать там, а не устанавливать свои. Распорядок всей монастырской жизни определялся монастырскими уставами. Один монастырь руководствовался одним уставом, другой — другим. Кроме того, в старину некоторые монастыри имели свои судебные уставы, по которым обладали правом «судить своих людей сами во всем, опричь душегубства и разбоя с поличным» (И. Снегирев, Русские в своих пословицах, ч. 4, М. 1834, стр. 43).

Поговорка «Далеко кулику до Петрова дня» употребляется, когда говорят об отдаленном сроке, а также о ком-либо, кто не может равняться с другим, то есть ему до него далеко. В поговорке — намек на закон, запрещающий стрелять дичь с весны до Петрова дня — 29 июня по старому стилю. Небольшую заметку об этой же поговорке Максимов напечатал после выхода своей книги (см. приложение).

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Продолжая работу над сборником «Крылатых слов», Максимов начал в 1901 г. печатать в журнале «Живописная Россия» дополнение к нему под названием «Недовесок к «Крылатым словам». Но успел он опубликовать только пять статей: «Угостить» (в № 10), «Щелкопер», «Далеко кулику до Петрова дня» (в № 24), «Подкузмить и объегорить» и «Худая трава» (в № 25).

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

пословиц, поговорок, присловий, встречающихся в тексте

А

Абросим совсем не просит, а дадут — не бросит	303
Авосевы города всегда стоят негорожены, авоськины дети не рожены	240
Авось не с дуба сорвалось	239
Авось да небось к добру не доводят	240—241
Авоська веревки вьет, а небоська петлю закидывает . . .	240
Аз да увяз, да не выдрахся.	109, 337
Артельно за столом, артельно и на столе	43

Б

Баба меряла, да оборвала веревку	86
Бабьему добру от бабы не отходить	171
Баклуши бьют	23
Балахнинские мастерицы плести мастерицы	238
Барыш барышом, а магарычи даром	297
Без бога ни до порога.	379
Без вымени овца баран	271
Безрукий клеть обокрал, голопузому за пазуху наклал, слепой подглядывал, глухой подслушивал, немой ка- раул закричал, безногий в погонь погнал?	159

Без шуму и брага не закисает	251
Без ума голова — шабала.	26
Без чинов	188
Бей в доску — поминай Москву	104, 105
Бей русского — часы сделает	242
Бей челом на Туле, а ищи на Москве	187
Бей шубу — теплее, бей жену — милее	171
Белая Арапия	301
Били, били <Были были>, и бояре волком были	187
Бить челом и быть в ответе	185
Бобы разводить	114
Богатый-то с рублем, а бедный-то с челом	187
Бог за товаром	266, 267
Бог на помощь	264, 265
Бог очистительной присяги не принимает	42
Брань на вороту не виснет	249, 251
Брат брату головой в уплату	157, 282
Брать на свою шею	209
Броня на брань, ендова на мир	251
Будет и на нашей улице праздник	7
Будь здоров	267, 380
Бью хлебом-солью да третьей любовью	268

В

Вашему сиденью наше почтение	267
Ваши пьют, а у наших с похмелья головы болят	359
В голубятниках да в кобылятниках спокон веку пути не бывало	139
Вдова — мирской человек	184
В дугу гнуть	36
Весело работать	265
Взятки гладки	359
Видно сокола по полету, как доброго молодца по ух- ваткам	198

В книгу глядит (или на воду глядит) и огонь говорит	11
В красную строку	189
В Москве к заутрене звонят, а на Вологде тот звон слышат	90
В Москве хлеба-соли покушать, красного звону послушать	102
В ногах правды нет	158, 378
Во всю Ивановскую	106
Во вся тяжкая	108
Вода б книзу, а сам бы ты кверху	264
Войти в один лапоть	36
Вольному воля	151
Вора выдала речь	47
Ворон соколом не бывает	206
Вор с мошенника шапку снял	53
Вот тебе, боже, что нам не гоже	271
В поле две воли — кому бог поможет	283
В поле съезжаются, так родом не считаются	284
В правеже не деньги	158
Впросак попасть	12
Все едино, что хлеб, что мякина	321
Всем двором опричь хором	268
В семеры гости зовут, а все на правеж	158
Всему высохнуть	42, 256
Все на свете минётся, одна только правда останётся	91, 161
Вставать в тупик, что некуда вступить	23
Встать в тупик	22
Выдать головой	157
В чох да в жох да в чет нельзя верить	353
В чужом пиру похмелье	358
В чужой монастырь со своим уставом не пойдешь	372

Г

Галка не прытка, а палка коротка	205
Где в волчьей нагольной, а где и в лисьей под плисом	91
Где куры не поют	126

Где раки зимуют	190
Где рука, там и голова	165
Где торно, там и просторно	272
Глас народа — глас божий	162
Глас шестый, подымай шесты на игумена, на безумена . .	109
Глупая баба и песту молится	356
Гол, как осинový кол	196
Гол, как сокол	196
Голову срезали, сердце вынули, дали пить, стало говорить	381
Гора родит мышь	125
Горе идущему, горе и ведущему	42
Горох при дороге (кто ни пройдет, тот скубнет) . . .	232
Господи благослови — новая новинка, старая брюшинка.	266
Гости навалили, хозяина с ног сбили	358
Гость на двор — и беда на двор	358
Грех да беда на кого не живут	7
Грех пополам	180

Д

Давать слазу	295
Дай бог износить, да лучше нажить	265
Дай срок — не сбей с ног	158
Даю руку на отсечение	42
Далеко кулику до Петровá дня	372, 382
Два девяноста.	87
Дело в шляпе	146
День ворчит, ночь верещит, плюнь, да сделай	184
День дневать, ночь почивать	379
Деньги в стену	288
День иноходит да два не ходит	327
День ходит, а два со двора не сходит	327
Держать руку	166
Десятая вина виновата	63
Десятью отмеряй, однава отрежь	63

Детей не видать	42
Диво варило пиво: слепой увидал, безногий с ковшом побе- жал, безрукий сливал; ты пил, да не растолковал	159
Для друга семь верст не околица	62
До бога высоко, до царя далеко	156
Добром — так вспомни, а злом — так полно!	266
Добро пожаловать	255, 378
Долгий ящик	105
До Москвы мужик для поговорки пешком ходил	105
Доносчику первый кнут	93
До поля воля, а в поле по неволе	284
До положения риз	350
Дорого яичко к Христову дню	361
Дороже Каменного моста	111
Дураков до Москвы не перевешаешь	104
Душа согрешила, а ноги виноваты	158
Дым коромыслом	200

Е

Его же и монаси приемлют	109
Едоку и ложкой владеть	28
Если все кануны справлять, ин без хлеба стать	228
Если концы в воде, так середка наружу; когда середка в воде, концы наружу	37
Есть не хочется, а отстать не сможет	203
Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами	343

Ж

Ждали по ка, подождем и по та	173
Жеребей — божий суд	146
Жеребей метать — вперед не пенять	146
Женский быт — всегда он бит	171
Живет и такой год, что на день семь погод	64
Живя на погосте, всех не оплачешь	49
Жить на ряду, вести череду	352

Задать карачуна	211
Задний ум	241
За пояс заткнуть	327
За постой деньги платят, а посиденки даром	378
За правду не судись: скинь шапку да поклонись	253
За семь верст ходить есть киселя	62
За сиротою сам бог с калитою	129
Звонить во всю Ивановскую	105
Звонить в лапоть	35
Звоном началось — звоном и кончилось	40
Звону много, а хлеба на погосте ни горсти	48
Здоровенько живешь, все ли можешь?	379
Здорово ли спали-ночевали все крещены?	378
Здравствуй на два дни,— на третий на дровни	380
Знает толк, как слепой в молоке	360

II

И всяк пляшет, да не как скоморох	319
И гости не знали, как хозяина связали	358
Играй назад	320
Играть в одну руку	166
Идешь по беспутью к гибели своей	153
Иже не ври же, его же не пригоже	109
И за море летала, а вороной вернулась	206
И зверю слава	204
Из кулька в рогожку	267, 304
Из полы в полу	363
Из семи печей хлеб есть	62
И курна изба, да печь тепла	200
Ильинская пятница	74
И маленькая рыбка лучше большого таракана	297
И Мамай правды не съел	160
И не видал, и не слышал, и об эту пору на свете не бывал	92

Иной ходит до похода, бобы разводит	154
Иссуши меня, господи, до макова зернышка	42, 256
Истцу первое слово, а ответчику последнее	92
И твоя правда, и моя правда, и везде правда, а нигде ее нет	253

К

Кабала не кабала, а голова все-таки не своя	102
Кабы у цыгана тот ум наперед, что у мужика назади — то-то б богато жил	242
Как камень в воду	338
Каков в бою, таков и на пиру	255
Каков гость, таково ему и угощенье	377
Казанские сироты	129
Калачом не заманишь	101
Камень за пазухой	184
Канитель тянуть	323
Каша сама себя хвалит	202
Кашу на ложки, а молодец (новорожденный) на ножки .	203
Клев на уду, увар на ушицу	266
Когда нечем черту играть, так угольем	174
Коли болтун, так и врун; врун, так и обманщик; обманщик, так и плут; плут, так и мошенник, а мошенник, так и вор	252
Коли вру, так дай бог хоть печкой подавиться	42
Коли грек на правду пошел — держи ухо востро	253
Коли у поля стал, так бей наповал	284
Колокола льют	38
Кондрашка хватил	371
Концы в воду	370
Корельский верстень — поезжай целый день	86
Корочун его возьми	214
Красного петуха пустить	338
Краюшка невелика, а гостя черт принесет — и последнюю унесет	358

Кто их переврет — трех дней не переживет	160
Кто о барышах, а кто о магарычах	297
Кто палку взял, тот и капрал	299
Кто первый в совете, тот первый и в ответе	186
Кто сидел на печи, тот не гость, а свой	200
Кто сильнее, тот и правее	283
Кувшин пополам — ни людям, ни нам	180
Курам на смех	122
Курица не птица	122
Куском бы мне подавиться	256
Кутуз да коклюшки — балахнинские игрушки	238

Л

Лапти плесть — однава в день есть	35
Ласковое слово лучше мягкого пирога	264
Лежачего не бьют	246
Лежачий в драку не ходит	246
Лисой пройти	322
Ложь кривая	159
Ложью как хошь верти, а правде путь один	91
Лозою в могилу не вгонишь, а калачом не выманишь	101
Лопни мои глаза, развались утроба на десять частей	256
Люди праведно живут, с нищего дерут, да на церковь кладут	257
Лясы точат	31
Лясы точат — людей морочат	33

М

Маслом цедить, сметаной доить	267
Матушка Прасковья, пошли женишка поскорее	75
Мать при сыне не наследница	171
Меж двух огней	371
Межи да грани — ссоры да брани	176
Мели, Емеля, твоя неделя	351
Меряла баба клюкой да и махнула рукой	86

Милости прошу к нашему грошу со своим пятаком . . .	267, 380
Москва по чужим бедам не плачет	97
Москва принос любит	102
Москва слезам не верит	97
Москва стоит на болоте и ржи не молотит	102
Москва — царство	102
Москва широка, как доска	104
Москву не разжалобишь	97
Московские правды	91
Мужик хоть и сер, да ум его не черт съел	243

И

На беспутной работе и спасибо нет	153
На вдовый двор хоть щепку брось	185
На воре шапка горит	42
На всякий чих не наздравствуешься	352
Нагреть руки	167
На деле прав, а на дыбе виноват	93
Наживной рубль — дорог, даровой рубль — дешев . . .	172
На Москве дела даром не делают	359
На нем взятки гладки	158
На одной неделе семь пятниц	61
На пару, на баньке, на веничках	379
На посуле, что на стуле: посидишь да и встанешь . . .	359
На правож не поставишь	158
Народу — нетолченая труба	271
Настоящий кавардак	346
На улице праздник	17
На-фырок и на-попа	341
На чужой каравай рта не разевай, а пораньше вставай да свой припасай	309
Нашел да не сказал, — все равно, что украл	221
Наши за Волгой давно спят	194
Наши молодцы не дерутся, не борются, а кто больше съест, тот и молодец	195

Наши спят	193
На шута потягуши, на тебя поростуши	264
Не будь гостю запаслив, будь ему рад	357, 377
Не бывать скорлатому богатому	350
Не было ни гроша, да вдруг алтын	111
Не в бровь, а прямо в глаз	368
Не велик городок, да семь воевод	62
Невеличка синичка, да та же птичка	136
Не в кольцо, а в свайку	170
Не во-время (незванный) гость хуже татарина	357, 377
Неволя идет вниз, кабала вверх	101
Не в Польше жена,— не больше меня	183
Не в силе бог, а в правде	160, 253
Не всякая пословица при всяком молвится	317
Не всякого по имени, а всякому челом	268
Не всякое лыко в строку	35—36
Не всякому Савелью веселов похмелье	359
Не выругавшись, и дела не сделаешь	243
Не до обедни, коли много обредни	271
Не дорога гостьба, дорога дружба	377
Не ко двору	308
Не к роже кокошник, не к рукам пироги	308
Не купи двора, купи соседа	292
Немудрено жить издеваучись, мудрено жить измогаучись.	241
Не обругавшись, и замка в клетки не отопрешь	243
Не петь курице петухом, а и спеть, так на свою голову .	127
Не поглядел в святцы, да бух в колокол	348
Не помолвившись богу — не ездить в дорогу	287
Не помутясь, море не уставится	251
Не попал в свой черед, так не залезешь вперед	352
Не смыслит ни бельмеса, а суется бесом	337
Не строй семь церквей — пристрой семь детей	63
Не уедно, да улежно	49
Нечем (было) платить долгу, бежали на Волгу	158

Ни бельмеса	337
Ни в чох, ни в жох (не верь)	352
Ни дна, ни покрышки	334
Никола в путь, Христос подорожник	268
Ни кола, ни двора	231
Ни рыба ни мясо	190
Нужда заставит калачи есть	100
Ныне и пьяница на водку не просит, а все на чай	302

О

Овдовеет — поумнеет	185
Овсяная каша тем и хвалилась, что с коровьим маслом ро- дилась	202
Огонь попа жжет	8
Один врал — не доврал, другой врал — переврал, третьему ничего не осталось	160
Они стреляли, да и мошну не забывали	187
Опричь худого, ничего хорошего не жди	230
Оправь бог правого, выдай виноватого	93
Опустить руки	157
Особ статья	181
От бога дождь, от дьявола ложь	159
Отводить глаза	307
От вора отобьюсь, от приказного откуплюсь, а от попа не отмолюсь	151, 298
От дождя да в воду	306
Откладывать дела в долгий ящик	105
От мужика всегда пахнет ветром, а от бабы дымом . . .	270
От навала разживаются	294
Отошла пора татарам на Русь ходить	130, 331
Отрезать по-русски	253
Отсохни руки и ноги	256
От фиты подвело животы	109
От Холмогор до Колы тридцать три Миколы	47

Отцы наживают, детки проживают	172
Очи на очи глядят, очи речи говорят	92

II

Пар в баню — чад за баню	266, 379
Первым куском подавиться	42
Передний заднему мост	233
Персобутся из сапог в лапти	35
Песни играть — не поле орать	279
Пест, знай свою ступу	356
Печки и лавочки	199
Платице б тонело, хозяйюшка б добрела	265
Плебана для пана, а попа для хлопа	128
Плох сокол, если ворона с места сбила	206
Повинную голову и меч не сечет	157, 170
Погибоша, аки обре	53
Подавайся по рукам — легче будет волосам	282—283
Под башмаком	289
Под игом	290
Под красную шапку	343
Подкузмить и обьегорить	132, 383
Под лежачий камень вода не течет	243
Подлинная правда	91
Подноготная правда	95
Подожди с московскую годинку — с московский час	97
Подьячий за перо возьмется, у мужика мошна и борода тря- сется	381
По Ереме колпак, по Малашке шлык	260
По земле и вода	172
По ка мест живется, по та мест и жить стану	173
Покойной ночи, приятного сна	379
По ножницам портной, а по щетине чеботарь	191
Попал из огня да в полымя	306

Попал, как кур во щи	125, 306
Попасть в кабалу	101
Поповские глаза	48
Попово-то брюхо из семи овчин сшито	51
Попову собаку не батькой звать	111
Попову собаку не волком звать	110
Поповы глаза завидующие, руки загребущие	50, 298
Попросту — без коклюш	236
По Сеньке и шапка	260
После дожличка в четверг	324
Послов не рубят	169
По сходной цене	355
По шее и ворот	209
Пошли бог гостей — и хозяин будет сытей	377
Правда рука, лево сердце	379
Правда в ногах	157
Правда голая	160
Правда есть, так правда и будет	162
Правда к Петру и Павлу ушла, а кривда по земле пошла	99
Правда осталась у бога жить на небесах, а кривда пошла гулять по белому свету	159
Правдолюб — душа нагишом	161
Праздника честного не дожидаться	256
Привет за привет и любовь за любовь, а завистливому хрену да перцу,— и то не с нашего стола	267
Прилетел кулик из-за моря, выводил весну из затворья	383
Притянуть к Иисусу	167
Пришла честь и на свиную шерсть	132
Пришло пота, что подай попа	151
Просим к нам всем двором, опричь хором	230
Проюрдонить и проюлить	286
Пускай тот середит, кто вверх (или на небо) глядит	356
Пускать пыль в глаза	364
Пусть лает собака чужая, а не своя	239

Пугает, словно кашу в лапти обувает	34
Пьют по-русски, но врут по-немецки	255
Пьяная баба себе не принадлежит	384

Р

Разбросались палки на чужие галки	205
Разговеться бы бог не привел	256
Рассуди — топором разруби	361
Рассыпался бы дедушко, кабы его не подпоясывала ба- бушка	328
Рассыпался горох на четырнадцать дорог	235
Репой да брюквой люди не хвалятся	235
Родись, крестись, женись, умирай — за все попу деньги отдавай	298
Род службе не помеха	187
Рука согрешит — голова в ответе	165

С

Садись — гостем будешь	378
Сам в своем деле никто не судья	239
Сбухты-барахты	348
Свин голос	236
Свинья полудня не знает	236
С гуся вода, с лебедя вода, а с тебя, мое дитятко, вся худоба на пустой лес, на большую воду	265
Сегодня гули, да завтра гули, ан и в лапти обули	140
Седьмая вода на киселе	62
Седьмая водина на квасине	62
Семерым одного не ждать	62
Семипудовый пшик	82
Семь бед — один ответ	62—63
Семь пятниц	63
Семью прикинь — однова отрежь	59
Сестра при брате не вотчинница	171

Сеять хлеб, а есть мякину	321
Сила солому ломит	349
Сила тебе в плечи	265
Сквозь землю в татарары провалиться	42
С коломенскую версту	85
Сколько лет, сколько зим	379
Слава богу лучше всего	265, 379
С легким паром	266, 379
Слово и дело	272
Слоняться и лодырничать	29
С места не встать, света белого (креста на себе) не видать	42, 256
С москалем дружи, а камень за пазухой держи	184
Смыть с себя художества, намыть хорошества	266, 379
С нагольной правдой в люди не кажись	161
С недруга хоть шапку долой	53
Снявши голову, по волосам не плачут	371
Собака и на свой хвост брехает	249
Собаку съел	194
Согнуть в три погибели	372
Сокол с места, ворона на место	207
Сокол, хоть на кол, да гол, что мосол	232
Солнце на лето, зима на мороз	213
Сор из избы	58
Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров всему городу	206
Сорок недель хоть кого на чистую воду выведут	60
Сорочи, не сорочи, а без рубля будешь	60
Сорочке б тонеть, а тебе б добреть	264
Спица в нос, невелика — с перст	267, 380
С прибылью торговать	266, 267
Спусти рукава	330
Старую собаку не батькой звать	110
Старую собаку не волком звать	110
Старый воробей на мякине	320
Стомаха ради и частых недугов	109

Сто рублей в мошну	267
Сто рублей на мелкие расходы	267, 353
Сто тебе быков, пятьдесят меринов: на речку бы шли да помыкивали, а с речки шли — побрыкивали	266
Стоять под колоколами	41
Суд людской — не божий	164
Счастливого пути	268
Счастье одноглазое	164
Счастье, что трястье — на кого захочет, на того и нападет	165
С чужого коня среди грязи долой	235
С хозяина начинать	279
Сын наследует отцу, но отец не наследует сыну	171
Сыт пострел, коли каши не ел	203

Т

Такой содом, что пыль столбом, дым коромыслом — не то от таски, не то от пляски	201
Тепло любить — и дым терпеть	200
Терпи голова — благо в кости скована	94
Типун на язык	146
Только бы перенес бог через субботу.	109
Торговаться одному, а конаться (метать жребий) всем	297
Трясется, как осиновый лист	361
Третья правда: «У Петра и Павла»	95
Туру ногу пишет	345
Турусы на колесах	332
Тяжбу завел, сам стал, как бубен, гол	197

У

Убить бобра	366
У вдовы обычай не девичий	185
У всякого словца дождешься конца	373
У Владимира два угодя: от Москвы два девяноста, да из Клязьмы воду пей	88

Уголь такой же нежной, как нетленен и черт	174
Улица на двор — всем простор	21
У нас не Польша, есть и больше	184
У нас не в Польше, муж жены больше	183
У одной овечки семь пастухов	62
У семи нянек дитя без глазу	61
У черта на куличках	56

Х

Хлебай уху, а рыба вверху	131
Хлеба кушать	378
Хлеба-соли покушать, лебедя порушать, пирогов отведасть	268
Хлеб да соль	267, 378
Хлеб-соль на столе, а руки свое (свои)	379
Ходить по солому, а приносить мякину	321
Хорошо-то мед с калачом	360
Хоть голову на плаху	42
Хоть при колокольном звоне под присягу пойду	42
Хоть святых вон выноси	367
Хоть сусек снести, только канун свести	228
Хоть тресни	341
Худая трава — из поля вон	385

Ч

Чай да сахар милости вашей	264, 378
Чем бог послал	378
Чей черед, тот и берет	352
Через пень в колоду	340
Черт плетет лапти по три года кряду	35
Черту баран	365
Четвертая правда: «У Воскресенья в Кадашах»	98
Чин чина почитай, а меньшей садись на край	187
Чин чином	187
Чох на ветер, шукура на шест, а голова — чертям в сучку играть	353

Что было, все спустил; что будет — и на то угостил . . .	255, 377
Что ни поп, то и батька	297
Чужую беду на бобах разведу, а к своей ума не приложу	115
Чур меня	221
Чур мой клад с богом пополам	224
Чур одному — не давать никому	222
Чур пополам, чур вместе	223
Чур чуров и чурочков моих	222

Ш

Шиворот-навыворот	209
Шиш на Кокуй	115

Э

Эй, закушу!	146
Это не лапоть сплесть	35

Я

Язык болтает, а голова не знает	252
Языком и щелкай и шипи, а руку за пазухой держи .	251
Я тебе челом, а ты уж знаешь о чем	187

СОДЕРЖАНИЕ

П р е д и с л о в и е	3
Крылатые слова	7
Огонь попа жжет	8
Впросак попасть	12
На улице праздник	17
Встать в тупик	22
Баклуши бьют	23
Слоняться и лодырничать	29
Лясы точат	31
Сыр-бор загорелся	33
Лапти плетут	34
В дугу гнут	36
Колокола льют	38
Стоять под колоколами	41
На воре шапка горит	42
Вора выдала речь	47
Поповские глаза	48
Опростоволосить	52
У черта на куличках	54
Сор из избы	58
Семью прикинь — однова отрежь	59
Десятая вина	63

Семь пятниц	63
Ильинская пятница	74
Семипудовый пшик	82
С коломенскую версту	85
Корельский верстень	86
Два девяноста	87
Московские правды:	
Первая и вторая: «Подлинная и подноготная»	91
Третья правда: «У Петра и Павла»	95
Четвертая правда: «У Воскресенья в Кадашах»	98
Нужда заставит калачи есть	100
Попасть в кабалу	101
Москва — царство	102
Бей в доску — поминай Москву!	104
Долгий ящик и московская волокита	105
Во всю Ивановскую	106
Во вся тяжкая	108
Попову собаку не баткой звать	110
Дороже Каменного моста	111
Бобы разводить	114
Шиш на Кокуй!	115
Курам на смех	122
Где куры не поют	126
Казанские сироты	129
Хлебай уху	131
Подкузьмить и объегорить	132
Очуметь	135
Забавам нет конца	136
Синиц ловить	136
Голубей гонять	139
Казюки	144
Типун на язык	145
Дело в шляпе	146
Эй, закушу!	146

Вольному воля	151
Беспутный	153
Нет проку	155
Выдать головой	157
Правда в ногах	157
Ложь кривая	159
Правда голая	160
Глас народа — глас божий	162
Счастье одноглазое	164
Где рука, там и голова	165
Притянуть к Иисусу	167
Послов не рубят	169
Не в кольцо, а в свайку	170
По земле и вода	172
Покамест	173
Грех пополам	180
Особ статья	181
В красную строку	182
У нас не в Польше	183
Камень за пазухой	184
Вдова — мирской человек	184
Бить челом и быть в ответе	185
Чин чином	187
Без чинов	188
Где раки зимуют	190
Наши спят	193
Собаку съел	194
Пустозвон	196
Гол, как сокол	196
Печки и лавочки	199
Дым коромыслом	200
Брататься	201
Каша сама себя хвалит	202
И зверю слава	204

Шиворот-навыворот	209
Задать карачуна	211
Чересчур	216
Чур меня	221
Накануне	225
Опричь	228
Ни кола, ни двора	231
Горох при дороге	232
Чужой конь	235
Свин голос	236
Попросту — без коклюш	236
По-русски	238
Русские сваи	239
Задний ум	241
Ругаться и драться	243
Говорить	252
Принять и угостить	254
Божиться	256
Одеваться	258
Привечать	261
Русский дух	269
Нетолченная труба	271
Слово и дело	272
Песни играть	276
С хозяина начинать	279
Подаваться по рукам	282
Проюрдонить и проюлить	286
Деньги в стену	288
Под башмаком	289
Под игом	290
В соседях	291
От навала разживаются	294
Давать слазу	295
Что ни поп, то и батька	297

Начай	299
Из кулька в рогожку	304
Не все — одно	306
Отводить глаза	307
Не ко двору	308
Чужой каравай	309
Приходи вчера	313
Пустобайка	315
Скандачок	318
Играй назад	320
Старый воробей на мякине	320
Лисой пройти	322
Канитель тянуть	323
После дождичка в четверг	324
Затрапезный	325
День иноходит	327
За пояс заткнуть	327
Спустя рукава	330
Турусы на колесах	332
Ни дна, ни крыши	334
Аллилуйя	335
Халдей	336
Ни бельмеса	337
Красного петуха пустить	338
Как камень в воду	338
Галиматья	339
Через пень в колоду	340
Хоть тресни	341
На-фырок и на-попа	341
Пирог с грибами	342
Под красную шапку	343
Туру ногу пишет	345
Настоящий кавардак	346
Сбукты-барахты	348

Сила соломѹ ломит	349
До положенія риз	350
Не бывать скорлатому богатому	350
Емелина неделя	351
Ни в чох, ни в жох (не верь)	352
1. Чох	352
2. Жох	353
По сходной цене	355
Глупая баба и песту молится	356
Не во-время гость	357
В чужом пиру похмелье	358
Взятки гладки	359
Толк в молоке	360
Хорошо-то мед с калачом	360
Рассуди — топором разруби	361
Трясется, как осиновый лист	361
Дорого яичко к Христову дню	361
Из полы в полу	363
Пускать пыль в глаза	364
Черту баран	365
Убить бобра	366
Хоть святых вон выноси	367
Не в бровь, а прямо в глаз	368
Концы в воду	370
Кондрашка хватил	371
Снявши голову, по волосам не плачут	371
Меж двух огней	371

ПРИЛОЖЕНИЕ

Недовесок к «Крылатым словам»	377
Гостить	377
Щелкопер	380
Далеко кулику	382
Подкузывать и объегорить	383
Худая трава	385

ПОСЛЕСЛОВИЕ И ПРИМЕЧАНИЯ

О книге С. В. Максимова. Н. С. Ашукин	389
Примечания	394
Алфавитный указатель пословиц, поговорок, присловий, встречающихся в тексте	423

Редактор *А. Ванслова*
Оформление художника *А. Радищева*
Художеств. редактор *Г. Кудрявцев*
Технический редактор *Г. Каунина*
Корректор *А. Кашин*

*

Сдано в набор 9/IX 1954 г. Подписано
к печати 11/XII 1954 г. А08358. Бумага
 $84 \times 108 \frac{1}{8} = 28$ печ. л. 22,96 усл. печ. л.
21,12 уч.-изд. л. Тираж 100 000 экз.
Заказ № 1770. Цена 10 руб.

Гослитиздат
Москва, Ново-Басманная, 19.

*

Министерство культуры СССР. Главное
управление полиграфической промыш-
ленности. Первая Образцовая типогра-
фия имени А. А. Жданова. Москва,
Ж-54, Валовая 28.